

НОВОБЫИ
МИР

НОВОБЫИ МИР

1967

4

1967

ИЗВЕСТИЯ И МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLIII

№ 4

Апрель, 1967 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
С. ЗАЛЫГИН — Соленая Падь, роман	3
ДЕБОРА ВААРАНДИ — Освенцим, стихи. Перевел с эстонского Д. Самойлов	95
ВЛ. ЛИФШИЦ — Судеты, На предвоенного., Датская легенда, стихи	99
ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР — Колчерукий, рассказ	101
АЛЕКСАНДР ГИТОВИЧ — Из неопубликованного, стихи	120
ТРУМЭН КАПОТЕ — Дети в день рождения. Перевела с английского С. Митина	121
ИЗ СОВРЕМЕННОЙ ЮГОСЛАВСКОЙ ПОЭЗИИ -- Еврем Бркович. Революция (Из поэмы).— Оскар Давичо. Хана.— Десанка Максимович. Прошу о помилованье...— Танасие Младенович. Белый петух.— Тоне Павчек. Во имя... Жить.— Васко Попа. Воскресший памятник.— Стеван Раичкович. Руки. Усталая песнь.-- Изет Сарайлич. Говорю о Европе.— Божидар Тимотиевич. Стихи о грядущем. Перевел с сербохорватского и словенского Юрий Левитанский	135
ЛЕВ ТИМОФЕЕВ — В селе Благодатном, очерк	144

ПУБЛИЦИСТИКА

О. ЛАЦИС — Нет исключения без правила. Заметки об экономике строительства	158
---	-----

НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

А. КУЦЕНКОВ — Из Раджастана в Гуджерат (Путевые заметки)	173
--	-----

В МИРЕ НАУКИ

Ю. ФРОЛОВ — В среду, у Павлова (Из воспоминаний)	186
--	-----

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ	
В. АРМАНД — Живая нить (Из воспоминаний и переписки с Н. К. Крупской)	198
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
<i>Полвека советской литературы</i>	
Е. ПОЛЯКОВА — За землю, за волю... (Книги Александра Неверова)	204
Г. ТРЕФИЛОВА — О стиле Паустовского	214
ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ	
Л. Кунецкая. Кремль. Квартира Ильича.— Ж. Медведев. У истоков генетической дискуссии	221
ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ	
И. ДАЖИНА — «В водовороте новой России» . Письма А. М. Коллонтай В. И. Ленину и Н. К. Крупской в Швейцарию	235
И. БРАЙНИН — Новые документы о В. А. Старосельском	243
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
М. Рубинчик. Мгновения и время.— Е. Краснощекова. В процессе роста.— Б. Рифтин. За тридцать земель от Боккаччо.— Р. Орлова. Страна Грина.	250
<i>Политика и наука</i>	
А. Вебер. Уроки истории.— К. Тарновский. Бснапартизм, дума, революция.— С. Владимиров. Науковедение.— Мих. Цунц. Покорители Енисея.— Г. Ханин. Новое во внешней торговле.	263
КОРОТКО О КНИГАХ — Н. Г. Зорина, А. А. Савенков. В. И. Ленин — историк печати.— Э. Баскаков. Биографии гербов, флагов, гимнов зарубежных стран.— Л. А. Пинегина, С. А. Федюкин. Джекказган — город меди.— А. Рубинов. Отцы города.— С. А. Токарев. История русской этнографии (Дооктябрьский период).— А. А. Формозов. Памятники первобытного искусства на территории СССР.— Я. М. Свет. История открытия и исследования Австралии и Океании.— Физики шутят. Сборник переводов.— Миервалдис Бирзе. Песочные часы.— Мих. Кульчицкий. Самое такое.— Леонид Гурунц. Карабах, край родной.— Аделина Адалис. Дс начала.— Евгений Ратнер. Степь широкая.— Леонид Лавров. Из трех книг.— И. З. Суриков и поэты-суриковцы.— Джордж Майкл. Семья Майклов в Африке	278
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

С. ЗАЛЫГИН

★

СОЛЕНАЯ ПАДЬ

Роман

Глава первая

Иачиная с самой весны—потом все лето—громоздились над степью тяжелые облака, несли с собой обильные, урожайные дожди, а еще — тревоги.

Хлеба — на редкость урожайные сибирские хлеба осени девятнадцатого года,— уже тронутые рыжеватой сединой налива, как будто сдвинулись в сторону дальних и диких несеяных-некошенных трав.

И удивительно было, сколько же этот степной мир — с редкими деревьями, с частыми березовыми колками и сосновыми ленточными борями, с бесчисленными западинами пресных и соленых озер, с невысокими увалами,— сколько он может вмещать в себя забот и тревог? До каких пор он может это?

В селе Соленая Падь — богатом, базарном и церковном, известном далеко вокруг — кузнецы день и ночь ковали наконечники к пикам, обручи к самодельной пушке... Дымные, приземистые кузни, неприметные до сих пор, позабывшие самих себя, вдруг воспрянули из веков, из далеких-далеких времен.

Снизу доверху возваниями были заклеены деревянные столбы на крыльце обширной торговли купца второй гильдии Кузодеева — нынче главного революционного штаба. Их лепили одно на другое и рядом одно с другим.

Никто не боялся чых-то слов, все мыслимое было уже произнесено; торжественность обещаний, беспомощность призывов, бесчеловечность угроз потеряли и настоящее, и былое свое значение.

* * *

«Солдаты и крестьяне! — зывали крупные буквы на желтой выцветшей бумаге.— Всех вас зову я на общее дело! Солдаты должны рассеять те банды богоотступников, которые защищают гибельное для русских самодержавие народных комиссаров.

Крестьяне должны мешать продвижению большевиков и помогать нашей армии, идущей спасать наш умирающий народ.

Все мы должны свергнуть власть Советов, давших народу голод, войну, нищету и позор.

Спешите! Уничтожив самодержавие большевиков-комиссаров, вы, крестьяне и солдаты, тотчас начнете выборы в Учредительное собрание.

Я обещаю вам это перед лицом России и целого света. Порядок выборов в Учредительное собрание уже выработан, но война, которую ведут комиссары с армиями, спасающими родину, мешает нам избрать хозяина русской земли и навсегда наладить нашу жизнь так, как это решит сам народ.

Поднимайтесь же, крестьяне, которых вели на защиту родины и к победе Пожарский, Суворов и Кутузов, горожане, рабочие и купцы, которых поднял в смутное время Минин.

Я вас зову во имя России, во имя русского народа!

Вперед, на народных комиссаров! К Учредительному собранию!

К спасению России, к ее величю, счастью, славе!

Все поднимайтесь! Все вперед!

Верховный правитель и верховный главнокомандующий армией Колчак».

Сбоку и чуть ниже — другое:

«Братья-крестьяне села Соленая Падь и волости! Ваша и другие смежные волости превращены в очаг большевизма, у вас народился самозванный штаб, попирающий законы и человеческую совесть, уничтожающий крестьян, которые трудом и потом нажили свое состояние.

Братья! Опомнитесь! Сбросьте ненавистных комиссаров, казните их немедленно, передавайте их в руки правосудия, представляющего грозную и справедливую власть верховного правителя Колчака!

Встречайте хлебом-солью, христианским благодарственным молебствием вверенные мне верховным правителем войска,двигающиеся к вам с великодушно протянутой рукою помощи!

В случае же малейшего вашего сопротивления я прикажу всей силой оружия — огнем артиллерии, пулеметов, саблями и кинжалами, а также сожжением — стереть с лица земли села, поддавшиеся безрасудному пороку отступничества от святой веры и русского государства.

Так повелевает мне долг, и так будет совершено, дабы пресечь порок и не позволить ему погубить Россию!

Полковник Ершевский».

На другом столбе, напечатанное на картавой машинке — «р» было вписано от руки лиловыми чернилами, — висело объявление:

«Товарищи крестьяне!

Для освобождения Сибири от ига разных самозванцев: Колчака, Анненкова и других тиранов, для восстановления советской власти вы добровольно несете великие жертвы.

Ваши сыновья и братья сражаются в первых рядах революционных войск.

Сами вы по всей губернии прямо или косвенно участвуете в гражданской войне за счастье и волю.

Товарищи крестьяне! Снабжайте свою армию кожей, холстом, домотканым сукном и съестными припасами! Жертвуйте по силе возможности, помня об одном: от вашей дружной работы, от вашей солидарности и единства с революционной армией зависит успех вашего освобождения. Помните, товарищи, что эта борьба есть последняя борьба за освобождение трудового народа. И в ее успешном исходе — наше счастье, наше благополучие.

По окончании этой борьбы не будет ни разорительных войн, ни непосильных налогов, ни самозванных начальников.

Трудовой народ будет самостоятельным хозяином и творцом своей собственной жизни. Теперь же все, как один, дружно на помощь нашей революционной армии, нашим бойцам и семействам убитых героев-товарищей!

Агитационный отдел при главном штабе».

Наклеенные тестом воззвания были облеплены жадным роем мух, а на рассвете, покуда площадь бывала еще безлюдной, сюда являлись козы. Задирая рогатые головы, они глодали объявления, торопливо перемалывали бумагу на острых зубах.

Уцелевшие листы шелестели под ветром.

В утро, когда через Соленую Падь прокатились отдаленные артиллерийские раскаты, было наклеено еще одно объявление:

«Товарищи крестьяне! Все уже слышали сластолюбивые колчаковские слова и обещания. И угрозы слышали, и не надо нам еще угроз — мы и сами видим, как сластолюбивый Колчак жгет деревни, уничтожает взрослых и младенцев!

Артиллерийская белая расправа приближается к нам, товарищи! И она объявила нам, что мы больше не тыл нашей доблестной армии. Мы — ее настоящие бойцы и передовая позиция.

Каждый взрослый с сего 18 августа — боец!

Запомни это и пойми!

Народ, когда он приложит все свои силы,— непобедим, и мы завоюем победу для самих себя и для своих детей, сколько бы она ни стоила жертв!

Да здравствует победа народа и для народа!

Главный революционный штаб
краснопартизанской республики Соленая Падь».

Со всей степи, с дальних предгорий, с еще более дальних гор катились в Соленую Падь слухи.

Говорили разное: на помощь идет армия Ефрема Мещерякова...

Армия не идет — остановилась под Знаменской, даст бой полковнику Ершевскому на подступах к Соленой Пади...

Боя под Знаменской не будет — армия осталась в тылу у Ершевского...

Армия — неизвестно где, сам же Ефрем с тремя эскадронами идет в Соленую Падь. Примет главное командование...

Мещеряков Ефрем воюет с Колчаком скоро год, не проиграл ни одного сражения...

Родом он из села Верстово, Ефрем, с Нагорной степи, и еще задолго до войны верстовские мужики грозились его убить за корову.

Увел Ефрем корову зимой испытанным варначьим способом: обул ее в пимы, чтобы не оставляла на снегу следов...

Ладно — не убили тогда Ефрема. Кто бы теперь над армией командовал?

Шли дезертиры из колчаковской армии, рассказывали: Колчак деревню сжег под городом Омском. Всю сжег. Двора одного не оставил...

Говорили: полковник Ершевский просит у верховного подкреплений, а верховный пригрозил повесить полковника на омской площади, если безотлагательно не возьмет партизанскую Соленую Падь... Партизанскую Москву — так нынче и называли это село далеко вокруг.

А еще — все и каждый — говорили: если нынче не будет боя, тогда будет суд над Власихиным Яковом Петровичем.

* * *

И действительно, суд был.

Собрались на площади у штаба, все село собралось, приехали люди из Малышкина Яра, из Малой и Большой Крутинки, из Старой и Новой Гоньбы...

Суд уже шел, а подводы все тянулись и тянулись по дорогам, будто не было войны, будто белая артиллерия окончательно затерялась где-то в степях, среди увалов, ушла по одной из бесчисленных дорог куда-то в сторону, проглядев Соленую Падь, будто все окрест села и деревни получили обещание, что нынче они от боя с полковником Ершевым освобождены.

Шли пешне, ехали, вели разговоры...

— Сами судить будем... Кто на площади — тот и судья.

— Самосуд?

— И судить всеобще, и не самосуд, а по нынешнему закону.

— Ну, а если я крикну, чтоб стрелили Власихина-то? Я — отчаянный!

— Кричи. Кто тебя послушает?

— А как послушают?

— И очень просто — много нас, крикунишек-то. Посади меня за судью, так я то ли всех казнить велю, то ли освободить. У меня — середки нет!

— Кабы не судили Власихина — вот он бы был судья-я-а!

— Ты гляди, до чего народ дошел: сам власть назначает, сам за себя воюет, сам и судит, кого вздумает. Кто бы допрежь подумал?!

— Странно... То было — приедет начальник, я и видеть его не хочу. А тут сосед мой Игнашка — комиссар! Власть и властелин! И каждый божий день на меня через мое же прясло гляделки растопыривает. А ведь он мне, властелин этот, два целковых с тысяча девятьсот десятого году, с Моряшихинской конской ярманки, должен и не отдает, гад! Ну, как надоест он мне — я его звякну чем? И уже вышло — я не Игнашку, а власть звякнул?.. Я тебе скажу: мне больше глянется, когда баба рядом, а начальство — где подальше. Ну, пушай покажется на глазах, пострашает меня, в казну что отберет, ну, а после чтобы я обратно его ни сном, ни духом не видел!

— Не то время. Время — до мировой революции рукой достать. И нынче мы ее, мировую, сделаем, а завтра она нас, мужиков, сделает людьми. В корне изменит нас.

— Кого изменит, над кем — надорвется. У нас на выселке — Мишкишка Журавлев. Нога деревянная, к службе негодный, а бабү бить, самогонку жрать — это он разве что после третьей мировой бросит. Раньше — от его не жди!

— У этого — нога деревянная. А другой — весь деревянный, с ног до головы и обратно. На вид — человек, а сознательность его сроду не прошибет.

— Деревянному — удобней жить. Износу нет.

— Все одно когда-то начинать на людей переделываться. С добра не начинается это, начинается с беды. Ну, а пуще Колчака беды в Сибири не бывало еще.

— Вот и надо сделать: Власихина Якова шашкой махнуть!

— Ты дурной либо из деревянных?

Суд шел по закону и порядку, утвержденному на этой же площади две недели назад.

Председатель суда Иван Брусенков — начальник главного революционного штаба. Члены суда: сельский комиссар Лука Довгаль, по

прозвищу Станционный (многие годы работал стрелочником на станции железной дороги), заведующий отделом призрения главного штаба Колюмиец, четыре заседателя, избранные тут же, на суде.

Протокол вела женщина из главного штаба, может, и девица — совсем еще молоденькая.

Судьи сидели за столом на просторном крыльце, левые руки у всех повязаны широкими красными лентами.

В углу крыльца вооруженный партизан стоял подле красного знамени Соленой Пади, в другом — за крошечным столиком сидела секретарша. А сбоку от судей возвышался чернобородый Власихин Яков Петрович, внимательный к любому — и к своему и к чужому — слову. Похоже было — не его судили, он судил.

Председатель спросил: признает ли подсудимый состав суда законным и правомочным?

Он ответил, что признает:

— Свою руку подымал, когда затвердили нынешний революционный суд.

Зачитали обвинение — Брусенков зачитал, громко и ясно произнося слова, подавшись из-за стола вперед.

Голос у Брусенкова сильный, и сам он — с короткими ножками, но высокий и поджарый в туловище, с лицом, сильно изрытым оспой, — какой-то неожиданный. Что сейчас человек этот скажет? Нельзя угадать. Он еще парнишкой бегал конопатым по деревне, а старики уже говорили: «Вострый будет мужик...»

Нынче Брусенков был строг, из-под маленьких детских бровей глядел настороженно, обвинение читал старательно, подставив под бумагу потрепанный картуз, то и дело одергивал длинную черную рубаху не очень свежего сатина и черную же опояску.

Когда кончил читать, снова спросил: признает ли Власихин Яков себя виновным?

И Власихин ответил, поглядев сначала на лица судей, после — в толпу, на площадь:

— Виновный я перед людьми...

Обвинение было такое:

«Власихин Яков Петрович, житель села Соленая Падь, тысяча восемьсот пятьдесят первого года рождения, обвиняется революционным законом в следующем: при объявлении мобилизации в Красную народную Армию он, Власихин, в ночь на августа девятого числа сего, девятнадцатого года, увез двух сыновей своих, Якова и Николая, в неизвестном направлении и спрятал, дабы уклонить старшего из них, Якова, рождения тысяча девятьсот второго года, от указанной мобилизации, второго — Николая — по неизвестной причине.

Вернувшись в Соленую Падь, он, Власихин Яков Петрович, в ночь на 15 августа явился немедленно в сельский штаб и заявил сельскому комиссару товарищу Довгалю Луке Ивановичу о содеянном, после чего был взят под стражу. Местонахождение своих сыновей назвать отказался, указав только, что пересек линию фронта и спрятал их в урмане, откуда они не смогут в скором времени возвратиться и не могут быть найдены и мобилизованы ни красными, ни белыми властями. Все указанное действие его, Власихина, от начала до конца является тягчайшим преступлением против народа и подлежит революционному суду народа».

— Значит, каешься?! — крикнул Власихину с площади чей-то удивленный, уже немолодой голос.

Власихин и на этот голос обернулся, подождал, не крикнет ли с площади еще кто.

— Не каюсь, а признаюсь...— Расстегнул белый холщовый ворот, обнажив неожиданно седую грудь. Сам он был черный, смоляной, а годы его, почти полные семьдесят лет, вот где отпечатались — на груди.

Жаркий был день.

Далеко на взгорье минуя церковную маковку, а совсем вблизи — железную, покрашенную в зеленое кровлю двухэтажного дома купца Кузодеева, нынче помещения главного штаба, на площадь, на головы и лица людей падали густые солнечные лучи. В этом густом и желтом потоке время от времени проскальзывали лучи совсем светлые, молодые, как будто народившиеся не от августовского летнего солнца, а от весеннего — майского, а то и апрельского, как будто не с запада смотрело солнце на землю, а только еще подымалось с востока. И похоже было, Власихин заметил этот особенный свет — улынулся. Глядя на него, и другие мужики тоже расстегнули вороты домотканых рубах.

Иван Брусенков поднял руку с красной повязкой.

— Вопросы от народа подсудимому не ставить! Сперва их будет ставить суд! — И сам спросил: — Объясните, подсудимый Власихин Яков Петрович, когда вы сознательно признаете свои действия как направленные против народной власти, почему же вы совершили их?! Почему, не глядя на свою же собственную сознательность, совершили?

Власихин собрался с мыслями.

— Правильный вопрос... А совершил — потому что не думал в то время, хорошо ли, плохо ли совершаю. Бессмысленно мне было под самого себя подбивать закон, хотя бы и того справедливей был закон, того правильнее... Когда бы я не сделал своего — народ бы меня сейчас не судил бы, нет. Судил бы я самого себя, и осуждение я сделал бы себе до того края, за которым у меня жизни уже не было бы. И какой бы мне ни был решен нынче народом приговор, какой бы он ни дал, народ, отзыв на мое действие — отзыв этот все одно будет мне легче, чем собственное мое осуждение.

И опять Власихин глянул на площадь.

Он знал — судить его не просто. Трудно и тяжело было его судить...

Двадцать пять лет служил Власихин солдатскую службу. И пока служил — отписывал землякам письма.

Просились в общество переселенцы из разных российских губерний — общество спрашивало у Власихина, а он письмом отвечал, принять либо отказать в просьбе.

Напала на деревню нездешняя, незнакомая хворь — солдат уже шлет письмо, как от хвори той лечиться.

Вышел спор с малышкинскими мужиками на сенокосной грани — его же спрашивают: какие у Соленой Пади имеются права на спорную землю, не помнит ли служивый, в каком году и кто пробивал ту между?

Вернулся Власихин с долгой и дальней своей службы — его всей деревней встречали, и советчиком он стал всей волости, всему уезду. Везде его знали, отовсюду шли к нему. Он жалобы и прошения писал — городские писари против него ни умом, ни умением не выходили, он по крестьянским делам в Петербурге у министров был, а сколько раз в губернском городе — счет потерян.

Мужикам Соленой Пади соседние деревни завидовали:

— Нам бы вашего Якова Петровича!

Нынче Яков Петрович стоял перед судом...

— Ну, ладно, — задал ему вопрос Лука Довгаль, сельский комиссар Соленой Пади, — старшего сына ты увез в урман и спрятал от родной военной службы. А младшего зачем? Для какой цели?

— К подсудимому обращаться по закону, — быстро сказал Брусен-

ков.— То есть говорить ему «вы». Понятно, товарищ Довгаль? Понятно всем, товарищи присутствующие?

Довгаль кивнул, будто за всех, и чуть оробел от замечания, а еще оттого, что сам понял — вопрос он задал, будто чего-то стеснясь, будто жалея Власихина. Чтобы никто о нем этого не подумал, он встал за столом и, повысив голос, потребовал:

— Отвечайте, подсудимый, на заданный вам судом вопрос!

Но Брусенков снова Довгалья поправил:

— Голос на суде не подымают. Говорят ровно и гладко, только чтобы все слышали. Не более того.

Власихин молчал. И на площади люди молчали. И за столом суда — тоже.

...Когда вернулся из солдат Власихин, он вернулся не один — привез с собою девочку.

Тихая была девочка, хотя и проворная, с тоненьким голоском, с большими, всегда открытыми, но незрячими глазами. Слепая была и сиротинка. Прибилась к нему еще ребенком, из солдатского котелка они сколько лег вместе щи хлебали, кашу ели...

И очень она была ему под стать, бобылю,— и семью заводить не надо, поздно уже заводить, и хозяйка в доме — за скотиной ходит, стоготовит и зашьет, к празднику в избе уберется.

А потом вот что случилось: она ему двух сыновей родила. Одного за другим. Обоих сразу и грудью кормила — и ползунка и колыбельного.

Сначала от Власихина народ сильно отшатнулся, особенно женщины, до того это было неожиданно. Но они же первыми с новостью примирились, привыкли к ней. Да и мужики тоже — наверное, даже меньше его уважали бы, Власихина, если бы не тот случай: Власихин и в самом деле должен быть не как все. Не обыкновенный ведь он мужик!

К тому времени Власихин получил большую часть хозяйства умершего старика отца — отец его жил за сто, и похоже было, сын проживет не меньше.

С девочкой-слепушкой он обвенчался; парни подрастали. Хозяйствовал он больше с помочами, сам же день и ночь занят был делами общества. Сколько его ни просили, он так и не согласился на должность: ни волостным старшиной, ни в Кредитное товарищество — никуда, но от общественных дел не отказывался ни словом.

Но не удавалась ему жизнь, не удавалась, и только,— лет десять назад погибла его девочка-жена.

Глупо погибла — вышла в масленицу из дома, а по улице мчалась шальная тройка. С лентами, с бубенцами, с пьяными гуляками в кошевке.

Метнулась от этой тройки слепая, но не в ту сторону — под коренника угадала.

Хворала долго, а когда умерла и хоронили ее, женщины выли, будто у каждой собственный ребенок погиб. Оказалось — все любили ее, все будто света в окошке лишились.

Вдовец же Власихин, как в разных рассказах бывает, а в жизни редко, ходил на могилку слепенькой каждый день, не женился, даже няньку не брал в дом, а воспитывал-выкармливал мальчишек своих, любил их бабьей любовью и только что по улице за ручки не водил по-городскому.

После отдал старшего в обучение купцу Кузодееву. До первой революции Кузодеев держал в Соленой Пади и в окрестных селах большую торговлю, а вскоре, как народилась советская власть, бежал на

Восток, говорили даже — в Китай, потому что при конфискации у него магазина оказал вооруженное сопротивление.

От Кузодеева и учился старший Власихин-сын и выучился не одному только торговому делу — не скрывал он своей приверженности к хозяину, а когда объявился Колчак, то и Колчака величал «верховным».

Младший же Власихин, Николай, тот силой рвался к партизанам, умолял взять его в народную армию, когда отказали по малолетству — сам напрашивался стоять в караулах у поскотины либо у помещения штаба.

И тогда отец, чтобы не шел брат на брата и сын его на его же сына, увез обоих в урман, поселил в какой-то скит либо просто в охотничью заимку.

Так было...

Теперь, когда Лука Довгаль допрашивал Власихина — зачем он и младшего своего сына, непризывного возраста, тоже схоронил от людей, — вопрос не только самого Власихина смутил, на всей площади люди притихли. Долго и терпеливо ждали, что Власихин в ответ скажет.

Он сказал:

— Сколько я людям служил — тут не смог. Тут самому себе сослужил, и сразу же против людей это вышло...

От маленького столика поднялась девушка-секретарь и, обращаясь к Брусенкову, заявила:

— Товарищ председатель! Подсудимый дает ответы весьма неопределенные! Нет никакой возможности занести такие ответы в протокол судебного заседания!

По виду она была совсем городской — девица, в ситцевом светлом платье, с непокрытой темной головой. У нее было сосредоточенное выражение лица, и выражение это, и чуть заметное замешательство, с которым она выговаривала строгие слова, к ней располагали, но не настолько, чтобы сразу же и простить ей ее нездешний вид, а главное — должность. Девке ли в суде писать?! И в каком суде! Над каким мужиком!

— Напишет — после концов не сыщешь по написанному!

Брусенков услышал и это замечание, встал и еще старательнее, еще громче сказал:

— Секретарь суда, член главного революционного штаба Освобожденной территории товарищ Таисия... — хотел назвать девицу по отчеству, но отчества не вспомнил, — товарищ Таисия Черненко предъявляет к подсудимому по закону. Она правильно предъявляет: это не ответы на вопросы, гражданин Власихин, а личное ваше выражение, вовсе негодное, чтобы записать его в протокол. Прошу относиться к себе, как к подсудимому, и к суду, и ко всем присутствующим товарищам со всей законностью, а не просто лишь бы как...

Власихин кивнул. С замечанием согласился.

— Далеко не каждое слово на бумагу ложится. — Обернулся к Таисии Черненко. — Запиши так... Зная, что действую противу закона, я все одно увез обоих сыновей своих из желания охранить их от войны... Охранить от войны... Так и будет ладно. Для записи.

Еще задали вопрос Власихину. Один из народных заседателей спросил его:

— Ты, Власихин, знал — на преступление идешь. На что наелеялся? Что суд окажет тебе снисхождение? Или — как?

— Надеялся, суд не вражеский. Не колчаковский. Надеялся, каждый судья не только что меня — себя будет судить.

— Это как?

— Судья не только другого, но и себя судит. Над собою чинит суд, над совестью своею и человеческим понятием. Себя на подсудимое место ставит, а вовсе не потому судит, что сильнее, что зубов у его и когтей больше, как у подсудимого.— Обернулся к Таисии Черненко и снова пояснил: — Запиши, барышня: подсудимый объясняет, что надеялся на справедливый и человеческий суд. Крепко надеялся!

— И тебя, Власихин, этот суд совсем особо поймет и особо оправдает, хотя бы и против закона? — подсказал Брусенков, забыв, что требовал обращаться к подсудимому на «вы». Подсказал и улыбнулся.

Но Власихин подтвердил серьезно:

— Так... Особо поймет и особо оправдает. Именно!

— С умыслом, значит, сынов от народу прятал?

— Не с умыслом, а с надеждой. С надеждой, что нету возможности братьям родным воевать между собой, потому что один — белый, другой — красный.

— Ты гляди на его-о-о... — сказали на площади удивленно.

— А что? — снова откликнулся Власихин и на этот возглас. — А что? Я свою жизнь сколь мог, столь и делал миру добра. Так неужто мир про это забудет нынче? Мало его слишком, добра-то, чтобы забывать. Когда его вовсе забудут, то, может, как раз миру и крестьянству всему конец сделается?! А я не верил в это! Нет, не верил в конец-то... Народ восстал. Он же — за справедливое восстал! Не ради же того, чтобы и то малое добро, которое в жизни есть, в грязь втоптать? Запиши, дочка: подсудимый доказывает, что, когда бы он не верил суду и справедливости, он запросто со своими сыновьями в урмане скрылся бы, а не явился за судом над самим собою. Однако он, Власихин Яков, явился — не мог без суда прожить.

— Значит, за святого перед нами желаешь выйти за дела свои? За престольного, храмового святого либо за апостола?

— Святым не был. А когда у другого была сильная беда, он не к попу шел — ко мне. И я тоже не к попу иду, а к народу. Я в народ верующий. Какой он ни есть, народ, но верить больше не в кого, как в его. Это и на бумагу ляжет. Ясно и понятно ляжет: верующий! Про себя я об этом могу хотя какую страшную клятву дать. Но и клятва ненужная здесь — вместо нее и пришел я сюда, на этот суд. А еще хочу спросить товарища главного над собою судью: он-то верующий в народ? Одной мы с им веры либо — разной?

— Подсудимый Власихин! — поднялся Брусенков. — Здесь суд, а не церква! Мы не исповедь принимаем, а судим вас. По революционному закону и судим. За совершенное преступление.

Почти одновременно с Брусенковым поднялась Таисия Черненко — теперь она сама хотела задать вопрос подсудимому, она торопилась задать его, перебила Брусенкова:

— Скажите, подсудимый, вы читали книжки писателя графа Толстого?

— Разных я читывал. И когда в солдатах, и когда по чистой вышел. И графов Толстых читывал, и простых.

— Значит, вы принимаете философию графа Толстого? Так?

— Разве про то речь, барышня...

— Подсудимый! Народный суд, он — народный и революционный. Без барышень и без дочек. Учтите и обращайтесь к суду по закону! — снова сказал Брусенков строго, а подсудимый уже вел разговор с людьми на площади.

— Ты власть советскую признаешь? — спрашивали его.

— Суд признал от новой власти. Которая — за советскую. А как бы самую-то власть не признал?

— Боишься ее?

— Не боюсь. Я никакой власти не боюсь!

— Это как?

— А много я власти видывал. И цену знаю ей. Двадцать пять годов в солдатах и каждый день, да и в ночь еще на нарах — она всегда с тобой рядом, власть. Каждый день давит тебя законом, а для себя закона не знает. Хотя бы установили навсегда: один закон для народу, другой — для власти. Вовсе бы для ее другой закон, вовсе легкий! Нет, власть и этак не хочет. Ей сроду никакого закона не надо! Не хочет она его!

— Ты это — про царскую или про советскую?

— Советскую не успел углядеть, коротко она была у нас. Но — народ за ее с надеждой. А я — за народ.

— А может это — чтобы народ был и чтобы он же был власть?

— Товарищи! — крикнул Брусенков и еще громче крикнул: — Товарищи! Этого же нельзя забывать, что у нас здесь суд! Мы текущий момент с подсудимым обсуждаем либо как? Мы до какого времени будем тут заниматься? Может, куда беляки нас всех не переколют?! Военное же время! Призываю к порядку! Тише!

И он застучал кулаком о стол, а на крыльцо взобрался однорукий Толя Стрельников, командир ополчения Соленой Пади. Он всегда был своевольным, Толя Стрельников, всегда любил на народе пошуметь, а когда вернулся с фронта с культей на месте левой руки, то уже и в самом деле умел призывать, речи говорить. Его слушали и, культяпого, выбрали командиром ополчения, а когда выбирали сельского комиссара, то он совсем немногим меньше получил голосов, чем Лука Довгаль.

Взобравшись на крыльцо к самому столу, за которым сидели члены суда, Толя взмахнул единственной рукой и, заглушая поднявшийся шум, прокричал Брусенкову:

— Ты, председатель, на народ по столу не стукай! Народ сюда прибыл не для того, чтобы ты — раз! два! три! — до трех сосчитал, а все бы глазами только сморгнули! Не фокус в балагане пришли глядеть — человека судить. Якова Власихина, вот кого! Должен я знать человека до конца, когда я сужу его, или не должен? Может, мы его стрелим, а мыслей его уж не узнаем сроду! Что касается ополчения — оно выставленное на всех дорогах, и это уже не твоя забота! Ты хотя и власть, но чисто гражданская, а за караулы отвечаю ныне я!

— Дисциплину под себя подминаешь, Толя, вот я о чем! — миролюбиво, даже как-то ласково увещевал Брусенков Стрельникова. — Ты пойми!

— А вместо дисциплины личный анархизм тоже не вводи! Мозги у каждого собственные, а ты, когда засомневался в вопросе, ставь на голосование, не только на себя и надейся! Это когда нас пятеро или четверо, а тут же — народ!

— Ну, не перебивай же, товарищ Стрельников, еще предупреждаю! В правилах для Освобожденной территории — иначе сказать, для нашей республики — ясно записано: собрания проводить правильно, ораторам выступать по одному. А ты самого председателя перебиваешь!

— А я тебя не перебиваю. Я — укорачиваю!

— Командир — должен бы порядок понимать. У кого еще вопрос? Толя Стрельников не уступал:

— Он и есть все тот же вопрос: может ли быть народ сам над собою властью? Отвечай. Власихин!

— Это правильный идет суд! — поддержал Толю Стрельникова Власихин. — Гляди! до края — кто на подсудимой скамейке, какой че-

людей? Не с одной стороны его обглядывают. Пущай меня народом допросят, а дойдет — я ответить не смогу, для людей слов у меня нет, я и об этом, не скрываясь, скажу. Когда же меня народом допрашивают, я и высказаться должен тоже до конца. И я скажу: испытывались уже многие народы, на этом испытывались, чтобы самим собою управляться, но по сую' пору ни у кого добром не кончалось. Не было такого случая!

— А нынче — может случиться?

— Нынче — может...

— Почему так?

— От большой беды уходим. И да-алеко от нее должны уйти, чтобы она к нам вновь и еще сильнее не пристала! Всё должны наново переменить, всю свою жизнь. Сможем ли? Одно знаю — другого исхода у нас нынче нет!

— Гляди, Власихин-то за пророка робит!

— А ты слушай знай. Слушай, не гавкай!

Власихин и здесь понял, что на площади говорится, откликнулся:

— Какие нынче пророки? Их вот делали-делали для народу, святых-то, а они взяли да против народу же и пошли!

— Ни святых, ни власти — мужицкий бунт до края! Так, что ли?

— Не так! Народ бунтует — а почему? Не против власти вовсе, а ищет власть, чтобы к ней прислониться. Он спит и видит власть, чтобы она от справедливости происходила и сама для себя закон блюла... Ведь как мы сами с собою управимся? Как в самих себя верить будем, долго ли? В себя и ни в кого больше верить — отчаянность страшная! Покуда не погрешил, не обидел, как младенец свят — это просто. Они потому, младенцы-то, ни бога, ни власти не знают, что сами святые. А вот в себя в несправедливого верить, беззаконием закон устанавливать — это как? Своим собственным умом каждый час, каждый день, и ничьим больше?

— Мужики! Народ! Он — контра или кто?

Вскочил с места Лука Довгаль Станционный и, не обращая внимания на председателя, прокричал:

— Скажи, подсудимый, а рабочего ты признаешь? Есть для тебя святой лозунг: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — или нет? Не существует он для тебя?

— Для меня нету его.

— Тогда объясни, почему нету?

— А что городской тот рабочий? Не хозяин он на земле. Он — как тот сапожник: настоящему мужику сапоги изладить, и все! Что ему прикажут, то и сработает. Работает, а работы не видит. Сделал гайку, куда она пошла, зачем и кому — у его капли заботы нету, хотя ты выкинь ее в отхожее место — абы уплачено было. Он какую хошь вредность фабричную делает — отраву, газов, чтобы людей на фронте, ровно мышев, травить — ему все одно. Лишь бы жалованье шло. У меня труд — он не выдуманный, он с человеком вместе рожденный. Ты не плати мне вовсе — я все одно буду сеять, хотя бы для себя, когда не для продажи. Это — труд суший. Труд, а не нанятая работа! А у него — какой это труд? Служба, а не труд! Он свободу от капиталиста провозглашает, кричит, будто свободу несет! А кто его, капиталиста, произвел? Крестьянин или кто? Он же, рабочий, его и произвел своей службой, вовсе не я, мужик! Это не от меня, от его пошло, что все продается и покупается — все! Он — нужен, рабочий. Без его нельзя. Понятно. Но почто его надо плодить по земле без конца и краю?

— Вот здесь ты провозглашаешь гибель народу,— снова заговорил Довгаль,— когда хочешь мужика от рабочего отколоть. Товарищи, я это особо говорю, чтобы все слышали: высказался до самого конца подсудимый! У народа один варвар — Колчак, а кто против рабочего либо против крестьянина — тот враг обоем! Нельзя представить, сколько нынче рабочий приносит неисчислимых жертв, когда борется с Колчаком на железной дороге и в мастерских, а у нашего подсудимого такие слова на уме. Позор и несчастье, когда мы поверим ему! В этих его словах — полный конец мировой революции заложен! Он ее, мировую, убить хочет, когда она — еще младенец! Предать и убить, как тот иуда! Товарищи! Пролетарию — ему держаться больше не за что, только за правду и справедливость! У него нет другой приверженности, у него голова не затуманена личной собственностью. В нем, в каждом, — сердца мильонов и мысль мильонов живет и трепещет! Он не так себя слышит, сколь голос масс, и надежду масс, и веру в великое будущее слышит он в каждую минуту! Забота у него не о себе — о трудящемся народе, сколько есть его на свете! Или пролетарий не сознает, что без мужика — ни государства, ни народу нету? Или забыл, что вся страна от мужика пошла? Или позволит когда мужику погибнуть? Ничего такого не будет сроду и не может быть, потому что это для самого же пролетария — гибель, и для всех людей — гибель! Почему же тогда мужик Яков Власихин, наш подсудимый, замахивается на пролетария?

Небольшое аккуратное лицо Довгаля покраснело, голос у него дрожал, он вышел из-за стола и наступал на Власихина, и Власихин как будто только сейчас понял, что его судят, и отступил вдруг, оторопел. Довгаль же произнес уже тише и спокойнее:

— Когда пролетарии всех стран не то что личное, а всяческое различие между собою ликвидируют и, будь то татарин либо француз, все нации соединятся в одно пролетарское целое — это какая же получится сила? И какая правда? И какая настоящая жизнь пойдет вместо нынешней подделки? Вот к чему Власихин глухой оказался — к правде всех правд, к справедливости всех справедливостей! Вот почему он и сынов своих спрятал от священного долга мировой революции, навсегда опозорил их! Мы не только что от себя — от имени его детей его судим! И нам власихинская справедливость не нужна — нужна своя собственная! Ясно и понятно!

— Товарищ Довгаль, высказался? До конца? — спросил Брусенков.

— До конца!

— Какую же ты после всего предлагаешь меру подсудимому?

— Народ скажет какую... — проговорил Довгаль. — Скажет ясно и понятно...

— А меру надо было тебе высказать, Лука! — сказал Брусенков Довгалю, когда тот сел за стол. — Говорил ты ладно, но не до конца. Он ведь крепкий, Власихин. Ты, может, и не знаешь, какой он крепкий! Его сперва надо отделить от его же слов, от всяких воззваний, как овечку от стада. После уж, когда он один останется...

И Брусенков поднялся и громко повторил то, на чем кончил Довгаль:

— Ясно и понятно! — повторил он. Замолк на минуту.

— Он-то непонятный, Власихин сам... — сказали на площади.

На этот голос тотчас отозвался другой:

— Стрелить его — враз понятный делается!

Брусенков подтянул рубаху, поясok на поджаром своем туловище, поднял руку. Откашлялся.

— Товарищи! Правильно было сказано — уже понятно все. Но как обвинительная речь поручена мне...

Огибая дом главного штаба, появился верховой с берданой за плечами. В нем тотчас узнали дозорного со Знаменской дороги:

Дозорный спешился перед крыльцом, бросив повод на шею невзрачного пегого мерина, и, припадая на одну ногу, приблизился к Брусенкову. Должно быть, эта неровная походка пожилого, не совсем здорового человека и торопливость, с которой он двигался, весь его значительный вид тотчас объяснили, зачем он прискакал, почему спешит.

Он не сказал ни слова, а на площади уже закричали:

— Мещеряков прибыл!

— Главнокомандующий!

— С армией или как?

— Так точно, Мещеряков, товарищ главнокомандующий прибыли! — громко отрапортовал дозорный на всю площадь.

— Видел его? Сам? — спросил Брусенков.

— Как тебя вижу! Стал на Увале... Оглядывает местность и коням дает отдых. Сейчас кварталный его будет, после, ввечеру, придут сами.

— С армией? Или с отрядом только?

— Может, и не с армией. Но — много их. Вершние все. Вооруженные сильно!

— Тогда беги назад, встречай квартирмейстера его! Быстро чтобы! Дозорный отдал честь, не очень ловко вскарабкался на меринка...

— Судить будем? Или Мещерякова кинемся встречать? Аж на Увал? — спросили с площади, но вопрос уже запоздал.

— Ур-ра Мещерякову!

— Ур-ра товарищу!..

— Дождались Ефрема! Дождались ведь! — кричали на площади, и толпа таяла, устремившись в переулочек в направлении Знаменской дороги.

— Товарищи! Граждане! — крикнул Брусенков, размахивая картузом. — Будем приветствовать товарища Мещерякова своей дисциплиной, то есть закончим наш суд! Поймите все — суд должен идти и дальше, как до сих пор он шел!

— Мешкать-то к чему? Старики! Куда подевались?! Бегите по избам за хлебом-солью!

А Брусенков тоже кричал все громче и громче:

— Пусть которые пойдут, приготовятся к встрече! Но масса-то, товарищи, масса-то — она же здесь должна завершить свое дело!

— Корову, старики, может, обуем, да и выведем ее встречу на Знаменскую дорогу? — прогудел сильный насмешливый бас и тут же получил ответ:

— А это кто гудёт? Какая контра?

Власихин тоже крикнул «ура», но крик его обернулся на шепот... Он подался было с крыльца — маленький конвоир преградил ему дорогу. Заслоненный фигуркой конвоира чуть выше пояса, Власихин вытирал на лице пот и улыбался странной, растерянной улыбкой.

В одно мгновение он оказался забытым и толпой и судом и как будто сам о себе забыл что-то — хотел и не мог вспомнить... Поглядел на Довгаля — тот, не успев еще остыть от своей суровой речи, уже чему-то смеялся.

И только один человек о Власихине не забыл. Брусенков не забыл о нем.

Он и конвоиру дал знак, чтобы удержал Власихина на крыльце, и во что бы то ни стало снова хотел сделать из толпы суд:

— Товарищи! Граждане! Какой может быть революционный порядок, когда мы ровно дикие сделались? — спрашивал он с надрывом. — Поглядите на себя, товарищи, ведь вы же — суд!

— Товарищи! Граждане! Главный революционный штаб Освобожденной территории призывает вас... Или мы уже всякую сознательность потеряли перед лицом собственного подсудимого врага?..

Все гудело кругом.

Брусенков постоял молча, потом обогнул стол, за которым не осталось уже ни одного члена суда, и сел. Не очень громко сказал:

— Суд над врагом народа Власихиным Яковом продолжается. — А когда стало чуть тише, повторил снова и громче: — Суд продолжается! И еще предупреждаю: как суд совершит свой приговор, хотя бы каким числом голосов, так он здесь же, не сходя с этого места, исполнит его... Ввиду военного времени.

— Здесь? На площади?! — переспросили Брусенкова.

— Здесь и будет... — подтвердил он. Одернул на себе рубаху, подтянул пояс, потом поднял руку. — Много уже говорилось, говорилось морально, а я напомину белую артиллерию и спрошу: кто ее нынче не слышал? Все слышали, и никто не может тот грохот забыть. И когда мне была поручена судом обвинительная речь, то я обязан сказать... Сказать, что и как происходит, потому что нету нынче в жизни момента, чтобы мы проходили мимо бессознательно... И вот я спрошу: когда верховный Колчак погнал наших детей под ружье — что мы, старослуживые, сказали ему? Мы сказали: сами пойдем и не в первый уже раз бросим семьи на произвол, но детей не отдадим! Война, пусть она и страшная, все ж таки война, пока солдаты с солдатами воюют. Когда же, мало того, дети идут на убой — это гибель народу, и сердце человеческое не может стерпеть, когда знает, что его муки еще и детям перейдут! И нету такой власти — это уже не власть, а одно злодеяние, — которая бы и отцов и детей гнала бы на гибель, и нету того народа — это уже не народ, а рабы сплошь, — который бы такую власть над собой терпел! Вот что мы сказали Колчаку, но его верховного ума не хватило народ понять, а хватило призвать таких же, как сам он, иностранных тиранов, которые только и знают кричать, что они спасают русский народ, не глядя, что народ не чает, как бы спасителей этих заколотить навеки в гроб... Ну, а после того? После я сам сделал над собой, что никакая власть сделать была не в силах, — послал сыновей воевать. Объяснил: может, Колчак в нашей Соленой Пади двадцать только молодых рекрутов и взял бы, остальные бы дома остались, и вы тоже, может, остались бы, а сами мы своею рукою ребятишек голопузых и тех в караулы посылаем. Колчак в Знаменской шесть дворов пожег, девять человек зарубил, а мы поднялись воевать — может, и Знаменская и Соленая Падь до последней избы очень просто сгорят... Как же получилось? Как могло произойти? А так произошло, что по-другому народ нынче уже не может, ибо перешагнули через его терпение! И я не скотина, чтобы мимо такого же, как я сам, на казнь вели мужика, а мне бы забота — травку щипать! Может, в другом государстве терпения этого больше — мой час настал! Другого исхода нету, как навсегда, любыми жертвами, избавиться от дикого тиранства, не ждать больше, когда из тебя то ли каплю по капле, то ли за один раз всю кровь прольют, из всех стран кровопийцам в окончательное растерзание тебя отгадут! Вот как я и любой другой на моем месте объяснил сынам, а которые молодые, так и сами по себе еще лучше отцов и дедов все до края поняли!.. Это обще, а нынче я перехожу к подсудимому...

Быстро-быстро Брусенков скользнул взглядом по фигуре подсудимого, заметил, что он растерян... Растерян, и началось это у него с речи

Довгала Станционного, продолжилось, когда толпа осталась судить его, далеко не вся кинувшись навстречу мешеряковскому отряду, а сейчас Власихин ждал решительного удара... Сосредоточенно ждал, вникая в каждое слово обвинительной речи, догадываясь о том, куда эта речь ведется, чем кончится.

Власихина никак нельзя было взять да засудить, вынести ему приговор — его надо было прежде сломить, чтобы он если уже с приговором не согласится, так не смог бы ему и противостоять, не смог бы пойти на смерть с убеждением, будто прав он, а не судьи его. Еще задолго до суда Брусенков знал, какая предстоит ему задача — сломить апостола этого на глазах у народа. Знал и надеялся не только на себя, но и на Власихина — что тот, не найдя слов оправдания, не скроет этого перед людьми, не смеет, не сумеет скрыть.

И вот чувство растерянности Брусенков уловил наконец на лице подсудимого, заметил, как тот провел рукой по кудлатой своей голове.

И еще заметил, что по переулкам кое-кто из народа стал возвращаться обратно на площадь...

— Перехожу нынче к подсудимому, — снова повторил Брусенков. — Товарищи! Мужика каждый обманывал. Поп сколь меня обманывал, и царь, и Колчак, и всякая мелюзга обманула меня прошлый год весной, я и позволил той мелюзге советскую власть спихнуть. Но больше всего обидя мне — когда меня свой же, только шибко умный мужик обманет. И не Кузодеев-миродед — с того что и взять, тот всем и каждому известный, — а мужик, которому я верить привык, как честному. Тот мужик благодаря своего ума должен бы сказать в свое время совет: ты, Иван, либо ты, Марья, детей на царскую войну не отдавай, хорони, как можешь, в урман куда увези. Глядишь, кто бы и сделал в то время, понял бы, что война — она глупая, кровопролитная и ничего человеческого в ей нет. Кержаки, староверы, не отдавали же детей в службу! Не чужие их научили, свои, истинно свои люди. Но нашего, сказать, умницу призыв в ту пору не касался, его детки малые еще были. Вот он и молчал... Он и прошлый год, такой умный, не говорил нам советскую власть спасать и беречь. Которые и поменее грамотные, и поменее у них было ума — говорили. Не боялись, что мужики им не поверят, а временщики всякие расстреляют. А ведь ему — умному-то — как раз и поверили бы, как раз и не стрелил бы его никто: он же в апостолах средь народу ходил! Мы за это не судим. Не имеем прав. Когда добьемся — закон сделаем совестью, а совесть законом, — тогда и за умолчание правды суд тоже будет. Недолго уже ждать осталось. Вовсе недолго. А покамест все одно случается вывод: народ нашему подсудимому нужен, чтобы быть среди его первым и почетным, но с народом беду делить — на это его нету! Когда народ потребовал службы и жизни — то он пошел и обманул. А когда так — мошенник он и вор нашей действительной свободы. Вот он кто!

И снова Брусенков бросил взгляд на Власихина и теперь уже уверился: погиб Власихин. Конец ему...

Но речь кончить Брусенков еще не хотел. Покуда стоит рядом подсудимый, вытирает пот с лица и глядит куда-то далеко, а на самом деле никуда не глядит, ничего не видит, потому что повержен он, — в это время и объяснить и втолковать людям мысли самые главные, на которых все держится и держаться будет, за которыми встает уже победа правого дела.

И снова спросил Брусенков:

— Мы за что боремся? Боремся за свободу, равенство и братство. И мы уже на сегодняшний день имеем великую победу — равенство мы имеем! У меня стеснения нет про себя сказать, про товарища Довгала

либо про командира Стрельникова: мы власть гражданская и военная, а что у нас за этим? Какая корысть? Жалованье нам идет? Личное облегчение выходит? Нет ничего и не может быть, потому что когда бы появилась корысть — то я уже не народная, а та же самая власть, против которой народ и пошел. Нам всем война наша эту великую победу дала — равенство дала, и я скорее помру, чем позволю себе от этой первой победы хотя бы крошку себе урвать! Только от этого и все другое пойдет — и свобода, и братство, и счастье! И от народа — от его беды и жизни — убереженных сынков у нас не должно быть! Потому что с тех сынков кончается народная власть, а начинается власть над народом! Та самая гиблая власть возвращается с ними! И не должны мы слушать, когда говорят, будто власть наша большая, а пользоваться мы ею вовсе не умеем — только что грабим, отымаем, убиваем! Враки все! Нету этого и не может при равенстве быть! Наша власть — вся на виду, всем равная. Судите ее, вот как Власихина судим нынче. В чем недоглядела, что сделала худо — все на нашем знамени отпечатывается, а оно, знамя это, для всех настуже открытое, для каждого трудящегося в каждой стране!

А та власть, которая до нас была, она с виду была одна, а в действительности другая. Она только и делала, что вид показывала. Она народ обирала — говорила: это благодать ему делается, для его же пользы. Она честного убьет, а газетки разные и попы объясняют — разбойник убитый, а то еще — герой, сам по себе пал смертью храбрых. Она закабалит — кабалу свободой назовет. И того ей мало — она с нас же деньги за обман брала, то ли за газетку, то ли учителю жалованье, чтобы он детишкам преступление по закону божьему растолковал! Конец ненавистному обману! Конец навсегда, а мы должны строго подводить под расстрел самого хотя бы и храброго партизана, когда он допустит мародерство либо насилие сделает, а тем более мы должны, как один, голосовать и, не сходя с места, исполнить наш приговор над изменником и предателем Власихиним Яковом Петровичем! Может, кто не понял: по закону военного времени, по закону Освобожденной территории есть предложение — расстрелять!

Покуда Брусенков произносил речь, он все чаще и чаще бросал взгляды на подсудимого, был уверен, что тот побежден, что он сдался... Но когда речь кончилась, он подумал: а вдруг еще не все? Вдруг народ возьмет и простит Власихина? Потому как раз и простит, что он побежденный нынче? Не кто-нибудь — Власихин ведь побежденный?

«Только бы ему на колени не позволить пасть!» — подумал Брусенков, напряженно глядя в толпу на площади: что сейчас оттуда скажут? Он глядел в один конец площади и в другой и тут увидел Перевалова.

Перевалов стоял неподалеку без шапки, весь в густых веснушках, так что не сразу и разберешь — кожа на лице или шерсть рыжеватая...

Перевалов глядел прямо перед собой и не как другие, а насмешливо, зорко. Ни испуга, ни тягости никакой. Поглядел так же и на Брусенкова и медленно потянул кверху руку...

Может, и не надо было давать Перевалову слова, кто другой, может, хотел высказаться, но Брусенков обернулся и тихо сказал:

— Председатель! Довгаль! Не видишь — Перевалов желает сказать. — Желает сказать товарищ Перевалов! — крикнул Довгаль. — Перевалов Аким! Выйди сюда и лицом к народу, Аким.

Аким вышел, дождал чего-то и вдруг, резко обернувшись к Власихину, спросил:

— Вот, Яков Петрович, знать бы: может ли быть, чтобы народ весь

был неправый, а один — того умнее человек, но только один — правым бы оказался? А?

Власихин ответил:

— Может, война всему народу и все за́стила, а одному — нет? Он чем виноватый? Ему-то как быть?

И ничему и никого Власихин уже не учил — сам спрашивал. Умолял ответить...

— Ну, тогда прощай, Власихин! — с прежней своей уверенностью и даже весело как-то сказал Перевалов, движением руки будто бы смахнув с головы картуз, которого на нем не было. — Бывай здоров! — И затопал с крыльца.

— Падла ведь! — шепнул Довгаль, наклонившись к Брусенкову и слушая, как четко стучает Перевалов подкованными сапогами по ступеням крыльца.

Они оба знали за Переваловым дело, по которому его тоже следовало бы судить по всей строгости закона военного времени.

И про себя Брусенков подумал: «Ну, погодь, шельма! Нынче ты можешь засудить Власихина, а после тебя засудить — это уже раз плюнуть! Мошенник!» И тотчас забыл о мошеннике, подумал: может, на приезд Мещерякова надеется Власихин? Вот сейчас явится Мещеряков, и в суматохе про Власихина сперва забудут, после простят...

И хотя кончилась обвинительная речь, Брусенков, не спрашивая слова у Довгаля, вдруг снова сказал:

— Взять данный момент, товарищи! Прибывает товарищ Мещеряков Ефрем Николаевич. Народу — радость! Но наш-то подсудимый тоже вроде радуется? А спросить: какое он имеет право? Какое право, когда он ни народа, ни, сказать, народных вождей не страшится и не уважает — самого себя и еще деток своих уважает только?

— Страшный-то ты, Брусенков! — вдруг заметил подсудимый. — Ты не сильно большой вождь, но и немалый начальник!

— Вот он как говорит! — воскликнул Брусенков. — Вот как! Он оскорблением хочет действовать, но и этого у него не получится, потому что он — виноватый и сам про это лучше других знает! А я спрошу: когда у другого сын, может, уже убитый в геройском бою с тираном, либо отец, либо сестренка насильничана, еще у другого из нас — может, как раз завтра сыновья в бой пойдут под командованием нашего любимого товарища Мещерякова Ефрема Николаевича, а этот подсудимый будет свою бороду разглаживать, дожидаясь, когда сынки к нему в полном здравии из урмана выйдут? Так мы ему позволим сделать? Либо — иначе?

«Падет на колени подсудимый... Вот сейчас!» — снова показалось Брусенкову. Он уже видел, как черная борода вдруг будто бы склонилась и метет, метет по доскам деревянного крыльца...

Еще один мужик подошел к крыльцу, но на ступени подыгаться не стал. Это был переселенец с Нового Кукуя, с того края Соленой Пади, где селились беженцы военного времени, — их из Минской, из Гродненской, из других губерний немцы пошевелили, они после того до Сибири дошли.

И хотя этот мужик-новосел знал Власихина совсем недавно, он спросил у него:

— То ж правду говорят: що ты всегда з народом? За его страдал... Чего ж сынов своих поставил теперь выше всего?

— Я их не ставил. Они сами передо мной встали. Встали — не спросились!

Брусенков снова вдруг подумал: «А ведь не боится подсудимый! На колени падать не собирается вовсе!»

— Прошу поднять руки, у кого сыновья либо отцы и братья пали смертью храбрых за нашу свободу,— проговорил он громко, отчетливо.— Прошу!

Кто-то разом поднял руки и снова опустил... Кто-то оглядывался по сторонам.

— Если кто из родителей, потерявших детей, стесняется руку поднять — пусть не подымает, насильно никто не обязывает!

Тотчас еще поднялись с площади руки, а Брусенков сказал:

— А теперь — кто за смертный приговор изменнику народного счастья Власихину Якову?! Прошу еще поднять руки... Кто против? Суд спрашивает: кто против? Нету против...

Брусенков подошел к столу, открыл ящик, достал из ящика «смит-вессон». Поглядел в барабан, взвел курок и взведенным передал небольшой мутноватый «смит» конвоиру.

— Вот тут,— сказал ему,— вот тут, сведешь с крыльца и у этой у стенки... Ну?

Власихин стал спускаться со ступеней... Медленно стал спускаться, неслышно, хотя тишина кругом встала мертвая.

И вдруг на площади раздался чей-то вопль. Даже как будто испуганный вопль:

— Едут! Едут! Мещеряков едут!

Толпа шарахнулась в переулок, через огород. И маленький конвоир, и согбенный, но все-таки огромный Власихин в недоумении эстановились на нижней ступени крыльца.

Глава вторая

В деревню заезжать не стали, привал сделали в березовом колке. Колок вовсе крохотный, однако густой, с молодью. Костер разожгли в ямке из сухих веточек, чтобы горели бездымно, коней пустили на траву, но привязали крепко.

К закату Ефрем велел дозорным выйти на дорогу, глядеть до расвета. Кто их знает, беляков этих, с какой стороны, когда и откуда они могут взяться.

Солнце садилось лениво, на березах гасли листья, будто угольки в заброшенном костре.

Ефрем обошел колок, наткнулся на копну.

«Вдовья, видать, копешка!» — подумал, поглядев на нее, низенькую, скособочившуюся. Еще вокруг поглядел — нет, не мужичья косьба! Литовкой махала баба неумелая либо вовсе девчонка: прокос узкий, туда-сюда вихляет, трава нечисто скошена. Срам — не работа... И сколько их, баб, нынче в степи мается, мужицкую работу ломит? Заела народ война, до края заела!

Однако грустил недолго. Сапоги новые сбросил, погладил — очень ласковые были сапожки, хромовые. Куртка тоже новая, блеск сплошной. Он ее постелил аккуратно, подкладом книзу, чтобы блеск этот об сено не поцарапать, лег на нее, еще сенцом накрылся и не успел взглядом солнце проводить — уснул.

Бессонные ночи были до этого подряд одна за другой, да еще в седле провел день целый.

Проснулся при высокой луне и только чуть прислушался — сразу же понял, что у костра его ребята допрашивают кого-то чужого.

— Значит, чей такой? Откуда? — спрашивал строго так голос Гришки Лыткина, совсем еще молодой голос, парнишечий, а ему отвечал человек, видать, крепкий, басом отвечал и со скрипом:

— Дальний буду. Сказать — с Карасуковки с самой... А дале что тебе?

Вот он откуда был, незнакомый пришелец, — с Карасуковки. Карасу — то есть «черная вода» по-русски — с этим названием аулов и поселков было в степи не счесть. Но один Карасу русские на свою, на Карасуковку переделали, и деревня эта разрослась после, далеко кругом стала известна.

— Хвамилие твое? — спрашивал Гришка Лыткин.

— Глухов буду... Петро Петрович Глухов.

— Так... Почто по степи ночью шарисься? Белых ищешь либо красных?

Бас помолчал, после спросил:

— А вы кто будете? Мещеряковские или как?

— А мы мещеряковские и есть! — весело так взвизгнул Гришка Лыткин и еще веселее спросил: — Испугался?

— Дурной ты... — ответил ему бас. — Кабы я тебя испугался, так и тюкнул бы на путе разок, после — был таков...

— Ну-ну! — возмутился Лыткин — Еще кто кого! Ну, так что же ты делаешь в ночи-то? Один?

— Сказать — так бунтую я...

— Напротив кого?

— Ну, не напротив же тебя...

Засмеялись партизаны, а Гришка Лыткин обиделся:

— Всякие нонче ходют... А Карасуковка твоя — село непутевое. Воды в нем — капли пресной нету. Соль голимая.

Кто-то Лыткина поддержал:

— И с мужиков с карасуковских соленая вода шерсть гонит, ровно с баранов. Ушей у их в шерсти не видать!

Ефрем понял, что карасуковский мужик был шибко волосатым, стал ждать, что бас ответит.

Он шулки не принял:

— Не твоя пашня карасуковская и не твоя баба там. Ну и помалкивай знай!

С пришельцем этим разговаривать надо было серьезно.

— Так ты как бунтуешь-то — до зимы только либо до конца самого?

— Оно бы хорошо — до зимы. Вовсе хорошо. Но не управиться. У Колчака у энтого силов еще — стихия! Ну и обратно подумать — дело у него пахнет неустойкой.

— Видать?

— Видать, порет он шибко мужиков. Насильничает. А сказать — так с перепугу. Забоялся мужика всурьез. Да... Он-то боится, а нам что с людоедства его может быть? Подумать страшно...

— Всех не перевешает.

— Не в том дело. Озверует он нас, мужиков. Озверует друг на дружку до крайности, сами себе рады не будем. И надо бы с им до зимы за это управиться, но шанса нету.

— А Красная Армия? Урал перешагнула!

— Теперь считай: от Урала до Карасуковки это сколь ей надо ежедневно пройти, чтобы к зиме достигнуть? И ведь с боем идти. Не-ет, куды... К зиме нам ладиться неизбежно. Это верно — миром, так и не с одним, а с двумя, а то и с тремя, сказать, колчаками управиться вполне можно, однако зима-то — она тоже не ждет, тоже своим чередом идет. Ее не остановишь. Уже никаким способом.

— Зимой нам, партизанам, воевать несподручно.

— Ну, и с нами тоже несладко. Чехи, разные, сказать, сербы-японцы зимой Колчаку не помощники. К морозу чувливые. Обратнo, нам бы пораньше колчаков свалить самостоятельно, чтобы Красная Армия на готовенькое пришла, тоже не худо.

— Это как же понимать?

Пришелец задумался. Огонек в леске светил неярко, партизаны сидели вокруг неподвижно. Который пришельцем был — нельзя понять.

— Конечно, хуже колчаков на всем свете никого нету, — сказал бас. — А все ж таки самим бы управиться, упредить, по-доброму посеять, после — Красной Армии и советской власти новоселье справить...

— С недоверием, значит, кругом относишься?

— А мне кто когда верил? Белый не верит. Красный тоже глядит, не обманываю ли я его. И скажи: откуда же мне верить то ли тебе, то ли еще кому другому?

— Ну, а по какой же тогда причине ты к Мещерякову подался?

— Слово ему сказать.

— Об чем?

— Об военной тайне... Ну, видать, вы свои здесь. Прямо-то говорить — так об сене я.

— Чьи же сена тебя заботят?

— Хотя бы и твои... Сенов бы на зиму Мещерякову Ефрему Николаевичу поставить. Снег падет — помается он без сена. У мужика его не отымешь — возропшет, да и не повезешь на подводе в районе военного действия. А вот нынче не поздно еще покосить бы в западинах, в камышах и копешки схоронить. Зимой конными были бы против пеших колчаков.

Ефрем крикнул: сам в сене, в чужой копешке лежал, но как следует о сене не думал, нет. А вот мужик карасуковский — тот подумал...

И ясная же ночь была — удивительно. Легла на землю тихая, обняла ее от края до края, будто ни войны, ни тревог на земле этой сроду не бывало. И забот тоже не бывает никаких, хотя бы и об сене.

У костра кто-то по дому заскучал:

— Рядна не хватает... Подстелить бы под себя какую ряднушку, чтобы избой пахла!

— А ты дымка, дымка понюхай от костра-то — он кашей пахнет. Будто каша с загнетки бабой только что снятая!

...У костра и дальше разговор, а с тобой рядом — твое сердце постукивает, да еще мысли теплятся, как тот огонек. И надо же — задумался Ефрем в ту минуту о сапогах своих новых и о новой куртке.

В эту куртку одетому, обутому в хромовые сапоги, ему бы смотреть партизанским войскам устроить!

Смотр был сделан недавно, в Верстове, недели две-три каких, но ведь куртки-то не было тогда еще у Ефрема и сапог тоже не было хромовых! В зипунишке проехал он перед войском. Папаха, верно, добрая на нем уже тогда была — из серебристой мерлушки сшитая, и каждый завиток на ней будто своей росинкой сияет, и красная лента вокруг, но не на одну же папаху войска глядели?

Нет, скажи, трудно мужику воевать в начальниках, очень трудно! Мало того, что против Ефрема Мещерякова стоит генерал Матковский — начальник тыла Колчака, в академиях обученный, — мало этого, надо еще точно решить: в каком виде перед своим же партизанским войском следует предстать?

Генералу об этом и заботы нету — ему мундир навешан на всю его жизнь, а какие портки к сражению надеть — о том денщик знает. А мужику?

Ладно, он смотр устроит, в новой куртке и в сапогах хромовых предстанет, войско крикнет ему «ура!», это уже верно. А что после?

За зиму с Колчаком управишься, придешь домой, начнешь пахать. Весной пахать либо осенью зябь — прохлада стоит на дворе. А ежели, скажем, ты летний пар выдумал поднять да еще словчился пар этот сдвоить — ведь это в ту пору жарыща немислимая!

Тут спина у тебя мокрая, вроде ее с ведра окатывают, а в штанах вся твоя мужицкая справа на три слоя в пене! У коней тоже пена в пахах, но им все же куда удобнее — они ее клочьями на пашню роняют. А ты за плугом ходишь, коней подстегиваешь, а им же завидуешь: тебе пену ронять некуда, она вся при тебе... Ну и сбросишь портки-то, идешь в одних исподних, а коли рубаха подлиньше — так и вовсе без них...

А тут является на между твой сосед, какой-никакой Иван либо Петро, а то взять — щербатый Аркашка, и лыбиться зачнет во весь свой рот:

— А-а-а, Ефрем Николаевич? Товарищ Мещеряков! Робишь, милوک? Землю пашешь, милوک?! Паши, паши, милوک, это тебе не в кожаной курточке вершни перед военным строем красоваться! Это вовсе другой вид!

Вот он как скажет и не припомнит вовсе, что в твоей же армии рядовым служил, тебе полностью подчинялся и тебе на том смотре «ура!» во всю глотку провозглашал! Не припомнит, гад!

Не-ет, генералом воевать несравненно легче! Скажи, хотя бы и Наполеон решающее сражение проиграл, потому что насморк его прошиб. Да мужик постеснялся бы об этом говорить вслух. На крайний случай сказал бы, что животом вконец замаялся либо сердце у него зашлось, а то из-за собственной сопли воевать кончил и все одно — герой!

Вот Россия мужицкая сейчас воевать взялась — так ее и холера трясет, и вша грызет тифозная, и сербы-японцы разные, о которых сроду-то никогда не слышать было, явились порядок устанавливать и кусок урвать, но она воюет, мужицкая Россия, и воевать так ли еще будет!..

Решил Ефрем войскам смотр устроить...

Почему? А потому, что очень просто могло убить нынче, так уж пускай люди помнят его живого на добром коне и в добром обмундировании. Чтобы не обидно им было, будто за правду воевал, командовал ими варначишка какой-то...

«Все правильно, — подумал он, — и смотр войскам устроить надо, и сено поставить точно так, как подсказал мужик из Карасуковки...»

После потекли у него мысли и догадки, свободно так потекли, и надумал в ту ночь Мещеряков Ефрем воевать с генералом Матковским по-генеральски: выбирать и удерживать позиции, из обороны переходить в наступление. Тыл по всей форме устраивать, снабжение армии, гражданскую власть в тылу... Голова кругом, сколько дела. Но — пришла всему этому пора, и дальше оставлять села Колчаку, чтобы он их грабил, жег, мужиков и баб шомполами охаживал, никак было невозможно. Для чего тогда народная армия, когда она не может народ под свою защиту взять? Кто в такую непутевую армию пойдет? Чего ради мужики будут ее обувать-одевать, кормить?

А жаль... Сильно жаль было Ефрему Мещерякову с прежней тактикой расставаться. Хорошая тактика, и жизнь при ней шла не так уж плохо: налететь, на марше разбить колонну противника, а то устроить засаду, да бог ты мой, когда у человека голова на плечах и рисковый человек — чего только он не выдумает, чтобы своему противнику хороший фитилек поставить!

Как-то теперь будет? Соленую Падь, убейся, удержать надо. Но ведь и сидеть в окопах партизанская армия не способна. Потеряет маневрен-

ность, значит, и все свои преимущества. Трофеи откуда она возьмет, в окопах сидя? Откуда возьмет победы? А без побед партизаны воевать не любят и, прямо сказать, не умеют. Начинают скучать.

Были у Мещерякова еще и другие заботы: он сильно боялся за жену, за ребятишек.

Дора должна была ехать с ним, чтобы в Соленой Пади не подумали про главнокомандующего, будто село-то он оборонять взялся, а семью оберегает где-то далеко, в тайном месте.

И еще была на этот счет причина, хотя о причине этой он вспоминать не любил: жена его от себя не отпускала.

Он еще был «кустарем», то есть с малым партизанским отрядом, человек десять — пятнадцать, скрывался в кустах, а она уже и тогда была с ним.

Теперь он главнокомандующий, у него личная охрана — три отборных эскадрона, но баба есть баба: не хочет ничего понимать, не верит, что три эскадрона его спасут. На себя только и надеется.

И нынче тоже вот поехала с младенцем и двумя другими, еще доверенными ребятишками, но поначалу в пути они несколько раз уходили от белых разведов, да и сами спуска не давали, тоже налеты делали, и решено было спрятать Дору и ребятишек в стогу сена, чтобы после один из эскадронов заехал, взял ее и к месту доставил.

Как-то там она в стоге нынче?

Все-таки ужасная жизнь у баб! Довольно б с них и того, что они — бабы, ребятишек родят, мужиков обихаживают, пьяными их из гостей увозят, а когда — так и от беляков. Довольно бы этого, но нет — пошла война, у них опять же забот и хлопот не меньше, чем у мужиков. Ну-ка, посиди в стогу с грудным младенцем! Да еще с двумя пестунами доверенного образца!

В полдень похлебали горячего, заседлали и тронулись. Заехали на пресное озерко, попоили коней, после того погнали еще шибче, не таясь: противника здесь уже не было...

И пошел день — пестрый какой-то, из лоскутков скроенный, но не сшитый. Что ни час — то вроде и новый день начинается. Тот не кончился — уже другой наступает. Рассвет был, полдень был, закат подходил, а дня вроде не было и не было.

Про ночной уютный колок тут же и забыли. Будто его и не встречали — ни копыи той бабьей, в которой спал Ефрем, ни костерка. Днем человек о ночном редко вспоминает, другое дело ночью — дневные заботы спать не дают. Это случается.

Вскоре степь стала изжелта-красной, колки березовые и камыши налились киноварью, а дорожная пыль посинела. Только вода в озерах совсем светлая оставалась. Издали — так она совсем прозрачная. Подойди, загляни — не то что дно увидишь, а еще и сама-то земля на неведомую глубину сквозь нее откроется. А солонцы на месте высохших озер — те похожи были на облака. Плыло облако, после опустилось на землю, распласталось и тянет к себе со всех сторон солнечный свет, сияет — глазам больно. Правда, в нынешнем году дождей выпадало немало, хоршшо и вовремя падали дожди, пересохших озер было немного.

Она будто бы везде одинаковая — степь: и колки березовые и осиновые везде одинаковые, и дороги, и пашни, и мельницы-вегрянки, а хотя бы только на десять верст отступи от той грани, за которой никогда прежде не приходилось бывать, — она уже и другая, степь, незнакомая. Что в ней другое — не сразу поймешь, то ли цвет, то ли запах, то ли почва другая.

Любил Мещеряков эту новизну, любил угадывать: вот здесь, по едва заметному проселку, не иначе как за водой куда-то на бочках ездят, ко-

гда на своей пашне — ни озерка, ни колодца, а вот дорога перед низиной вдруг круто взяла в сторону, в обход — значит, низина сильно мокрая, болотная либо солончаки там внизу даже после малого дождя совсем непроходимые.

Мужик — он всю степь, всю землю пашенную и пастбищную своими собственными знаками обозначил, он зря, за просто так. ничего не делает — ни дорогу не топчет, ни колодцев не роет, ни избушек лишних, никому не нужных, не ставит. Соображай вместе с ним, со здешним мужиком, и все ясно станет. Даже заранее угадывать можно, что там, за ближним увалом, скрывается — поселок ли, займка ли чья-то, пашня, пустошь или пастьба овечья и летняя кошара из дерна сложена..

Память была у Ефрема на местность цепкая: один раз в жизни по дороге проедет, а случится помирать, закроет глаза — и всю ее, дорожку эту, поворот за поворотом, увал за увалом, деревню за деревней, от начала до конца вспомнит и словно заново ее проследует. Это уже точно.

Мало того, если проехал он когда-нибудь даже и не этой дорогой, а другой, но неподалеку где-то и в том же направлении, ему уже и хватит, он будто бы с той, знакомой, дороги эту, совсем незнакомую, все-таки видел — куда она ведет, что у нее на пути.

А в последнее время и еще по-другому стал на местность глядеть Ефрем. Западинка? А как по ней пройдет человек — в рост? А то, может быть, и конным и его все равно в степи не видно будет?

Увал? На сколько верст округ с того увала степь видать глазом и в бинокль?

Одним словом, побывает на местности и уже знает, как на ней воевать.

Глухову не сказали, что он с Мещеряковым с Ефремом едет, а он, шельмец, делал вид, будто не догадывается.

Кони в отряде были запасные — Глухову дали пегого, бесседельного.

Глухов дареному коню в зубы глядеть не стал, кинул свой армячишко чуть не на самую холку, опояску с себя размотал, по концам ее связал петли — получились у него стремяна. Он короткими ножками коня обхватывал почти что за самую шею — смешно глядеть. Но, видать, ему так было усидчивее на толстом, разгулявшемся в нынешних травах и ленивом пегаше. Они даже похожи друг на друга были — пегаш и Глухов: толстые оба, коротконогие, гривастые, один без седла, другой без опояски.

И характером сошлись.

Покуда Глухова не было, а пегого вели в поводу — замучились с ним: он все время только и делал, что придорожную траву хватал, тормозил на ходу, седока с передней кобылы сдергивал, а тут под верхом пошел и даже — шагисто пошел, весело. Сперва вровень с другими, после застарался и стал на полголовы вперед выходить против самого мещеряковского гнедого..

Ординарец Гришка Лыткин возмутился снова:

— Ты, Глухов, шпиёнить за командиром нашим взялся? Ни на шаг от его. Отстань!

— Я ж тебе с самого начала объяснял, цыпка ты моя, за тем я к вам и прибыл — глядеть, какая вы есть революция!

— По своей воле? — поинтересовался Мещеряков.

— Мужики карасуковские миром просили. Ну, и не сказать, чтобы из ихнего только вопросу я старался. Свой интерес тоже имеется. Собственный.

— Что же ты увидел?

— А пофартило мне с первого разу: Мещерякова и увидел.

- И-ишь ты! Узнал?
- Видать, когда глядишь.
- Снова вмешался Лыткин:
- А ты знаешь, мужик, у нас как? Кто не за нас — тот против нас! Это не мною сказано — отпечатано воззванием к народу!
- Тут Глухов отнесся к Гришке серьезно:
- Не врешь?
- Я об политике — пытай меня — слова одного неправильного не скажу. Одну только истину. А ты что — против?
- Ну зачем же я буду против? Сам подумай. После этого воззвания?
- Я-то давно подумал. И до края моя жизнь мне известная — воевать за справедливую власть. Хотя бы сколько ни пришлось воевать!
- Хорошо-то как! — согласился Глухов. — Только чей ты будешь хлебушко исти, покуда воюешь?
- Об этом заботы нету. Тот и накормит, за кого я кровь иду проливать!
- Ну, а если которому мужику кровь твоя вовсе ни к чему? Ты как — откажешься от его куска?
- Он все одно обязан дать мне буханку!
- А не даст? Сам возьмешь?
- И возьму!
- А со справедливостью как же? Она же наперед других к тому должна приложиться, от кого ты кормишься? Или тебя отец с матерью этому сроду не учили?
- Мещеряков оглянулся и сказал:
- Повтори-ка, повтори, как фамилие твое?
- Глухов. Петр Петрович. Или непохоже?
- Мещеряков зорко на Глухова поглядел...
- Голова кудлатая с нашлепкой замусоленного картуза. В рубахе под мышкой — дырка, сквозь нее вырывается ветерок, захваченный расстегнутым воротом. Обе руки Глухов широко расставил в стороны. И — чоп-чоп! чоп-чоп! — шлепает задом по пегашкиной спине.
- Не обманываешь, нет... Он и есть мужик этот — Глухов! — кивнул Мещеряков.
- Узнал?
- Видать, когда глядишь! — усмехнулся Ефрем. Подстегнул коня, потом оглянулся снова. — Десятин с полста сеешь?
- Ну, в нашей в степе это не посев — полста. Для старожила, для семейного — вовсе нет.
- Запас на три года держишь? Хлебный?
- Так ить от меня пол-России кормится. И по морю мой хлебушко возят в государства, а за маслицем — так мериканцы и немцы в Сибирь с охотой идут. Видать, не зря идут, дома-то у их не шибко масляная, значит, жизнь. И советская власть не брезговала в свое недавнее пришествие.
- Отымала? Хлебушко-то отымала?
- Не то чтобы отымала, но платила не сказать чтобы сильно. Больше за идею брала, за деньги, за мануфактуру — заметно меньше.
- Ученье настало для народу, а за науку платят. Нам на белый свет глаза кто открыл? Большевики, советская власть. А то бы и было у нас с тобой делов — родиться да помереть. Остальное — неизвестно почему и зачем.
- Глаза-то мне открыли. Узнать бы, при каком обстоятельстве мне их закроют?
- Ну, это и правда что интересно. Германжу воевал?

— На четырнадцатый-то год мне как раз полста пало. Из призыва вышел.

— Вот и не знаешь цену глазам-то открытым. А солдат — тот много понял, когда ему вместо проклятой войны мир был дан. Ну, а сградуешь-то чем? Свою сотню десятин либо того больше — чем жнешь? Жнейками? Косилками?

— И это. И другое. И еще — макормик.

— «Мак-кормик»? Сноповяз американский? Ты гляди — капиталист прямой! А не боялся ты, Глухов, что американцы эти как раз тебя по миру и пустят? Закредитуют, после — тук-тук — за долг возьмут тебя?

— На все божья воля: то ли он меня, то ли я его. Все зависит, сколь я обижен. Когда меня, и другого, и третьего он обидит — мы уже и договорились промеж собой не брать у него не то что машины — ни одной бечевки не брать. И пошел бы тот мериканец из Сибири без картуза... Солнцем палимый.

— И пошли они, солнцем палимы... — подсказал Мещеряков. — Грамотный?

— Расписываюсь... У меня дядя — Платон зовется. Не шибко грамотный и не сильно в годах, племянничка чуть постарше. Жил от нас неподалеку, а еще до японской ушел в Алтай. Вверх все и вверх по Иртышу. И занялся там оленями. Особенности олзней — рога с их китайцам, другим народам в доброй цене на лекарство продают. Так дядя — что? Он сам эти рога в разные страны возит. И не особо на границы глядит — оттудова, с самого веру Иртыша, до разных государств рукой подать. Мало того, братьев младших и сынов тоже научил возить и по-разному в разных странах понимать заставил их. Там английские, сказать, издавна были торговли — они и по-ихнему научились. Ну, как научились, поняли что к чему — конечно, ихнюю торговлишку сильно позорили. Туда везут рога, оттудова — чай, шелк, обратно лекарство, и дело у их не стоит!

— Получается у тебя... Ну, притеснишь ты американца, «мак-кормика» этого, где после сноповяз возьмешь?

— На барыш охотник просто найдется. Свой ли, чужой — надо только с умом, соседа не обижать. Кузодеев — жил купец в Соленой Пади — нету в уезде того кармана, чтобы он в его не успел накласти. Ну и дурак! Пакостить своему же соседу? Не дурак ли? Пакостить — это еще в гостях в званых, а еще лучше — не в званых. Только не у себя дома. — Помолчал Глухов, пегого подшуровал пятками. — Царапается весь-то народишко... Всякий всего хочет. Как понять? Или верно что — нету худа без добра: Колчака этого терпеть никак нельзя, ну, а за одним уже и вся прочая жизнь в переделку вышла? У кого какое недовольство жизнью, кто сколь годов придумку таил — нынче все в ход пошло... В ход-то пошло, к чему придет-то, интересно мне?

— Значит, думка твоя — повыше других выцарапаться? Хотя бы и на торговлишке?

— Чем не ладно? Тебе — шашкой махать, головы рубить, команды подавать богом дано. У меня забота — хлебушко растить, торговать им по мере возможности. Чем не ладно? Без войны жизнь худо-бедно идет, а без хлебушка?

— Глухов ты Глухов и есть! Не понятно, чем тебе Колчак плохой, — он же сильно богатых любит.

— Ну, как тебе объяснить-то, — вздохнул Глухов. — Я ведь, признать тебе, думал: ты и сам это понимаешь... А объяснить придется так: бедного Колчак не любит, верно. Потому и не любит, что отымать-то у его нечего. Курей двух, да еще разве вот ребятишек... Ну, а который

побогаче — того он любит. И даже сильно. В этом ты — правый. Только для любви для этой уже Кузодеевым надо быть, не меньше. У того — на ограде полдобра, а другая половина — на займках, в кредитках еще и еще где-то схороненная... Опять же и Колчак на Кузодеева надеется — именно его он над Россией поставить желает, и чтобы тот ему эту услугу ни в жизнь не забыл, чтобы без конца благодарствовал. Здря надеется! Благодарности от Кузодеева сам господь бог не дожидается, да и какая обратно из его получится власть, когда он, еще не ставши ею, уже далеко вокруг успел напакостить? Нет, ровный мужик, и даже хорошо ровный, но у которого добро все открытое, все на ограде находится — он любую власть кормит и любая власть его за это топчет... Мне, товарищ мой Мещеряков, узнать бы: как ты хочешь, чтобы было? И партизаны вся — как хочет? За тем и посланный я от карасуковских мужиков. И не я один — от многих местностей еще пойдут на вас поглядеть.

— Ладно, я скажу, — согласился Мещеряков. — Народ воюет, народ и свою собственную справедливость сделает. Честного труженика с этого дня никогда не обидит. Ни купцу, ни кулаку, ни чиновнику в обиду ни одного человека не даст. Отныне — это его святая решимость. Когда за начальника будет кто негодный, его тут же разом уберут. Взять меня — покуда бью Колчака, я главнокомандующий. Побьет меня Колчак — сейчас мои же подчиненные командиры соберутся и еще гражданские лица, проголосуют — и пошел тот Мещеряков ротой командовать. Чего там ротой — рядовым запросто пошел. При таком порядке лавры на печи никто вылеживать не захочет сроду. Ясно? И барыш за чужой труд наживать тоже.

— В случае, вернусь домой — так пересказать мужикам?

— А как же еще?

Глухов приотстал на пегом. Задумался...

Гришка Лыткин повел своего коня ухо в ухо с мещеряковским. Версты от избушки до избушки, от одного тока до другого немалые, а нет-нет и столкнутся в степи сорочки голоса молотилок-трещоток, а когда и удары бичей переплетутся друг с другом, и человечьи голоса...

Издали мужики и бабы глядели на отряд мещеряковский с любопытством и подолгу, даже останавливали приводы трещоток. Сразу же становилось тихо, и сквозь плюшевый полог дорожной пыли явственно начинала откликаться земля под копытами отряда, и когда кони чихали и фыркали, высвобождая ноздри от пыли, то громкими казались и эти звуки.

Если же отряд миновал чей-то ток вблизи — работу никто уже не бросал, наоборот — еще сильнее трещотки погнали.

Военные нынче издали только интересные. Близо ими никто не интересовался, хотя была уже Освобожденная территория и белых здесь не ждали; с июля, с начала месяца, их здесь не бывало.

Уже когда солнце пошло на закат, достигли соленопадской грани. Вскоре остановились на увале, который так и назывался: Большой Увал. Он был уже в виду самого села. Стали ждать свои приотставшие эскадроны, чтобы в село вступить полным отрядом, при знамени.

Что-то похожее на рассвет после тьмы ночной и такое же призрачное, как самый первый рассвет, пронизывало дали... И глядеть-то в них было чуть даже боязно, словно в бездну заглядывать. Это в степи бывает. Бывает в ясную осень, когда степь переполняется желтыми березовыми колками, пшеничными полями, никогда не сеянным, не кошениным пряным разнотравьем, когда солнце уже клонится к закату и остывает будто бы потому, что остывает земля.

Мещеряков спешил первым, лег на траву. Полежал, поглядел и стал разуваться.

— Ноги-то, поди, сопрели во тьме, в сапогах. Вовсе никакой благодати не видят! — сказал он Лыткину и забросил влажные холщовые портянки в зыбкую тень двурогой березки...

Сохнуть портянки должны обязательно в тени, на ярком солнце они коробятся, морщятся, теряют всякую мягкость.

Голые пятки в ту же секунду прихватило двумя горячими натруженными ладонями, и еще на плечи будто кто-то навалился — горячий и потный.

Мещеряков терпеливо обождал, и немного прошло времени — пятки и спину перестало тревожить, только по-прежнему щекотало легким, словно ребячьим дыханием.

«Ветерок, что ли?» — подумал Мещеряков. Ветер и на самом деле был, только хоронился от глаз. Но Мещеряков его все равно приметил: на той же двурогой, с редкими веточками березке листья чуть приподнялись и еще чуть сваливались набок, прихватывая яркого солнца своей обратной, уже не зеленой, а сизой стороной. Тоже пятки грели.

Тут поблизости пар был поднят на большом клине — десятин, верно, пять, больше, черные пласты ерошились, пахли не хлебом, а полевой травой... А неподалеку на полосе — хлеб родился, и хорошо родился — пудов по сто двадцать с десятины.

Поглядев на все это, Мещеряков высвободил из-под живота планшетку, развернул карту-десятиверстку.

Прежде всего заметил на карте зеленую полосу леса: полоска — словно зеленый червяк по бумаге прополз и след оставил после себя... А настоящий лес, тот широкой лентой проходил с юго-запада, подступал к селу Соленая Падь, касался мохнатым свсим краем изб и огородов и тут же, почти поперек прежнему своему направлению, уходил на восток. И на юго-западе, и на востоке треугольник лесной полосы опирался в далекое-далекое, но четкое полукружье горизонта, только кое-где прерванное тусклыми озерами, густо осыпавшими степь и особенно ту ее часть, которая была замкнута внутри зеленых лент бора.

— Про-стор-но! — сказал Мещеряков. И еще раз повторил: — Про-сторно!

Стал приглядываться к лесу.

Вершины сосен мерцали, как свечи, зажженные при солнечном освещении, над ними там и здесь медленно вычерчивали круг за кругом коршуны. Не стремительные они были, не быстрые — шагом ходили по небу, ползали букашками...

Из степи в лес забегало несколько дорог — одна проделывала в нем узкую расщелину, а выбежала из леса по ту сторону — слегка будто захмелела, повело ее сперва в одну, после в другую сторону. Две других впадали в лес и больше из него не возвращались. Или заблудились там, или незаметно пробрались в деревню, в ее кривые улочки и переулочки...

А вот удивился Мещеряков — это когда заметил синеватый какой-то перст, указывающий прямо в небо, даже в самое солнце.

— Ты гляди, — спросил Мещеряков у Лыткина, — гляди, что там делается? Видишь?

— Где? — с тревогой спросил Гришка, притихший неподалеку от командира, может, чуть вздремнувший.

— Кромкой леса на юг, на запад дальше все и дальше — в небо там упор какой сделан, а? Ну, если гляделок не хватает — на гебе аппарат! — И Мещеряков расстегнул футляр, подал Гришке бинокль.

— Однако — церква там. Она. Ну и что? — тоже удивился Лыткин.

— Моряшихинская эта ведь церква-то!

— Не может быть!
 — Значит, может! Другого тут церковного села ближе нету — Соленая Падь да еще Моряшиха. Это подумать только, сорок верст — и видеть!

Бинокль пошел по рукам — партизаны тоже стали смотреть на церковь вдоль боровой ленты на юго-запад.

Заспорили насчет бога.

— Хи-итрые эти попы — бога-то куда вознесли! В какую высь! Что-бы люди глядели, а шапки волей-неволей на землю падали бы!

— На то он и бог — высоко быть. А когда он пониже меня по земле ползает, нечто в такого поверишь?

— А кто его вознес туда? Человек опять же. Кто кого выше-то?

— Пустое не вознесешь, надобности нету. Тем более обратно не скинешь! Укоренилось оно там, наверху-то!

— А — скину! Нынче — скину!

— А я тебе нынче же — по морде! Я у себя на избе, вот на самой вышке, резьбу изладил, а ты пришел и нарушил ее. Тебе она не нужная, а мне без ее — изба не изба, а может, и жизнь не в жизнь!

Небольшой, татарского обличья эскадронец, покусывая травку, рассказывал:

— Я в магометанстве был, после перешел в православие. Мало того перешел — в церкви прислуживал. Поп меня не хотел, а прихожане любили. «Мало ли, говорят, и среди нас, православных, бывает нехристей. И даже среди попов. А этот окрестился и, видать, с интересом — пусть прислуживает!» А я старался. Божественное хотел понять.

— Понял?

— Куда там — понять! И его нету, и без его нельзя. Нельзя без веры.

— Ну, нынче это вовсе запросто!

— Не вовсе. Все одно — не в бога, так в революцию верят. Уже другое дело — во что вера, а все ж таки вера.

— Ты что же, правду ищешь? У нас среди новоселов с Витебской губернии был один — искал, искал день и ночь. Который раз не пил, не ел — все искал.

— Ну, почто? Ты мне поднеси — поглядишь, как я ем, как пью. Я правдой через силу не занимаюсь. А интересоваться — интересуюсь.

«Ты гляди, о божественном затолковали! — подумал Мещеряков. — Выше бог человека, ниже либо вровень с ним? И зря затолковали — на скорую руку дела не решишь. Отвоюемся — на досуге виднее будет. Сейчас о войне думать, больше ни о чем. Живым остаться либо мертвым сделаться — вот это вопрос. Бог же нынче дело второстепенное». Но сам о войне думать не стал.

У Глухова Петра Петровича был дядя Платон, в горах где-то проживал, в разные страны оттуда ходил, а у Мещерякова тоже был свой дядя по материнской линии — Силантий.

Вот о нем-то и вспомнилось.

С Волги, с деревни Тележной был дядя и на родине сильно своевольничал — рубил у помещика лес, грозился помещика пожечь. Ну, и общество, чтобы с барином не ссориться, хотя дядя ничего миру сроду не делал, вынесло приговор: сослать его в Сибирь. Пошел он по этапу, а младший его брат и еще сестренка — те пошли за ним добровольно.

Вольные брат и сестра прижились, устроили деревню Верстово, брат женился, сестренка Силантия замуж пошла, и в тысяча восемьсот восемьдесят восьмом году от нее произошел Мещеряков Ефрем. А вот ссыльный Силантий успокоиться никак не мог — стал бегать по степи, ставить на земле чертежи и меты, в захват брать землю. Говорили —

правда, нет ли,— дядя сапоги берег, так с весны обмазывал подошвы на ногах смолой сосновой, с песком ее замешивал, чтобы на жаре не таяла, и на этой дармовой подметке по степи шастал из конца в конец.

В сапогах или босый, но только облюбовал дядя место с двумя озерами — нынешнее село Соленая Падь,— обчертил хороший круг земли, прижился. Жил, никто ему не мешал. После дорогу железную построили, народишко в Сибирь по дороге кинулся — стали поселенцы дядю утешать. Соленая Падь волостью сделалась, и постановило общество считать за хозяином только ту землю, которую он пашет, выпаса нарезало на каждую скотскую душу, а лес оставило за дядей — ту самую деляну, которую он уже вырубил.

Сколько лет проходит, пять ли, шесть,— мир опять приговор выносит: делать земле душевой передел. Дяде обидно — никто, как он, заложил деревню, а его — делят! И взялся он сильно галдеть на сельских сходах и тягаться с богатым переселенцем Кузодеевым. Хотел дядя Силантий, чтобы за ним его землю «отцовщиной» признали, навсегда наследуемой.

А Кузодеев не постоял, одной только лавочной водки миру более ста бутылок выставил, а еще сколько самогону,— мир и постановил в пользу Кузодеева. Но дядя все равно и с миром не захотел посчитаться, прямо на сходе обещал Кузодеева пожечь. И пожег. Не то чтобы до края, но и порядочно. Сам же убежал далеко в горы. Вестей оттуда не подавал, так и не узнал, должно быть, что спустя короткое время общество о нем пожалело: Кузодеев мироедом стал огромным, землю арендовал в казне, после сам сдавал ее в аренду новоселам, а еще больше — старожилам, которым надела по их размаху не хватало, а сам с Ишима и с самого Ирбита возил товар в свои лавки. Сделал в Соленой Пади кредитку, и правда что не стало в волости мужика, чтобы он у кредитки этой не брал в долг.

Больше того, с Кузодеева пошло, что и степь-то надвое поделилась. Прежде все жили одинаково, а тут образовалась Нагорная степь и Понизовская. Нагорные занялись хлебом, семена стали возить сортовые, молотилки-полусложки покупать, а еще водить овец. Понизовские — те хлебом вдруг обеднели, земли у них оказались не очень-то сильные, но в межозерьях лугов было без конца и краю, и наладились они косить сенá, водить скотину, покупать сепараторы.

Кузодеев прободал было и на Низы пойти, но там заграничные уже сели купцы-маслоделы, не дали ему ходу.

Еще знаменитые тут были три-четыре деревни по грани между степями — в тех мужики держались друг дружки, держали общественный маслозавод, а лавочников облагали хорошими податями в пользу мирской кассы.

Это, бывало, мальчишкой еще Ефрем замечал, как зимой, будто похрустывая на дорогах снежком, идут из деревни в деревню разные слухи-разговоры: как одно общество приговорило сделать между собой расположку податей, другое — о пашне, о покосах, о выпасах, о торговле, о попе, о школе, едва ли не обо всей жизни.

Позже, уже перед войной, пошли еще и другие разговоры: кто какие берет на складах машины, единолично берет или вскладчину делают приобретение — на десять, на пятнадцать дворов, какой между дворами существует порядок, когда машиной пользуются.

И сидели мужики зимние вечера, а по воскресеньям так и с утра самого, занимались этими слухами, посылали своих людей в другие села — узнать, как там и что приговорено делать? Как бы прожить, думать, не даться ни своим купцам, ни немцам, ни друг дружке в оборот не попасть?

И вот — кто бы подумать мог? — не мужики эти, сидельцы и ходоки, не седовласые деды жизнь в степи нынче решают — решает ее Мещеряков Ефрем. Так случилось. Он сам этому не поверил бы хотя бы и прошлый год в осеннюю же пору. Единственно, кто бы мог об этом догадаться, так верховный Колчак. Но не догадался и он.

— Ну, поглядим, как это будет, — сказал Ефрем Колчаку. — Поглядим!

Никто этому замечанию главнокомандующего не удивился. Все подумали: он просто так, на местность смотрит, определяет на ней военные действия...

А главнокомандующий все еще о военных действиях не думал, снова думал о дяде Силантии. Интересный был дядя, сильно вспомнился...

Году, припомнить, в девятьсот первом приехал дядя навестить верстовскую родню. Погуляли сколько дней — после дядя взял с собой в Соленую Падь племянничка погостить, а еще заехать с ним по дороге в Моряшиху, на конный базар. Только-только в ту пору была построена в Моряшихе церковь, моряшихинские своим божьим домом сильно гордились. Стояла она на бугру, сплошь покрытом травкой-топтунном, на травке лежали мужики в черных плисовых штанах, в красных шелковых рубахах. В картишки играли, косушками баловались. Такой у них был закон: торгуешь не торгуешь — на базар выйди в самом лучшем виде.

И девки ходили бугром — платья-лимонки, передники красные, кофты голубые, ботинки желтые, шнуровые.

Чтобы не пустым ехать, дядя взял из Верстова воз пшеницы, продать на базаре. И уже сторговался в Моряшихе отдать, когда перекупщик скостил полтора пуда с колеса. Пуд с колеса — по всей степи был тогда порядок. Гири на весы бросают, сорок пудов намеряли — получай за тридцать шесть. Потому и возили зерно на продажу сильным возом. А тут — полтора пуда.

Дядя деньги счел, за рубаху положил, после сказал: «А еще за два пуда тебе сдача!» — и два раза хорошо перекупщика по спине кнутом полоснул.

Тот кричать, звать своих дружков. Но и дядю Силантия тоже в Моряшихе знали, в обиду не дали.

Перекупщик нанял троих, чтобы Силантия и Ефремку в лесу по дороге перенять, измолотить до полусмерти.

Но опять дяде свои люди об этом шепнули, и он в Соленую Падь не поехал и коня не стал покупать, а ночью они подались обратно в Верстово.

Деньги же, что за хлеб были выручены, и даже часть конских денег они успели прогулять на базаре: ставили на бегах на рыжую киргизскую кобылу, сначала выиграли, потом сильно проигрались... С тех пор Ефрем рыжих кобыл не любит, на всю жизнь не его эта масть стала, несчастливая для него.

Еще дядя целый день грозился тогда перекупщику, и Ефремка тоже грозился, а моряшихинские над ними хохотали, подначивали. Лавочник один — должно быть, в отместку перекупщику — Ефремке поясок подарил, в нем он и вернулся домой...

А в Соленой Пади побывать ему ни тогда, ни позже не довелось. Все мечтал побывать. Деревню эту дома у них, в Верстова, по-другому и не звали, как «дяди Силантия поселение».

Нынче Ефрем на поселение это глядел... Перед селом два озера: одно — пресное, в камышах, другое — горькое, с бело-сахарным песочком по берегам. На перешейке стоит высоченная сосна. О ней Ефрем тоже от дяди слышал, об этой сосне.

Из пресного озера берется речушка Падуха, ныряет в болото, снова выходит на белый свет, и в том месте, где выходит, карасей водится видимо-невидимо... Тоже от дяди известно. Еще ниже — по ее берегам заливные луга, из-за тех лугов дядя Силантий больше, чем из-за пашни, с Кузодеевым и тягался.

А вот и кузодеевские торговли видно посреди села — домина ладный, под железной зеленой крышей, и амбар — что твоя крепость.

Все ж таки надо бы подумать о войне.

Представилось так...

Генерал Матковский выехал на белом коне во-он туда — на тот взгорок...

Генерала Матковского и белого коня хорошо было видно с КП в Соленой Пади, и Мещеряков приказал пулеметчику: «Попужни-ка его огоньком, генерала!»

Пулемет застрекотал, генерал как был, так и остался на своем месте: на этой дистанции его огнем не достанешь, только свой командный пункт ему выкажешь...

Вдруг генерал махнул рукой, и сотни анненковских кавалеристов рысью-рысью пошли-пошли на Соленую Падь. Сперва с увала под уклон выскочили маленькие беззвучные лошадки с игрушечными седоками, потянули за собой каждый свою тонкую, курчазую, желтовато-пеструю ленточку пыли...

Пыль все густилась-густилась, а потом уже пошла под уклон густой желтой тучей, прикрыв собою всадников, клубясь в голубое небо, а по флангам скатываясь в сизоватую камышовую долину Падухи и в зеленую, с ярко-белым березовую рощу, скрывая и то и другое от глаз.

Пыльный вал этот приближался, все меньше оставалось под ним неба, и вот уже снова проступили из него первые конники, сорвавшиеся с увала, стали различаться и кони — гнедые, вороные, саврасые, рыжие, — они все шли одним и тем же стремительным наметом... Сперва только чуть, а потом все явственнее стала дрожать земля, и вот уже возник сильный гул...

Тут же из глубины и орудия ухнули — пять или шесть. Только они дали первый залп — еще сотни четыре конников пошло на Соленую Падь. В лоб, через перешеек. По склону вниз.

Мещеряков скоординировал — сосредоточить на них огонь, и огонь был сосредоточен, но тут белая артиллерия пристрелялась по огневым точкам, а первые три кавалерийские сотни стали заходить с фланга — их никак нельзя было достать, потому что они шли кустами по склону горького озера. Только возле самого леса, на открытом месте, их встретил еще один пулемет, тогда они разделились на две части — одни пошли прямо, хотя несли потери, другие — взяли еще правее, еще в обход.

Уже поскакали анненковцы через перешеек, уже достигли сосны — Мещеряков дал команду на контратаку, а навстречу правофланговой кавалерийской группировке — то ли чехи это были, то ли еще кто, — чтобы ликвидировать опасность охвата, он выдвинул полк из резерва.

Но тут через перешеек начали приближаться основные силы белой кавалерии, за ней пошла пехота — и прямо, и опять-таки в обход озера.

И артиллерия противника все продолжала точный обстрел. И кто-то истошно крикнул: «Окружают!» Мещеряков, не оглядываясь, бах в паникера из пистолета, сам встал в рост, обнажил шашку: «За мной, ребята!» Но — уже поздно... Уже генерал Матковский с белого коня самолично рубает на большой площади Соленой Пади. И скотина вся,

какая есть в деревне, ревет — и бугаи, и собаки, и курицы. Всегда почему-то она ревет во время сражения.

«А-а-а-а, хады! Попользовались моим добром?» — кричит кто-то диким голосом, а это Кузодеев откуда-то взялся. И тоже рубает.

Р-раз-два! — и генерал развалил Ефрема шашкой и вдоль и поперек...

— Та-ак... — сказал Мещеряков. — На кой черт такая война? Тьфу! Прежде всего надобно заставить противника развернуться задолго до его наступления на село. Еще сообразить — откуда противник обстреливал Соленую Падь своей артиллерией? А обстреливать он мог как раз с Большого Увала, на котором находится сейчас Мещеряков. Больше неоткуда. Увал этот необходимо будет заранее пристрелять, но прежде времени этого не выказывать, а подавить батареи, которые установит здесь противник перед самым началом его решительной атаки...

Еще нужно — навести через Падуху какую-никакую переправу, хотя бы из тесин и горбылей, потревожить левый фланг противника кавалерийским отрядом и через эту переправу вовремя ретироваться. Убрать ее за собой... Есть надежда, что противник тоже задумает через Падуху переправиться, там в болоте и застрянет. Тут его — огоньком.

Конницу надо расположить в приозерной котловине и маневрировать ею по ходу дела — для огня противника и даже для его наблюдения она будет недоступна, а когда противник достигнет этой котловины, тут и повести на него контратаки...

Левый фланг в лесу прикрыть заслоном и не скрывать этого, наоборот — на глазах противника отступить в лес, тогда он в лес пойдет неохотно, а в решительный момент оттуда, с правого фланга, можно будет перебросить часть сил на главное направление... Версты за три от Соленой Пади сделать правильную линию обороны — окопы, капониры.

И пошли и пошли у Мещерякова рассуждения, как будет действовать он, как противник...

За этим и застали его эскадроны.

Рапортовал Мещерякову о прибытии его заместитель, комиссар Куличенко, мужик еще нестарый, лихой, для таких вот налетов очень пригодный. Настоящую же войну Куличенко не любил, не понимал, как она делается.

И Мещеряков, по-прежнему занятый своими размышлениями, выслушал Куличенку молча, после велел развернуть знамя и — марш-марш! — вступать в Соленую Падь.

Они и так уже запоздали — надо было бы вступать в партизанскую Москву пораньше, при солнышке. Себя показать, других посмотреть, и до конца дня связаться с главным штабом Освобожденной территории по множеству вопросов.

Партизаны поглядывали на своего командира, тоже помалкивали, а если говорили — так вполголоса.

Мещеряков быстро, но придирчиво оглядел строй, велел двум или трем конникам стать в глубину колонны — вид у них был не сильно бравый и на вооружении состояли ржавые берданы. Нечего такими воинами гражданскому населению глаза мозолить в крайних первом и четвертом рядах. Махнул рукой Куличенке, а тот уже подал команду: «Вперед арш!» И за спиной у себя почувствовал Мещеряков жаркое дыхание трех гнедых под знаменосцами и шелест красного знамени верстовской партизанской армии, сшитого из кумача; услышал топот эскадронов, выровнявшихся в колонну, тонкий, нетерпеливый звон колес на железных ходах, приспособленных под пулеметные тачанки...

Ну, вот оно — дяди Силантия поселение.
Вот и сам он — главнокомандующий партизанской армией Мещеряков Ефрем Николаевич.

* * *

«Все ж таки фартовый ты парень, Ефрем!» — подумал Мещеряков, въехав на площадь Соленой Пади.

Он подумал так, увидев на площади огромную толпу.

Как было бы грустно, как тоскливо въехать в партизанскую Московку по пустынным, безлюдным улицам!

Или — посылать вперед вестового, чтобы оповещал население о приближении главнокомандующего? Тоже вовсе неладно. Это, наверно, лет десять назад через Верстово проезжал губернатор, так сельский староста по избам бегал, доказывал народу, чтобы выходили навстречу к самой к поскотине! Но то был губернатор — власть над народом, а вовсе не народная власть. Какое может быть сравнение?

Но тут получилось — и не приказывали, и не приглашали, а народ само собою на площади оказался в полном сборе.

Теперь дело осталось за одним — хорошо народу представиться. Это уже от самого себя зависит!

Потеснили конями народ, и эскадроны встали — один справа, другой по левому краю площади, третий как раз напротив штаба... Знаменосцы пробились на самую середину площади, а Мещеряков с Куличенкой спешились, бросили поводья ординарцам и взошли на крыльцо, на котором находилось начальство.

Народ стал было приветствовать Мещерякова, но он тотчас поднял руку, и наступила тишина. В этой тишине он и спросил:

— Кто здесь будет старший по гражданской власти?

— Я буду! — громко ответил Брусенков. — Я начальник главного революционного штаба!

— Здорово, Брусенков! — протянул ему руку Ефрем, глядя на площадь, и тут же другой рукой приподнял папаху: — Здорово, соленопадские!

Тут прорвало тишину, народ закричал, заревел голосисто, и Мещеряков подумал: не зря он предстал перед людьми с эскадронами своими, с новым красным знаменем, со знаменосцами на конях в гнедую масть. Вот уже и начинается самое главное — победа над генералом Матковским. Ведь невозможно представить, чтобы и генерала вот так же где-нибудь встречали! Жаль, не видит нынешней картины генерал!

Прошелся Мещеряков по крыльцу туда-сюда. Он будто бы себя видел со стороны, оттуда, с площади.

Глаза у него голубые, в кругловатых веках, розовые губы чуть припухшие. И глаза и губы на ребячьи смачивают, кожа на лице розовая — загар ее никогда не берет. Из-под светлой мерлушковой папахи выбивается волос с рыжиной, а усики темные. Невысокий, но крепкий, ловкий мужик, а еще — радостный. Это Ефрем о себе знал: когда ему хорошо, когда он про себя знает, что не сплеховал, — на него и людям глядеть радостно, а у баб — у тех сердце вовсе замирает. Война войной, кровь кровью, горе горем, но и осанка, и хромовые сапоги на главнокомандующем — дело тоже не последнее!

Ну вот, на вид соленопадцы Мещерякова узнали. Не то что глазами — вроде даже руками он каждому дал себя пощупать.

Теперь надо было подать голос, сказать слово. Дело уже труднее. Но — начинать надо. Начинать, не опаздывать. Как в бою: есть первый успех — развивай его и закрепляй, не мешкая.

А голос был у Мещерякова тоненький, ребячий. Крикнуть, команду подать — это получалось, а вот речи — дело не мужицкое, интеллигентное дело, должно быть, поэтому оно и не давалось ему никак. А тут, на площади, речь была ему особенно не на месте потому, что он хоть и слетка, а лысый был. Тридцать лет, а сзади лысинка, о ней никак не забудешь. Тут недавно один мужик и не то чтобы сволочь какая-нибудь, а все-таки сказал ему, будто у бобылей лысина растет спереди, а у бабников — сзади.

Произносить же речь в головном уборе тоже плохо, к народу непочтительно. В строю, перед солдатами, — там еще можно в шапке говорить, мало ли что между мужиками бывает? Там — строй. Подчинение. И то большой начальник, полковник или даже генерал, когда хочет к строю без команды речь сказать, шапку скидывает.

Но говорить в головном уборе перед народом, перед женщинами, перед стариками?

И Мещеряков вот что придумал.

— Товарищи! — крикнул он и потянулся будто к папаше, хотел ее сбросить, но повременил. — Товарищи, вот я к вам обращаюсь со словом...

Молчание тянулось долго. Мещеряков глядел на людей серьезно, они серьезно глядели на него, а потом он вдруг весело, хитро так усмехнулся и сказал Куличенке:

— Говори за меня, комиссар! У меня, товарищи, горло шибко узкое, — снова сказал он на площадь и еще назад покосился. — Когда туда что идет, внутрь, сказать, — то не задерживается, ну, а обратно почто-то туго! Вот комиссар при мне, он для того и есть — говорить с народом! Исполни свою должность, комиссар!

Засмеялись, загудели на площади. Ошибки не должно было случиться, и не случилось — принял народ шутку.

Куличенко вышел наперед, чуть даже небрежно Мещерякова отстранил, прокричал громко, зычно:

— Товарищи соленопадские! Товарищ главнокомандующий верно сказал: говорить нам долго не об чем. И некогда нам говорить.

Но сам речь держал долгую — о Красной Армии, о партизанской войне в тылу Колчака, о мировой революции. Только под конец объяснил, что Мещеряков лично будет руководить обороной Соленой Пади, что задача сейчас для каждого — погибнуть, но партизанскую Москву врагу не отдать.

Мещеряков, чтобы комиссара поддержать, слушал стоя, не шелохнувшись, но иногда вставлял свое слово:

— И правильно! Я с этим согласный!

А Куличенко, если греха не таить, тоже не шибко был говорун, а стоять перед народом и вовсе плохо стоял — брюхо сильно вперед держал. Старается, а это сразу же видать. Стараться можно, однако чтобы старания твоего никто и не видел. Он, вообще-то неизвестно, был или не был комиссаром, Куличенко. Никто толком не знал.

Но тут, в Соленой Пади, без комиссара как-то неловко было обходиться, тут у них серьезные порядки держались. Мещеряков это сразу почувял, сразу же и комиссара выставил народу.

— Всем понятно или кто будет вопросы ставить? — спросил он.

— Какие могут быть вопросы! Ур-ра товарищу Мещерякову!

Народ вел себя сознательно, а все-таки чего-то еще ждал от главнокомандующего. Надо было еще поговорить, и Мещеряков обратился на площадь:

— Что происходит?

— Суд идет!

— Засудили уже! — ответили ему дружно, радостно ответили.

— Кого судите? За что?

Ему снова объяснили в несколько голосов: судили Власихина Якова — сынов спрятал от мобилизации в народную армию. Увез в урман и спрятал.

— А сам — вернулся? — удивился Мещеряков. — Ты гляди — интересно как! — Подошел к Власихину, оглядел его внимательно. — Почему же не дал сынам повоевать, а? Молодым в нынешнее время не воевать за народную свободу — или это можно?

— Разные они у меня выросли, — сказал Власихин. — Один белый, другой красный. Недопустимо, чтобы воевали они против друг дружки...

— Сколько же годов тебе, Власихин Яков?

— Семьдесят годов, товарищ главнокомандующий...

— Ну, а когда сам бы ты пошел воевать, то за кого — за белых или за красных? В семьдесят годов — кого бы ты выбрал?

— Люди соврать не дадут, товарищ главнокомандующий, — в любое время пошел бы за красных!

— А приговорили тебя — расстрелять?

— Так точно, приговорили...

Мещеряков прошелся по крыльцу, папаху чуть подправил на голове. Все на него глядели во все глаза: и с площади народ, и Брусенков, и подсудимый, и девица глаз не спускала, и свои эскадронные глядели, не шевелились... До того было тихо!

— Ну, народ, все! Посудили — и хватит, — сказал Мещеряков. — Идите по домам. Нынче готовимся к сражению любой своей мыслью, а также и в действительности. — Еще прошелся по крыльцу Мещеряков, резко повернулся к Брусенкову: — Подсудимого освободить! Освободить, считать как призванного в народную армию!

Брусенков внимательно следил за Мещеряковым, будто заметил в нем что-то, чего никто, кроме него, заметить не мог. Теперь он догадывался, что это такое.

— Товарищ главнокомандующий! — сказал Брусенков. — Подсудимый присужден всеобщим голосованием по закону военного времени. Решения суда никем не отменяются.

Мещеряков прищурился, на площадь глазом покосил: глядите сюда, тут интересное будет.

— А когда так, — ответил он, — по этому закону приказы главнокомандующего обсуждению не подлежат, подлежат одному только исполнению. Первый эскадрон!

С левой стороны площади, вдоль бывшего кузодеевского магазина, шевельнулись конники, подтянули поводья. Командир эскадрона сию же секунду подал голос:

— Слушаю, товарищ Мещеряков!

— Первый эскадрон, зачислить подсудимого старика в свой личный состав! Взять под свое усмотрение!

— Слушаюсь, товарищ Мещеряков!

— Все! — сказал Ефрем. — Теперь старик уже не подсудный — добровольно вступивший в ряды народной армии — вот он кто! Тебе же, товарищ начальник главного революционного штаба, приказываю: обеспечить мои эскадроны — двести тридцать три конных — квартирами, пропитанием и фуражом... — И еще прошелся Мещеряков по крыльцу, легко так, весело... Приподнял на голове папаху. — А встретимся, товарищи, с вами в бою против нашего ненавистного тирана. Встретимся для совершения нашей общей и неперенной победы!

Глава третья

Сено было недавно в стог сметано — трава в нем еще зеленая, еще дышала влагой Живая была трава.

И стог, как живой, покряхтывал, кособочился на одну сторону, собирался, никак не мог собраться с места тронуться.

В глубине этого стога, во тьме, и хоронилась Дора с ребятишками. Тяжко было там, в тумане.

Настоем был крепко туман этот на множестве разных трав... То колючий, жесткий жабрей першил в горле; то церковный запах вовсе маленькой богородской травки появлялся — ладан и ладан поповский; то лекарствами тянуло отовсюду; то бабьей ворожкой... Бабы в травку эту до отчаянности верят, секретно кладут ее под самую подушку и после думают: мужик уже до самой смерти приворожен. Мужик уйдет с дальним обозом или служит военную службу и гуляет там с другой, и гуляет, а баба верит ему и верит.

Сколько запахов этих, сколько с ними вместе солнца, неба, земли вошло в пищу человеческую и в питьевую прохладную воду, в избы, в семью, в любовь и в разлуку, в материнство и в отцовство, в трезвые и в хмельные песни, во всю человеческую жизнь, но тут слишком уж много было всего этого, душила чрезмерная сила, в испарину бросала, давила сердце.

Казалось, еще чуть — и ты вовсе растаешь в дурмане, кто-то другой, бог знает кто, придет сюда, но тебя уже не увидит, не услышит, не узнает, только вдохнет тебя, и вот так же закружится у него голова, будто с хмельного. Замутится сознание, и потянет его к забывчивому сну... И он скажет робко и негромко, успокоенный навеки: «Чую, прах чей-то... И жизнь чью-тс...» После — уснет.

Вот как ей чудилось в полдень в жару, Доре Мещеряковой, когда все травинки в глубине стога потными становились, когда она глядела на ребятишек, лежавших с нею рядом.

Она на них глядела, боялась, как бы в головенки ихние, детские, неокрепшие, от этого жара, от духоты и запахов мысли не запали страшные. Они будто уже ни ее, ни друг друга не узнавали, Наташка с Петрунькой.

Но самое тяжкое было ей с грудным младенцем.

Ниночке как раз исполнилось два месяца, а жизнь с нею рядом и ради нее прожита будто длинная-длинная, а до нее — совсем будто бы короткая. До нее — вдруг казалось — не было ничего. Ни ее самой, ни Ефрема. Ни того, от чего дети рождаются. Ничего! Рождалась Ниночка легко — куда легче, чем старшие двое... Родилась и будто удивилась сама, что и в войну люди тоже рождаются, а потом все дремала, не то чтобы улыбаясь, а губки складывала во сне беззаботным цветочком. Пососет грудь и в один миг отпадает прочь, ручонки мечет в стороны и объясняет матери что-то о себе.

Объясняет — ей много не надо, она вырастет обязательно, какая бы ни была война, какая бы ни была у матери судьба! Такие исходили от нее бессловесные слова.

А матери страшно: обманет жизнь ребенка! До того страшно, что и глаза застигались темнотой, поперек груди что-то жесткое становилось.

И — удивительно — из такого красного, потного, из такого беспомощного человек должен был вырасти. Женщина. Со своей судьбой она будет, и своих детей будет родить!..

Дышала Ниночка тяжело, вдруг прихрапывала иногда. Сердечко билось у нее часто-часто. Господи, какое там сердечко, с ее же кулачок? А уже навалилась на него тяжесть неимоверная — и стог этот навалился.

и солнце через стог всем своим жаром ее душило, и война, и еще материнская вина, должно быть, на сердечке этом лежала.

— Спаси меня, Ниночка! — шептала Дора, когда от этой вины уже не было ей исхода.— Виновата я — родила, привела тебя на этот свет, в стог в этот! Не я виновата — не знаю кто! А если и я — спаси и меня, помилуй, не умирай! Дыши, не дай сердечку своему успокоиться. После упрекай меня, после я рабой твоей буду на веки вечные, а сейчас умрешь — я жизни не выдержу, я всех прокляну — и себя, и Ефрема, и живых детей своих, и господа бога! Спаси, бога ради, в последний раз! Клянусь я тебе: никогда не приведу больше тебя к гибели, к этому краю мрачному, давным-давно тоже проклятому! Спаси в последний раз!..

А ведь она и в самом деле, Ниночка, спасла уже ее. И не одну — вместе с Ефремом. И не один раз, а дважды...

Впервые — весной ранней. Дора была еще беременна, и настигли их с Ефремом колчаки в деревне Боровлянке.

Узнали, что Ефрем в той деревне скрывается, доказал кто-то, и начали они по избам подряд шарить. Тогда бросил Ефрем в сани мешки с зерном и сам лег между ними, а сверху все это накрыли рядом, на рядом села Дора, погнала кобылу.

На выезде из села остановили ее колчаки.

И когда остановили, выпятила Дора брюхо вперед и замахнулась кнутом.

— Ироды треклятые! — завопила она отчаянно.— Ребятишек делать, так мастера вы, а растить — нету вас! Некогда вам — войной заниматься надо! Мешки ворочать, по лывам, по глызам брюхатой бабе на мельницу ехать — и то покою не даете! Подставляйте рожи-то, я по зенкам бестыжим кнутом-от секну, от слепых от вас сраму на земле меньше будет!

Колчаки отшатнулись. Она стегнула кобылу, а после еще долго оглядывалась, и плакала, и кричала колчакам, что и они бросили своих баб и ребятишек и слоняются по степи, ровно бездомные кобели. И кобылу настигивала — старую уже, надорванную кобылу,— и еще угадывала хлестнуть по рядну, под которым Ефрем хоронился...

Въехали в лес — Ефрем выбросил молча зерно на снег, вожжи взял и еще погнал кобылу. Остались они тот раз живые.

И почти такой же был случай уже летом, когда кормила она Ниночку грудью, сидя на телеге, а под сеном, под охапкой, опять хоронился Ефрем...

Но сколько же можно судьбу испытывать?

Сколько можно мужику воевать с револьвером и с шашкой, а спасаться за дитем вовсе малым, за своим же младенцем?

Сколько можно и матери так вот уберегаться и мужа уберегать, отца детей своих?

И не подлость ли, не низость ли, что хватает у нее ссвести на это? Зверь гибнет, а детенышей своих куда бы подальше в нору или в кусты прячет, зверю детьми своими от смерти отгораживаться не дано. А люди? Рубят и убивают друг друга, и жалости нет в них ничуть, а когда жизнь вымаливают — вымаливают ее ради детей и даже бывает — несут дите впереди себя на руках, защищаются крохотным его тельцем!

— Я вину с себя не сниму сроду, дите мое! — шептала Дора во тьме.— Я за всех баб, за всех мужиков грех этот на себя приму и на колени перед тобой становлюсь, обливаю тебя слезами!

И становилась Дора на колени, и плакала молча и долго в черном и душном логовище своем. И обещала вцепиться обеими руками в Ефрема, чтобы не воевал он больше, чтобы не стрелял ни в кого и в него чтобы никто не стрелял...

В отчаянии шептала Ниночке обещание, а ведь знала: не сделает этого! Может даже, она и могла Ефрему его военную жизнь до конца испортить.

Упрекала бы его каждый день, проклинала бы его ежечасно именем тех, кого убил он в этой войне.

И он от войны ушел бы. Все может быть — ушел бы.

Но ведь и от нее самой тоже отшатнулся бы навсегда. Про нее бы забыл в тот же час, как прошлогодний какой-то день забывают... И еще — отшатнулся бы от самого себя, другим стал бы человеком — не Ефремом Мещеряковым, а вовсе другим каким-то...

Она его знала, Ефрема. Она-то ничего, ни одной малости о нем никогда не могла забыть. Девкой шла за него замуж — уже тогда про него знала все. Не обманывала себя, объясняла себе, что придется прощать ему, прощать и прощать без конца, всю жизнь, потому что нет ничего, что она простить ему не смогла бы.

Все девки выходят замуж, а она не вышла, нет... Она в свое замужество ушла, в нем потерялась.

Как жила с ним первое время — год ли, два ли, — не помнила. Как туман был какой-то. Тот же туман — на нынешний похожий.

В ту пору мужики к ней близко не подходили, должно быть, чуяли: Ефрем голову ни за что может отвернуть, да и сама-то она как только замечала на себе мужской взгляд — ее как ознобом злым прохватывало, она только что не рычала, и никак в толк не могла взять, как это глупый мужик не понимает, что ее нынче не то что рукой — словом и взглядом задеть нельзя.

Еще когда Ефрем был парнем неженатым — он всех девок пугал, они все его боялись до смерти.

Ужас был перед ним, а в то же время как бы приятный. Особенный ужас.

Если девку кто из парней обижал на игрищах — то ли за косу сильно дергал, то ли, вроде шутя, обнимал, а после не давал ей из рук своих вырваться, — ей только крикнуть: «Ефремка! Заступись, бога ради!» — и Ефрем уже тут.

К обидчику подошел, молча с правой, с левой — раз! два! — весело так по морде стукнул, повернулся и пошел.

Если тот побитый парень не шибко гордый — дело между ними на том и кончится. Ефрем сам о таком случае никогда больше не вспомнит и другому дразниться не даст.

Когда же парень простить не хотел, давал сдачи, так должен был знать, что тут уже не только на кулаках, но и на батожках придется мяться, что за Ефремом встанет весь Курейский край деревни и что пусть год пройдет, а встретится он где-нибудь один на один с Ефремом и тот не забудет к нему еще раз руками приложиться. И девки этот порядок знали: если уже кто вступал с Ефремкой в драку, так они с визгом разбегались по домам — конец наступал вечерке.

Но таких мало находилось охотников — с Ефремкой Мещеряковым связываться, и девки только шепотком предупреждали парней: «Отпусти! Не то вон сейчас Ефремку и крикну!» А Ефремка стоял всего чаще в стороне, глядел на игрища, улыбался чему-то и одну за другой свертывал сигарки.

Любили девки его защиту, любили за спиной его перед ухажорами своими покуражиться — так ее не тронь, этак ее не задень.

Но зато если уж Ефремка тоже вступал в игру и догонял какую из них, хватал ее железными своими руками — так уж мял, сколько хотел, и обнимал тоже, покуда не надоест.

И не то чтобы это со зла какого — просто так: он девок защищал, они от него и потерпеть должны были. И тут жаловаться некому было, уже тут парни над девкой издевались, ржали в голос: «Попалась! Терпи нонче!» А что ей остается, девке? И в самом деле — терпеть да повизгивать.

Чувствовали девки, что с парнем этим шутки плохи. Вдруг ответит какую из них в сторонку и скажет, что любит, — и уйти от него будет не просто. Если же пойдет кто за него замуж, так сколько же хватит горя?

А сколько выпадет с ним счастья?

Был Ефрем парнем не то чтобы красивым и видным, но железные его руки, отчаянность его и смелость, голубые, большие и вроде вовсе детские глаза счастье обещали.

Не простое, далеко не каждой доступное — но счастье. Только, может, среди них и не было ни одной, которой оно доступно — это счастье?

И глядели девки на Ефрема издали, а когда глядели вблизи — воротили взгляд куда-то в сторону. Даже пожилые бабы, замужние и детные, и те его вроде стеснялись, замолкали, когда проходил он мимо улицей, и только вслед ему, и вовсе тихо, говорили меж собой:

— У-у-у-у, глазища-то! Чисто варнак... Азартная девка за такого пойдет!

Пошла за такого Дора.

И когда пошла и справили свадьбу — девки, недавние ее подруги, на нее стали глядеть с тем же страхом, с которым до тех пор глядели на Ефрема, а бабы, которые особенно любопытные, спрашивали будто ненароком, но не раз:

— Ну, как с таким-то? Страшно? Либо... — И сами, верно, не знали, что «либо»...

Дора же и раньше знала за собой отчаянность, всегда ее чувствовала, а тут она не глядела даже, что баба вдвое, а то, может, и втрое ее старше. в матери ей годится, отвечала по-шалльному, на «ты»:

— Попробуй схлопочи такого же! Сама и узнаешь!

Это, наверно, она потому отвечала так и ничуть не стыдилась, что никто ее о Ефреме, о жизни их семейной, спрашивать не имел права. Никто! Хотя бы и мать родная!

И еще боялась обмолвиться, как трудно ей с Ефремом.

Дома он и день и другой весь ей принадлежал. Что ни скажи, что ни заставь — все тотчас исполнит и улыбнется еще, и все захолонется в ней от этой улыбки. После оглянулась — туда-сюда, а его уже и след простыл на ограде. Где он девался, где был и с кем? — об этом не узнаешь. Спросишь — он удивится даже: «А какое твое бабье дело?»

И сиди бессонную ночь, и страдай — откуда он вернется, когда и какой? С синяком ли под глазом, пьяный ли, в карты проигравшийся? Не спрашивай ни о чем, не упрекай, не то он снова повернется и уйдет снова либо тут же запрыгает и молча уедет на пашню, будет жить там в избышке один, неведомо чем сыт, ворочать же работу за двоих добрых мужиков.

И только чего не допускал никогда Ефрем — это обидеть ее при народе. Может, сам по себе не хотел, может, догадывался, что уж слишком тяжело, нестерпимо было бы от этого Доре.

Собирались в масленицу либо в престол на большие игрища, так он одевался в новое, глядел, чтобы и она была одета чисто и красиво, — и вдвоем шли они по улице.

Шли — каждому было видно, какое Ефрем оказывает жене своей почтение.

Шли, а девки, глядя на них, замирали, ругали себя, думая, будто напрасно они в свое время Ефрему убоялись.

Приходили на площадь. Там холостые ребята, да и мужики помоложе, а которые уже хмельные, так и старшие возрастом лапту гоняли; на высокий столб, маслом смазанный, карабкались, доставали с вершины самогонки четверть; боролись, подымали гири-двухпудовки — против Ефрема в играх этих стоять было некому. А играл он и боролся весело, азартно, рисково боролся. но опять — о жене не забывал.

Дора лушила в то время подсолнухи с бабами, беседовала с ними о том, о другом, Ефрема будто и вовсе не замечала. После кивнет ему, поманит его пальчиком — он в ту же секунду бросает свое занятие, подходит к ней узнать, что надобно.

И млеют вокруг Доры бабы, и девки тоже млеют от изумленья и плят на нее глупые свои глаза.

Объявили войну...

Она на выпасах была тот день, далеко от дома, — бросилась на подводу чью-то попутную, а когда бежала по деревне улицей, в каждой избе баба в голос ревела и причитала, и мужики ходили угрюмые либо пьяные. Успели уже.

Дора бежала со всех ног и думала, что ведь Ефрем и глазом не моргнет, что страха в нем нет и не может быть ни перед чем, но неужели за нее-то он не испугается нынче, за ребятишек ихних, в то время малых совсем, неужели не дрогнет у него сердце перед разлукой? Ведь жена она ему, мать его детей, и ему самому тоже не раз и не два была матерью, когда увещевала его и прощала ему. Неужели уйдет и не заметит, как она страдает за него, не поймет, как страдать будет? Уйдет веселый и бесстрашный?

Ей бы не об этом думать в тот час, в те минуты, не о себе думать, только о нем, о нем одном, но она не могла по-другому!

Вбежала в избу... Ефрем уже в котомку свои пожитки укладывал, уже почти что доверху котомка полная была.

— Ефрем, — спросила она с порога, задыхаясь, — а если убьют тебя? Я-то как же тогда?

— Всех не убьют!

— Всех не убьют, а тебя одного?!

— Бабий расчет...

Тогда она кинулась к нему в ноги, за колени его обхватила и взвыла, запрыгала — пусть узнает наконец, что и она баба как баба, что и она слезами полна.

Ефрем сильно удивился. И даже замешкался как-то, затоптался ногами на месте: она ведь ни разу до того не выказала ему обиды какой, страха за него, ревности и каждую свою слезу улыбкой к нему обращала.

Он любил баб — страшный охотник был до них, но только по одной, когда же две или три соседки к ним в избу приходили — тотчас прочь уходил: скучно ему было до смерти слушать их всех вместе.

Другая баба какой слух на улице либо через плетень перехватила — и уже бежит к мужику своему новость пересказать. Ефрем этого не терпел, никогда такого ей не позволял. Заикнись только — слышала от баб то-то и то-то, он рукой махнет и еще оботрет после руку о штаны:

— Мое-то какое дело?

Любить он умел, как никто, но только такую, которая ради него от самой себя во всем отказывается, во всем для него ладная, безупречная...

Но тут уже не было у нее сил через слезы ему улыбаться — она ревела дико, она все хотела выплакать, все выкрикнуть, за все хотела убояться, что с ним на войне этой проклятой могло произойти.

И чем громче она вопила, чем крепче головой прижималась к ногам его, тем страшнее становилось ей за себя, за него, за ребятишек их — что,

если он и тут ее не поднимет с полу, не успокоит. не скажет доброго слова? Не сделает этого, а на нее же и прикрикнет, почему нет у нее ласки? Почему невеселая, почему баба глупая, крикливая? Что ей тогда проклинать? Его? Себя? И его, и себя, и всю жизнь вокруг себя?

Тот раз он поднял ее с полу. И на койку положил, сходил в ледник — принес квасу холодного и на голову холодную же примочку положил.

Сидел подле нее в горнице, думал о чем-то, молчаливо и долго думал. И тем его молчанием она и жила целые годы, покуда он воевал. Помнила молчание это и в разлуке переживала его едва ли не каждый день снова и снова.

Вернулся же он зимой, в начале восемнадцатого года... Холода стояли.

В тот буранистый день Дора поехала по дрова, их несколько солдаток собралось, а дорога лесная, дальняя, замело дорогу, она сильно домой припозднилась... Дрова в то военное время будто в лавочный дорогой товар превратились. Другие солдатки из-за дров замуж выходили, пленных австрийцев в избы принимали, а начнет ее соседка корить, солдатку, она сразу же и отвечает: «Ты за билетом съезди за дровяным в лесничество, да в лес, да наруби по тому билету, наколи дров, привези их с леса одна-то, без мужика, а я погляжу, как это у тебя получится все!»

Царя в Петрограде прогнали, а первое, что после того в Верстове сделали — собрались солдатки, пошли в волостную управу, потребовали, чтобы им за всю войну дровяной долг вернули, а на первый случай немедля же выдали по кубу на солдатку. После отдавали билеты на порубку в те семьи, где мужики были, отдавали исполу: два куба дров напилить-нарубить и сложить, один — себе за работу, другой куб — солдатке.

И выдало начальство билеты, не стало перечить. В других деревнях так не захотело, захотело по-своему, упрямо делать — там солдатки и окна в управах повышибали, лесничих и объездчиков тронули и даже занялись самовольной порубкой, бабью революцию делали!

После эти свободы, бабами завоеванные, омское начальство опять стало к рукам прибирать, стало отпускать кубы далеко не всем, по выбору: у кого муж Георгием на фронте награжден либо совсем погиб, а еще кто в белую армию угадал и уже в то время с красными воевал. Таких по пальцам было пересчитать в Верстове, да они и сами не сильно за кубами этими гнались, помалкивали.

Припозднилась в тот день Дора с дровами.

Приехала, распрягла — уже и совсем сильно загудело, забуранило, потому, должно быть, и не слышал дома никто, как въехала она в ограду, как распрягла. Пимы сколько времени обметывала на крыльце и все не чувствовала, не понимала, что случилось. Вошла в избу, а Ефрем — дома сидит. На том же табурете, на котором котомку свою на фронт собирал, и сидит босой. На коленках ребятишки у него. В черепушке огонек моргает... И котомка, сильно обтрепанная, у порога на попу поставленная стоит.

Что после было — опять не помнила.

После — жил он дома. Он и дома умел жить, как никто не умел, — со двора его не выгонишь. Другие мужики, одной с ним солдатской службы, найдут, в картишки перекинутся покличут — он вроде глухой, не слышит их...

И весна так же прошла — либо он в избушке на пашне, Ефрем, либо дома.

Принес три георгиевских креста, лычки фельдфебельские, снял и кинул на комод, позади зеркала. Кинул, да ни разу после и не вспомнил. Как только прибирать Доре на комод — так и не знает, что с ними де-

лать, с крестами и с погонами,— убраться куда подальше, с глаз долой — так ведь хватится вдруг, осерчает, что обошлась с крестами не так, как положено, службу его военную не уважила? На видное место положить — а может, он того и сам не хочет, может, он забыл о крестах этих, и слава богу. Зачем самой напоминать, чтобы он гимнастерку надел свою, подвесил кресты, да и пошел бы с ними по деревне гулять с такими же, как он сам, служивыми?

Не трогала она ни погонов, ни крестов, лежали они сами по себе, будто чужие чьи, но только не верила Дора, что долго это может продолжаться.

И когда только-только партизаны народились в какой деревне, может, с десяток их было, а в другой и того меньше, Дора сразу же поняла: отсидел Ефрем свой недолгий срок. огхозяствовал дома.

Но если не могла она пойти с ним на ту первую, германскую войну, то теперь, когда война дома занялась, в своей же и в соседних деревнях, в ближних селах и камышах — она решила, что ни на шаг от Ефрема не отстанет, с ним пойдет всюду, с ним будет, покуда и эту войну мужики не отвоюют.

И пошла...

Отряды были в прошлом году совсем небольшие — скрывались на пашнях, в бору, в кустах.

Она с Ефремом тоже скрывалась.

А зимой в лесу, в степи долго скрываться не будешь, мороз, следы выдадут, и решили отряды до весны разойтись.

Так и сделали. Только Ефрем, которого уже тогда по многим деревням хорошо знали, и семеро дружков его домой не пошли, пошли в горы и там под видом беженцев нанялись углежогам. На заимке в горах восемь мужиков хоронились. И она с ними — одна женщина. Одного любил, восьмерых обстирывала.

Весной отряды собрались снова и куда сильнее прежнего. Налеты совершали, походы по всей степи.

И Дора была с Ефремом безотлучно.

Тут как раз образовалась армия партизанская. И в южном уезде, и в Соленой Пади тоже была армия, и решено было из них одну сделать, а главнокомандующим назначить Ефрема.

Ефрем пошел с тремя эскадронами в Соленую Падь, она пошла с ним.

Колчаки между двумя армиями проникли, стали Ефрема наступать. А тот нет чтобы уходить — начал со своими эскадронами на белых тоже наскакивать, по степи петлять...

И попали они в деревню Знаменскую, к матери Доры, к ее отцу. И Ефремов отец, Николай Сидорович, там же был. Радовалась Дора, что увидит родителей, а увидела в Знаменской бог знает чего.

Пришли они в Знаменскую на рассвете, их сразу кто-то в поповский дом повел. Дора с ребенком на руках была, не знала, тоже зашла. Зашла, а там поп лежит, на куски изрубленный, и попадья голая, задушенная.

Ну, кому же она нужна была — безобразная такая, толстая, обвисшая? Молодой женщине в баню с такой пойти и то стыдно на одном полке мыться. Или уже это совсем не люди сделали?

Ефрем спросил: кто сделал? «А твои и сделали,— ответили ему.— Твои эскадронцы раньше тебя успели сюда, раньше успели и уйти отсюда».— «За что сделали?» Оказалось, офицера одного настигли, живьем взяли, а у того список нашелся, кого колчаки еще весной поубивали в здешней местности, партизаны. семьи партизанские. И список никем, а батюшкой был написан, и еще было сказано там: «Посоветовавшись с моею супругою, я...» Еще и схитрил батюшка — знаменских ни одного не

помянул, из других деревень своего же прихода были мужики, на тех доказал. Сделал — не догадаться бы никому, как бы не попался тот офицер. Далеко где-то попался, говорили, едва ли не за тысячу верст от места, а бумажка по рукам шла, шла и вот — к батюшке вернулась. Не помогла хитрость.

Нынче в супругу бумажка была вложена. Торчала из нее. Ефрем сказал: «Сами божьи слуги и виноваты...» — «Так еще-то эскадронцы пограбили имущество!» — «Ах, пограбили! Найду — сам же пристрелю мародеров!» Тут привели какого-то мужчину сильно пьяного, сказали Ефрему: «Этот был среди тех!» Ефрем вышел с мужиком из избы, а вернулся без него... Выстрел игрушечный был, будто ненастоящий. Только он вернулся — еще какой-то мужчина пришел, высокий, усатый. Закричал на Ефрема: «Вы что дурака валяете? Этот вовсе ни при чем, он после всего уже прибыл да успел где-то набраться!» Ефрем на усатого: «И тебе, видать, того же надо? Чего разинулся? После время оглашаешь? Ну, сделано, так уже сделано, мог бы пояснить, а не оглашать! Тоже, поди-ка, еще и начальство!» — «Начальство, угадал, но безобразия такого не делаю!» — «Ах, не делаешь? Тогда разберись — вот человек, который мне на эскадронца моего указал! Напраслину возвел. Разберись, и когда действительно напраслина, то этого человека за ложный донос сам и расстреляй!» А тот человек тоже заревел дико: «Я, что ли, доказывал один? Все так и доказывали!» — «Вот-вот, — сказал Ефрем усатому, — сколько их есть виноватых, столько и стреляй! Самолично!» И тут заметил Дору с Ниночкой на руках — она в толпе стояла. Подошел к ней, взял за руку, повел прочь. У ворот остановился, приказал, чтобы ему на квартиру срочно доставили акты описанного и конфискованного у здешних буржуев имущества.

Потом ехали по деревне в тарантасе, в дом вошли, мать к ней бросилась... А бросилась ли? Может, не было? Что там было, чего не было — после того поповского дома? Как только она через порог родительский переступила? Потому, может, и переступила, что в этом доме тоже несчастья, горя было через край.

Было так, что родители не в своем доме и жили. Даже не в своей деревне.

Старшая сестра Прасковья давно еще из Верстова пошла замуж в дальнюю деревню — в Знаменскую.

Ребятишек народила там, и уже забыли будто про нее в родной семье, редко поминали, навещали еще реже. Дора у сестры так года два назад только и была, Ефрем еще с фронта не возвращался. Прасковья же в германскую войну овдовела: убили у нее мужика.

А тут Верстово колчаки сильно последнее время трогали, партизанские семьи преследовали, не только семью Мещеряковых, даже родителям Доры и тем грозились что-нибудь сделать. Родители взяли и в Знаменскую, к дочери, уехали. И вовремя. Отец Ефрема очень старый был, понадеялся на возраст — не тронут древнего. А легионеры пришли — избу у него сожгли, самого избили страшно, хотели будто бы на цепь посадить, к столбу приковать на площади верстовской.

Свои, верстовские, спасли его — опять же в Знаменскую, в тот же вдовый дом и доставили...

Мать она и есть мать — как-никак, а отогрела у Доры сердце. Хоть сколько, а смогла. И не тем вовсе смогла, что приласкала дочь — приласкала Ниночку, старшеньких двоих, а еще — встретила Ефрема с великим почтением...

Как войти, напротив дверей, сидел на лавке Ефремов отец. Дора сразу же подумала: мать его посадила здесь, на виду, чтобы Ефрему приятно сделать, чтобы как вошел Ефрем — сразу же отца и увидел...

А смотреть-то на что? На колчаковскую работу? Что колчаки-легионеры с людьми делают — на это смотреть? Хватило бы уже такого!

Еще весной — вспомнить — сильный был старик, за плугом ходил, а уже по домашности не было дела, чтобы проворно не сделал... Четыре рабочих лошади было в хозяйстве у Мещеряковых, да молодняк, да овец они водили порядочно — пыхтел, а все ж таки управлялся без сына, без снохи старик... А тут — сидит древний-древний, глазами водит, все время ищет чего-то. Ищет, не находит... На Дору поглядел, закивал часто, а не сказал ничего. Она ему Ниночку показывать, он и не видел Ниночку-то — она родилась летом, на боровой заимке в то время отряд Ефрема стоял...

Он увидел младенца, спросил:

— Как звать-то?

Будто никогда об этом не слышал, не знал.

А вот другое заметил сразу:

— А-а, Ефремка! Ты гляди, пинжак на тебе какой — сплошь кожаный! Садись-ка! Вот тут и садись!

— Ты, сват, хотя бы рядом посадил Ефрема Николаевича! — сказала мать. — А то и место ему указываешь бабье!

Подошла к зятю, папаху на нем приподняла, поцеловала три раза. Ефрем папаху бросил на лавку, поклонился теще:

— Спасибо Дарье Евграфьевне за внимание! — Сел, куда отец указывал.

— Пинжачок-от как, спрашиваю: на деньги купленный либо на муку где менянный? — допытывался старик.

— Выменял...

— И то — деньгам-от нынче веры нету. За деньги вещь не возьмешь, куды там! — И вдруг дрогнул весь, погладил Ефрема по голове, наклонился к нему и тихо так, жалобно спросил: — Ты скажи, Ефремка, пахнет ли от меня чем?

Ефрем сначала не понял, после стал наклоняться к отцу близко. И Дора к нему наклонилась невольно, хотя и странно было — вроде как зверям каким при встрече обнюхиваться.

Человеком пахло, человеком пахло хворым и вроде даже земляным уже каким-то, могильным. Дора подумала: старик и сам чует запах этот, а все кажется ему — мнится это, не может этого быть, вот он на других и хочет проверить. Заглянула ему в глаза — ничего нельзя угадать. Глаза сами по себе. Разговору в них никакого, выцвели, слов не касались. Но помнить что-то такое помнили... Либо Ефремку еще бесштанного, либо как сам он сватать приезжал в первый раз Дору.

В избе тихо стало...

Ефрем сидел рядом с отцом, нюхал его, не стеснялся, и видно было, как старался он. Мыслями всеми догадывался, и глядел на отца, и носом шумно тянул в себя...

Отец же сидел — не дышал. Ждал — угадает ли Ефрем. И все в избе ждали, ребятишки и свои и Прасковьины — все присмирели.

Вдруг Ефрем вздрогнул и так, будто бы ненароком даже сказал:

— Ну как, поди, не почуять... Очень даже сильный дух от вас, батя!

— А угадай! Угадай, какой дух-от? А?

— Угадывать вовсе нечего — веником от вас, батя, сильно пахнет!

И засмеялся старик. Засмеялся-то как: будто сроду не били его колчаки, не хоронил он прошлую зиму жену свою, будто ничего худого не знал сроду. Толкнул Ефрема в грудь:

— Ты гляди, Ефремка, угадал! Угадал ведь, как надо! Уж я мужиков двоих звал меня прошлой субботой парить. старались они, но я же чую — веник не тот! Не тот. не верстовский вовсе веник, духу от его нет,

и пар он под шкуру не загоняет! Ведь какой у нас дома-то веник был припасен загодя, ну, пожег Колчак проклятый, пары одной на вышке не оставил! А здешним же веником — правда что обида париться, я уже вовсе надежду потерял. что они дух какой при мне оставят! Сверху парит, а в нутре — пусто. Пусто, хоть убейся! Ну нет — вот понял же ты, все понял и пронюхал! Спасибо им, тем мужикам, все ж таки постарались, пропарили! И тебе, сын, низко кланяюсь! Теперь мне что, душистым-то, преставиться? В самый же раз!

— Ну, вы об этом погодите, батя! Торопиться некуда!

— Тебе, может, и некуда, Ефрем, торопиться, ты войной занятый, а мне временить грех! Я занятый нынче смертью. Вот как.

Мать шептала на ухо Доре:

— Избу пожгли, коней увели, самого избили — едва и дышал одним только боком, а веники более всего ему жалко! Заходится! Николай-от Угодник верно что призывает его!

Все смешалось нынче, все перепуталось...

В одно время совсем рядом все было — поп с попадьею убитые, расстрел, совсем напрасно Ефремом сделанный, Ниночка, мать с отцом, сестра вдовая, запах веников — тоже...

И как Ефрем понял тогда запах этот? Догадался, что отцу, умирающему, искалеченному, от него надо? Не вовсе же ему глаза войны застили, мог он и такое почувствовать? Все-то ему дано было, Ефрему... Таким он и с нею был... То не видит, не слышит ее страданий, слеп и глух. То — она глазом только поведет, махнет рукой, вздохнет — он уже и угадал, что с нею, что ей надо, что чувствует она и переживает.

Побыли они еще несколько дней в Знаменской. Правда, мучилась Дора. От матери, от детишек, от Ефрема страх скрывала, от себя не могла скрыть. Сколько уже она с Ефремом по степям, по лесам скиталась, чего только не пережила — привыкнуть не смогла.

Разве к страху за детей своих, за Ефрема привыкнуть можно?

Ефрем — тот ко всему мог привыкнуть. И «кустарем» был, и главнокомандующим огромной армией.

Он в любой жизни был, как дома.

Принесли акты на конфискацию, которые он требовал. В поповском доме и требовал.

Ефрем их поглядел, полистал и бросил.

А Дора после рассматривала, читала, хотя и не очень разборчиво написано было.

Бумаги-то, бумаги-то! И совсем чистая бумага, и линованная вдоль-поперек, большие листы, а рядом — из ребячьих тетрадок повыдерганные, с гербами, писари списали их красиво на одной стороне, а на другой — эти самые акты, мусоленным карандашом составленные.

В Знаменской Коровкин жил, Матвей Локтионович. Знали про него, видели — богато живет. На одной только швальне сколько рабочих держал, еще имел кожевенное заведение, еще кредитку на паях с Кузодеевым держал. А все-таки кто бы подумать мог, догадаться, какие он в действительности водил капиталы?

Денег золотых конфискованных оказалось сорок семь тысяч, разных золотых вещей — пять фунтов с золотниками, чуть только не два пуда столового и всякого другого серебра! А шуб, матерьялов: две, три жизни проживи — не износишь!

Зачем это ему было? От какой глупости? Или от болезни это все спасает? От невзгод? От измен? Не спасает это ни от чего, одно только и делает — зависть делает от других, злобу. Вот он и хоронился, Коровкин, от людей, не показывал добро никому. Значит, и ему стыдно

было? Мало того, через это добро он изменником всему знаменскому миру стал — колчаков у себя принимал, кормил их и поил. Досыта поенные-кормленные, они на площадь являлись, колчаки, призывали народ, грозились народу, а весной так и на самом деле шестерых знаменских шомполами били, и среди них — женщину одну...

А кончилось чем?

Колчаки у Матвея бесплатно пили-ели, после офицер дочку у него насильно увез, а самого хозяина мужики вскоре описали в этот акт, заведения отобрали в общество и заставили в швальне самую грязную работу работать...

Еще удивлялась Дора: в актах дом был описан на восемь комнат, конюшни, рысаки, бык племенной оценен в полтысячи, а после листки шли, так на тех корыта были записаны, ведра дырявые — дырок указано было сколько на каждом, одна, либо две, либо все в дырах ведро, а под конец там ручка от маховой пилы была зачислена.

Она Ефрема спросила: рукоятка-то зачем? Начали с золота, с двух пудов серебра, с восьмикомнатного дома, а рукояткой кончили? Деревяшка же эта с ладонь, чуть длиннее, и нет больше в ней ничего! Не ее ли Ефрем и проверял, когда акты конфискованного имущества себе потребовал? Не за нее ли воюют мужики?

Ефрем сказал:

— Правильно все сделано! Грабеж — то грабеж и есть, то есть прямое беззаконие. Грабит человек, так он знает — законом здесь и не пахнет. Но нынче-то мужик за что воюет? За закон и воюет, за новый, справедливый, вовсе точный. От закона и делает. А тут уж с мужиком ни один писарь, ни один крестьянский либо другой какой начальник сроду не сравняется! Тут он закон видит в каждом гвоздике!

Верно, что все нынче смешалось.

А приглядеться — семья-то, родные — все почужели будто друг другу. Сестра Прасковья зависть таила. Сама, должно быть, не хотела зависти этой, а куда от нее денешься? Она мужа потеряла, навсегда вдовой осталась, потому что в годах уже, и ребятишек на руках орда целая, а Дора с мужиком своим в тарантасе ездит и даже — при ординарце они. Ординарец и коней им запрягает-распрягает, и в дом входит, спрашивает, не нужно ли чего еще сделать. Дора дрова пошла рубить, так и колун у нее силой отнял, и сам наколол, и печь еще растопил.

Ребятишки Прасковьины на Петруньку и Наташку зыркают сердито, а Петрунька то ли не замечает этого, то ли нарочно двоюродных своих поддразнивает — к месту, не к месту, а только слышишь, как поминает: «Наш батя...», «Мы с батей...»

Мать — та никогда-то Ефрема не любила, за глаза ругала и в глаза не сильно жаловала, а тут — с уважением к нему, «вы» завеличала. Потчевала его, будто масленка шла, сапоги чистила бархаткой, не уставала хвалить сапоги.

Один у нее оставался зять, один мужик — не парнишка и не старик, а мужик настоящий — на всех дедок и бабок, на всех тещ и племянников. И хотя сердце Доре вроде отогрела, спасибо ей, лаской своей к детишкам, к Ефрему — в то же время будто бы посторонняя ласка у нее была...

А вот отец Дорин, родной отец, тот не переменялся ни к кому. Он ведь тоже не хотел в свое время, чтобы Дора за Ефрема шла. Братишки Дорины еще без штанов бегали, а наперебой уже рассказывали — какие шутки Ефрем удумал сделать, с кем подрался, кого побил. Отец как услышит об этом — велит сразу же парнишкам замолчать, а на девчонок строго так поглядит — будто тогда еще опасался, что которая-то из них может за Ефремом потянуться. После на покосе как-то были они с от-

цом, отец кочкарниковый край докашивал, Дора еще вчерашнюю кошенину гребла, а сели сумерничать, и тут рассказал он дочери, какая у нее в замужестве будет жизнь. Он ей тот раз все высказал, и все, до точности, сбылось после. Он не перечил, нет. Даже и не шумнул на нее, не пригрозил. Сказал: «Не ты за его — он за тебя идет. И вечно тебе с ним, как с ребенком малым, будет и забот и невзгод». Только не знал он одного — что Дора-то и сама все это знала. Больше отца знала.

А все ж таки в тот раз поняла она, как переживал за нее отец. Не в тот раз даже — позже уже поняла, и забота отцовская чем дальше, тем все ближе ложилась у нее к сердцу.

У них в семье пятеро рождалось детей, трое парнишек было, и все померли, а две девчонки — те выжили. И всегда казалось Доре — госкует отец по мальчишкам. Какая семья, какое крестьянство без сына? Вышли дочери замуж, и верно, остались отец с матерью — он да она, она да он... А ребятишек отец любил, они за ним вечно со всей деревни вились. Он грамотный был, отец, так мужики в которую зиму его за учителя подряжали, и тогда полная изба набивалась у них зимой мальчишек — учил он их читать. Писать сам не очень мог, читал же быстро, громко и ладно так. Было бы что — книжку, газетки обрывок, надпись под картинкой, — он все прочитывал по сколько раз подряд. И про буквы печатные все знал: как делаются они, какой краской покрываются, как отражаются на бумаге.

Дору сильно любил. Она думала: за то и любил, что читать тоже быстро и ясно научилась. От матери потихоньку привозил ей с базара книжки, в книжках сказки разные, про богатырей, про воинов. Но про них Дора стеснялась при отце читать. Все думала, отцу как раз в этот миг помершие парнишки будут вспоминаться.

Мать, бывало, девчонок чуть что — за косы, пока парнишки были живые — тех за уши отдерет, но только отец на порог ступил — мать уже и присмирела, уже ласковая со всеми. Он крику-шуму не любил, отец, ребятишек никогда не бил, но боялись они его, даже представить трудно, почему боялись. И — любили. Зимой сказки он рассказывал, множество сказок: про богатырей, про бергалов — горнозаводских рабочих Алтайских рудников, он и сам из них происходил.

Нынче в сестрином доме отец из сундучка старинного, солдатского снова книжки эти на свет вытащил. И в горницу к Доре положил. Про тех же самых воинов, про богатырей.

Она их читать не стала — не хотела. Какими они в детстве еще представлялись, такими пусть и остаются с нею. Начинаешь читать — а вдруг они хуже сделаются? И не поверишь больше им? А вот картинки глядела в книжках. Картинки веселые были. И война на них тоже веселая.

С Ефремом отец встретился, будто вчера только они виделись. Ни о чем не расспрашивал, ничего от него не хотел узнать.

Ефрем первый узнал, что отец в ополчение записался. Обрадовался:

— Это вы, батя, правильно сделали! Удивительно, как правильно!

— Удивляться-то чему? — ответил отец. — Я еще и по сю пору на опоясках с тобою потягаюсь!

Мать замешкалась, Ефрем тоже разом вспыхнул. Главнокомандующий-то который раз сильно на мальчишку смахивал...

— Ну-ну, батя, ну-ну-у! — сказал только.

Это еще Дора в девках была, а Ефремка сильно куражился, ходил по Верстову, боротья вызывал всех и каждого, удивлял всех, как ловко он боротья сумел.

Один отец и не удивлялся, говорил: петушок Ефремка. Нехватка у него в душе какая-то, что ли, вот он и старается вид показать, чего-то

достигнуть. И на пасхе как-то, седой уже был, а вышел на площади с Ефремом на опоясках по-киргизски бороться.

Дора стояла, глядела на них, глядела, после не смогла глядеть — убежала прочь. Вечером только и узнала, что отец-таки положил Ефрему. А ей известно было: отец секретный один прием в этой борьбе знал.

Ефрем тоже прием тот сейчас и понял и уже спустя время укладывал им на землю самых сильных борцов из киргизов, но случай все же таки был — бросили его на землю, всенародно бросили.

— Поменьше своим эскадронам воли давай, главнокомандующий! С попами не сильно войуй, особенно сказать — с попадьями. И не только я, вовсе старики пойдут на партизанской стороне воевать,— еще сказал отец.

— Вовсе-то старики пускай уже дома сидят! — ответил Ефрем.— За внучатами тоже кому-то надо глядеть.

— А они успеют, старики. И там и здесь. И не то чтобы они — сила большая сами-то. Они другим, помоложе, силы придадут. Так.

Уезжали из Знаменской — мать плакала:

— Детишек-то береги, Дора... Младенца-то, младенца, не дай бог...

— Или ее надо уговаривать в том? — вздохнул отец. И один только раз молча Дору на прощанье поцеловал.

...Скоро ли кончится? Скоро ли переменится жизнь, не этой будет, другой?

Ничего не кончилось. Даже еще и не начиналось ничего тогда в Знаменской, самое-то страшное. Нынче в стogu в глухом, в жарком, в дурмане в этом началось. Не только для нее — для Ниночки война началась, навалилась на сердечко ее.

Прежде войны были — мужиков брали, они где-то там, неведомо где и стреляли друг в друга, рубились. Мальчонка в семье родился — все довольные были: душа ревизская, мужского пола, земли надел на нее, и лет через двадцать, раньше, еще одну рабочую душу женского пола в дом приведет.

Так за это все, за льготу эту, семья и плату несла: женили сына, внучата пошли от него, а отца уже и нет — убитый на войне.

А девчонка крохотная — при чем? Она от жизни ничего не просит, не требует. Она и родилась-то — жизни себя отдать! Без надеда родилась.

Не та жизнь! Не та! Чему же отдавать себя?

А добьются ли мужики хотя бы и через эту страшную войну жизни той, настоящей? Смогут ли? Теперь уже остановить их нельзя, и сами они не остановятся, теперь сколько будет крови — уже никто не считает, а слезы бабьи топчут — не видят, что топчут.

Удастся ли?

Послышалось — кони где-то недалеко топчут.

Замерла вся.

Кто? Свои за ней приехали, взять ее отсюда, как обещались? Или другое?

Когда уходили от погони, в стог в этот спешно ее спрятали, и только прочь ускакали — выстрелы в той же стороне слышались. Теперь, может, за убитыми своими приехали — не успели тот раз убитых подобрать, увезти с собой.

Может так быть?

Сорока кричала... С тех пор, как вместе с мужем Дора долгое время скрывалась, знала она, что сорока над человеком вьется, выдаст его криком.

Ее выдает? Или тех, кто ее ищет?

Может так быть?

Первый день, пока хоронилась здесь, Дора все-таки выходила на воздух. Ночью выходила. Пеленочек не было, она с себя рубаху изорвала, ночью стирала обрывки эти в озере.

Наташка с Петрунькой тоже в воду залезали, сидели тихо в воде, не баловались, не брызгались, чтобы каплями звону не сделать.

Неподалеку из озера торчали в небо полусгнившие оглобли колесного хода. Забросил здесь кто-то и когда-то этот ход. Солнце с высоты светит прямо в озеро — ход проглядывается на чистом песчаном дне расплющенный, рядом со своей тоже кривой и вздрагивающей тенью. Солнце светит сбоку, с заката,— и ход распластывается далеко по воде, уползает своею тенью в камыши.

Из этого озера в другое протока тянется... Вода в ней немая, голоса при любом ветре не подаст. Ни волны, ни плеска. Только морщиться и умеет. И в небо раз в году, верно, глядится эта вода, а то все подо льдом или под тиной зеленой.

Ниночку Дора окунала в озеро, будто легче становилось ребенку. После кормились они все. Без горячего кормились, хлеб оставлен ей был, масло топленое в тuesке, лук зеленый и соль. Был спичек непочатый коробок, но огонь Дора боялась разжечь.

Нынешнего дня почему-то боялась страшно. Только бы кончился он, проклятый, скорее, только бы тьма наступила!

Он все не кончался, тянулся все...

Дора о жизни, о людях думала, думала. А что о ней думать, как обо всей о ней думать, обо всех людях, когда сороки и той до смерти боишься?

Глава четвертая

«Вот, Ефрем Николаевич, товарищ главнокомандующий, вот и довоевался ты! — сказал Мещеряков сам себе, войдя в новое помещение штаба армии.— Довоевался! Служить уже начал! То была — одна война, теперь еще — и служба! Как-то управисься?»

Он подумал так, Мещеряков, потому что его поразило новое помещение: с коридором, с дверями в разные комнаты, с часовыми у дверей. Даже со стуком — очень необыкновенным. Он прислушался — это пишущая машина стучала за одной из дверей. Не бойко, изредка голос подавала, но — упрямо.

Эскадроны Мещерякова прибыли в Соленую Падь под вечер второго сентября, когда суд шел на площади, а на следующий день — то есть вчера — Мещерякова в селе уже не было. Он был в полках.

Верхом ездил, пешком ходил и бегал, расстегнув гимнастерку на все пуговицы. Жарко было вчера... Он ругался, наганом на кого-то грозился, приказы отдавал, назначения командного состава делал. Все было. До глубокой ночи, до утра почти.

Переспал час-полтора, но сон слишком короткий, что ли,— отдыха не дал. До сих пор казалось — вот сейчас снова ему бежать, снова ругаться, позиции выбирать, баб каких-то с позиций к чертовой матери прогонять, чтобы не ко времени не путались.

Но сегодня не то было...

Сегодня надлежало ему явиться сначала в свой собственный штаб армии, а потом еще — и в главный штаб.

Как этот самый главный штаб правильно называется, до сей поры было неизвестно. Кое у кого спрашивал — называли всяко: главным штабом Освобожденной территории, и штабом народного восстания, и

штабом республики Соленая Падь, и штабом краснопартизанской республики. И армию по-разному называли: партизанской, народной, красной.

Правду сказать, так и в Верстове, в партизанском Питере, тоже армию кто как называл, но здесь уже придется, по всему видать, этим делом заняться — круглые печати нужно сделать, исходящие бумаги выпускать под номерами.

За сутки, которые Мещеряков отсутствовал, штаб ему оборудовали добрый. Сельский комиссар Соленой Пади, должно быть, расстарался — товарищ Лука Довгаль. Выделил помещение бывшего Кредитного товарищества.

Во всей Соленой Пади только один Лука хотя и не очень сильно, но все-таки знаком был Мещерякову: летом приезжал в Верстово. Представителем приезжал. По вопросу о слиянии двух освобожденных территорий и двух армий.

И еще — собственный начштаба армии тоже постарался. При входе Мещерякову отрапортовал комендант, объяснил, что он же является командиром охраны штаба и комендантом Соленой Пади. О таком Довгаль не догадался бы. Один — не догадался бы сроду, тут человек военный нужен, чтобы так устроить.

Разведка, отдел снабжения, оперативный отдел, канцелярия — все имели комнаты, а начальнику штаба и главнокомандующему комнаты были отведены одиночные. Закрывайся, сиди — никто не узнает, чем занят, что делаешь. Спать и то можно.

В комнате главкома — стол, накрытый красным, на столе — стекляшка-чернильница, ручка с пером. У стен — два стула, две табуретки и в углу прислонены две доски. Положи эти доски на табуреты — получится вдоль стены скамейка. Можно вызвать к себе штаб целиком — и все рассядутся, никто на ногах толпиться не будет.

У окна, в углу, — железный шкаф, на ручке шкафа на засаленном кожаном ремешке — ключ, а внутри, на полках, лежала бумага. И много.

Неплохо тут с бумагой жили, в Соленой Пади. В Верстове по-другому было: как написать чего, то и посылаешь Гришку Лыткина развиться лоскутком.

Вообще-то штаба настоящего у Мещерякова до сей поры не было. Где сам — там и штаб его. Всякий раз как в помещение новое заходишь, так и глядишь, куда окошки направлены. На случай, если выходить через них придется.

И Мещеряков внимательно осмотрел бывшее Кредитное товарищество: окна выходили в переулок, напротив дом — длинный, приземистый и угловой, другой стороной выходит уже на площадь. Это Мещерякову не понравилось. Он вызвал коменданта, велел узнать ему, кто в том доме живет, чем занимается, и держать одного часового на углу, чтобы тот замечал, кто в дом с площади заходит.

А вот выхода из помещения штаба было два: один с улицы, парадный, а другой — во двор. Чтобы не держать две охраны, второй был уже заколочен, только слишком крепко заколочен. Мещеряков и тут распорядился: впредь вторые двери держать закрытыми, но так, чтобы в любую минуту их изнутри можно было распахнуть.

Двор был хороший — просторный, с колодцем, с конюшней и с завозней, со стороны огородов замыкался складским помещением. В помещении теперь находилась охрана штаба и часть пулеметной команды. Также правильно. До холодов вполне в складе можно было жить, а поставить печурки — и зиму скоротать можно.

Осмотрев это все, Мещеряков снова вошел в свое одиночное поме-

щение. Сел. Повертел ручку, перо обмакнул в чернильницу, на чистом листке бумаги расписался несколько раз. Потом росписи свои зачеркнул и подумал: «До чего эта война только не доведет? За столом сидишь с чернильницей».

Из главного штаба принесли сводки.

Беремя принесли бумаг, и посыльный сказал еще, что товарищ Брусенков ждет к себе товарища Мещерякова по важному делу в главном штабе.

— По делу, о котором товарищ Мещеряков сами знают! — сказал посыльный, а Гришка Лыткин стоял подле него.

Он так считал, Гришка, что каждого, кто в комнату к главнокомандующему войдет, он обязан сопровождать и строго за посетителем глядеть. Чтобы вывести посетителя обратным ходом, если тот сам долго не уходит.

Посыльный ушел быстро, Мещеряков разъяснил Гришке, чтобы он с каждым посыльным не входил к нему, вообще не входил, покуда его не позовут.

Оставшись один, прочитал сводки, сердито погучал по бумаге кулаком:

— Вот тебе, Ефрем, начало... Всем надо, чтобы как у людей было бы. И сводки чтобы были, и победы чтобы в них значились совершенно обязательно. Вот оно, начало,— без побед служба никак не может. Бойтся она, когда нет побед. Верно ведь, когда поражение и даже просто успеха нет, каждый может легко сказать, что и он так-то смог бы сделать, даже лучше. Без начальства смог бы обойтись не худо!

И вот старается главный штаб, товарищ Брусенков,— хорошо видеть, как старается победу возгласить! Только сквозь старание это сильно заметно — дела плохие до сих пор у Соленой Пади, у республики, или Освобожденной территории, как называется она,— это в данном случае все равно. И никто не хочет в этом признаваться. Наоборот — все хотят провозглашать победы!

На второе число сентября месяца информационный отдел главного штаба имел следующие сводки.

По Легостаинскому району:

«В ночь на второе сентября наш полк напал на находящуюся в поселке Моховой Лог белую банду из легионеров 400 человек, разбил ее, забрал семь возов патронов, воз гранат русских и английского образца и обоз с награбленным имуществом. Бандиты бежали для соединения с другими своими отрядами».

По Знаменскому району:

«Двадцать девятого сентября противник, сгруппировавшись в отряд численностью около 1550 человек, при четырех орудиях повел наступление на с. Знаменское, и после 12-часового ожесточенного боя был обращен в бегство. Захвачены пленные. Много патронов, пулеметные ленты, а также отбиты подводы с награбленным крестьянским имуществом, как то: самовары, швейные машины, подушки и пр.».

По Семенихинскому району:

«Противник численностью около 1500 человек, при трех орудиях повел наступление на деревню Каурово, после суточного ураганного боя противник вынужден был отступить с большими потерями».

По Моряшихинскому району:

«Противник до 2000 человек, при двух трехдюймовых орудиях повел наступление на село Ново-Оплеухино и временно им овладел, после чего был выбит в обратном направлении. По частным сведениям жителей выяснилось, что противник сжег своих убитых в двух мельницах, а раненых, 52 подводы, на которых было по пяти человек, отправил в на-

правления на станцию Елань. Выяснилось, что изнасиловано оказалось около 30 женщин, среди них 12 девушек. Зарублено и искалечено мирных жителей 17 человек и казнен 13-летний мальчик.

Трупы 70 партизан и 18 жителей, всего 88 человек, сегодня в 6 часов похоронены в одном месте».

И еще по двум районам были такие же сведения, как две капли воды друг на друга похожие: «Противник силами в полторы-две тысячи человек, при трех-четырех орудиях занимал села, но тут же был из них выбит...»

Вот это и не радовало Мещерякова — сходство сводок со всех районов.

В коридоре нового штаба уже толкался военный люд: все больше шли к интенданту армии, просили оружие, обмундирование, обувь, медикаменты — чего только не просили!

Ну, а интендант отправлял просителей к начальнику разведки: тот знает, где и какие у противника расположены склады и запасы, и еще другие ему известны сведения — скажет по секрету. После добывайте сами.

Собственная связь у штаба армии уже налаживалась. Не позже, как к утру завтрашнего дня, связь такой будет, какой должна быть: чисто армейская, гражданским властям, Брусенкову не подчиненная... В каждом населенном пункте — два-три вооруженных нарочных на хороших конях, в каждом значительном подразделении — то же самое. Конники галопом и доброй рысью проходят каждый свой перегон за час, много — за полтора, по цепочке передают донесения в штаб армии, обратно увозят приказы, и в самые отдаленные участки фронта приказы эти прибывают в течение дня.

Наладится связь — не будет таких вот сводок: белые наступают, отбиты, отступают...

А куда, спрашивается, отступают? По каким дорогам?

Как бы не вчерашняя отлучка — сегодня у Мещерякова такая связь работала бы безотказно.

Связь — она не только ведь сама по себе важная, она дисциплине родная мать: каждый командир знает, что он хотя и далеко, а на глазах у главнокомандующего, знает, что всякий день ему нужно перед штабом армии отчитаться, что его сводка и любое сообщение если в них набрехать, то сейчас же это и выяснится, выяснится просто — его нынешнее сообщение со вчерашним сравнят и с завтрашним и еще с донесениями соседних частей, с данными армейской разведки. Брехня сразу наружу станет.

...Там отступают белые, здесь отступают. А ничего этого нет — есть белое наступление!

Очень просто. Они нынче сами научились по-партизански воевать, беляки. Офицеров-дворянчиков тоже кое-чему научили мужики-партизаны. Вот они на месте и не задерживаются: когда не удалось взять село с марша, так не берут его, а если и взяли — поживились, пограбили, воинский поганый дух подняли и скорее идут дальше. На Соленую Падь идут, на главные силы партизанской армии. Им, верно, о состоявшемся объединении партизанских сил тоже известно.

Этот белый план Мещеряковым давно был разгадан, еще в Знаменской, на пути в Соленую Падь он его понял, а нынче в нем уже и секрета нет, он ребенку ясный — план генерала Матковского. А сводки все еще победу за победой трезвонят!

Одна была во всем этом отрадная мысль: генерал Матковский, надо думать, тоже не рассчитывал, что его колонны будут двигаться по десять

верст в сутки, никак не более того. И что на маршах он будет нести серьезные потери, генерал тоже не думал.

Ничего не скажешь — бывший главком Соленой Пади, а нынче командующий фронтом товарищ Крекотень делал для Мещерякова хорошую передышку, придерживал и трепал белые колонны на дорогах. И отряды бывшего мещеряковского подчинения тоже без дела не сидели. А, пользуясь передышкой, Мещеряков здесь должен теперь быстро организовать надежную оборону.

Но и это еще не все. Когда колчаковцы имели нынче хотя бы и частный неуспех, потому что сроки решающего сражения за Соленую Падь, которые они сами назначили, наверняка давно уже прошли, а партизанская армия все-таки имела относительный успех — то и надо было это положение использовать. До конца. Тут были возможности.

Задумался Мещеряков. Может, и не задумался — просто ждал. Ждал, когда само по себе что-то в голову придет.

Это с ним бывало, и даже вовсе не редко... Бывало, вот-вот уже начало боя и план у него есть, давно уже выработанный план боя, но он вдруг сам этому плану перестает верить. Знает: сейчас должно еще осесть.

«Раз!.. Два!.. Три!..» Передохнет и снова: «Раз!.. Два!.. Три!» Посчитает на несколько заходов, и — что ты думаешь? — вот тут-то и явилось новое решение! Предстало во всей красе — бери его, осуществляй! Сразу и догадаться, как ложный маневр сделать или засаду, где расположить резерв для решающего удара...

И не напрасно Колчак назначил за Мещерякова — за живого или за мертвого — хорошую сумму. Дальше этой обещанной суммы дело у него не шло, а все ж таки в ценах она, буржуазия, толк понимает! Знает за Мещеряковым его секрет — в решающий момент быстро сообразить, как ее, буржуазию, надо бить!

Противник-то это знал. А вот перед своими Мещеряков не хотел проговориться. Когда его спрашивали, как додумался он сделать маневр, да и весь бой в свою пользу, отвечал всегда одинаково: «Давно продумано было. И такой план был загодя продуман, и другой, и третий...» А что в самом деле, неужели каждому признаваться, как перед самым боем все еще считал: «Раз! Два! Три!»?

Но в помещении, в отдельной комнате, что-то не получалось — хорошо придумать. Или народа не хватало ему, крику, шуму и гвалта? Или еще чего? А может, просто-напросто задача стояла нынче очень большая, стратегическая задача, решающая для всего хода военных действий?

И Мещеряков встал, начал по комнате ходить взад-вперед, закладывая руки то за спину, то пряча их в карманы галифе, то складывая на груди. А потом вот что случилось — он снова сел, так, ни для чего, выдвинул ящик стола, а в столе, оказалось, лежит коробок с цветными карандашами!

Он тотчас крикнул из коридора Гришку Лыткина, велел ему узнать, откуда взялись карандаши, кто доставил.

— А это вчерась лично доставили вам, товарищ главнокомандующий, начальник главного штаба Соленой Пади товарищ Брусенков. Я знаю! — ответил Гришка.

— Да ну-у! — сильно удивился Мещеряков. — Это кто же мог подумать, а? — И как будто даже упрекнул себя в том оттенке недоверия, которое возникло у него к Брусенкову с первой же встречи. — Ну, ты иди, Григорий, иди! Не толкайся здесь, не мешай!

Правда, еще подумал: может, это были карандаши бывшего коман-

дующего армией Соленой Пади товарища Крекотеня? В таком случае ему, товарищу главнокомандующему, их иметь и вовсе положено.

Гришка ушел. Мещеряков вынул из планшетки карту, рассыпал на столе карандаши, из железного шкафа достал большой лист чистой бумаги...

Навалился всем телом на стол. Папаху крепче надвинул на лоб. Поплевал на пальцы.

Прежде всего нарисовал кружок черным карандашом и написал сбоку печатными буквами: «Сол. Падь». Он за собой знал — печатные буквы у него всегда красиво получались.

А дальше пошло и пошло дело: дороги изобразил, села на дорогах, положение частей противника, о котором так или иначе можно было судить по сводкам, расположение частей партизанской армии. В масштабе сделал — вдвое увеличил на листке все размеры против карты.

Получилась полная диспозиция на 1—2 сентября 1919 года.

В последнее время в армии Мещерякова такая работа делалась, но только — как? На худеньком листочке, карандашом в один цвет, и делал все это не Мещеряков, а его начальник штаба.

А нынче он сделал сам. В германскую войну чем только не приходилось заниматься саперу и телеграфисту Мещерякову при штабе армии, при других штабах и в полевых частях! Приходилось и диспозиции для начальства копировать, а нынче пришлось для себя самого.

И еще он вынул из планшетки компас и, глядя на него, нарисовал на листке стрелки «север», «юг». Вот так! Вот и понятно, почему капитал сроду не хотел грамотных мужиков и пролетариев: дай им настоящую грамоту, они сами собой запросто и с войной и с жизнью управятся!

А что, если бы у Мещерякова имелась не одна-единственная карта-десятиверстка, имелось бы их без счету, как у полного генерала, к примеру?

Он бы на листке диспозицию уже не рисовал, не пожалел бы настоящую карту, и на нее, на готовую, нанес бы расположение своей армии и армии противника. Еще и от себя нанес бы на карту иные перелески, овраги и дороги, которые землемеры в свое время то ли не заметили, то ли инструмент их подвел, то ли они выпивши некоторые места на карту снимали. Рассказывают, такие случаи тоже бывали. И не так уж редко...

Это какая на карте была бы диспозиция?! А? Ну, и свою нынешнюю работу тоже хаять вовсе ни к чему!

Карандашей было восемь штук: белый, черный, красный, зеленый, коричневый, желтый, синий, фиолетовый. Все разного роста.

Он ими порисовал, и они сразу будто привычными стали, уже привязался к ним. Разложил их по росту и сказал: «Ты, черт!» Потом подумал: «Кому это сказано-то?» То ли белому карандашу, который был не зачищен вовсе и самый длинный, то ли красному за то, что он самый коротенький? Красный, значит, всегда в большом ходу, всем и каждому необходим, а белый ни однажды не понадобился. Белый для чего только нужен? Зря материал на него переводится, и место в коробке он занимает — на его место другой можно было положить, хотя бы еще один красный, либо коробок сделать чуть поуже, тоже выгода...

Тут-то и начала достигать Мещерякова одна мысль. Не до конца, но, главное, что начала...

Генерал Матковский, начальник тыла верховного правителя Колчака, навязывал Мещерякову свой план кампании... Генерал, верно, спит и видит, как заставит он партизанскую армию перейти к обороне, к делу,

для нее вовсе непривычному. Загонит партизан в окопы, сам же начнет играть своей артиллерией по этим окопам, по избам Соленой Пади. Прямой наводкой играть...

А что же Мещеряков? Хваленый главнокомандующий? Он вот что — он хотя на марше устраивает белым колоннам трепку, но в целом генеральскому плану подчиняется, готовится к обороне Соленой Пади...

Покатал Мещеряков все до одного карандаши под ладонью. И еще раз покатал — карандаши тархтели, будто маленькие пулеметики. Под эту игрушечную стрельбу Мещерякову очень захотелось и еще остаться тем, кем он до сих пор был — партизаном. То есть в оборону не переходить, контрнаступать, трепать белые колонны на марше и там и здесь, а потом разбить их на подступах к Соленой Пади окончательно. Не дать главной силе противника — артиллерии — сыграть свою роль...

При такой полной для противника неизвестности можно даже у него артиллерию отбить... Хотя бы — несколько пушек.

Сражения — внезапные, быстрые, победные — Мещерякову ясно представились.

Но как к ним подойти, к таким сражениям?

Быстрые маневры нужны, неожиданность... Нужно обеспечить скрытную переброску группы контрнаступления с одного направления на другое. Использовать местные ополчения. Они дрались бы, ополченцы, хоть и старики, хоть и мальчишки, — каждый за полного солдата, потому что бой шел бы всякий раз не за чужой какой-то, а за их же собственный населенный пункт!

План заманчивый.

Чисто партизанский.

Но тут надо было решиться!

Или сделать на этот план ставку, выполнять его всеми наличными силами, и когда получился бы успех, то получился бы он полным и блестящим — потерь понесла бы партизанская армия самое малое количество, оборону Соленой Пади и вовсе не пришлось бы держать, не ставить село под испытание, под белый артиллерийский огонь, неизбежный даже при самом лучшем исходе. Но зато уже и в случае неуспеха Соленую Падь оборонять вовсе будет нечем, попросту придется сдать ее. На растерзание сдать...

Еще можно было план этот выполнять лишь частично, главную же ставку по-прежнему делать на оборонительное сражение и только выделить группу контрудара, ослабить противника на марше, чтобы он подошел к Соленой Пади уже сильно потрепанным, чтобы еще до решающего сражения сопли и кровь по морде уже размазывал бы.

Но тут красота уже не та! Вотсе не та! Так ли, иначе ли, а белые успеют прихватить Соленую Падь огоньком. Ребятишек побьют. Баб тоже.

Как быть?

Какое принять решение?

Сводки главного штаба не подсказывали Мещерякову ни слова. Молчали...

И он крикнул вестовому Гришке Лыткину, дремавшему в коридоре, чтобы тот позвал начальника штаба.

Начальником штаба вот уже месяца два был у Мещерякова штабс-капитан царской службы, и, видать, вовсе неплохой штабс-капитан. Но ко всему еще он был давнишний партиец, отбывал за это каторгу в Забайкалье. Когда произошел Октябрь, воевал там за советскую власть, а когда Советы побило контрреволюционное казачество — явился к Мещерякову и здесь тоже воевал. Явился он из города по приказу подпольного комитета партии, но не очень об этом рассказывал — знал себе воевал. Фамилия его была Жгун.

Жгун пришел с рукой на перевязи, это по нему еще в Забайкалье контрреволюция стрельнула картечью, с тех пор никак не могли вынуть осколок из локтевого сустава, а вредный был осколок — успокоится, после снова болит, гной и кровь из сустава гонит. Жгун — седой, высокий, худущий — встал перед Мещеряковым по-военному, кашлянул.

— Прибыл по вашему приказанию!

Мещеряков подал Жгуну составленную цветными карандашами диспозицию, велел с ней ознакомиться. И карандаши на стол положил.

Наштабарм ознакомился, спросил:

— Ты и это умеешь?

— А что же!

— Какие будут сегодня распоряжения?

Мещеряков велел начальнику штаба срочно составить приказ всем командирам частей, чтобы они донесли: подробно о боевых операциях последних дней, о всех направлениях, по которым отступает прогивник, выходя из боя, при каких обстоятельствах противник от боя уклоняется, на сколько верст продвинулся за последнюю неделю, имеется ли связь между соседними колоннами противника, насколько надежная и как осуществляется? Можно ли эту связь прервать?

Жгун быстренько все записывал на бумажку, потом спросил:

— Приказ будем посылать через Крекотеня?

Вопрос был не простой.

Тут сказывалось положение, которое сложилось нынче в объединенной армии: главнокомандующим был Мещеряков, командующим фронтом — Крекотень, но фронт-то в армии был нынче один-единственный, в нем вся армия состояла. Не очень складно, однако Соленая Падь пошла на слияние только при условии, чтобы Крекотень оставался самостоятельным командиром.

Мещеряков подумал и сказал:

— Пошли всем действующим отрядам и Крекотеню тоже пошли. И чтобы он знал: послано всем. Не делай от него тихо.

— Ясно! — кивнул Жгун седой своей головой и виду никакого не показал. А он-то всегда был против этого условия Соленой Пади, считал должность командующего фронтом вовсе ненужной. — Разрешите к вам вопрос.

— Давай!

— Разрешите, товарищ главком, еще от себя расширить круг вопросов?

— Расширяй! — ответил Мещеряков. — Только не сильно. Чтобы полковые командиры не запутались бы в этом круге.

— Разрешите идти?

— Подожди... — Мещеряков помолчал, наклонился к Жгуну и тихо, быстро сказал ему: — Прикажи всем командирам частей срочно выяснить, сколько в каждом селе на пути предполагаемого следования белых возможно временно отобилизовать конных подвод? Так отобилизовать, чтобы ни одной бы хоть сколько годной кобылы и ни в одной ограде, ни на пашне не осталось бы. Сделай это, чтобы каждый командир подумал, будто только ему одному такой пункт предписано выполнить! Одному, а никому больше. Только к его району действия и есть у нас этот особый интерес. Сможешь?

И опять Жгун глазом своим острым, колючим не дрогнул, не повел. Кивнул, в бумажке сделал пометку.

— Все?

— Теперь все!

Жгун откозырял и ушел.

Э-э-эх, мать честная, что значит военная-то служба! Во всей армии один, верно, только Жгун это до конца осознает и понимает. Во всей армии только на него на одного и можно самому глядеть, чтобы это понять. Доведись до любого — сейчас вот и вытаращил бы на тебя глаза: «Как? Почто? Для чего? А-а-а, так вот что ты удумал, товарищ главнокомандующий! А ведь неплохо и удумал!» И пошла бы, чего доброго, эта новость до той самой бабенки, которая нынче на площади в Мещерякова глазами стрельнула! Весело так, прицельно стрельнула, шельма! Видать сразу — ей война нипочем, она свое дело знает.

Мещеряков поднялся из-за стола, прошелся по комнате, постучал пальцами по огромному железному ящику, оставшемуся в комнате еще от Кредитного товарищества. «Денег, поди, в этакое перебивало — миллион!»

Еще подумал: проделать в ящике дырку и установить на позиции. Под ним окопчик сделать, поставить пулемет и стрелять с пулемета через то отверстие. Вот будет бронеогневая точка! Только окопчик нужно бы сделать чуть подлиннее ящика. На случай, если противник все-таки приблизится — выйти из-под него и, оставаясь в окопе, метнуть гранату!

После этого Мещеряков и еще стал читать гражданские донесения с мест. Их множество было, и все самые разные.

Из села Тимаково сообщалось:

«Тимаковское народное восстание просит вас, товарищи из всех окрестных деревень, немедленно приступить к повсеместным восстаниям и поторопиться бы прибыть в села Тимаково, Чивилиху, Зубоскалово для поддержания наших сил.

Начальник Тимаковского народно-военно-революционного штаба
Сизиков».

Из села Семиконного:

«Доношу начальникам штабов Тимаковского, как и Чивилихинского, что мы согласные отдать все свои силы товарищам на борьбу против Колчака, так как они имеют малые силы, просили присоединиться к ним повсеместно, в согласии умереть за одно общенародное право и советскую власть, о чем и доношу в хорошем настроении все благополучно.

Начальник отряда
Агеенко».

«Товарищи и товарищи села Семиконного! Услыхали мы великую радость, что у вашего села идет спешная организация и мобилизация. Великая для нас радость. Чувствительно благодарим за вашу спешную организацию. Товарищи! Не теряйте время ни минуты. Пожелаем вам хорошего начала и успеха в настоящем восстании и еще несчетно раз благодарим всех вас, товарищи. У нас пока идет дело. Сегодня была стычка с белыми, жертв мало, а у нас есть белые в плену.

Начальник Тимаковского народно-военно-революционного штаба
Сизиков».

Из села Коротково: «Поднято Красное Знамя».

Из села Колосовка:

«Разбит отряд под командованием прапорщика Абрамовского. Прапорщик Абрамовский расстрелян. Задержано 76 правительственных лошадей. Конвоиров в количестве 23 взяли в плен.

Днем 29 августа было предложено находящемуся под арестом Никифору Савельевичу Несмеялову дать взаимнообразно на дело революции поддержку деньгами, которых и было дано 55 тысяч.

Спрошены были жители: «Желают ли они защищать себя от белых и как набрать армию?» Изъявилось добровольно мобилизоваться молодое сознательное и политически благонадежное крестьянство призывов с 1917 по 1908 включительно.

Реквизировано стадо рогатого скота в числе 73 голов жителя села Чернодырино Сумарокова, которое гнали в направлении города.

Начальник Колосовского отряда
Бородулин».

Из села Полтавка: «Ночь и день прошли спокойно».

Из села Черный Бадан:

«Получено известие: казачьи станицы Муровая, Булашиниха, Суликова добровольно сдают оружие нашим представителям. Остальные покуда воздерживаются».

Из действующей армии:

«Доводится до всеобщего сведения, что партизаном Мощихинским сложена песня под названием «Грозная пика»:

О грозная пика сибирского люда!
Не ты ли оковы сняла?
Радость и слава настолько велика,
Что пика свободно росла.
О грозная пика! Ты вместе с борцами,
Ты вместе со знамен в бою,
Навеки историк подчеркнет на память
Храбрость и славу твою!
О грозная пика! В бою с деспотизмом
Ты много от рабства спасла,
Ты иго вассалов, могуча и грозна,
Как вихрем, в пучину снесла.
О грозная пика! Пусть варвар запомнит,
Что пика с крестьянством сильна.
Крикну и я: «Здравствуй, пика всесильна,
И вечная слава твоя!»

Из села Московки:

«Объявляется, что во время набега белой банды на село Московку московским комиссаром был брошен пиджак, а в нем в кармане находилась печать Московского волостного исполнительного комитета. По возвращении комиссара в село Московку пиджак и печать не найдены, которую просим считать недействительной».

...Мещеряков читал — ясно ему все представлялось. Даже и те деревни, которые в донесениях были упомянуты и которые он никогда не видел, появлялись перед ним, как настоящие. И люди, о которых донесения сообщали, которые их подписывали, тоже в один момент возникали, и живые и уже убитые. И даже скотина, семьдесят три головы, реквизируемая, и та будто мычала и табунилась где-то тут, за окном. Хороший был признак: когда вот так живо все видишь, даже невидимое, далекое, — это к удаче.

Насчет того, что казачьи станицы Муровая, Булашиниха и Суликова оружие сдали, а остальные все покуда воздерживаются, он крепко задумался...

Как бы казачишки эти не ударили с гор. Служивый народ. Да и какой вообще это народ, когда он только и знает, что служит? И, мало

того, еще службой своей хвастается? Служба его вперед всего интересуется. В мужицкой деревне отслужил человек, домой вернулся, про него и забыли, кто он был — унтер, или фельдфебель, или рядовой. Выпьют, так младший чин старшему морду побьет, о старшинстве не подумает.

У казаков не так. У них и в мирной жизни урядники, полусотники-сотники друг перед дружкой чуть что не строевым шагом ходят, и девку выдать замуж, так сперва глядят — какой командир свекром ей будет. Будто в этом для нее все счастье и состоит. Романовы-цари сделали либо до них кто придумал: наделили казачишек большой землей. Чины сибирские казацьи — двести, даже пятьсот десятин имели. На рядовую душу и то отводили по тридцати десятин. А те — богато наделенные — сдают землю арендаторам, и своим, и неприписным крестьянам, и старожилам.

И нынче казачишки эти воюют не столько с Колчаком, сколько между собой режутся. Фронтвики вернулись домой, порошу нанюхались досыта, больше не хотят, от колчаковской мобилизации уклоняются, а вот которые дома сидели, старшие уже возрасты, те за белую власть горой, обещаниям ее верят и подачками дорожат.

Так вот и получилось у них, у казаков,— фронтвики режутся с тыловиками, бедные с богатыми. У служивых издавна ведется: любье дело начинают ли, кончают ли — междуособная свара для них прежде всего другого...

Конечно, и везде-то есть такое, и в Соленой Пади, и в Верстове, но то по крайней только необходимости, а вовсе не поголовная резня стоит. Это колчаки раздувают, кричат, будто крестьяне нынче идут одно село на другое, сын на отца. Им это выгодно кричать, колчакам, не признаваться, что, кроме казачьих станиц, ни одно село в степи за ними не пошло.

Все ж таки мужики — в большинстве народ. чинов среди них мало, чересчур богатых, как вот Кузодеев был или знаменский Коровкин, тоже невеликое число...

Поначалу еще за милицией доколчаковского временного правительства богатые мужики, правда, пошли. Настукать на кого либо самых первых, еще неопытных и одиночных партизан схватить, передать властям — все это было. Но после, когда народный пожар во всю силу разбушевался уже против верховного изверга Колчака, против его генералов, атаманов, чужестранных легионеров,— тут уже и богатеи примолкли, затихли полностью.

Про комиссара села Московки, потерявшего печать, Мещеряков подумал: «Ну, теперь он до конца жизни научится — если при печати, так будет носить ее в штанах, в кармане».

Песня «Грозная пика» показалась ему средней. Средне была составлена: не по-народному и не по-ученому. Ни так, ни этак. Ну, а все ж таки в ход она вполне могла пойти. Особенно если Мошихинский, который ее сочинил, голос громкий имеет. Написанное — оно же само по себе тихое, его надо еще провозгласить!

А одна строчка в песне так особенно Мещерякову понравилась. Даже две:

...Навеки историк подчеркнет на память
Храбрость и славу твою!

И еще одно сообщение Мещерякова сильно задело... Написано было даже лучше, чем в стихах.

«О том, чтобы вести митинг в помещении волости — хотя оно и обширное, — не могло быть речи, так как не вместились бы и 1/4 собравшихся. Открылся грандиозный митинг на открытом воздухе. Море го-

лов! — прочел Мещеряков и тотчас представил это море.— А по мере того как товарищ Петрович говорил, настроение все поднималось. Когда же он кончил, раздались голоса: «Все пойдем! Все умрем! Долой Колчака!» Какой царил подъем духа! Сколько энтузиазма! Не только мужчины, но и девушки, простые милые крестьянские девушки, и те кричали, что пойдут в сестры милосердия. И пошли. Вот ихние имена: Домна Колесникова, Наталья Сухинина, Елена Доровских и многие другие... Как величественно, как красиво это восстание!»

Вот как было написано!

Что мужики кричали «умрем!» и «долой!», Мещерякова ничуть не удивило. А вот девки о революции заботятся!

«Ну, и о них тоже позаботиться надо! — подумал Мещеряков.— Пусть милосердствуют за тяжелоранеными и за теми, которые при смерти. А уже от выздоравливающих надо их уберечь. Это команда такая: не воюет, не работает, только и знает, что выздоравливает...»

И Мещеряков вспомнил — на германской был у него ротный, тот своих взводных и даже унтеров то и дело устраивал в команду выздоравливающих. Для поощрения. На неделю, а то и на десять дней... И Мещеряков был в той команде тоже. Два раза был. Знал этот обиход.

Ну вот — настало время идти в главный штаб, к товарищу Брусенкову. Он одернул на себе куртку, поправил ремень, наган, портупею, усики пошевелил двумя пальцами.

Гришка Лыткин прыгнул с подоконника, скособочил на себе папаху, и пошли они вдвоем из штаба армии в главный штаб.

Часовые в дверях стояли — в момент приняли стойку «смирно».

А беда ведь с этим с Лыткиным! Чуть заметит за главнокомандующим какую повадку — сейчас то же самое делает, до смешного старается. И походку сделал себе под Мещерякова, и папачкой где-то разжился серого цвета, и галифе добыл с кожаным сиденьем, а шпоры на нем звенят — бубенцы на выездной упряжке в первый день масленки! Нынче учится трубку курить и усы растит. Покуда ни то, ни другое у него не получается.

В любой разговор Гришка ввязывается, который раз мешает. Надо бы посерьезнее иметь вестового, из обстрелянных, но уж очень лихой Гришка этот. Душевный очень, к начальнику своему привязанный. А что у парнишки такое может быть? Отца и мать в эту пору еще не сильно чтут, бабы у него в помине нету... Живой останется, вырастет, пахать-сеять будет, нынешнее время ему всю жизнь так и представляться станет: каждый день красным бантом повязанный, каждый час звонкими шпорами звенит.

Расторопный мальчишка. Толково ему объяснить — убьется, но делает... Пусть будет вестовым — адъютанта же Мещеряков подберет себе правдишного.

Молодость!

Ефрем и про себя скажет: когда в шестнадцать лет вдруг оказался бы он при таком вот боевом начальнике — все так же и делал бы, как Гришка делает. Глядишь на него — себя узнаешь. Про Ефрема, про молодого, чего только не говорили: что он и парней-то всех лупил, и девушкам проходу не давал, и мужиков чуть ли не с пеленок уже страшал! Враки, поди-ка, все! Вот таким он, верно, и был, как Гришка Лыткин нынче. Конечно, тридцать лет не старость, а все ж таки и не семнадцать годков, нет! Семнадцать — что такое? Много человек не знает. Забот не знает, зла, жадности, свирепости. Сам прост, все люди просты ему и весь белый свет. Жаль, проходит это быстро и слишком уж незаметно. Оглянулся — когда прошло?

Переулком прошли, ступили на площадь. С площади и оглядел, не торопясь, Ефрем дяди Силантия поселение.

Оно вот как было сложено.

Площадь — большая, с торговым рядом, и выходят на нее дома — тоже все большие, под железом. Железо всюду зеленым покрашено. Красиво!

Далее — улица одна идет в ту и в другую сторону от площади версты по полторы. Прямая, широкая, кое-где канавы порыты вдоль нее и даже поставлены деревянные мостки в одну доску, где земля черная, и в ненастье лывы образуются, кое-где она вся покрыта травкой, и только к самым домам прижимается темная дорога.

Местами торчат колодцы-журавли, вздымая вверх тонкие безголовые шеи, выступают то тут, то там палисадники с темно-зеленой листвою черемух и сирени, с поблекшими цветами мальвы, нанизанных на высокий стержень. Плетней не видать; ограды поделаны крепкие, ворота на один лад — смоленые, сверху накрытые поперечинами с острой кровелькой, под кровелькой различить можно резьбу. А то и петушки наставлены на воротах.

Улицу эту в Соленой Пади, сразу видно, блюдут, кому попало и как бог на душу строиться на ней не позволяют. Тут на ней где-то, наверно, и дяди Силантия изба стояла.

От этой улицы вниз по склону разметались пестрые богатые огороды, кое-где разделенные прясами, а больше канавами и просто вешками. Это значит — соседи живут между собою спокойно, если и ругаются, так только на словах.

У самого озера — заводы. Один, должно быть, маслодельный, другой швальня либо кожевенный.

От главной улицы вверх, в сторону бора, — частые переулки. там уже и ворот нет, и ограды далеко не везде, городьба поставлена абы как — и плетень, и жердяник, и просто подсолнухи посажены полосой погуще, вот тебе и грань между дворами. Но опять-таки избы бревенчатые, под крышами. Редко где накрыты дерном, больше тесовые. Малухов совсем немного.

Ближе к самому бору — снова добрые дома, хозяйственные, хотя и поставлены без улиц-переулков и глядят лицом кто куда. Там тоже место годное для жилья — сухое, высокое, а вода неглубоко — журавли ее достают из-под земли.

На кромке бора — церковь, кирпичное помещение школы с тремя оконцами и с невысокой городьбой вокруг, в деревянном приземистом барачишке — больница, и рядом избенка фельдшерская, тут же и кладбище поблизости. Опять заводы: лесопилка с белыми копнами опилок, а с красной кирпичной трубой — это мельница паровая. Сарай огромный — машинный склад. Шесть, а то и семь-восемь сот дворов верных в Соленой Пади.

И объяснять где и что Ефрему не надо — ему все ясно.

То было — смотрел Ефрем на Соленую Падь издали и свысока — с Большого Увала, теперь видит ее рядом... Рядом она жилая, называемая пахнет, хлебом и ребятишками, лесом сосновым. Гомонит телячьими и ребячьими голосами. Жилое место.

На площади было порядочно вооруженных людей, многие с красными повязками на левой руке, а кто надел уже зимние треухи, тот и на треух насадил красный лоскуток.

Были тут эскадронцы из мешеряковского отряда, — эти при холодном оружии и одеты поаккуратнее, к военной форме ближе. На ком фуражка всенного образца только и есть, остальное все мужицкое и даже сильно потрепанное, а уже вид совсем другой.

Вдоль торгового ряда стояли эскадронные тачанки и телеги, лавчонки почти все были поразбиты, и в них, и на торговых деревянных столах сидели и лежали партизаны, а вокруг грудились ребятишки, не могли на воинов этих, на героев, насмотреться. И взрослые из мирных жителей тоже были здесь, хотя не так много. Бабы — те вовсе редко через площадь перебегали, торопились. Остановиться, по сторонам поглядеть им, конечно, некогда было. Той шельмоватой бабенки, что утром нацелилась на Ефрема, в этот раз было не видать.

А вот девок — совсем ни одной на площади не было, и Мещерякову это понравилось: порядок здешние жители понимают, держат девок до поры до времени на приколе.

Кто-то из полутемных разбитых лавчонок, заметив Мещерякова, крикнул: «Ур-ра красному главкому!» Партизаны повскакали с торговых столов на землю, ребятишки приснули к нему со всех сторон, но Мещеряков, приложив руку к губам, а другую подняв над головой, крикнул:

— Отставить! Вольно! — и спешно пошел дальше.

Припомнить — так давно уже не видел Мещеряков сел и деревень без вооруженных людей, без воинских обозов.

А откуда им взяться, мирного вида селам, если по улицам ихним пешим ходит и ездит на боевом коне Мещеряков Ефрем? Он с собой все это и привозит, все это военное обличье. Мало того, пройдет неделя-другая — от зеленых красивых крыш одни лоскутки останутся: белая артиллерия их побьет. Разве чудом какая уцелеет...

Им, белым, что? Они пришлые и даже чужестранные, не то что деревню — землю саму дотла сожгут — не жалко. Недаром белые эти местных мужиков и не могут, сколько ни бьются, мобилизовать, разве только сынков кузодеевских и еще тех, у кого всю-то жизнь разбой и грабеж в крови играл, а тут — настало время — волчья их повадка вышла наружу. По своей деревне из орудий бить — на это среди людей редко кто решится, среди зверья только и найдутся такие. И бежит, бежит из белой армии мужик сибиряк, хоть и страшат и преследуют его за это жестоко. Мало того, он домой прибежал, а тут ему уже кличка готовая: «Беляк!» Хотя и законы объявлены на Освобожденной территории — не трогать дезертиров белой армии, принимать, как своих, — так ведь жизнь в мирное время, и то в законы не уложишь. А в военное? Терпит и это дезертир, все терпит...

Улица пятнилась белыми табунками гусей, пестрыми краинами петухов и куриц.

Где были придорожные репы — возились свиньи, а где росла невысокая зеленая и ровная травка — вокруг колышков ходили на привязи телята... Козы — те везде блудили, тем закона нет. Было тихо, покойно.

И вдруг откуда-то сверху, с верхних проулков, в улицу свалилась двухосная тачанка без пулемета, но с пулеметчиками, перепоясанными лентами, и с красным флажком на передке.

Колеса грохотали одиночно и залпами, мелькали спицы, вспыхивали железные ободы, отбрасывая искры, на колесах с той и с другой стороны висели псы, сшибаясь между собой, падали оземь, выли, визжали от боли и злости, с поджатыми хвостами снова бросались за упряжкой, а черный огромный и лохматый кобель барахтался под самой мордой буланого, со стороны казалось — он подвешен к дышлу... Руная клочья шерсти, кобель ударялся о дорогу, прыгая, хватал дышло клыками, стонал и всхлипывал, будто окончательно удавливаясь в невидимой петле.

Вслед за упряжкой клубилась пыль, ширилась на всю улицу, подымалась под самые крыши изб. Коротенькие журавли одиноко торчали из темного марева без колодезных срубов, сами по себе.

Оба пулеметчика стояли в рост, который был поменьше — впереди, высокий и лохматый, как тот кобель, сзади.

Задний орал переднему:

— Поласкай левую! Поласкай шибче!

Передний ласкал и левую и правую длинным, не ямщицким кнутом и тоже стонал:

— По-стра-нись!

Воздуха ему не хватало, то и дело он выговаривал только «стра-нись!» либо одно длинное и громкое «ни-и-и!».

Кони шли спаренно, вздымали потные блестящие крупы, падали сверху на передние ноги, падали будто на колени, но в неуловимый какой-то миг выбрасывали копыта, надтреснуто-звонко ударяя ими о землю... Или земля трещала под копытами, или все четыре копыта разлетятся сейчас в осколки?..

Хотя оба шли как один, левым — серым, правым — буланым, скачка была уже дикой, шальной. Уже кони не чуяли себя, ничего не чуяли, не видели перед собою. Шли зверями.

У серого седая грива пала между ушами на лоб, закрывая то один, то другой сумасшедший глаз, буланый выкатил оба угольно-черных глаза, уздечка была у него в желтой пене, желтым намыливала морду, вспенивала широко распахнутую красную пасть.

«Хуже нет — останавливать дышловую!» — подумал Мещеряков, прищуриваясь на гнедого и успев еще примеряться к чьей-то деревянной ограде позади себя... В эту ограду и можно было направить упряжку. Кони вдребезги ее разнесут дышлом, а сами вернее всего останутся целыми, падут-таки на колени... Что будет с ездовыми — Мещеряков не успел понять... Вернее всего, живыми ли, мертвыми ли окажутся далеко впереди, в огороде... «Хуже нет — останавливать дышловую... Кабы оглобли... — еще раз подумал он с сожалением. — Когда бы оглобли, то левой рукой можно бы на одной из них повиснуть, правой действовать... А нынче надежда — схватить на себя вожжину. Или прыгнуть в тачанку, да и выкинуть оттуда ездовых прочь? Когда не удастся вожжину ухватить — буду прыгать. Сзади буду!»

Гришка Лыткин что-то понял, кинулся вперед. Мещеряков, не оглядываясь, резко боднул плечом — Гришка полетел с ног. «Еще забота — задавим ведь мы — и кони и я, — все вместе задавим Гришку! Еще правее надо теперь выводить зверей этих в ограду — в следующий пролет между столбами!» И тут ясно так и свежо дунул ветерок, обгонявший упряжку, шевельнул волос на голове по краям папахи...

«С богом, Ефрем... Будь здоров!»

Сказочно как-то, невероятно даже — упряжка свернула влево. Два колеса, оторвавшись от земли, засвистели воздухом, пулеметчики упали на колени и какое-то время мчались, высунувшись через правый борт по пояс, когда же колеса вновь ударили о землю, они снова вскочили в рост, еще шибче помчались узким проулком под уклон, к озеру. И проулком-то едва заметный был между двумя постройками, но они угадали в него въехать.

Измолотый копытами и колесами, на площади остался черный кобель, приподнял голову, хвост, еще взвыл вдогонку коням, уронил голову и хвост. Замер.

У Мещерякова застучало в висках, он сбился с шага. Было так, будто бы это он и летит вот сейчас под уклон к озеру, под ним грохочут колеса. А может, даже он и на дышле вместо того кобеля болтался?..

Пришлось пошире, попросторнее вздохнуть, тихонечко посчитать себе: «Левой, левой, левой, Ефрем!»

Когда шаг был взят снова, Мещеряков подумал о пулеметчиках: «Не пьяные, гады! Когда бы пьяные — не узнали бы с ходу главнокомандующего, не свернули бы от него в сторону расторопно так и не удержались бы на повороте!.. Ну, а если все ж таки выпивши? Что тогда?»

Мещеряков приказал Гришке Лыткину быстренько обернуться в штаб, сказать коменданту, чтобы послал вдогон за тачанкой верховых из дежурного взвода. К озеру тачанка подскочит — там ей и тупик, двигаться дальше некуда, кроме как обратным ходом.

Отряхиваясь от пыли, в которую он только что падал, Гришка спросил:

— Вы, однако, что, товарищ главнокомандующий, хотели варваров останавливать с ходу?

— Это тебе показалось! — ответил Мещеряков. — Показалось, ты и полез наперед старшего начальника! Вовсе нехорошо! Службы не знаешь! Ну, беги живей!

Тачанка полностью отгремела, на площади удивительно тихо стало... И пусто. Мещеряков глядел ей вслед. Только пыль неторопливо ложилась обратно на землю. Он подумал: «Была и не стало... Как ровно корова языком слизнула — и подержаться за ее не успел... И в руках как бы пусто сделалось...» Поглядел на свои руки.

А ведь высокого пулеметчика Мещеряков знал — с весны ранней тот служил в первом эскадроне, фамилия его была Ларионов. Ларионов Евдоким. Мужик тихий, спокойный, не похоже, чтобы напился сильно. Хотя разобраться, так пьют-то — для чего? Чтобы на самого себя непохожим быть! А на маленького — на того особой надежды не было: мог успеть. Маленький служил недавно, месяц какой, но сильно был умелый пулеметчик — в двух или в трех стычках уже участвовал, хорошо себя показал. Чей такой — как бы не спутать?.. Феоктистов. Вот он кто, а звать по имени — уже не вспомнишь, потому что их множество, Феоктистовых, в эскадронах, и еще прибывают под этой фамилией люди... Известная фамилия в Нагорной степи, что ни село — то и десяток Феоктистовых.

А все-таки — если они выпившие оба? И Ларионов и Феоктистов?..

Приказ был по армии: за появление в пьяном виде полагался арест, когда же пьяный покалечит лошадей, нанесет ущерб военному имуществу либо окажет сопротивление — полагался расстрел.

Не то чтобы приказ исполнялся всегда, но когда случалось на глазах у людей, когда все случай знали — исполнялся строго.

«Вот проклятые эти пулеметчики, свалились на мою шею! — рассердился Мещеряков. — Вот проклятый этот самогон! Где промчалась тачанка — может, сажень в пяти, может, даже они трезвые, пулеметчики, просто так балуются, а — хмельным в тебя шибануло, как из ведра! Зараза! Ну — нет! Что до главнокомандующего товарища Мещерякова — тот до конца нынешней кампании в рот не возьмет! Ни в коем случае! Зараза!»

Сейчас, перед генеральным сражением за Соленую Падь, так и вообще-то самогонкой трудно разжиться, а находят у кого аппараты — бьют без сожаления, самогонщиков же штрафуют. Которые не унимаются, так были случаи — расстреливали.

Ну, а когда выйдет победа над Матковским-генералом... Тут надо будет закон этот трезвенный хотя бы на неделю или того меньше, но спрятать куда подальше! Все равно он бесполезным окажется.

«Только бы и выйти мне из штаба минутой какой позже либо минутой раньше! — вздохнул Мещеряков. — Не видел бы я и не знал ничего!»

После пожалел черного кобеля и себя пожалел: запросто могли бы они и вдвоем лежать растоптанные. И еще подумал: «Службу, Ефрем, служишь! Службу! Конечно, разбираться с пулеметчиками будет комендант, главнокомандующего дело — только приказать, а все-таки... Ладно, если пулеметчики эти и верно трезвые... А пьяные? К главному же коменданту и придет — подписать приказ о расстреле! К кому еще?»

Сколько же это забот и дел нынче у Мещерякова!

И до чего все ж таки было бы хорошо — встретить противника на марше, разбить колонны его по отдельности, вовсе не переходя к обороне. Подумать только!

Для начала — вот так же, как нынче Ларионов с Феокистовым, — к противнику подкатить, развернуться и дать с каждой тачанки по ленте без перерыва. А? Все ж таки взбудоражила и в нем кровь эта беспутная тачанка...

В кармане что-то потрескивало у Мещерякова. Он не сразу догадался, что такое, а это были карандаши в коробке.

Когда он коробок сунул в карман — даже и не заметил.

Глава пятая

В главном штабе собрались Брусенков, Довгаль, Коломиец, Тася Черненко и Ефрем Мещеряков. Окончательно должны были обсудить вопросы, связанные с объединением армий, с прибытием Ефрема Мещерякова в Соленую Падь.

Договоренность между южной партизанской армией и главным штабом Соленой Пади состоялась на этот счет давно — весной, были здесь представители Мещерякова, а у него в Верстове почти две недели был Лука Довгаль, — но все равно и нынче предстояло о многом договориться. С самим Мещеряковым.

Сели за стол.

Брусенков, Довгаль, Коломиец, Тася Черненко сели по одну сторону стола, по другую — Мещеряков.

— С вашей стороны все, что ли? — спросил Брусенков.

— Сейчас мои подойдут. Припозднились! — ответил Ефрем. Огляделся, прищурился на ярко-желтый пол, на солнечный свет, падавший через окно. — Солнце что-то сильно бьет! В глаза! — сказал он и подвинулся вдоль по скамье. Оказался как раз напротив Таси Черненко.

— Так-так... — проговорил снова Брусенков, а Ефрем спросил у него:

— А какой же это у нас вопрос первым нынче поставленный?

— О соединении пролетариев всех стран. Так, товарищ Довгаль, договаривались мы?

— Именно! — подтвердил Довгаль, а Мещеряков поглядел на того и другого.

— То есть как это?

— Просто! — развел длинными руками в стороны Брусенков. — Хотим впервые выяснить твою платформу и взгляд на лозунг всей мировой революции. Мы его у всех выясняем.

— Так неужто от меня соединение пролетариев всех стран зависит?

— От тебя не сказать чтобы много в таком великом деле зависело. А вот ты от него — в зависимости целиком и полностью.

— Ты скажи, не примечал я этого по сю пору. Ну, ладно, а когда так, когда целиком и полностью, — что же нынче обсуждать-то? Тебе-то ясно это? И — товарищам...

— Мне ясно. За них я тоже ручаюсь. А вот как ты на это глядишь? Как и сколько ты в этом понимаешь?

Тут вошли Куличенко и Глухов.

Куличенко поздоровался резко, по-военному, а Глухов остановился на пороге, кивнул, огляделся по сторонам, всех присутствующих тоже оглядел, прошел к столу и сел рядом с Мещеряковым. Спросил:

— Начнем либо как?

Брусенков поглядел на него, на рваную его рубаху.

— А это кто у тебя? Что за товарищ?

— А он у меня никто.

— Ну все ж таки?

— От карасуковских мужиков ходоком. Пришел поглядеть и понять, что у нас здесь с тобой происходит. Глухов фамилия. Петро Петрович.

— А для чего это ему?

— Фамилия-то?

— Для чего он с тобой здесь? Нынче?

— Так говорю же: он от мужиков. Вон от какой от огромной волости. Ты для начала скажи, Глухов: можем — нет мы надеяться, что карасуковские мужики к нам все ж таки присоединятся?

— Сказать — это не от вас, товарищи, зависит.

— От кого же? — спросила Тася Черненко.

— От Колчака. Когда он еще месяц хотя бы не бросит безобразничать, не то что Карасуковская — все волости и даже все кыргызы в степе ваши будут.

— И давно он у тебя такой? — снова спросил Брусенков у Мещерякова.

— С позавчерашнего дня. Дорогой к нам пристал. От Знаменской деревни верстах в тридцати. Нет, сказать, так и все сорок верст будет от Знаменской то место.

— И сразу ты его на заседание главного штаба привел? А если он военную тайну узнает?

— Так мы что — глупые совсем? Мы ему скажем уйти, когда зайдет о военных действиях. А сейчас почто ему нас не послушать? И свое слово нам не сказать? Соединение пролетариев всех стран не секретно же делается? Вот скажи, Глухов, — ты за соединение?

— Я не то чтобы сильно «за»... — пожал плечами Глухов.

— Почему так?

— Дома делов слишком уж много. Управиться бы...

— Ты бы, товарищ Мещеряков, еще и Власихина привел сюда! — уже заметно сердясь, сказал Брусенков. — Тот со вчерашнего дня тебе тоже дружок....

— А вот это мне несподручно, нет. Я его с собой не привозил. Он ваш, доморощенный, Власихин-то... Приглашайте вы, я — послушаю!

— Довгаль, ты-то что молчишь? — спросил Брусенков. — Вчера в защиту пролетариата перед Власихиным какую речь сказал? А нынче? Это же прежде всего твой вопрос?

Довгаль сидел, опершись одной рукой на стол. Задумался.

— Наш вопрос... Но, видать, это еще не все — что наш он. Тут надо пример привести. Ясный и понятный. В руки взять вопрос-то всем и каждому...

— Позвольте, товарищи! — сказала Тася Черненко. — Довгаль говорит верно. А я хочу обратиться к товарищу Мещерякову: знает ли

он, что в нашей армии созданы краснопартизанские части из бывших военнопленных мадьяр и австрийцев?

— Сколько же их? — спросил Мещеряков живо. — Мадьяр сколько?

— Ну, две роты австрийков и мадьяр, считай, столько же! — ответил Довгаль радостно. — И вот с этого как раз и начнем мы с тобой разговор, Мещеряков, с этого!

— Мадьяры — верно что хороший пример! — кивнул Мещеряков тоже весело. — Вот с таким примером и я кому хочешь все объясню. И каждый мне поверит. А насчет австрийков — пример уже вовсе мало годный.

— Это почему же? — удивилась Тася Черненко.

— А потому, товарищ моя дорогая, — ответил Мещеряков, — потому что мадьяры — те, верно, солдаты. Они и на фронте либо уже с нами сильно дрались, либо переходили на нашу сторону. Середки не искали, не скрывались. И понятно: они в свое государство задумали от австрийков отделиться, от чужого императора Франца. Добра этого, императорского, повсюду хватает на каждую страну, на каждую местность, но им тот Франц даже и не свой вовсе. По-мадьярски будто бы ничего и сказать не может — «здравствуй», «дай сюда» и «прощай». Все. Австрийки же — те мирные. Те и в плену, в Сибири, больше полукровоками занимались. Сколько от них ребятишек-полукровок пошло — с шестнадцатого года счет потерян!

— Почто же это как раз с шестнадцатого? А? — заулыбался Куличенко. — Почто с шестнадцатого, товарищ главнокомандующий?

— Ну, до шестнадцатого году старики и старухи еще счет вели по деревьям. Старались. Жалморок попрекали всеми силами. После видят — бесполезно это... И рукой махнули. А с мадьярами — вот вы женщина, товарищ Черненко, — а пример сделали очень правильный. Чисто военный пример.

На смуглом, чуть вытянутом вниз, но с круглыми ямочками лице Таси Черненко не дрогнула ни одна жилка, она осталась строгой. В упор смотрела на Мещерякова. А его этот взгляд ничуть не смутил.

— Значит, в принципе ты за пролетарскую солидарность, товарищ главнокомандующий? — спросил Коломиец.

— В принципе — об чем разговор? А когда здесь, в нашей армии, будут воевать мадьяры — тем более!

— И ты сам готов нести революционное знамя по всему миру?

— Когда без него люди где не смогут жить — понесу!

Но тут снова вмешался Глухов.

— Я так считаю, — сказал он, — у их, у мадьяр, тоже ведь наши, русские, в плену есть. Вот они ихней революции пушай и помопут. Обязательно! А что? Из наших, из карасуковских, мужиков к им в плен попался один — известно это. Так тот один, дай бог ему волю, наделает у их делов, сколь у нас тут и рота мадьярская не управится сделать!

На той стороне стола промолчали, а Ефрем подумал: «Пусть Глухов и еще поговорит. Пусть штаб сам и решит, как ему с ходоком этим от карасуковских мужиков быть!» И он еще сказал Глухову для задору, чтобы спор вдруг не заглох:

— В тебе, Глухов, видать, совести нету трудового народа! Тебе все — кабы полегче сделать здесь, а уже в другом месте, в другой стране — тебя дело не касается. Я говорил уже дорогой, отчего это у тебя: богатый ты все же, видать, слишком!

Глухов Ефрема выслушал, помолчал и обратился к Брусенкову:

— Правду обо мне говорит главнокомандующий ваш? А?

— Правду, но далеко еще не всю! — ответил Брусенков. — Мало говорит. Или он бережет тебя? Для какой-то цели?

— Что же надоть, по-твоему, обо мне еще сказать?

— А то, что ты — я уже точно об тебе это знаю — эксплуататор хороший. А бедному ты враг! И когда советская власть стоит за бедного — ты враг и ей!

— А-а-а, враг! — заорал вдруг Глухов. Глаза его покраснели, и весь он под шерстью своей покраснел. — Это кто же тебе право дал в человека тыкать и кричать: «Враг!»? Кто, спрашиваю?

— Меня выбрал на это место народ, — ответил Брусенков, и глаза его тоже нацелились на Глухова, губы сжались плотно.

Один лохматый, заросший весь, другой бритый, рябой — они встали с табуреток, вот-вот кинутся друг на друга...

Мещеряков сказал:

— Фельдфебеля царской службы на вас нету!

Но Глухов будто и не слышал, еще наклонился через стол к Брусенкову.

— Тогда ты и сам не знаешь, для чего ты народом выбранный! Не знаешь! Тебя выбрали народ защищать, а не калечить его походя!

— Я трудовой народ и защищаю. Против царя защищал, против Колчака и еще — против тебя!

— О-он ты как? А я — кто же? Ты меня спрашивал, сколь вот этими руками я десятин земли поднял? Я в карасуковскую степь пришел — души живой не было, а я соли тамошней не побоялся, колодцы выкопал, на землю сел, просолился на той земле стоповым засолом, но и другим указал, что жить доступно, многие после меня стали жить. Я им что же — враг за это, людям? Я обзавелся, после от меня уже другие обзавелись, безлошадные, неприписные, — я им тоже враг? Я им сделал, людям, ты укажи — что ты сделал?! Ты покамест еще слова умеешь говорить, а вот на землю глухую ты первым придешь? Поды-мешь ее? Да от меня, может, пол-России идет, и я тоже иду от ее?

— Она нынче не та, Россия-то. Не та! Переделки требует. И еще требует убрать из нее которых. Навсегда убрать.

Спор был между Глуховым и Брусенковым серьезный. Мещерякову такой нравился. «Ладно бодаются! — подумал он. — Вовсе не зря доставил я Глухова в главный штаб!» И еще, поглядев на Глухова, он подумал: «В строю такой негоден, нет... Там в чужой кисет без разбору заглядывают и в чужой котелок... Там порядок — покуда команду слушают. А команды не слышно — любят беспорядок. А вот к полковому либо даже к армейскому хозяйству его приставить — будет сила! Ежели задержится Глухов, не пойдет к своим карасуковским — сделаю: приставлю его к хозяйству... Армейским интендантом!»

Брусенков же чем дальше, тем серьезнее становился, ответил Глухову:

— Я такие речи знаешь где читал? В колчаковских воззваниях читал. И не раз. Он там власть нашу комиссарским самодержавием кличет, Колчак. Однако народ бьет его, а не комиссаров!

— Так это же глупость — себя с дерьмом сравнивать! Колчаковская власть — она вся из дерьма деланная, это каждому должно быть понятно, одни, может, мериканцы-японцы не видят, сахаром дерьмо-то со всех сторон обкладывают! А ты что стараешься? Доказать, что ты лучше Колчака? Может, и лучше-то лишь на малость какую? Так неужели мужики-то кровь проливают за ту самую малость? И когда колчаки меня разоряют и напустили на меня чужестранных карателей, а ты тоже кричишь мне: «Враг!» — может, тебе цена-то тоже колчаков-

ская! Стрелишь меня? Это ты можешь! Власть! Только сперва подумай, посчитай, какая тебе после того цена выйдет!

— Народ, может, и не сегодня, может, и погода все одно скажет тому спасибо, кто ему помог от эксплуататора навсегда избавиться. А когда ты кричишь, что трудом своим степь цельную поднял, обзавестись людям помог,—я скажу на это так: вот за этим за столом сидят нынче люди и нету среди них человека, чтобы ему нечего было бы тоже об себе крикнуть, объяснить, сколько он сделал, сколько поту, может, крови пролил уже и еще готовый пролить за трудовой народ. Спроси хотя бы и товарища Мещерякова об этом. Ему сказать есть чего — однако он молчит! Почему молчит? Потому что когда общее дело — своими заслугами на других не замахваются...

— А я и не замахваюсь. Куда там замахиваться — обороняюсь я. И главный ваш командующий тоже об себе не промолчал бы, когда в его бы ткнули, объявили — он враг и никто больше! И ты не промолчал бы! И любой и каждый из вас! Когда меня колчаки схватили бы и сказали мне «враг», я, может, и промолчал. Очень может быть. А тут как молчать? Тут все об себе вспомнишь, как на белый свет родился — и то вспомнишь!

— Зря стараешься! — сказал Брусенков. — От меня тебе не оборониться. У меня наступательный дух — на десятерых таких, как ты, хватит.

— Не оборониться, значит?!

— Ни в коем случае!

— А что же ты со мной сделаешь?

— Если еще вот так же будешь путаться, мешать нам — то я тебя стрельну.

— Это что же — твердо ты говоришь?

— Я ведь больше об тебе знаю, как ты думаешь! Много знаю: и кулацкую твою склонность, и в карасуковской степи твою агитацию знаю, чтобы не присоединяться покудова к партизанской территории либо даже свою сделать.

— Ты скажи-и-ка! — удивился Глухов. — Он что же у вас в штабе, Брусенков этот, — и со своими так обходится? Об ком что прослышит, не понравится ему — так он того человека сразу к стенке? Вы-то ему все здесь нравятся — так понимать? Счастье ваше! Другой так и верно что позавидует вам, счастливым!

— Ты, Глухов, не разыгрывай... — сказал Довгаль. — Война идет. И жестокая. Каждому очень просто до худого доиграться. Понятно?

— Понятно. Вовсе. И получается, я у себя дома, в степе карасуковской, вовсе не напрасно уговаривал мужиков — не спешить под ваше знамя. Лучше обждать. Придет советская власть — она нас за это не похвалит, знаем. Но ведь и у нас будет резон ей, советской власти, объяснить: не хотели идти под Брусенкова-диктатора. Не хотели к нему, а вас ждали. Вот как придется объяснить!

— Навряд ли тебе придется объяснять что кому, Глухов! — сказал Брусенков. — Навряд ли...

Мещеряков подумал: слишком далеко зашло дело. Он-то дело затеял вроде шуткой, но не так обернулось. Взять Глухова под свою защиту? Сказать: он его привел сюда, он обязан его отсюда и живым выпустить? Чтобы не столкнуться с Карасуковской волостью, с мужиками степными? Решил повременить. Подождать решил, покауда останутся они с Брусенковым с глазу на глаз. Ссориться с начальником главного штаба на людях и при первой же встрече — надо ли?

Но тут случилось вот что: Глухов сам по себе от Брусенкова защитился. И вовсе неплохо это у него получилось.

— Ты, Брусенков, сильно вперед не забегай,— сказал Глухов.— Умные так не делают. Сроду! Ну, а когда ты все ж таки забегаешь, то я ведь тоже знал — пользовался слухом,— к кому иду! И на всякий на случай доставил тебе махонький квиток!

С этими словами Глухов нагнулся, крикнул, сорвал с правой своей ноги сапог, а после стал разматывать длинную-предлинную, уже потрепанную, в дырах портянку. Когда нога у него осталась голой, в одной только черной шерсти, с желтыми выпуклыми ногтями, он взял портянку в руки и стал ее рвать. Не порвал — вцепился в портянку эту зубами, холстина затрещала, и он вытащил из нее небольшой лоскут клеенки. Голубая клееночка была, с синими цветочками — бабы такими любят на праздник стол в избе застилать. Глухов и эту клееночку порвал, достал из нее бумажку, расправил бумажку ладонью. Сказал Тася Черненко:

— Ты, товарищ мой, по всему видать, крепко грамотная! Прочитай! Погромче!

Тася взяла бумажку, поглядела на всех кругом, но Мещеряков сказал ей быстро и строго:

— Читай, товарищ Черненко!

Тася Черненко стала читать.

— «Товарищи мещеряковские и товарищи соленопадские! — написано было в этой бумажке.— Мы, карасуковские, посылаем от волости к вам своего представителя Глухова Петра. Выяснить настоящее ваше положение и на предмет нашего к вам присоединения. И чтобы вы не приняли товарища поименованного за колчаковского или просто так ему не сделали, то мы сообщаем вам, товарищи, для вашего же сведения: мы на всякий на случай поймали ваших партизанов в степу четырех человек, как-то: товарища Семена Понякова, жителя села Малая Гоньба, товарища Корнея Сухожилова, жителя Верстова, товарища Павла Сусекова, жителя села Каурово, и еще жителя того же села товарища Ивана Коротелева. Так что будет с нашим товарищем Глуховым вами сделано какое недоразумение — сообщаем вам, что и мы безотказно сделаем ту же меру с вышеуказанными товарищами. Но мы душой надеемся на правильный исход, и да здравствует народная власть, долой тирана Колчака!»

— Вот и видать сразу стало,— сказал Глухов, когда Тася Черненко кончила читать,— видать, что карасуковские мужики не кое-как деланные! А ты гляди бумагу-то зорче, товарищ женщина, — она еще и вашими заложенными товарищами тоже подписанная, бумага. Чтобы не вышло вдруг сомнения.

Все молчали.

Молчали долго, и Мещеряков подумал: надо сказать.

Весело так хлопнул Глухова по спине.

— Так это верстовский мужик — Сухожилов Корней — у вас заложенный! Ты гляди, сосед ведь он мой! Не то чтобы ограда в ограду, но и не так далекий — дворов через пять и по той же стороне улицы! — И еще засмеялся Мещеряков.

А Глухов на него поглядел и громко заржал тоже, размахивая волосатой ногой.

Брусенков сидел — мрачная туча.

Ефрем и ему сказал:

— Да ты засмейся, засмейся, товарищ начальник! Смешно же!

Но Брусенков не засмеялся. Сказал Глухову:

— Погодь. Я подумаю. Может, по своей вредности ты и стоишь того, чтобы четырьмя нашими товарищами пожертвовать?

— Может, и стою! — согласился Глухов. — Но еще поймей в виду, что в те самые в деревни, из которых жителями происходят заложенные товарищи, из Карасуковки письма посланы. С объяснением и для всеобщего сведения. Как ты после в деревни те покажешься — тоже подумай! И еще сказать, ты знаешь теперь, что я вовсе не зря в вашем штабе нахожусь. Известно стало, что я — представитель.

— Товарищи! Ну что же, товарищи! — сказал Довгаль. — Давайте так: по первому вопросу у нас не слишком получилась договоренность — насчет лозунга мировой революции. Когда считать вторым вопросом переговоры с Карасуковской волостью в лице товарища Глухова — то же самое, не слишком. Но это в данный момент не должно нас останавливать. Среди нас не найдется ни одного, который подумал бы на этом остановиться. Мы должны сознавать — нам всем нужна победа над кровавым Колчаком, и все мы ждем как можно скорее родную нашу советскую настоящую власть, которая безусловно и сделает уже все возможное в интересах всех трудящихся масс. Наша же задача на сегодняшний день — окончательно оформить объединение в связи с прибытием товарища Мещерякова и с принятием им фактически всей полноты военного командования... — Довгаль посмотрел на присутствующих, потом обернулся к Тасе Черненко: — Товарищ Черненко сейчас огласит протокол, который и явится для всех нас, для всей Освобожденной территории радостным известием и самым важным документом! Прочти, товарищ Черненко!

Черненко поднялась над столом.

Ее тоненькая фигурка в ситцевом, в голубую крапинку платье, поверх которого надета была гимнастерка военного образца, и темная косынка, и руки с чуточку вздрагивающим листком бумаги — все попало в яркую полосу света, падавшую через окно. Тень Тасиной головы, рук и этого листка, темная и четкая, падала как раз на середину большого стола, так густо замазанного разноцветными чернилами, что все мелкие пятна сливались в одно большое радужное пятно, сквозь которое лишь слегка просвечивался стол — щели между досками, прожилки сосновых досок, выцарапанные на нем буквы и слова. Листочек в ее руках дрожал почти незаметно, тень же от листочка перемещалась от одной щелки до другой, как будто не находя себе места.

Тася Черненко заметила это и совсем немного, совсем слегка отвернулась от окна... Тень не исчезла, но стала сразу же нескладной — ни Тасиной головы, повязанной косынкой, ни ее рук, ни дрожащего листка уже нельзя было различить.

Тася Черненко начала читать:

— «...Главный штаб объявляет:

Отныне образуется главный штаб Объединенной Крестьянской Красной Армии — ОККА — с местонахождением в селе Соленая Падь.

Главнокомандующий ОККА, избранный на совещании командного состава обеих армий в июле сего года, товарищ Мещеряков Ефрем Николаевич с сего сентября третьего дня тысяча девятьсот девятнадцатого года фактически приступил к исполнению своих обязанностей.

Приступил также к исполнению должности избранный там же начальник штаба ОККА товарищ Жгун Владимир Дементьевич.

Все действующие армейские соединения сведены с сего третьего сентября тысяча девятьсот девятнадцатого года во фронт действующей армии. Командует фронтом бывший командир армии восставшей местности Соленая Падь товарищ Крехотень Никон Кузьмич.

Переименование частей ОККА, а также назначение командиров будет произведено особым приказом главнокомандующего товарища Мещерякова Е. Н.

Главкомандующий ОККА товариш Мещеряков Е. Н. входит в состав главного штаба Освобожденной территории как член штаба и заместитель начальника товарища Брусенкова И. С. по военным вопросам.

При штабе ОККА создается ставка верховного командования в составе четырех человек: начальника главного штаба товарища Брусенкова И. С., начальника штаба ОККА товарища Жгуна В. Д., командира фронта товарища Крекотеня Н. К. и комиссара сельского штаба Соленая Падь товарища Довгалья Л. И.».

Протокол был уже известен Мещерякову, он был принят совещанием командного состава партизанских армий еще в июле месяце. И все этот протокол знали, разве только Глухов не знал его. Но все равно — все слушали с интересом. Будто только сейчас и сразу как-то поняли, для чего вместе собрались.

Тася Черненко села.

Мещеряков поглядел на нее, подумал: «Курносенькой такой, а ведь все надо понимать! Тут сам-то не сразу разберешься... Брусенкову я подчиняюсь в главном штабе, заместитель я его по военным вопросам. А он мне как главкомандующему подчиняется в ставке... Ну, сейчас спорить, выяснять не будем. Дело покажет. Протоколом всего не решить.— И еще поглядел на Черненко, удивился: — А ведь не курносенькая она вовсе».

Вынул из кармана гимнастерки трубку, стал набивать ее махоркой. И Куличенко стал вертеть сигарку. И Брусенков тоже. Все вдруг вспомнили — слишком давно не курили.

— Ну, товарищи,— сказал Довгаль,— я считаю, все ж таки самое главное совершилось. Дай-ка твоего, Ефрем! — И через стол потянулся за кожаным кисетом Ефрема.— Самосад? Либо покупной?

— А я уже спутался! — ответил Ефрем.— У меня в походном в ящичке мешочек — я, каким бы ни разжился, все туда, в одно место, и сваливаю.

— Тоже — объединение! — сказал Глухов.— Ну когда у тебя большой мешок — угощай всех!

Мещеряковский кисет пошел по рукам.

Однако что-то еще должно было произойти на нынешнем заседании главного штаба.

И произошло.

Коломиец, затаившись перед тем из огромной сигарки, поднялся с места.

— У меня тут есть еще одно предложение. Совместное от нашей старой части главного штаба, еще, сказать, бывшей до Мещерякова.

Видно было — говорить Коломиец не очень-то умеет, но старается, и так как говорил он, обращаясь к Мещерякову, тот кивнул:

— Давай!

— «По случаю укрепления центральной власти, то есть главного штаба Освобожденной территории и объединения армии, а также во имя торжества идей революции предлагается: сделать амнистию и всех товарищей, совершивших преступления, кроме шпионства, освободить и отправить в действующую армию, где они должны исправить свое поведение и заслужить прощение», — прочитал Коломиец, сказал: — Далее! — И снова начал читать: — «Произвести пересмотр концентрационного лагеря военнопленных для особо тщательного выяснения лиц, мобилизованных Колчаком насильственно. Выявленных товарищей освободить немедленно, с правом вступления в доблестные ряды ОККА. На военнопленных — добровольцев колчаковской армии настоящая амнистия не распространяется». Еще далее: «Подрывной отряд, действующий

щий на железной дороге, переименовать в Первый железнодорожный батальон и впредь именовать «Первый железнодорожный батальон «Объединение». И еще — совсем уже далее. «Для комплектования частей и установления однообразия в мобилизации объявляется призыв на военную службу всех солдат сроков службы с тысяча девятьсот девятнадцатого по тысяча девятьсот девятый год включительно. Штабам полков озаботиться пополнением за счет лиц упомянутых сроков службы, затребовав таковых из революционных штабов по месту своего расположения. Всем районным штабам принять этот приказ к точному исполнению!»

— Вот тебе раз! — удивился Глухов. — То была амнистия, то мобилизация! Верно что и совсем уже далее! Это как же все тут в одно сложено?

— А что же, — ответил ему Коломиец, — так и должно быть! Народ чтобы понял — произошла радость для него; власть укрепилась и армия. Единение произошло. А под эту радость и единение мобилизацию провести! Для общей нашей победы!

Глухов, натянув наконец на правую ногу сапог, спросил:

— А какое единение? Мне вот не вовсе понятно. Что обсуждали — так ведь разведение же одно? И с соединением пролетариев всех стран, и хотя бы с одной нашей Карасуковской волостью — одно разъединение. На том и сошлись только, чему вовсе обсуждения вашего не было! Потому, может, и сошлись? А?

Никто Глухову не ответил.

Может, каждый в уме ответил ему, только промолчал. У Мещерякова же, у того мысль одна мелькнула насчет Глухова... Он стал ее обдумывать.

Тем временем приступили к следующему вопросу: о съезде.

Брусенков коротко сказал, что в Соленой Пади на 30 сентября был намечен Второй съезд крестьянских и рабочих депутатов. Военная обстановка с тех пор осложнилась — как раз в это время могут уже начаться бои непосредственно за Соленую Падь, но и необходимость в съезде возросла. В связи с объединением возросла. Нужно, чтобы съезд принял решения, обязательные для всей Освобожденной территории, чтобы он способствовал укреплению обороноспособности.

— А когда будут в то время за Соленую Падь бои — то и делегаты все пойдут на позиции. Мы и Первый съезд проводили — пальба день и ночь слышалась, — сказал Брусенков, а Мещеряков подумал: «Съезд так съезд... Не надо покуда мне в гражданские и уже заранее решенные дела мешаться. Будет настоящая война — все и сами про съезды забудут».

Он все еще обдумывал занимавшую его мысль.

— У меня возражений нет! — сказал он рассеянно.

Выбрали тайным голосованием заведующего агитационным отделом главного штаба, поскольку прежний заведующий замечен был сильно пьяным. Покуда тайно голосовали, опуская в ящики стола пуговицы разного цвета, Мещеряков все думал, думал. Ему было все равно, кого выбирать заведующим агитотделом. Двоих голосовали, он не знал ни того, ни другого.

Стали подписывать протокол заседания. И тогда он вдруг сказал:

— Подпишись и ты, Петро Петрович.

— А я-то при чем? — сильно удивился Глухов.

И все удивились предложению Мещерякова. Мещеряков же все так же спокойно-тихо ответил:

— Присутствовал ты зачем-то здесь? Чего-то ради? А? Зачем-то мы тебя здесь держали? Вот и подпиши, что присутствовал представителем

Карасуковской волости... Что считаешь возможным, чтобы волость участвовала в съезде. Чтобы помогала, сколько возможно, своими военными действиями. Или ты против?

— Так ведь и не было об этом разговора! Что откуда? Откуда взялось?

— Ну, тебе виднее, товарищ Глухов! Виднее! А когда ты не подписываешься, то я предлагаю записать и объявить так: «На заседании главного штаба присутствовал представитель Карасуковской волости товарищ Глухов П. П. Вышеуказанный товарищ не высказался о возможности присоединения волости к Освобожденной территории и о совместных военных действиях. Поэтому главный штаб, обращаясь ко всем волостям и селениям с призывом о мобилизации и тем обязуясь защищать эти селения от белой банды, такое обязательство на себя по Карасуковской волости не принимает».

Не видел еще Мещеряков мужика этого растерянным, вовсе глупым... А тут Глухов под шерстью своей покраснел, часто-часто заморгал махонькими глазками. Потом вскочил и заорал:

— Так ить это же ты что? Ты во всеуслышанье подставляешь нас Колчаку? Объявляешь в гласном приказе?

— Насчет Колчака — не знаю. Насчет тебя лично — подставляю тебя карасуковским мужикам. Когда они от белой банды пострадают, то и спустят с тебя с первого шкуру. Вместе с шерстью.

И Глухов сел и зажал свою кудлатую голову руками, а после протянул руку, кому-то помахал ею, неизвестно кому.

— Давай бумагу...

— Еще я пошлю с тобой приказ вашей армии! — сказал Мещеряков, когда Глухов подписался.

— Да нету у нас армии никакой! Нету же! — воскликнул Глухов.

— Ну, ополчения есть.

— Ополчения по селам вовсе малые! Какая у их сила?

— Какая бы ни была, передашь приказ первому же, какое встретишь, сельскому ополчению. Приказ и не сильно секретный. Я его товарищу Черненко сейчас буду говорить, она напишет.

Тася Черненко торопливо взяла бумажку, ручку обмакнула в чернильницу-стекляшку, точь-в-точь такую же, какая стояла на столе Мещерякова в штабе армии. Приготовилась писать.

— «Товарищи карасуковское ополчение! — начал Мещеряков, обойдя стол кругом и приблизившись к Тасе Черненко. — Когда вы не хотите остаться одни перед белой банды, а хотите в дальнейшем опираться на помощь Объединенной Крестьянской Красной Армии, приказываю вам, — диктовал Мещеряков, заложив руки в карманы галифе и поглядывая в бумажку через Тасино плечо, — ...составить отряд не менее как пятьсот конных и вооруженных человек и задержать продвижение одной из белых бандитских колонн на какой вам удобнее будет дороге — Карасуковской либо Убаганской. Нам это все равно. Но задержите и нанесите потери на марше. Окажите нам свою преданность, а также защищайте смелым нападением самих себя, свою собственную жизнь. Когда вы примете настоящий приказ к исполнению, немедленно сделайте сообщение телеграфом на станцию Милославку следующими шифрованными словами: «Карасуковские хозяева согласны продать Милославскому обществу столько-то пудов муки». Пуды эти будут названы по числу собранных в конный отряд человек. После того можете быть уверенными в случае необходимости на помощь нашей армии».

Тася писала быстро, разборчиво. Красиво писала. «Ладная бабенка. Может, и девица еще. Все может быть...»

— «В случае крайней необходимости хотя бы и на самое короткое

время возьмите телеграф вооруженной силой! — продиктовал дальше Мещеряков. — Когда заложённые наши товарищи не сильно вами обижены, то советую назначить командиром отряда Сухожилова Корнея. Смело и решительно идите в бой. Внезапность — это успех!..» Ну, а теперь как это было в письме карасуковском написано? Которое ты в портянке принес, Глухов? Написано было ими: «Да здравствует народная советская власть и долой тирана Колчака!» — вспомнил Мещеряков. — Так же и в этом приказе напиши! После уже и роспись сделай: «Главкомандующий Объединенной Красной Крестьянской Армии Мещеряков!»

И Мещеряков снова посмотрел на всех присутствующих. Очень внимательно.

Нравилось ему все, что нынче он сделал. Он и не скрывал, что нравилось, — посмеивался. Куличенко вслед за ним тоже засмеялся, только еще громче. Довгаль улыбался, и Коломиец. Тася Черненко, кончив писать, подняла на Мещерякова большие темные глаза. Удивлялась ему или еще что?

Мещеряков сказал ей:

— Вот так, товарищ Черненко!

Не улыбался Брусенков.

А Глухов — тот жалобно сказал:

— Сильно уже ты меня окрутил, товарищ Мещеряков! По рукам, по ногам. Не думал я. Ну, никак не думал!

— Думал бы! — ответил ему Мещеряков. — Кто тебе не велел? Послушать — я тебя с интересом послушал. Дорогой, когда ехали, и нынче, в штабе. А сделал я — как война велит делать. Ты ровно котят нас тыкаешь-тыкаешь! А сила-то наша. И еще ты забыл: мужики-то карасуковские не зачем-нибудь — за помощью тебя послали к нам. И с тебя за это спросят. А ты? Увлёкся то да се за нами замечать. Забыл свое назначение. А я вот не забыл, нет. С первого же разу и понял, зачем Глухов к нам посланный. И куда ты у нас в гостях прохлаждаешься — колчаки, поди-ка, и еще народ в карасуковской степе успели потрогать. Имей и это в виду.

Глухов обе руки воткнул в бороду, сидел за столом не шелохнувшись, негромко Мещерякову отвечал:

— И все ж таки об тебе не думал я, что ты со мной сделаешь. Про кого бы другого, про тебя — нет! Я когда на тебя в пути только взглянул — ту же минуту угадал. Хотя и не сразу ты признался, угадал Мещерякова. Почему? Объяснял уже — заметный твой сразу военный талант. А у меня другой — хлебопашество мое дело, торговля тоже. Я и почувал: мы на этом друг дружку хорошо пойдем. Не будем искать, чтобы ножку один другому подставить бы. И не побоялся я тебя ничуть, вестового твоего Гришку и того опасался больше, как тебя. Ты еще и Власихина освободил, подсудимого, ни на кого не поглядел. А со мной? Хотя бы поаккуратнее сделал, а то взял и под колчаковский удар волость погрозился подставить! Так это же безбожно! Это же разве аккуратно? На угрозе капитал своему штабу делать? А? Может, он и главным-то потому называется, штаб ваш, что пуще всех других умеет таким вот манером капиталы делать? Хорошо... Я вернусь домой, что я об тебе, Мещеряков, должен буду мужикам сказать? — Глухов приподнялся за столом, ткнул пальцем в Мещерякова. — Ты мне объясни — как объяснишь, так и скажу! Ну!

Мещеряков усмехнулся.

— А чего же тут объяснять? Совсем нетрудно! Все, как было, в точности скажи. Передай мои слова: когда нас не поддержат нынче карасуковские, пушай пеяют на себя. Еще передай: Мещеряков велел ска-

зять — война! Они поймут. И тебе самому это понять тоже надо бы куда больше!

Брусенков, до тех пор долго молчавший, сказал:

— Может, и не нужно объединение с карасуковскими? Богатые они слишком? И от нас далеко?

Брусенкова не поняли — или он еще хотел пострадать Глухова, или в действительности так думал. Тот разъяснять не стал.

Мещеряков поднял с пола лоскуток клеенки — голубенький, с синими цветочками, — передал его Глухову.

— Возьми! Рано, видать, обулся-то! Сейчас и распоряджусь — дадут тебе коней, сопровождающего, сопроводят до района военного действия. Там уж одиночно доберешься. Бывай здоров! — Похлопал Глухова по плечу. — У меня тоже было намерение: сделать мужика главным интендантом. По всей армии — главным! Но — другое выпало тебе назначение: война!

Разувался теперь Глухов совсем не так, как в первый раз это делал... Тогда он сапог с себя сбросил — едва успел его в руках удержать, а то бы улетел сапог в угол куда-то, и портянку разматывал — словно флаг какой.

Теперь сдирал-сдирал обутку с ноги, кряхтел, носком левой ноги в пятку правого сапога упирался, но соскальзывал, не снимался сапог, да и только.

Кое-как осилил Глухов эту работу... Вздохнул.

— У меня в эту пору, в страду-го, в бороде пшеница прорастает и я правда что глухой делаюсь: уши пшеницей забитые и еще от грохота от молотильного ничего не слышат...

Удивлялись нынче находчивости Мещерякова все, кто был в штабе. Так ли, иначе ли, а удивлялись.

Но только никто по-настоящему не знал, для чего ему наступление карасуковцев так нужно было.

А нужно было вот для чего — для плана контрнаступления. Хотя командующий фронтом Крекотень и сдерживал белых на всех направлениях, но в тыл противника не заходил — неохотно отрывались нынче партизанские части от своих сел и деревень, не о рейдах по тылам — о защите деревень этих думали. Все силы свои, до единого человека, Крекотень хотел вывести на оборонительный рубеж. Задерживал противника на марше, а сам только и думал, как бы поскорее от него оторваться, заранее занять оборону. И потому, что не стояло такой задачи — дать решительный бой хотя бы одной колонне белых, — все пять колонн с запада, севера и северо-запада по радиусам, сближаясь друг с другом, и с одинаковой скоростью двигались на Соленую Падь. Чем больше сближались, тем проще могли оказать поддержку друг другу. В случае необходимости.

Теперь же Мещеряков рассчитывал так: внезапный удар карасуковцев с тыла задержит наступление одной колонны. Остальные задержатся вряд ли — будут еще день-два продвигаться вперед. И вот тут-то и нарушится между ними связь, и Мещеряков, предпринимая контрнаступление, имел бы против себя одновременно не более двух колонн, и то не сразу: в начале операции только одну, вторая подтянулась бы позже.

И еще было соображение у Мещерякова... Весь ход нынешних военных действий, конечно, раскрыл противнику план крестьянской армии... На рытье окопов выходили деревнями — это в тайне тоже не могло остаться. А действия в тылу противника его дезорганизовали бы. Тут и еще можно было бы кое-какие демонстрации провести, оконча-

тельно сбить противника с толку, а тогда и бросить все силы в контрнаступление.

Мещеряков указал карасуковцам две дороги — Убаганскую и Карасуковскую. А сделал он это, чтобы скрыть свои намерения. Ему будто бы все равно, где будет поддержка, — лишь бы она была. На самом же деле карасуковские если выступят — так только по Убаганской дороге. Она была не открытая, не степная, перелесками шла и оврагами. Устроить на такой дороге засаду, после уйти без особых потерь и еще разок на противника наскочить — сама местность подсказывала. Ко всему еще Убаганская дорога почти вся проходит за пределами волости, ясно было, что мужики карасуковские воевали бы на ней, до поры не навлекая на себя карательных белых экспедиций. Как будто неплохо было придумано?

Из своего приказа Мещеряков и не думал делать секрета. Зачем? Пусть все видят и понимают — он заботится о том, чтобы оттянуть сражение за Соленую Падь. И только.

Доволен был нынче Мещеряков.

Распрощался со всеми по ручке, Тасе Черненко так пожал обе и быстро-быстро поспешил в свой штаб, откуда хотел успеть на позиции.

Кончилось заседание главного штаба.

Остались Довгаль и Брусенков. Закурили. Довгаль, потянувшись, расправил ноги и руки, сказал:

— Ну вот, а ты про Мещерякова говорил! А? Как он с Глуховым-то? А?

— И сейчас говорю... — хмуро кивнул Брусенков. — Говорю — не откладываюсь.

— Да что ж ты нынче-то еще можешь сказать? Уже вовсе непонятно мне.

— Давай поглядим, что человек этот представляет... Первым делом пошел против народного приговора и Власихина освободил. Ему-то что — комедию нужно было с нами, со всем народным судом сделать или как?

— Ну, на это махнем... Было — прошло. Поважнее есть дела.

— Как бы только это. Комиссара он сам себе назначил. Какой это комиссар — Куличенко? Мальчишка сопливый и бестолковый. Глядит начальнику своему в рот. Не хочет над собою никакого руководства Мещеряков, только наоборот и желает. Далее: начальник штаба у него — тоже капитан царской службы. Глухова он привел в главный штаб, с нами посадил его. Тот безобразничал, издевался всяко, а в результате что? Секретный приказ с собой увез, вот что! И распрощались они, видишь ли, друзьями. Друг дружку поняли! А когда он шпионом окажется, Глухов, — я нисколько не удивлюсь! Ничуть даже! Еще: в Знаменской деревне Мещеряков эскадронца застрелил. Напрасно и застрелил. Это не самоуправство ли? И еще: корову-то, видать, не зря когда-то Мещеряков с чужого двора увел. Вот тебе об нем картина. Плюс нынешний хотя бы разговор о лозунге соединения пролетариата. Кто-кто, а ты почто об этом забыл?

— Мнися тебе, Брусенков! Да разве можно на все это глядеть? Разве нас с тобой завтра же нельзя засудить, что мы в войне этой в кого-то напрасно стрелили? Ты гляди на действия человека, вот на что! Как армия его слушается, как идет за ним! Как революцию он делает, жизни за нее не жалеет!

— Не сильно хорошо он делает. Нет! Я на его месте сделал бы, как замышлялось с самого с начала: оборонительных рубежей создал бы не один и, может, не два и всякий раз заставил бы колчаков рубежи эти

с бою брать, наносил бы потери им побольше того, как нынче Крекотень на марше наносит. А на последнем рубеже и дал бы решительный бой.

— Вот что, Брусенков,— главнокомандующего мы сами выбирали. Народ верит ему. Давай мы с тобой поверим. Он же год воюет — ни единого сражения им не проиграно!

— И сейчас не захочет — не проиграет. Не захочет — ничего худого в Соленой Пади не будет. Ну, а чего он хочет — не знаю. Прежде будто знал, стал на его поведение зорко смотреть — теперь не знаю.

— Та-ак...— сказал Довгаль.— Еще вопрос: после власихинского суда возвращались мы с тобой домой, ты обещал мне тогда — уберешь Мещерякова. Всерьез обещал или под горячую руку сказано было? И пошли вы все — и Коломиец, и товарищ Черненко — к Толе Стрельникову в избу. А я не пошел и жалел после сильно... Об чем был между вами разговор? Как решено?

Брусенков молчал.

Долго ждал ответа Довгаль. Не дождался. Напомнил:

— Жду я. Может, и мне не веришь уже?

— Все может быть...— вздохнул Брусенков.— Никто как ты ездил нашим представителем в Верстово. Никто как ты с Мещеряковым тот раз вел переговоры. А вдруг он обошел тебя? Так же вот и обошел, как нынче Глухова, а?

Довгаль посидел, помолчал...

— Ну, когда так, то убирать надо тебя, Брусенков. Подумай об этом. Покуда сам подумай — после за тебя уже подумают.

Брусенков поднялся, молча постоял. Подошел к Довгалю, положил ему руку на плечо.

— С тобою, Лука, мы знакомые уже, вспомнить, годов более пятнадцати. И я нынче об тебе сказал: не более того как пример привел. Вообще. Как нужно глядеть кругом себя, как строго друг с другом быть.— Помолчал Брусенков, вздохнул.— Когда бы не Черненко, девка эта. то было бы тогда, в избе Толи Стрельникова, постановлено — тут же Мещерякову насчет Власихина и предъявить. Чтобы он взял назад свое приказание об освобождении подсудимого.

— Он бы на это не пошел, Мещеряков! Ты это знаешь.

— А тогда его убрать.

— Совсем?

— Совсем.

— Значит, когда бы не Черненко, так и решено бы стало?

— Стало бы. Она против пошла, и Коломиец за ней, и Толя Стрельников колебания проявил. И решено было: еще на Мещерякова поглядеть. Показать ему всю нашу власть, как устроено в Соленой Пади. Как главный штаб управляет. Чтобы он понял и согласился со всем с этим. Чтобы сам подчиняться этому управлению тут же и согласился бы. Ну, а когда он покажет себя против, не понравится ему... Поведем его по всем отделам главного штаба. Чтобы поглядел бы. А мы чтобы — поглядели бы на него. И сделали об нем окончательный вывод.

— Да в уме ли вы? Об чем вы думаете в настоящий момент? — воскликнул Довгаль, и покраснел весь, и задрожал.— Белые завтра же подойдут вплотную, зверства сделают невиданные, а вы твердите: «Поглядим на Мещерякова. Поглядим, как с ним сделать».

— Ну и что же? Главное сделано! Сделано объединение. А Крекотень — тот ничуть не хуже Мещерякова управится в главном командовании... В остальном же был уже сегодня между нами этот разговор, но ты, видать, не все понял: пусть белые придут! Пусть порушат нас! Это что будет значить? А то и будет, что война наша с мировым капиталом еще жестче делается. Еще больше массы поднимутся и осознают свое

великое дело! Войдут в революцию с головой, без остатка. И вот тогда-то уже никто ни о чем другом не пожалеет и не пожелает ничего другого, кроме как мировой революции. И каждый до тех пор в нее войдет, что обратного хода уже ни у кого не будет. Поэтому данный момент чем он кровопролитнее, тем это даже нужнее. И если существует хотя бы малое подозрение, что Мещеряков пусть в день один раз, пусть в месяц однажды, но назад оглядывается либо жертв боится — то и убрать такого надо без сожаления. Нам отклонение каждого из нас от истинной линии страшнее, чем колчаковские банды. Задача — чтобы в нынешний момент каждый не боялся бы ничего, ничего бы и ни для кого не выгадывал, а тогда и момент этот сделает освобождение народа от вечного ига! Пережить однажды — пройти сквозь горячий костер! Надо! Колчак — тот огня не боится. У него решение теперь уже ясное — сгореть, но от своего не отступить. И он ни своих, ни чужих — никого не жалеет для огня этого. А мы почто слабосильнее его оказываемся?! Он-то — как зверь в клетке гибнет загнанный и будущих проклятиев не боится! А мы? Нам за нашу гибель история памятник сделает!

Довгаль молчал.

И молчание это Брусенкова еще воодушевило, он еще сказал:

— Когда мы не делаем революцию нынче, то мы ее, может, и никогда уже не сделаем. Потому что капиталист тоже свой вывод поймет и уже другого Колчака нам для такого случая не даст. Такого же зверя. Более того, он, капиталист, когда поймет, что от смерти ему близко, — он и своему пролетарию тоже подачку сделает — куском, рублем, какой-никакой фальшивой свободой. Может, одну десятую от своего богатства уступит, может, того меньшую часть, он не прогадает, навеки пролетария успокоит, погасит в нем революцию. Потому, Довгаль, товарищ мой, давай торопиться, делать ее, пока горячо, пока не остыло, пока мы сами на жертвы готовые на любые, а капитал всей опасности не осознал. Пока пролетарию и правда что нечего терять, как свои собственные цепи. Давай торопиться, ни пота, ни крови не жалеть. Иначе сказать: и вся та кровь, которая до сих пор народом была пролита, вся, до капли, зря пропадет!

— Злой ты, Брусенков. Откуда ты? Кто тебя таким сделал?

— Не злой, а умный. Еще сказать: ученый. Сильно добренькие умными не бывают — запомни это. Сделали же меня мои враги, капитал и сделал меня такого. Я долгое время глядел на буржуазию всех мастей. По первости думал: в богатстве вся жизнь. После понял по-другому, увидел, как богатство делается и для чего. Делается оно без стыда и для бесстыдной жизни, и человек человеком не станет, пока от ига не спасется любой жертвой, любой кровью.

— Нельзя так, Иван! Нельзя! Пусть нашей крови желает Колчак, пусть желают ее из разных стран легионеры — им деньги за это платят, и обещания дают, и обманывают их всячески. Так ты и злился бы на их, на их только! Но ты и на своих тоже кровавыми глазами глядишь!

— Тоже. И свои, может, не меньше виноватые, когда их миллионами угнетают. Ведь и надо-то всего — договориться на один день и час миллионом этим, один раз только заняться, попачкать о капиталиста руки — и все! Конец настанет капитализму, думать о нем забудут. Ну, если не могут сговориться на один день — пусть бы на один месяц решились, на один и даже — на два года! А то боится каждый, и каждый для себя так ли, иначе ли ловчит, а получается — вместо единой революции позволяет себя отдельно от других в крови утоплять! Нет, и на своих глядя, радоваться тоже не приходится. Слишком ее мало, радости этой. в людях. Учение им нужно, и учение без пряника — вовсе другой мерой!

Глава шестая

Мещеряков осматривал оборонительные позиции. Сопровождали его командиры полков.

Сначала ехали бором, Мещеряков прикидывал, где тут в бору удобнее расположить полевой госпиталь, лабораторию для заправки стреляных гильз, армейский обоз. После выехали в поле.

Соленая Падь с целой стаей колодцев-журавлей, с зелеными крышами бывшей кузодеевской торговли, с редкими сизыми дымками оставалась позади и чуть справа. А вот впереди, сколько хватал глаз, велись оборонительные работы — наверное, тысячи две народу копали основную линию окопов.

Через выпас шла линия, пересекала поскотину, шла пашней по стерне, местами — прямо по не убранному еще хлебу черным надрезом. По вспаханному осеннему пару надрез этот был желтым, глинистым.

И всюду народ кипел, и падала, падала степная пашенная земля из окопов на брустверы, кидали ее мужики блестящими на солнце лопатами, а где так и бабы старались, и ребятишки.

Звон стоял над степью... Кто-то очищал в тот миг лопату о лопату, а еще кое-где сидели около небольших наковален мужики, те звенели безустанно — отбивали притупившиеся на плотном грунте лопаты домашними молотками.

Шел звон от бора до Большого Увала, а вверх — едва ли не к самому солнцу, разгоняя в белесом небе редкие, пугливые облачка.

И голоса человечьи тоже звенели, и гудели, и вздрагивали, налетая друг на друга, и тоже заполняли собою все вокруг — и вдаль и ввысь.

«Шумит-то народишко...» — подумал Мещеряков.

На фронте не раз приходилось ему видеть, как роятся окопы, и он сам — саперный фельдфебель — тоже не раз и не один год рыл их, но никогда не примечал, что дело это такое звонкое.

А еще и по ту и по эту сторону линии обороны убирали нынче хлеб. Торопились. Погоняли коней, и лобогрейки быстро-быстро махали едва видимыми мотвилами, самосброски — крыльями, а на сенокосилках, приспособленных под жнеи, — на тех как-то особенно ясно видны были мужики по большей части в белых рубахах и без шапок. Они тоже без конца, словно мельницы-ветрянки, взмахивали граблями-укладками, клали хлеб в горсти. И стрекотали на лобогрейках, на самосбросках, на косилках ножи, и кони шагисто двигались по кромкам разбросанных гам и здесь пшеничных, просяных, овсяных, гречишных полей. Пшеничные посевы — те особенно были похожи на крупные ломти хлеба, жнеи отрезали от ломтей совсем тонкие ломтики, поля суживались, а когда полоски несжатой пшеницы становились совсем узкими — в один-два захвата, — кони сами по себе прибавляли шаг, валили пшеницу сперва на одну сторону, разворачивались, шли обратно, и скошенное начисто поле с сероватой стерней сразу будто прижималось к земле, кончалось на нем лето, ступала на него осень. Глубокая осень. Поблекшая, бесцветная.

Бабы в разноцветных сарафанах, в белых косынках и с подоткнутыми подолами домотканых юбок цепками двигались по ходу машин, сгибались и разгибались. сгибались и разгибались — вязали горсти в снопы. Снопы нынче не складывали в кучи, а тут же подбирали на двуконные подводы, в высоченные возы.

Один за другим шли эти возы чем ближе к деревне, тем плотнее один к другому — чуть что не сплошным обозом, а из села на порожних, стоя в рост и гикая на коней петушиными голосами, мальчишки-возницы мчались в обгон друг друга, подымали по дорогам пыль и, только свер-

нужно на стерню, притормаживали, ехали мирно-чинно, боялись, верно, что за бешеную езду мужики и бабы станут на них ругаться.

Шло дело.

Тут, должно быть, не глядели, чья пашня, кто хозяин, — убрали артельно. Весело убрали. Будто не перед войной — перед престольным праздником торопились: хотели управиться и хорошо погулять.

Будто и окопов тут же рядом не рыли и поля освобождали не для кровавого боя.

А между прочим, когда снопы эти свезут в деревню, сложат, у кого прямо на ограде, у кого на огородах, и вся деревня покроется зародами, как грибами, а после того противник даст по дворам и постройкам первого же огонька — заполыхать может сильно. Куда как сильно! Нынешний колос и солома — богатые, сухие, горячие.

Еще смутила Мещерякова одна совсем ненужная линия окопов. Он спросил: а эту кто назначил? Кто выдумал? Совсем непутевую, боковую?

Ему ответили: это начальник главного штаба приезжал, товарищ Брусенков инспектировал. Он и надумал...

Как будто товарищ Брусенков этот — лицо тоже военное, а не гражданское...

Повздыхал Мещеряков, в который раз уже подумал: «Партизанское ли это дело — оборона?»

А линия окопов на глазах все глубже врезалась в землю, уже обозначились ходы сообщения, пулеметные гнезда и выемки под капониры, ложные окопы Мещеряков тоже узнал, и кинжального действия, покуда еще не замаскированные. Война...

Еще раз оглядев местность в бинокль, Мещеряков спешил, бросил повод коноводу, велел тут и ждать его, пошел не торопясь, раздумчиво, а командиры полков тоже спешили и тоже двинулись за ним.

Держались не у самой линии окопов, а чуть поодаль, чтобы не мешать людям работать.

Мещеряков хотел, как только окопы будут выкопаны, провести учение прямо на местности — разыграть предстоящее сражение — и потому, объясняя командирам расположение и действия их полков, то и дело повторял: «А я буду вашим противником и сделаю, к примеру, так...»

Народ, рывший окопы, на командиров — а на Мещерякова так особенно — глазел, однако работу не бросал. Даже, наоборот, еще больше старался. Ни криками, ничем другим командирам их планы обдумывать не мешал.

И Мещеряков тоже с народом покуда не заговаривал, целиком был занят своим делом, а между тем успевал заметить, как и что делается, как работа организована.

Никем не назначенные старшие и мерщики, тут же громко выкликаемые по именам и фамилиям, отбивали для каждой артели участки, меряли землю деревянными саженками усердно, словно собственную пашню, или межи на покосе отбивали перед троицыным днем, они же сменяли людей, командуя одним отдохнуть, другим попроворнее орудовать лопатами. Старшие, которые были позапасливее других, те имели добрые охапки черенков, тут же и меняли на лопатах черенки изломанные и вообще негодные.

Слышно было, как нерасторопного какого-то старшего какая-то артель вмиг сменила — как тот никуда не годный черенок, — покричала и назначила нового. Новый старший оправил на себе рубаху и тут же велел окоп углубить, а бруствер подровнять. Правильно велел, так и надо было сделать.

Суматохи особой не было. Бабы только повизгивали кое-где в окопах — ну, это им и бог велел.

Еще объяснив командирам задачу, Мещеряков вытер платком пот со лба, провел двумя пальцами по усикам.

— Ну что, товарищи командиры? Понятная пока что задача? А теперь, я думаю, и с народом надобно перекурить. Это тоже — нехорошо все время врозь от массы держаться! — Повернулся и пошел к окопам.

Его тотчас густо народом окружили. А он любил густой народ, Мещеряков. От долгой солдатской службы, что ли, это у него было: там, в строю, всегда и справа и слева от тебя люди, и на ночевках плотненько лежишь, кому-то голову на брюхо положишь, а кто-то тебе — и каждый вроде на перине; перед кухней походной тоже не один толкаешься с котелком; а с семнадцатого года пошли на фронтах митинги, так писарь был у них полковой, иначе на митинги эти и не призывал, как только криком: «Набивайся, набивайся, ребята! Набились, что ли?» О вагонах и говорить не приходится — в вагонах кони да генералы ездят по счету, нижние же чины — сколько набьется и еще сверх того один комплект.

И весело обо всем этом подумав, заволновавшись перед началом разговора, Мещеряков вынул кисет, стал закуривать трубку. Спросил:

— Ну что, мужики? И — женщины? Как решено-то вами: белых будем бить либо они нас?

Пестренький, сильно уже древний старикашка в стоптанных опорках, которые еще только один день и согласились потерпеть на тощих и кривоватых ногах, подался из круга, повторил вопрос Мещерякова слово в слово и сам же на него ответил:

— ...Значит, так, приговорено было миром — колчаков до одного уничтожить. — Помолчал и спросил дальше: — А главнокомандующий как на войну глядеть? Ему как известно? — Поджал губы и стал часто-часто на Мещерякова мигать... Видно было — постирала жизнь старикашку. Постирала в щелоке, успела за годы.

— Наша и возьмет! — ответил старику Мещеряков. — Куда мы будем годные, что такой силой — и не возьмем? Зачем и жить на свете всем народом, всем вместе? Ежели в этом силы нет — тогда лучше разбегаться кому куда!

Но старик потоптался своими залатанными опорками и еще приговорил раздумчиво:

— Пушки у его, у белого... Пушки проклятые, и, сказывают, много-о! — Почесал спину. — И каждая ноздря — снарядом заряженная!

А Мещеряков тут же и спросил:

— Вам, отец, в спину однажды картечью угадывало? Было дело?

— Было! — кивнул старик весело. — До того, слышишь, было — едва живой остался!

Все засмеялись кругом, и Мещеряков засмеялся тоже, но тут и осекся: вспомнил отца Николая Сидоровича, замученного беляками. И еще подумал: он не за ради одного только смеха к людям подошел. Посмеяться можно и даже очень это полезно. Однако — опасно. Запросто можно для начала зубоскалом прослыть. После и рад будешь серьезно с народом поговорить, но на тебя уже каждый будет несерьезно глядеть.

Он хорошо знал, Мещеряков, что ему предстоит, когда к народу подходил: его сильно узнавать сейчас будут, испытывать вопросами. Имеют на это полное право.

Уже заметил он и одного и другого, кто с нетерпением ждал, чтобы вопрос перед ним поставить. Старика, конечно, все должны были уважать, старика, пестро-рыжего, обтрепанного, никто не перебивал, но это только для начала...

Высокий тощий фронтовик стоял среди других, лопатку забросил на

плечо, а сигарку незажженную уже всю губами изжевал — тот солдатским понимающим глазом на главнокомандующего смотрел, шурился.

И верно, он и задал вопрос.

— Может, мы зря с тобой, товарищ командующий, оружие-то на фронте бросили? — задал он свой вопрос. — Довоевать бы уже нам с немцем, после — с собственным своим офицерьем? А то случилось, куда мы на мировую революцию надеемся — союзнички наши до конца сделают нам интервенцию, еще разожгут гражданскую войну, и тут уже не только от нас, дезертиров, ничего не останется — не остается и России, и даже мирного населения. Все истребится!

«Вот и возьми его, фронтовика, — подумал Мещеряков. — Какой оказался он птицей! Нет чтобы подумать: окопы же люди делают, готовятся к смертному бою, так неужели в такой момент и вот так о войне перед этими людьми говорить! Его очень просто можно было пресечь. Сказать: «Оборонец, гад! На фронте мнение, поди, не высказывал, там тебе, оборонцу, быстренько бы просвещение сделали, а здесь, перед гражданским населением, задний ход даешь во всеуслышание? Не нашел лучше времени и обстановки?»

Но промолчал Мещеряков, не сказал так. Подумал, сказал по-другому:

— Оружие мы нынче подняли все — и военные, и вовсе гражданское население. А почему подняли? Смогли? Потому что мы его в свое время сами же обзвем крепко бросили! Бросили, мирный исход всем и каждому предложили: германцу, собственной буржуазии, самим себе. Бросили — тем самым перед всем человечеством отвергли самую несправедливую бойню — и пошли домой к бабам, к ребятишкам своим, к пашне. Но только это наше самое справедливое действие не понравилось, кому-то поперек стало, что мы сами собою управились, за чужой интерес перестали воевать. Буржуазии это стало поперек, и она объявила об этом с оружием в руках, а что мы поняли всю ее хитроумность — так нас же обозвала предателями! Только не понимает тот громкогласный буржуй одного: который народ по своей собственной воле смог бросить оружие, тот уже сможет и обратно поднять его с земли и опять же — без офицерской команды, сам по себе и ради себя! Чтобы защитить себя и мировую справедливость! Тут — буря, от которой буржуазии спасенья нет и не будет! — И Мещеряков положил правую руку на кобуру револьвера, левой приподнял на голове папаху...

Фронтовик же задумался, другим, не сильно бойким взглядом на главнокома посмотрел. Сигарку свою не жевал больше губами. Мещеряков вынул из кармана коробок, чиркнул спичкой и через головы ребятишек, стоявших в круге первым рядом, подал ему — длинному, тощему — огонек.

Ребятишки снизу вверх на главнокомандующего глядели молча, после кто-то из них спросил:

— А правда — нет: вас пуля не берет?

Все засмеялись, не засмеялся только Мещеряков, ответил серьезно:

— Шальная пуля — та действительно может в меня попасть. А прицельная — ни в жизнь!

— Это как? — уже кто-то взрослый спросил.

— Подумай головой — как? — спросил Мещеряков, а еще кто-то подал голос:

— А если — кишка тонкая головой-то думать?

— Да просто же, — засмеялся Мещеряков, — куда враг в меня целится, пуля тоже подумает, как меня кругом обойти! — И показал рукой, как пуля обходит его кругом, шелкает прямо в сопливый нос какого-то парнишки.

Смеялись все, и Мещеряков тоже смеялся. Его снова спросили:

— Без шуток, как управляться-то нынче будем с беляками?

— Без шуток так: наши подвижные части сейчас наносит белым колоннам потери на марше. И дальше будут наносить. И к Соленой Пади, вот к этой нашей оборонительной линии, противник подойдет сильно потрепанный. Но этого мало, в основном мы его из силы вытряхнем своей обороной. По всей видимости, запросит он поддержки из резервов. У самого верховного и запросит. А мы в тот момент и перейдем в решительное контрнаступление, и уничтожим его по частям: сначала главные силы под Соленой Падью, после — резервы на марше. Как раз и российская Красная Армия будет где-то поблизости, и советская власть. Немного останется до полного соединения.

Кто-то удивился и нараспев сказал:

— При всем народе и военные действия объяснять! Это же глубокая тайна!

— Ну, противник, поди, не дурак, чтобы этакую тайну не угадать, — ответил Мещеряков. Подумал и еще сказал: — А кроме того, я надеюсь, среди нас предателей нету. Надеюсь крепко.

— А так бывает — чтобы без предателей? Чтобы на множество людей — и ни одного бы не нашлось?

— Бывает... Это я точно знаю. — И Мещеряков не торопясь стал рассказывать случай. Из его собственной жизни был случай. — Действительную служил я на Дальнем Востоке. Вышел как-то из расположения по увольнительной, ну, и сильно выпил. После вернулся в казармы, а дневальные, свои ребята, от начальства укрыли, тепленького меня тихо провели, на нары уложили спать. Но — не спится мне. Что-то сделать бы еще? И надумал: встал босой, в дежурку прокрался. Шашка там висела на стене, в дежурном помещении, темляк сильно красивый, как сейчас помню, а еще висел там портрет его величества государя-императора. И снял я ту шашку с красивым темляком, вынул из ножен и портрет — раз, два! — порубил вдоль и поперек!

Мужики в кругу ахнули, молодежь — та повытаращивала глаза молча — не знала, что солдату за такую проделку бывает. А Мещеряков развел руками и плечами пожал.

— И что я в ту пору на его величество осерчал — не помню, хоть убей! Но только — сделал. И ловко так сделал, довольный остался. Ушел обратно на свое место и уснул. Хорошо уснул... Вдруг тревога, подъем. Ну, я солдат был уже не первого года службы, хотя и после выпивки, а вскочил, оделся проворно. Построились мы всей ротой, я во втором взводе стоял и во втором же отделении. Тут выносит ротный командир портрет изрубленный, показывает всему строю и пальчиками бумажки поддерживает, чтобы не распались они окончательно. Спрашивает: «Кто сделал — три шага вперед!» Молчат все. Он опять: «Кто сделал — три шага вперед!» И даже сам ножками три шага на месте отбил. Молчит рота. «Не признаетесь — замучаю всю казарму нарядами. Всех лишу увольнительных! Во всем городе и все сортиры дочиста выпростаете! Замучаю нарядами, как перед богом — замучаю!» Обратно три шага собственными ножками показывает... Ну что делать — моя работа. Выходить надо из строя, когда из-за твоей личности на всех такая участь! Я ремень на себе подтянул и гимнастерку заправил, прежде как выйти, сделать три шага, а справа и слева от меня товарищи стояли и еще позади — те шепчут: «Стой, дурень, стой, не шевелись!» Я и остался в строю. И что же вы думаете? Сколь роту нашу по нарядам ни гоняли, гоняли безжалостно, и не один месяц, и все знали, кто сделал, но ни одного не нашлось человека доказать начальству! Ни одного!.. А когда так — кто тут спрашивал, бывает без предателей или не бывает? Я ду-

маю, ответ понятный! Особенно когда учесть, что случай этот произошел еще в темное дореволюционное время!

Мещеряков сделал шаг, круг перед ним потеснился, он еще и еще шагнул. Командиры полков — за ним. Снова пошли вдоль свежей линии окопов, вдоль тысячной цепочки людей.

Командиры слушали главкома, главком — командиров. И чутко слушал, изучал на ходу. По особой причине изучал: хотел выбрать командиров дивизий.

Дивизий в партизанской армии до сих пор не существовало, а они были необходимы. Для наступления так и совершенно необходимы, только до сих пор никто об этом не позаботился.

Если на самом деле, а не просто в мечтах армия сможет перейти в наступление на север, на запад от Соленой Пади, — на этот счастливый случай нужно свести полки в самостоятельные группы, каждая — под командованием одного командира.

И смотрел, смотрел Мещеряков: кого из полковых командиров выдвинуть нынче же на дивизии? С кем из них в самый первый раз можно вместе подумать, посоветоваться о своих планах и замыслах? Кто из них будет ему нынче первым другом, первым боевым товарищем, правой его рукой?

И он все выбирал комдива номер один, и никак не мог на кого-нибудь окончательно глаз положить.

Но тут случилось одно обстоятельство. Неожиданно случилось.

Мещеряков со своими командирами двигался вдоль окопов накапанной дорогой, а вот чуть дальше в моряшихинскую сторону был проселок, из бора выходил — там вдруг появились верховые.

Кто, откуда — сперва было непонятно, потом Ефрем заметил, что хотя едут верховые не быстро, но весело как-то, бодро, а еще спустя время он узнал в переднем верховом Гришку Лыткина, и все ему стало ясно, и даже испарина его прошибла...

Нынче утром, чуть евет, Мещеряков послал Гришку навстречу Семenu Карнаушину, вернее сказать — навстречу Доре. Через свою недавно налаженную, но уже достаточно надежную армейскую связь было известно, что Дора благополучно отсиделась в стогу и под охраной карнаушинских эскадронцев нынче должна достигнуть Соленой Пади.

Гришке и наказано было — встретить Дору в бору, эскадронцев Карнаушина отпустить, а самому тихо-мирно, незаметно для лишних глаз, бором же сопроводить Дору в село, в избу Никифора Звягинцева.

А Гришка, мерзавец, что сделал? Карнаушина с эскадронцами не отпустил и окольной дорогой бабу не повез, а двинулся всем отрядом прямо на позиции, прямо на Мещерякова! Решил удружить.

Только что не с обнаженными шашками по открытому полю двигался объединенный лыткинско-карнаушинский отряд, а тысяча людей на него из окопов, с жатвы, отовсюду глядела и дивилась...

Ефрем остановился, сказал командирам будто между прочим:

— Ведь это, однако, баба моя следует с ребятишками! Однако она! — Постарался и даже весело это сказал. Стал ждать, когда улыбчивый Гришка, и вовсе смущенный Карнаушин с эскадронцами, и сама Дора в конфискованном бывшем кузодеевском рессорном тарантасе приблизятся к нему.

Закинул руки за спину и встал, первый взгляд Доры хотел своим взглядом перехватить, чтобы она сразу же все поняла.

Гришкина улыбка едва ли не весь отряд заслоняла — ехал Гришка namного впереди других, шапка набекрень, на боку — настоящий кольт, хотя и без патронов, но настоящий — ухитрился, стервец, снять оружие с убитого польского легионера еще под Верстовом. Конь под ним бле-

стит, сам Гришка — тоже.. Уже следом, вторым эшелонем, ехал всегда молчаливый, застенчивый Сема Карнаухин со своими эскадронцами.

А уже сама Дора — та была позади всех...

Сперва Ефрем косынку заметил, под изгибом тонкой узорчатой дуги чубатого коренника — лиловые на розовом поле цветочки.

До чего они выцвели, до чего поблекли цветочки, если Ефрем не сразу их узнал!

Розовенькое личико младенца мелькнуло на миг и белесая Петрунькина головенка, но ее заслонила крупная фигура верхового эскадронца, потом снова, но теперь уже сбоку от дуги, показалась Дорина косынка и лицо под нею. Какое там лицо — глаза одни, и ничего больше!

А когда Дора наконец вся стала видна через головы лошадей — Ефрем поглядел на нее строго, все, что нужно было взглядом сказать, сказал. Она поняла.

Есть ли бог, нет ли его — точно неизвестно, но если все ж таки бог существует, то бабой он Ефрема не обидел: ни единого лишнего слова Дора не обронила, из тарантаса встречу ему не кинулась.

Петрунька, тот, верно, к отцу подбежал, но парнишку отец мог и по головенке потрепать, так нужно было — не чужую семью он встретил, раз уж встреча произошла.

Дора двинулась в деревню, Ефрем с командирами — дальше, вдоль позиций.

Поблизости крупного березового колка Мещеряков заметил какую-то особую обстановку: шалаши там стояли аккуратно в один ряд, опять линия окопов была выкопана, и, видать, уже выкопана довольно давно — земля на бруствере успела подсохнуть, была неяркой, серой. Стали ближе подходить — что такое? что за предметы? А это чучела были. Форменные чучела, из хвороста сплетенные и в деревянные бруски вставленные. Как на военном настоящем плацу, по которому солдаты первого года службы с утра до ночи бегают с криком «ур-ра!», с винтовками наперевес и колют для практики чучела четырехгранными примыкаемыми штыками образца 1893 года.

В колке была расчищена линейка, как положено в лагерях, — аршина на три шириною, а длиной так сажень, верно, на пятьдесят; в одном месте линейка была даже присыпана желтым песочком, и на припесоченном Мещерякова и всю группу командиров встретил дежурный по части.

Отрапортовал:

— Товарищ главнокомандующий! Товарищи прочие командиры доблестной партизанской Красной народной Армии! В расположении полка красных соколов весь личный состав в наличности, а происшествиев нету! Дежурный по полку — Галкин!

К Мещерякову все его командиры разом обернулись — ждали, как он в данном случае поступит. Кто-то не выдержал, высказался даже раньше главнокома:

— От это порядочек! Как в той, в царской, в кулачной армии! Очень просто перепутать можно и вместо белого офицера красного партизанского командира стрелить!

Мещеряков на нетерпеливого глянул, ничего ему не сказал, дежурному, товарищу Галкину, подал команду: «Вольно!» Обратился к своим сопровождающим:

— Кто тут из вас соколами этими командует? Ты, однако?

— Я! — ответил один из командиров. — Я — командир полка красных соколов Петрович!

— Кто-кто? — не понял Мещеряков. — Фамилию у тебя спрашивают, а ты по-деревенски отчество свое называешь!

— Такая фамилия — Петрович!

— По имени?

— По имени — Павел.

— Получается — Павел Петрович! И ничего тебе более не надо, даже отца родного?

— Шутка природы, товарищ главнокомандующий! — ответил Петрович. — По расположению полка проследуем?

— Проследуем...

— От это пор-рядочек! — опять сказал нетерпеливый командир. Это был комполка двадцать четыре. — Погоны у их тут, у соколов, не навешаны ли на плечи? Глянуть бы! Давно уже не видел, с осени семнадцатого года!

— А вот возьмешь белых офицеров в плен — и погляди погоны! — ответил командир красных соколов. — Погляди, если соскучился. — За шагал рядом с Мещеряковым, поясняя на ходу: — У нас полк сводный — рабочая прослойка из города, точнее — шахтеры с Васильевских рудников, из местных жителей небольшая часть, две интернациональные роты мадьяр, один взвод сознательных чехов — перебежчиков на нашу сторону, больше взвода латышей. Латыши частью местные, а еще пришли из России для защиты первой советской власти от белых, эсеровских и прочих войск еще доколчаковского периода. Еще при нашем полку действуют постоянные курсы командного состава — один выпуск уже произвели, около ста человек подготовили в течение полутора месяца. Нынче снова готовим контингент самых благонадежных и политически развитых. Сами понимаете: при такой пестроте и при таких задачах без особой дисциплины нам невозможно. Без нее наше существование как воинской и революционной единицы попросту может быть поставлено под вопрос.

— Не торопись! — проговорил Мещеряков. — Я все твои объяснения должен взять в память!

Подошли к расположению интернациональных рот, и на ломаном русском языке, но четко и по всей форме им снова рапортовал молодецкий чернявый мадьяр, а роты, построенные чуть поодаль, приветствовали их громким «ур-ра!».

Строгие были все ребята и «ура» кричали серьезно, строго.

«Ты гляди-гляди, Ефрем, какая у тебя армия! — думал про себя Мещеряков. — Сколько в ней народов!»

И латыши тоже крикнули, немного их было, а крикнули хорошо.

А Петрович все показывал и объяснял. Показал полковую кухню, санитарный пункт, цейхгауз, вкопанный в землю и с маленькой избушкой для писаря, в которой писарь вел строгий учет полковому имуществу, каждый божий день подавал рапортчики о наличии этого имущества самому командиру полка. Смотрел учебные снаряды, поделанные из свежих березовых бревен, и учебную пушку с разбитым стволом.

Смотрел Мещеряков и на самого Петровича — кто такой? Действительно самой природой созданный командир дивизии? Царский недобитый офицер? Ходит быстро, четко, хотя и не совсем военным шагом, говорит негромко, но за свои слова не боится. В очках. Ростом заметно пониже Мещерякова, не белый и не рыжий, чуть с проседью, но такие не седеют и в шестьдесят.

— Ну, а скажи ты мне, шутка природы, товарищ Петрович, сильно строгий порядок — тоже ведь плохо? — не то насмешливо, не то серьезно спросил Мещеряков, чувствуя, как слова эти задевают всех командиров.

— Почему? Как это ты понимаешь собственный вопрос, товарищ

главнокомандующий? — не ответил, а спросил Петрович, сощурившись строгими глазками.— Почему?

— Радости нету, и не в крови он у нас, у русских, сильно строгий порядок. Особенно нынче. За свободу воюем, а для самих же себя свободы явная недостача! Скучной войной мы сыты уже вот так! Она хуже каторги! Повоюем теперь от собственного сердца, весело и лихо. И еще учти — революция все ж таки по порядку не происходит. Ее в дисциплину не загонишь, нет! Распиши всю революцию по диспозициям, составь ей строгий план, сроки назначь, когда и что должно случиться,— от ее ничего не останется. А впрочем,— сказал Мещеряков,— давай глядеть на практике. На чем же ты дисциплину красных соколов строишь?

— На сознательности.

— Сознательность — на чем?

— На знаниях. На знании каждым солдатом общей цели и задачи. Чтобы от нее он воодушевлялся, чтобы именно от нее он воевал и гордо, и весело, и лихо.— И Петрович весело, громко засмеялся.

— Ну вот, к примеру, я и есть тот самый каждый солдат. Как ты мне будешь всеобщую цель и задачу объяснять? А вместе с тем собственную мою дисциплину?

Комполка двадцать четыре хихикнул. Глянул на Петровича, тоже спросил: вслед за Мещеряковым:

— Ну, ну? Вот именно!

Петрович прибавил шагу и сказал:

— Выдумывать не будем. Будем знакомиться в подробностях. Как поставлено, как делаются первые шаги в области духовного воспитания солдат. У нас для этого составлена инструкция. Не только составлена, но и тщательно изучается.

Стали знакомиться...

На небольшой полянке сидел, по-татарски поджав под себя ноги, целый взвод солдат, красных соколов.

Один, стоя во весь рост, читал по бумажке, а все его слушали. Потом вызывались охотники повторить прочитанное.

— «Наша цель,— прочитывал старший со всем старанием,— свобода, братство, равенство. Поэтому каждый солдат должен быть сознательным, вежливым, корректным как по отношению своих товарищей, так и гражданского населения. Любовь к людям, сострадание и помощь беззащитным должны проглядывать в каждом действии солдата».

Повторили пункт в один голос, старший объяснил, что слово «корректный» вовсе не отличается от другого слова — «вежливый», потом спросил: кто теперь без подсказки, а вполне самостоятельно может пункт еще разъяснить? Охотников оказалось множество, и старший дал слово одному, который громче других кричал, что все запомнил и понял.

Но на самом-то деле этот товарищ солдат не слишком оказался способным, слово «корректный» так и вовсе не смог произнести — заркал.

Мещеряков немножко засомневался в старшем: правильно ли он объясняет, будто слово «корректный» и «вежливый» обозначают одно и то же? Кому бы и зачем это понадобилось — два одинаковых слова ставить рядом, бумагу напрасно переводить? У него мелькнула мысль, что «корректный» может обозначать «точный» либо «правильный», поскольку для точного и правильного артиллерийского огня всегда необходима корректировка.

Следующий пункт инструкции был такой:

— «В нашей армии, как среди самих начальников, так и среди солдат, сильно развито сквернословие. Наш русский язык настолько богатый словами и выражениями, что вполне можно обойтись без слов и мыслей,

которые неприятно действуют на слух порядочного человека. Нужно всем сознательным социалистам стремиться не употреблять сквернословия в разговоре».

Мещеряков подозвал своих командиров ближе и тихо, строго сказал им:

— Они вот нынче выучатся — рядовые солдаты, поймут, как надо, а назавтра вы, командиры, приходите к ним и перед строем во всеуслышание провозглашаете: «... в бога мать!» Учтите, товарищи командиры,— чтобы отныне ни в коем случае такого не бывало! Понятно?

— «Каждый солдат должен охранять и беречь народное хозяйство, а также строго следить за лошадьми и отнюдь не злоупотреблять ими,— читал между тем старший.— ...Каждый должен помнить, что это его собственность в отдельности и в общем — собственность всего народа. Каждый член семьи бережет свое хозяйство, а мы все представляем из себя членов общей народной семьи. Кроме того, мы должны развивать в себе жалость и любовь к животным».

И опять Мещеряков строго поглядел на своих командиров, а те поглядели на него: никто уже не озирался сердито на Петровича. Комполка двадцать четыре заметно притих...

И Мещеряков тронулся идти дальше, но Петрович показал рукой, чтобы командиры еще постояли на месте, еще задержались, а сам приказал старшему:

— Давай пункт девятнадцатый! Покуда мы еще здесь — давай!

Девятнадцатый пункт и солдаты, и командиры, и главнокомандующий слушали с особым вниманием.

— «Чтобы победить капитал и быть свободным, мы должны иметь сознательную, убежденную добровольческую армию. Сознательный человек всегда знает, за что идет и что ожидает его в будущем. В борьбе он не считается ни с чем. Сознательность — это условие дисциплины, товарищества, дружбы и любви друг к другу. В этой товарищеской дружбе, в этой связи между собой — наша сила!»

Командиры поглядывали на Мещерякова, тот сказал:

— Исстрадался народ по человеческому! За века — исстрадался.

А командир полка двадцать четыре все еще не оставлял до конца своей точки зрения.

— Занятия занятиями,— сказал он,— только при чем здесь рапорты и линейки? При чем цельная контора при цейхгаузе? Каждая шелудивая пара сапог находится под замком и под печатью писаря? Тут явное противоречие у красных соколов: когда они такие сознательные, то и бояться, что эту пару сапожонок кто-то сопрет — им тоже не следует. Это для темного дореволюционного мужика либо для врага-буржуя необходимая мера, а для социалиста она есть не более как надругательство!

— А что же,— вдруг согласился Петрович,— что же, это твое замечание, товарищ комполка двадцать четыре, учтем... Это замечание нам не в бровь — прямо в глаз!

Мещеряков сказал:

— Покуда, товарищи, хватит наших общих толкований о предстоящем сражении с ненавистным врагом. После я снова соберу всех вместе, выслушаю мнения... Подумайте.

Командиры ушли, последним как-то неохотно ушел комполка двадцать четыре.

Мещеряков и Петрович остались один на один...

Сели на стол для чистки стрелкового оружия, поделанный не из досок, а из жердей, отесанных на одну сторону...

Посидели.

За деревьями где-то рядом кто-то по-настоящему, по-фельдфельски, командовал:

— На обед — ста-а-новись! Живо!

Послышался ретивый, дружный топот, потом — снова команда:

— Ша-а-гом... — ложки взяли? — арш!.. Правое плечо — вперед!

— Ну, — сказал Мещеряков, — объясни-ка, Петрович, шутка природы, — с чего ты все-таки свою дисциплину в полку начал?

Петрович, уместившись на столе, сказал:

— Начал с того, что без нее мне нельзя. И только с ней можно. Ты же сам только что говорил: революция — дело народное. Ну, а кто пришел нынче в революцию и в полк красных соколов? Объяснял уже — мадьяры, шахтеры. Соленопадские мужики. Эти — революционеры до мозга костей. Но есть и другие — более роты штрафников, осужденных трибуналом за преступления против революции, вчера амнистированных по причине слияния партизанских армий. На прошлой неделе прибыли кулаки, прямо-таки капиталисты — кожевенные предприятия имеют, лесопилки, мельницы, пимокатные заведения и тоже — воюют за советскую власть!

— Откуда этих-то взял? — удивился Мещеряков.

— Как бы брал... У них у многих Колчак сильно разорил хозяйство. Кто поумнее, видит — колчаковская власть против народа не устоит, разбой это и вообще никакая не власть. Вот они и захотели вовремя с народом встать в ногу. Некоторые есть — в прошлом году уничтожали советскую власть, а Колчак пришел, на словах им — спасибо, на деле — разоряет. Они схватились за головы и вместе с заядлым казачеством нет-нет — приходят к нам. Восстановить себя в наших глазах. Есть случаи — хозяин нанимает батрака, оставляет его дома и сам идет в партизаны. Воюет неплохо, ему так и надо — он свою вину чувствует. Вот как по-разному воюют люди и даже проявляют героизм. — Покрутив за дужку очки, Петрович вдруг спросил: — Ты, главком, вчера в главном штабе заседал?

— Было. А что?

— Подписал протокол объединения армий?

— Было. А это и тебе все известно, товарищ Петрович?

— Мне известно... Я ведь тоже член главного штаба. Только сейчас вот — укрепляю полк...

— Тогда понятно!

— Зато мне не все понятно, товарищ Мещеряков... Ты сейчас — заместитель начальника главного штаба по военным вопросам. Как со штабом знакомился? Ты что же — военный спец, и только? Что и как главный штаб делает — тебя не касается и касаться не будет? Не вникаешь. Прячешься. А ведь мы, когда выбирали главкома, помнили, что ты член партии, вступил за два месяца до Октября. Что ты — за народное дело и требования революции всегда поймешь, немедленно исполнишь.

Мещеряков выслушал, подумал и сказал:

— Вот, товарищ Петрович, история: только человека стало побольше других видать — на трибуну он залез или во взводные вышел, — он уже за себя не толкует, толкует за народ. Народную волю выражает либо народный гнев и суд, до чего бы ни довелось — везде у него самое народное. И правый и виноватый — всякий. Колчак, гад, и тот объявляет: «Мы — народ...», «От имени народа...», «Ради народного счастья...» Но ты скажи, товарищ Петрович, как это на себя взять: прийти в главный штаб, вот как я пришел, и тут же заговорить от народа? Не умею. Не научился еще. Как-никак научился воевать, но не более того. И знаю, на что я способный, что — могу, что — нет. Не надо, слушай, товарищ

Петрович, обмана, будто мы можем все. Не надо! Проще нет — сделать обман, куда труднее его не делать. Не мешай его не делать!

Петрович веточку березовую с единственным листочком потрогал...

— Ты уже сейчас о чем мечтаешь, товарищ Мещеряков, не на Курейский ли край своей деревни забиться? В свою избу?

Мещеряков прикрыл глаза.

— Стал уже ее забывать, за войной этой, свою избу. Но только вот что: я тогда скорее всего товарища-солдата и партизана обману, когда у меня в голове, кроме мыслей о необходимой победе, еще и другое что-то будет. Скажу не более того, что знаю: восстановим советскую власть — она с умом будет дальше делать, и не хуже меня, а несравненно лучше, потому что первый шаг, первая победа для того и делается, чтобы самое лучшее пошло в ход! — Мещеряков примолк, глянул на Петровича и вдруг очень строго спросил у него: — Вот еще что: вижу-то я тебя первый либо второй раз, не более того. Кто ты такой?

Петрович чуть замешкался. Мещеряков еще требовательнее спросил:

— Какого года рождения, товарищ командир полка?

— Тысяча восемьсот семьдесят шестого, товарищ главнокомандующий! — ответил Петрович и встал — руки по швам.

— С какой местности?

— Из Нижнего Новгорода!

— Теперь скажи, сколько же лет ты находишься в военной службе, товарищ комполка? Если взять в сумме — сколько лет?

— Нету у меня никакой суммы, товарищ главнокомандующий! — ответил Петрович.

— То есть как? Что же ты служил в своей жизни: год, два, три или десять?

— Три месяца был на германской, три — в рабочем красногвардейском отряде, два — в партизанской армии. Все!

«Ах ты варнак! — сердито подумал Мещеряков, — тоже мне командир и допросчик — испытывает главкома!»

Не стал дальше Петровича о его жизни расспрашивать. Отложил на после когда-нибудь. Вдохнул и сказал:

— А ведь я что надумал нынче? Надумал свести полки в дивизии, после на совещании командного состава проголосовать кандидатуры комдивов. И — твою кандидатуру.

— Ну, это нехорошо, товарищ Мещеряков! Я же тебе только что говорил: опыта нет... — сказал Петрович. — Боевой опыт недостаточный.

— Отказываешься? А ежели революция требует, чтобы ты стал комдивом? Ты что же — это требование не исполнишь? И — не поймешь?

Но не сердито сказал это Мещеряков Петровичу. На белесовато-рыжего этого человека он ничуть не сердился. Он задумался.

* * *

Шел к месту, где оставался коновод.

В обратном порядке миновал дорогу, на которой встретился нынче с Дорой, миновал боковую линию окопов, несуразную, никому не нужную, может быть — даже вредную, но выкопанную народом так же тщательно по приказу товарища Брусенкова.

Народу страдало, пожалуй, даже больше, чем до обеда, только сдвинулся он в глубину полей, убирался теперь хлеб не только на той местности, где предстояло разыграть сражение за Соленую Падь, но и на дальних подступах к этому полю. Где-то там все ложилась пшеница в горсти, в валки, и вязали ее потные, горячие бабы с подоткнутыми подолами домотканых юбок, охрипшие мужики погоняли лошадей в ко-

силках и самосбросках, метали снопы на подводы, и подводы, груженные и порожние, текли в разные стороны — одни медленно, а другие быстро — пыльными дорогами-большаками, невидимыми проселками, просто без следа — по стерне.

Кипел народ, как будто бы вот-вот уже должно было заняться сражение, кони ржали громко, тревожно и в то же время торжественно, в сентябрьски-синем небе таяли последние обрывки белесой дымки, и плыли своими путями крутые чуткие облака. Будто знали о близкой и дальней судьбе всех этих мужиков, баб, и ребятишек, и коней, но до поры спешили унести за горизонт свои тайны.

(Продолжение следует)



ДЕБОРА ВАРАНДИ

★

ОСВЕНЦИМ

С эстонского

Тополя черно клубились в небо.
На земле черно клубились тучи.
Под ногами — камень
с пустыми глазницами.

Дома пялились кирпичными рылами,
угловатыми мордами.
Собачий вой нарастал неподалеку,
достигал предела, оглушающий и невыносимый,
нарастал
и внезапно исчез.

Стало пусто.

На колючей проволоке скукожившиеся трепетали листья.

Почему такая боль в ногах?
Она достигает сердца.
И снова проваливается в ноги.
И растягивается и волочится вслед кровавой жгут боли.

Холодно. Сочится дождь
по натруженной шее
за ворот,
и коробится засохшее тряпье
вокруг тела, как короста.

Мы — лагерники.

* * *

А еще вчера, июньским утром¹,
я проснулась вместе с солнцем,
чтобы с друзьями сойтись у реки Эмайыги.
Мы собирались искупаться, покидать мяч
и о чем-то поспорить, возвышенном и отвлеченном.

¹ 21 июня 1940 года в Эстонии была свергнута фашистская диктатура и было создано правительство антифашистского народного фронта.

Река пахла прохладой
и преданно смыкалась вокруг тела.
Я была счастлива от этого запаха.
Мне казалось — я плаваю много лучше.

Мы ловили мяч, топча молодую траву,
отчаянно крича и хохоча.
Грудь, тугую, как парус,
я подставляла под ливень ударов
и была счастлива.
Мне казалось — я играю намного лучше.

Сердитые умницы, мы яростно спорили
под высокими кронами на берегу Эмайыги.
Белые бабочки порхали над лугом,
красные байдарки скользили по воде,
черные дымыплыли над городом,
и новые грозовые миры
расширялись
над всем этим.
И я была счастлива.

Мне казалось — я уже понимаю Маркса.
Мне казалось — меня любят друзья,
отдаривая меня за любовь.

Я не знала —

«14 июня 1940 года первые эшелоны с заключенными
прибыли в Освенцим».

* * *

Очки. На меня глядят
тыщи слепых стекол.

Я вижу отца своего — он стоит, опершись на лопату, под
цветущей сливой.

Его голова — в солнечном ореоле.
Блики очковых линз,
он смотрит из-под ладони.
«Ишь ты, я думал, что солнце щекочет мне темя,
а это зеленые шелкопряды!»
Он смеется, как изумленный ребенок.
А меня пронизывает грусть.
Так он близок уже, мой отец,
и корням и травинкам...
О, не покидай меня, не покидай никогда!

Пустые отцовские очки глядят на меня.

Чемоданы.
Тяжелые, остроугольные, как крест в пути на Голгофу.
Гора чемоданов распадается с грохотом
на тысячу ковыляющих рядов.

Скрежещут засовы вагонных дверей,
из щелей — бормотанье молитв и проклятья.
Они приближаются ко мне,
опустив изможденные руки.
И крупные надписи мелом
выкрикивают с чемоданов:
«Это я. Меня здесь убили!»

Это я. Мое имя. Мой чемодан.
В нем — если б можно его открыть —
фотография моего малыша,
мое платье верескового цвета.
Моя старая книжка любимых стихов
с морскими ветрами между страниц.
Моя жизнь.

...А это имя моего соседа.
Он словно незрячий.
С глазами, обращенными внутрь себя,
к близким, которые были убиты,
он прошел мимо горы чемоданов.

Волосы на моей голове шевельнулись.
Мои волосы встали и задымили в небо,
как черные ветки деревьев.
Мои волосы встали и зашевелились,
как страницы пылающих книг.
Обугленные клочки метались под тучами.
И пепел пал на мою голову и на ресницы.

Пусть они состригут с моей головы поседевшие патлы
и кинут на гору волос.
Мои волосы убежали.
Убежали за каменные ограды,
в колючий шиповник,
цветущие, извивающиеся и колючие.

Сотни лет будут виться и произрастать
мои волосы на головах моих родичей,
и лохматиться на ветру в приморских поселках —
в Кассари и в Эммасте, в Нену и Торнимяги.

Дорога только из камня и щебня.
Проклятая дорога.

Дорога не может встать и укрыться.
Дорога не может стеной преградить путь убийцам.

Но следы ее обжигают,
маленькие обнаженные ступни, как пылающие цветы,
обжигают дорогу.

Камни кричать не могут.

Дети не могут плакать с испуга.

* * *

Мы лагерники.
Я шарю вокруг, как слепая.
Что осталось у меня для людей?
Может быть, хоть единое слово
этим лающим, беснующимся утром?
Может быть, воспоминание теплое,
как очаг, в этот вечер смертных печей?
Рукопожатие? Крошка хлеба?
Сумею ли я поддержать идущего рядом,
если он упадет перед тем, как я упаду?
Сумею ли я укрепить его улыбкой?
Смогу **ли** внушить взглядом его взгляду:
мы — люди!
Мы — люди!

Перевел Д. Самойлов.



ВЛ. ЛИФШИЦ

★

СУДЕТЫ

Иду по безлюдной дороге,
Выводит дорога в Судеты,
И гор невысоких отроги
В сентябрьскую зелень одеты.
Здесь тем, кто помладше, не вредно
Услышать от тех, кто постарше,
О том, как на Прагу победно
Катились немецкие марши.
Гремели немецкие марши,
И враг — благодушен и весел —
На грудь, рукава закатавши,
Свой «шмайсер» железный повесил...
По-прежнему рядом граница.
Шагаю безлюдной дорогой.
И памятью сердце томится,
Томится угрюмой тревогой.

* * *

На предвоенного —
Теперь, после войны —
Я на себя гляжу со стороны.

Все понимал
Надменный тот юнец,
А непонятное привычно брал на веру.
Имело все начало и конец.
Все исчислялось.
Все имело меру.

Он каждого охотно поучал,
Хотя порою
Не без удивленья
В иных глазах усмешку замечал:
Не то чтобы укор,
А сожаленье...

Таким он, помню,
Был перед войной.
Мы с ним давно расстались.
Я — иной.

Лишь как мое воспоминанье вхож
 Он во вторую половину века.
 Он на меня и внешне не похож.
 Два совершенно разных человека.

ДАТСКАЯ ЛЕГЕНДА

Немцы заняли город
 без боя, легко, на бегу,
 И лишь горстка гвардейцев,
 свой пост у дворца не покинув,
 В черных шапках медвежьих
 открыла огонь по врагу
 Из нелепых своих,
 из старинных своих карабинов.
 Копенгаген притих.
 Вздорожали продукты и газ.
 В обезлюдевший порт
 субмарины заходят во мраке.
 Отпечатан по форме
 и за ночь расклеен приказ:
 Всем евреям надеть
 нарукавные желтые знаки.
 Это было для них,
 говорили,
 началом конца.
 И в назначенный день,
 в тот, что ныне становится сказкой,
 На прогулку по городу
 вышел король из дворца
 И неспешно пошел
 с нарукавной желтой повязкой.
 Копенгагенцы приняли
 этот безмолвный сигнал.
 А начальник гестапо
 гонял неприметный «фольксваген»
 По Торговой,
 к вокзалу,
 за ратушу,
 в порт,
 на канал,—
 С нарукавной повязкой
 ходил уже весь Копенгаген!..

Может, было такое, а может быть, вовсе и нет,
 Но легенду об этом я вам рассказал не напрасно,
 Ибо светится в ней золотой андерсеновский свет
 И в двадцатом столетье она, как надежда, прекрасна.



ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР

★

КОЛЧЕРУКИЙ

Рассказ

Я уже писал, как однажды в детстве, пробираясь ночью к дому одного нашего родственника, я попал в могильную яму, где провел несколько часов в обществе приبلудного козла, пока меня оттуда не извлек вместе с козлом один проезжий крестьянин. Дело происходило во время войны.

Через некоторое время после моего ночного приключения мы, то есть мама, сестра и я, стали жить в этой деревне. Сначала мы жили у маминной сестры, а потом наняли комнату в одном доме и переехали туда.

В этом доме до войны жили три брата. Теперь все они были в армии. Один из них успел жениться, и во всем доме осталась только его юная, цветущая и не слишком скучающая жена. Вспоминая ее, я прихожу к выводу, что соломенная вдова потому и называется соломенной, что воспламеняется легко, как солома.

При нас один из братьев вернулся — и именно тот, что был женат. Он как-то слишком бесшумно вернулся. Однажды утром мы его увидели на кухне. Он сидел перед горящим очагом и жарил на вертеле кукурузный початок, словно сам себе напоминал довоенное детство. Было похоже, что лучше бы ему пока не возвращаться. А может быть, лучше бы ему было подождать с женитьбой, потому что, мне кажется, он скучал по жене, и это ускорило его возвращение.

С какой-то обреченной жадностью с недельку он возился в саду, а потом его взяли, и немного позже мы узнали, что он был дезертиром. Его взяли так же бесшумно, как он пришел.

Постепенно мы освоились на новом месте. Сестра устроилась работать в колхозе учетчицей, нам выделили участок земли, на котором мы выращивали дыни и кукурузу. Тыквы тоже выращивали. Кроме того, мы выращивали огурцы и помидоры. Мы все тогда выращивали.

И вот оказалось, что недалеко от нас живет тот самый человек, в чью могильную яму я тогда угодил. Кстати, про эту могильную яму в деревне говорили, что в нее попадают все, кроме того, кому она предназначалась. История ее оказалась сложной и запутанной. Будущий владелец ее, если можно так сказать, старик Шаабан Ларба, по прозвищу Колчерукий, лежал, говорят, в городской больнице не то с аппендицитом, не то с грыжей. (Наверное, по-русски правильней было бы сказать Сухо-рукий, но Колчерукий точнее соответствует духу, а следовательно, и смыслу прозвища.) Так вот, Колчерукому сделали операцию, и он спокойно выздоравливал, как вдруг неожиданно позвонили из больницы в сельсовет и сказали, что больной умер и его надо срочно забрать домой, потому что он уже второй день лежит мертвый.

В это время в больнице никого из родственников не было, потому что он сам вот-вот должен был выписаться. Правда, в эти дни в городе был односельчанин Мустафа, который поехал туда по своим надобностям, и ему, кстати, поручили заглянуть в больницу и узнать, чего Колчерукий не возвращается и не решил ли он заодно с грыжей или аппендицитом избавиться от своей колчерукости. И вдруг такая неожиданная весть.

Родственники, по нашим обычаям, разослали в соседние деревни горе-вестников, натянули во дворе укрытие из плащ-палатки, где собирались устроить тризну, и даже вырыли на кладбище эту самую яму.

Колхоз выделил свою единственную машину, чтобы привезти покойника, потому что в те времена в связи с войной сделать это частным путем было трудно. Одним словом, все честь по чести, как у людей. Все, как у людей, кроме самого покойника Шаабана Ларбы, который и при жизни никому, говорят, покою не давал, а после смерти и вовсе распоясался.

На следующий день после печального известия приехала машина с покойником, который оказался живым.

Говорят, Колчерукий, слегка придерживаемый Мустафой, громко ругаясь, вошел в свой двор. Его возмутила не весть о его смерти и приготовления к похоронам, а то, что он сразу заметил, взглянув на укрытие из плащ-палатки. Из-за этого укрытия пришлось у двух яблонь срезать ветки. Колчерукий, ругаясь, тут же показал, как надо было протягивать брезент, чтобы не трогать деревьев.

Потом он, говорят, обошел гостей, здороваясь с каждым и пытливо вглядываясь в глаза, чтобы узнать, какое впечатление на них произвела весть о его смерти, а заодно и неожиданное воскресение.

После этого он, говорят, поставил над глазами свою усыхающую, но так и не усохшую за двадцать лет руку, и стал нахально оглядывать плакальщиц, как бы не понимая, зачем они здесь.

— Вы чего? — громко спросил он.

— Мы ничего, — ответили они, смутившись, — мы приехали тебя оплакивать.

— Ну, так начинайте, — сказал, говорят, Колчерукий и приставил ладонь к уху, чтобы внимательно слушать свое оплакивание. Но тут кто-то вмешался и отвел плакальщиц от него.

Увидев приношения родственников, Колчерукий призадумался. Дело в том, что у нас всякого рода поминки устраивают так широко, что, если бы все это делалось за счет семьи умершего, живым ничего бы не оставалось, как ложиться и помирать.

Поэтому в таких случаях все родственники и соседи помогают. Кто принесет вино, кто жареных кур, кто хачапури, а тот, глядишь, и телку пригонит. И как раз один из родственников из соседнего села пригнал хорошую телку, которая Колчерукому особенно понравилась. Кстати, говорят, по размерам этого родственника и вырыли могильную яму, потому что он был примерно такого же роста, как и Колчерукий. Говорят, когда один из парней, которому поручили копать яму, подошел к нему со шпагатом, чтобы измерить его, он проявил недовольство, стал утверждать, что есть люди более подходящие, что он, пожалуй, повыше Колчерукого, а Колчерукий покоренастей.

При этом он пытался отстраниться от шпагата, но парень отстраниться ему не дал. Как и все могильщики, склонный к шутке, он сказал, что теперь коренастость Колчерукого ни к чему, что вообще, в крайнем случае, если Колчерукий не подойдет, они его будут держать на примете.

Родственник, говорят, усмехнулся на эти шутки, но, видно, обиделся, потому что отошел к своим односельчанам и стоял среди них, хмуро поглядывая на свою телку, привязанную к забору.

Увидев все эти приношения, Колчерукий объявил, что радоваться рано, что он и чувствует себя плохо, да и выписали его, чтобы он не помер в больнице, потому что врачей за это штрафуют, как колхозников за брак. Он тут же лег в постель и дал распоряжение могильную яму не засыпать, а держать наготове. Родственники, говорят, неохотно разъехались, особенно был недоволен тот, что приволок телку. Но Колчерукий его успокоил, уверив, что ждать теперь недолго, так что телка его навряд ли слишком похудеет, если даже ее не выпускать со двора.

Колчерукий с неделю пролежал в постели. Через пару дней после приезда его стали одолевать любопытные, потому что к этому времени разнесся слух, что Колчерукий, умерший в городской больнице, по дороге ожил и приехал на собственные похороны. Другие говорили, что он не умер, а уснул вечным сном, и доктора его никак не могли разбудить, но по дороге домой его так растрясло, что он проснулся.

Первое время Колчерукий принимал посетителей, особенно пока они приносили всякие гостинцы, как бывшему умершему и еще не окончательно ожившему. Но потом они ему надоели, да и председатель приказал выходить на работу. Так что он, говорят, услышав скрип ворот, выбежал на веранду и кричал своим громким голосом:

— Назад! Дармоеды! Собаку спущу!

Кстати, слухи о его воскресении как-то сами по себе жили и развивались. Уже через год я слышал, как в одной из соседних деревень говорили, что Колчерукий ожил не по дороге из больницы домой, а в самой могиле через несколько дней после того, как его похоронили. А услышал его какой-то мальчик, который вечером искал на кладбище свою козу. Так что пришлось его откопать. Не будь, говорили, у него такого громкого голоса, умер бы от голода или даже от жажды, потому что место ему выбрали сухое, хорошее.

Вот так вот и оказалось, что Колчерукий пережил или предотвратил свои похороны, правда, оставив за собой могилу в полной готовности.

Увидев живого Колчерукого, в деревне сначала решили, что это секретарь сельсовета подшутил над ними, потому что это он сообщил, что говорил с больницей или с тем, кто выдавал себя за больницу. Но секретарь сельсовета сказал:

— Как я мог так пошутить, когда сейчас военное время.

И все ему поверили, потому что так шутить в военное время слишком глупо. В конце концов решили, что в больнице что-то спутали, что умер какой-то другой старик, может быть даже однофамилец Колчерукого, а их у нас в Абхазии великое множество.

С первых же дней, как мы стали жить в доме соломенной вдовушки, я уже слышал голос Колчерукого, хотя самого еще не видел в глаза.

Ровно в полдень, возвращаясь с колхозной работы домой на обед, он метров за триста от своего дома начинал окликать старуху, проклиная ее и яростно справляясь, готова ли мамалыга к обеду.

На его крики старуха отвечала таким же яростным криком, и голоса их, не теряя ни силы, ни отчетливости, постепенно сближались, потом перехлестывались и наконец замолкали. Через некоторое время голос старухи победно выныривал из тишины, но Колчерукий молчал. Позже, когда я стал бывать у них, я понял, что старик молчит по той простой причине, что рот его занят едой, причем ел он с такой же яростью, так что ругаться одновременно никак не мог.

Вечерами, возвращаясь с работы, он таким же голосом справлялся насчет своей лошади или своего внука Яшки и опять же насчет мамалыги к ужину.

Потом я познакомился и подружился с этим Яшкой, таким же громогласным, как и его дед, но в отличие от него добродушным ротозеем.

Обычно Колчерукий возил его в школу верхом на своей лошади. Всю дорогу он ругался из-за того, что приходится тратить драгоценное время на этого лоботряса. Яшка молча сидел за дедом, держась за его пояс, и, смущенно улыбаясь, глядел по сторонам.

Если дед бывал в отъезде, в школу его возила бабка на той же лошади, и он так же сидел за нею и только не позволял ей подъезжать к самой школе, чтобы мальчишки над ним не смеялись.

Мы с ним учились в разные смены. Возвращаясь из школы, я их встречал где-нибудь на полпути в школу, и Яшка, вывернув голову, долго-долго тоскливо смотрел мне вслед, что служило поводом для нового взрыва ярости Колчерукого. Яшку приходилось возить в школу, потому что она была в трех километрах от дома, а Яшка был так рассеян, что иногда забывал, куда идет, и сворачивал в сторону.

В первое время, увидев меня на улице, Колчерукий ставил ладонь козырьком над глазами и спрашивал:

— Ты чей будешь?

— Я сын такой-то, — учтиво отвечал я ему и называл маму, которую он хорошо знал еще с давних пор.

— А кто она такая? — спрашивал он громогласно и еще пристальней смотрел на меня из-под своей колчерукой ладони.

— Она сестра жены дяди Мексута, — объяснял я, хотя и понимал, что он притворяется.

— Так вы те самые городские дармоеды? — кивал он в сторону нашего дома.

— Да, — уклончиво подтверждал я, что это мы здесь живем, одновременно как бы отчасти признавая и наше дармоедство.

Он стоял передо мной, удивленно вглядываясь в меня буравчиками глаз, небольшого роста, коренастый, с широкой, по-петушину красной шеей. Стоял, удивленно вглядываясь в меня, словно осмысливая меня целиком, одновременно прислушиваясь к чему-то постороннему, к тому, что происходило за забором в кукурузе его приусадебного участка, словно по шорохам, по возне, по каким-то ему одному слышимым звукам точно определял все, что делается у него на усадьбе, во дворе и, может быть, в самом доме.

— Так это ты провалился в мою могилу? — спрашивал он неожиданно, продолжая прислушиваться к тому, что делается у него на усадьбе, и уже улавливая там какие-то ненормальности и недовольно похмыкивая по этому поводу.

— Да, — отвечал я, с тайной опаской наблюдая за ним, потому что чувствовал, что он начинен какой-то взрывчатой силой.

— Ну и как тебе там показалось? — спрашивал он, продолжая прислушиваться и постепенно возбуждаясь тем, что там происходило, и уже бормоча вполголоса: — Вымерла, что ли, эта старуха... Чтoб она ослепла... Разорит меня, старая дура...

— Хорошо, — отвечал я, стараясь проявить благодарность за гостеприимство. Все-таки это была его могильная яма.

— Место хорошее, сухое, — соглашался он, уже поскуливая от возмущения тем, что происходило у него на усадьбе, и внезапно срывался и кричал своей старухе, с места, без разгона взяв самую высокую ноту: — Эй ты, что-то там хрупают на огороде, хрупают! Чтoб твои уши полопали, — свиньи, свиньи!

— Чтoб я их с тобой в твою могилу уложила, вечно тебе мерещатся свиньи! — сразу же отзывалась старуха.

— Я же слышу — чавкают и хрупают, чавкают и хрупают! — кричал он, уже забыв про меня, и голоса их схлестывались, и он, словно ухватившись за конец ее крика, подтягивался на нем и быстро двигался в сто-

рону дома, одновременно перебрасывая ей свой клокочущий голос. Постепенно мы привыкли к его голосу и уже не обращали на него внимания, и даже когда он куда-нибудь уезжал на несколько дней и вокруг все замолкало, становилось как-то странно, словно чего-то не хватало, словно какой-то пустой звон в ушах раздавался.

Жена его, высокая, выше него, невероятно худая старуха, иногда, когда его не было дома, приходила к нам поговорить с мамой. Бывало, приносила с собой круг сыра, или миску кукурузной муки, или кусок пахучего, сушенного над костром мяса. Смущенно посмеиваясь, она просила спрятать то, что принесла, и, ради бога, никаких благодарностей, только чтобы этот крикун ее ничего не знал.

Они часами о чем-то говорили с мамой, и жена Колчерукого все курила, скручивая сигарку за сигаркой. Внезапно раздавался голос Колчерукого. Он кричал ей что-нибудь в сторону дома, а она прислушивалась к его голосу и тряслась от затаенного смеха, словно боясь, что он услышит ее смех, и в то же время ее забавляло, что он кричит не в ту сторону.

— Ну чего тебе, я здесь! — отвечала она наконец.

— Ага, дармоедки! Нашли друг друга! В кумхоз вас обеих! В кумхоз! — выкрикивал он после мгновенной паузы, словно онемев от возмущения ее вероломством.

Однажды он подъехал к воротам нашего дома и крикнул мне, чтобы ему вынес мешок. Громко ругаясь на то, что этим дармоедам только жуй и в рот клади, он высыпал мне полмешка муки и, продолжая возмущаться тем, что дает свою кукурузу, да еще на мельницу возит ее на своей же лошади, он приторочил свой мешок к седлу и уехал. Отъезжая, он еще крикнул, чтобы этой ничего не говорить насчет муки, потому что и так ему нет никакого житья от ее крика.

Время шло, а Колчерукий, судя по всему, умирать не собирался. Чем дольше не умирал Колчерукий, тем пышнее расцветала телка; чем пышнее расцветала телка, тем грустнее становился ее бывший хозяин. В конце концов он прислал человека к Колчерукому, чтобы тот намекнул насчет телки. Так, мол, и так, слава богу, что он остался жив, но телку следовало бы прислать назад, потому что он ее не дарил Колчерукому, а пригнал на похороны, как хороший родственник.

— Принес яйцо, а хочет взять курицу, — сказал, говорят, Колчерукий, выслушав намек. Потом он, говорят, подумал и добавил: — Скажи ему, что если я скоро умру, можно будет ему приходиться без приношения, а если он умрет, я приду в его дом как хороший родственник и пригоню телку от его телки.

Родственник Колчерукого, узнав о его условиях, говорят, обиделся и велел передать Колчерукому уже без всяких намеков, что ему не надо никакой телки от его телки, тем более после смерти, что он хочет при жизни получить собственную телку, которую он ему пригнал на похороны как хороший родственник. А раз Колчерукий до сих пор не умер, значит — надо возвратить телку хозяину. При этом он дал слово, что, несмотря на то, что в доме Колчерукого его, измерив шпагатом, унизили, он все-таки, если Колчерукий и в самом деле умрет, снова пригонит ее.

— Этот человек заставит меня лечь в могилу из-за своей телки, — сказал, говорят, Колчерукий, услышав новые разъяснения. — Передайте ему, — добавил он, — что теперь недолго ждать, так что не стоит мучить несчастное животное.

Через несколько дней после этого разговора Колчерукий пересадил из своего огорода на свою могилу пару персиковых саженцев. Возможно, он это сделал, чтобы освежить представление о своей обреченности. Мы с Яшкой помогали ему. Но, видимо, двух персиковых саженцев ему

показалось мало. Через несколько дней он ночью вырыл на плантации тунговое деревце и посадил его между этими персиковыми саженцами. Вскоре об этом все узнали. Колхозники, посмеиваясь, говорили, что Колчерукий собирается травить покойников тунговыми плодами. Никто не придал особого значения этой пересадке — тунговые деревья никто ни до него, ни после него в деревнях не крал, потому что они крестьянам ни к чему, а плоды тунга смертельно ядовиты, так что, значит, в какой-то мере даже опасны.

Бывший хозяин телки тоже замолк. То ли поверил в обреченность Колчерукого после того, как он пересадил на свою могилу тунговое дерево, то ли, боясь его языка, не менее ядовитого, чем тунговые плоды, решил оставить его в покое.

Кстати, рассказывают, что Колчерукий через свой язык в молодости и стал Колчеруким. Дело было так.

Говорят, после какой-то пирушки местный князь в окружении многочисленных гостей сидел во дворе хозяина дома. Князь ел персики, состригивая с них кожуру перочинным ножичком с серебряной цепочкой. Хотя перочинный ножичек с серебряной цепочкой никакого отношения к последующим событиям не имеет, все рассказчики упоминали про этот ножичек, неизменно добавляя, что он был с серебряной цепочкой. Переисказывая этот случай, я хотел избежать перочинного ножичка с серебряной цепочкой, но чувствую, что почему-то должен его упомянуть, что в нем есть какая-то правда, без которой что-то пропадет, а что, я и сам не знаю.

Одним словом, князь ел персики и, благодушествуя, вспоминал свои любовные радости. В конце концов он, говорят, оглядел хозяйский двор и сказал, вздохнув:

— Если б всех моих женщин собрать, пожалуй, не вместились бы в этот двор.

Но Колчерукий, говорят, уже тогда никому благодуствовать не давал, несмотря на свою молодость. Говорят, он высунулся неизвестно откуда и сказал:

— Интересно, сколько бы ослиц закричало в этом дворе?

Этот довольно пожилой князь был большой ценитель женской красоты, но, кроме того, говорят, скромно гордился умением так состригивать кожуру с фруктов, что ленточка кожуры ни разу не прерывалась, пока он полностью не очистит плод. Умение это не изменяло ему даже после бессонной ночи и длительной попойки. Сколько, говорят, за ним ни следили, сколько ни пытались его отвлечь, он так и не ошибся ни разу. Иногда ему нарочно подсовывали плод самой замысловатой и уродливой формы, но он, говорят, рассмотрев его со всех сторон, тут же доставал свой ножичек с серебряной цепочкой и безошибочно пускал его по единственно правильному пути.

Обычно, срезав вьющуюся спиралькой кожуру, он приподымал ее и показывал окружающим. А если среди них была красивая девушка, он подзывал ее и подвешивал эту фруктовую ленточку ей за ушко.

Мне кажется, Колчерукого раздражало это искусство князя. Я думаю, что он издавна следил за ним и был уверен, что рано или поздно ленточка должна оборваться. Возможно, Колчерукий в тот раз возлагал особенно большие надежды на какой-то из этих персиков, но князь его вполне удачно обработал, да еще стал хвастаться своими женщинами. Согласитесь, что тут было от чего взорваться Колчерукому, да еще молодому.

Говорят, после его неожиданных слов князь побагровел и, потеряв дар речи, уставился на Колчерукого выпученными глазами. При этом он

продолжал держать в правой руке уже очищенный сочащийся персик, а в левой все тот же перочинный ножичек с серебряной цепочкой.

От ужаса все вокруг замолкли, а князь, не моргая, продолжал смотреть на Колчерукого, и рука его с персиком беспокойно двигалась по воздуху, словно чувствуя неуместность в такую минуту этого персика, не говоря уж о том, что невозможно выхватить пистолет из кобуры, одновременно держа в ладони персик, да еще очищенный. Говорят, рука его даже склонилась к земле, чтобы наконец освободиться от этого персика, но в последнее мгновение как-то не решилась, ведь персик-то был оструган, и она, хорошо воспитанная княжеская рука, чувствовала, что очищенный персик никак нельзя положить на землю. И вот она снова поднялась, эта рука, и мучительное мгновение шарила по воздуху в поисках невидимой тарелки, чувствуя, что кто-то должен подсунуть ей тарелку, но все оцепенели от страха и никто не догадался помочь ему освободиться от этого, теперь уже непристойно оголенного персика. И тут, говорят, к нему на помощь пришел сам Колчерукий.

— Да сунь ты его в рот! — говорят, подсказал он ему.

Не успели гости очнуться от новой дерзости, как стали свидетелями необъяснимого самоунижения князя, который, говорят, с какой-то позорной поспешностью стал заталкивать в рот мокрый, сочащийся персик, продолжая смотреть на Колчерукого ненавидящими глазами. Наконец кое-как справившись с персиком, он полез за пистолетом. Все еще глядя на Колчерукого выпученными, ненавидящими глазами, он молча рылся у пояса, но от сильного волнения или, как уточняют другие, оттого, что руки у него были скользкие после персика, он никак не мог расстегнуть кобуру.

Может быть, еще кто-нибудь и опомнился бы, может быть, успел бы схватить князя за руку или в крайнем случае пинком отбросить Колчерукого в сторону, так что стрелять в него стало бы невозможно и даже опасно для других, но тут, говорят, в тишине в последний раз раздался голос Щаабана. Не в том смысле, что после этого его голос не раздавался, скорее напротив, он стал еще громче и насмешливей, а в том смысле, что после этой фразы он уже перестал быть просто Щаабаном, а стал Щаабаном Колчеруким.

— Там-то он, наверное, быстрее управляется, — говорят, сказал он, — потому как наши чегемские ослицы...

Говорят, он так и недосказал про ослиц, потому что старый князь наконец справился со своей кобурой, — раздался выстрел, женщины подняли вопль, и, когда рассеялся дым, Колчерукий уже был самим собой, то есть Колчеруким. Потом у него спрашивали, почему он после первого оскорбления продолжал дразнить князя.

— Уже не мог остановиться, — ствечал Колчерукий.

Позже, когда князь ушел с меньшевиками, а у нас окончательно и бесповоротно установилась советская власть, Колчерукий стал утверждать, что у него с князем были свои, чуть ли не партизанские счета, что разговор этот был только поводом или следствием других, более важных вещей.

Одним словом, несмотря на княжескую пулю, Колчерукий продолжал над всеми подшучивать, и шутки его, кажется, не становились безобидней.

Слоняясь по деревне, я его часто видел на табачной или чайной плантации или на прополке кукурузы. Если у него бывало хорошее настроение, он просто дурачился, и тогда все вокруг покатывались со смеху.

Он умел подражать голосам знакомых людей и животных, особенно хорошо у него получался петушиный крик.

Бывало, бросит в поле мотыгу, разогнется, посмотрит по сторонам и залется петухом. Почти сразу же откликаются петухи из соседних домов. Все вокруг смеются, ближайший петух продолжает звать его, а он берется за свою мотыгу и приговаривает:

— Много ты понимаешь, дурак.

У нас, как, вероятно, у всех, принято считать, что петухи поют со значением, чуть ли не провидят судьбы своих хозяев. Колчерукий, можно сказать, разоблачал петухов, этих сельских провидцев. Надо сказать, что Колчерукий, несмотря на свою полувысохшую руку, работал, как черт. Правда, иногда, когда проносился слух, что начинается подписка на заем или мобилизуют оставшихся мужчин на лесозаготовку, он вдевал свою левую руку в чистую красную повязку и ходил в таком виде, пока считал нужным. Думаю, что эта красная повязка ему мало в чем помогала, особенно в подписке на заем она ему никак не могла помешать, но все же, видимо, давала лишнюю возможность поспорить.

Я думаю, что и красную повязку он себе завел, чтобы придать пострадавшей руке военно-партизанский вид. После каждого вызова в правление он вдевал свою руку в повязку, садился на лошадь и ехал. В накинутаой бурке, с рукой в красной повязке, верхом на лошади он и в самом деле имел довольно бравый военно-партизанский вид.

Все было хорошо, но вдруг стало известно, что председатель сельсовета получил анонимное письмо против Колчерукого. В нем говорилось, что посадка тунгового дерева у могилы — это насмешка над новой технической культурой, намек на ее бесполезность для живых колхозников, как бы указание на то, что ей настоящее место на деревенском кладбище.

Председатель сельсовета показал это письмо председателю колхоза, и тот, говорят, не на шутку перепугался, потому что могли подумать, что он, председатель, подучил Колчерукого пересадить тунговое дерево к себе на могилу.

Я тогда никак не мог понять, почему все обернулось так грозно, — ведь и до этой бумаги все знали, что он пересадил деревце тунга на свою могилу. Я тогда не знал, что письмо — это документ, а документ потребовать могут, за него надо отвечать.

Правда, еще говорили, что председатель сельсовета мог бы не давать ему ходу, но он, говорят, имел зуб на Колчерукого и потому показал письмо председателю колхоза.

Одним словом, письмом был дан ход, и однажды по этому поводу из райцентра прибыл какой-то человек, чтобы выяснить истину. Колчерукий пробовал отшучиваться, но, видно, все-таки струхнул, потому что побрился, продел свою руку в красную повязку и ходил по деревне, глядя на руку с таким видом, словно она вот-вот должна взорваться, а ему да и окружающим только и остается, что остерегаться осколков.

— Ну, все, — говорил старый лошажник Мустафа, друг и вечный соперник Колчерукого, — теперь лопай свои тунговые яблоки и залезай в свою могилу, а то тебя в Сибирь отправят.

— Сибирь не боюсь, боюсь, ты мою могилу займешь, — отвечал Колчерукий.

— В Сибирь, говорят, на собаках ездят, — пугал его Мустафа, — так что забери с собой уздечку, может, объездишь себе какого пса.

Надо сказать, что между Колчеруким и Мустафой было давнее соперничество в лошадином деле. У каждого из них были свои подвиги и неудачи. Колчерукий покрыл себя когда-то немеркнущей славой тем, что во время скачек на глазах у многотысячной толпы (положим, толпа была не такой уж многотысячной) увел какого-то знаменитого жеребца. Говорят, сам Колчерукий сидел на такой замордованной кляче и выгля-

дел так потешно, что, когда он попросил у хозяина жеребца испробовать ход его знаменитого скакуна, тот для смеха разрешил ему, уверенный, что через минуту жеребец сбросит его на землю и от этого станет еще более знаменитым.

Колчерукий, говорят, на пузе слез со своей клячки и, передавая повод хозяину жеребца, сказал:

— Считай, что мы обменялись.

— Хорошо,— со смехом ответил хозяин, беря у него поводья.

— Главное — в первый раз не дай себя сбросить, а то затопчет,— предупредил Колчерукий и подошел к жеребцу.

— Постарайся,— со смехом отвечал, говорят, хозяин и, как только Колчерукий взобрался на жеребца, дал знак какому-то парню, стоявшему сзади, и тот изо всех сил хрястнул жеребца камчой.

Жеребец взвился и помчался в сторону Кодора. Говорят, Колчерукий сначала держался, как пьяный мулла на скачущем ослике.

Все ждали, что он вот-вот сорвется, а он все шел и шел вперед, и у хозяина начала отваливаться челюсть, когда Колчерукий доехал до конца поляны, но не свернул по кругу естественного ипподрома, а летел все дальше и дальше к реке. Еще несколько минут ждали, думали, что просто лошадь отняла у него поводья, что он ее не смог завернуть, но потом поняли, что это неслыханный по своей дерзости угон.

Минут через пятнадцать за ним мчалась дюжина всадников, но уже ничего не могла сделать.

Колчерукий с ходу с обрыва бросился в реку, и, когда погоня добралась до обрыва, он уже выходил на том берегу, мокрым крупом коня на мгновение просверкнув в прибрежном ольшанике. Пули, посланные вслед, не достигли цели, а прыгать с обрыва никто не осмелился. С тех пор, говорят, это место названо Обрывом Колчерукого. Колчерукий при мне сам никогда не рассказывал этой истории, зато давал ее пересказывать другим, с удовольствием слушая и внося некоторые уточнения. При этом он всячески подмигивал в сторону Мустафы, если тот был рядом. Мустафа делал вид, что не слушает, но в конце концов не выдерживал и пытался как-нибудь унизить или высмеять его подвиг.

Мустафа говорил, что человек, которому уже прострелили одну руку, можно сказать, порченый человек, и поэтому, пускаясь на дерзость, он не слишком многим рискует. А если он и спрыгнул с обрыва, то, во-первых, спрыгнул от страха, а потом ему ничего другого не оставалось делать, потому что, поймай его погоня,— все равно бы пристрелили.

Одним словом, у них было давнее соперничество, и если раньше они его разрешали на скачках, то теперь, по старости, хотя и продолжали держать лошадей, споры свои разрешали теоретически, отчего они у них часто заходили в дебри зловещих головоломок.

— Если в тебя человек стреляет с этой стороны, а ты, скажем, едешь вон по той тропе, куда ты поворачиваешь лошадь при звуке выстрела, и притом вокруг ни одного дерева? — спрашивал один из них.

— Скажем, ты скачешь под гору, а за тобой гонятся люди. Впереди справа — мелколесье, а слева — овраг. Куда ты свернешь лошадь? — допытывался другой.

Эти споры велись двумя людьми, изможденными долгим трудовым днем, возвращавшимися домой с мотыгами или с топорами на плечах. Споры эти длились многие годы, хотя вокруг уже давно никто не стрелял, тем более в них никто не стрелял, потому что люди научились мстить за обиды более безопасным способом. К одному из этих способов, а именно анонимному письму, кстати, пора возвратиться.

Приехавший из райцентра добивался, чтобы старик рассказал об истинной цели пересадки гунгового дерева, а главное — раскрыл, кто его

подучил это сделать. Колчерукий отвечал, что его никто не подучивал, что он сам захотел после смерти иметь тунговое дерево над своим изгольем, потому что ему давно приглянулась эта невиданная в наших краях культура. Приехавший не поверил.

Тогда Колчерукий признался, что надеялся на ядовитые свойства не только плодов, но и корней тунга, он надеялся, что корни этого дерева убьют всех могильных червей и он будет лежать в чистоте и в спокойствии, потому что от блох ему и на этом свете спокойствия не было.

Но тут, говорят, приезжий спросил, что он подразумевает под блохами. Колчерукий ответил, что под блохами он подразумевает именно собачьих блох, которых не следует путать с куриными вшами, которые его, Колчерукого, нисколько не беспокоят, как и буйволиные клещи. А если его что беспокоит, так это лошадиные мухи, и если он в жару подбросит под хвост лошади пару пригоршней суперфосфата, то колхозу от этого не убудет, а лошади — отдых от мух. Приехавший понял, что его с этой стороны не подкусишь, и снова вернулся к тунгу.

Одним словом, как ни изворачивался Колчерукий, дело его принимало опасный оборот. На следующий день его уже не вызывали к товарищу из райцентра. Готовый ко всему, он сидел во дворе правления под тенью шелковицы и, не вынимая руки из красной повязки, курил в ожидании своей участи. Тут, говорят, прямо в правление, где совещались между собой председатель колхоза, председатель сельсовета и приехавший из райцентра, прошел Мустафа. Проходя мимо Колчерукого, он, говорят, посмотрел на него и сказал:

— Я что-то придумал. Если не поможет, тихонько, как есть вместе со своей повязкой ложись в могилу, а тунговых яблоч тебе натрушу.

На эти слова Колчерукий ему ничего не ответил, а только горестно взглянул на свою руку с таким видом, что он-то готов принять на себя любые страдания, но за что будет страдать она, и без того пострадавшая от меньшевистской пули?

Надо сказать, что Мустафа у местного начальства пользовался большим уважением как умнейший мужик в колхозе. Дом у него был самый большой и красивый в деревне, так что если приезжало большое начальство, его прямо отправляли в хлебосольный дом Мустафы.

То, что придумал Мустафа, было замечательно простым. Прибывший из райцентра был абхазцем, а если человек абхазец, то будь он приехавшим из самой Эфиопии, у него найдутся родственники в Абхазии.

Оказывается, ночью Мустафа тайно собрал у себя местных стариков, угостил, а потом с их помощью тщательно исследовал родословную товарища из райцентра. Тщательный и всесторонний анализ ясно показал, что товарищ из райцентра через свою двоюродную бабу, бывшую городскую девушку, ныне проживающую в селе Мерхеул, состоит в кровном родстве с дядей Мексутом. Мустафа остался вполне доволен результатом анализа.

С этим-то козырем в кармане он и прошагал мимо Колчерукого в правление. Говорят, когда Мустафа сообщил об этом товарищу из райцентра, тот побледнел и стал отрицать свое родство с бабкой из Мерхеула и в особенности с дядей Мексутом. Но капкан уже захлопнулся. Мустафа только усмехнулся на его отрицание и сказал:

— Если не родственник, зачем побледнел?

Больше он не стал говорить, а спокойно вышел из помещения.

— Как быть? — спросил Колчерукий, увидев Мустафу.

— Потерпи до вечера, — сказал Мустафа.

— Решайте скорей, — ответил Колчерукий, — а то у меня рука совсем высохнет от этой повязки.

— До вечера, — повторил Мустафа и ушел.

В сущности, товарищ из райцентра, не признав родства с дядей Мексутом, нанес ему смертельное оскорбление. Но дядя Мексут сдержался. Он ничего никому не сказал, а только поймал свою лошадь и уехал в село Мерхеул.

К вечеру он вернулся на мокрой лошади, остановился у правления и дал поводья все еще ждущему своей участи Колчерукому. Председатель стоял на веранде и курил, глядя на Колчерукого и окружающую природу.

— Взойди,— сказал председатель, увидев дядю Мексута.

— Сейчас,— ответил дядя Мексут и, прежде чем взойти, сорвал с руки Колчерукого красную повязку и молча закинул ему в карман.

Говорят, Колчерукий так и остался с рукой на весу, как бы все еще сомневаясь и не принимая смысла этого символического жеста.

Дядя Мексут положил перед товарищем из райцентра желтое и готовое рассыпаться в прах свидетельство о рождении мерхеульской бабки, выданное нотариальной конторой еще дореволюционного Сухумского уезда.

Увидев это свидетельство, товарищ из райцентра, говорят, еще раз побледнел, но отрицать уже ничего не мог.

— Или тебе бабку поперек седла привезти? — спросил дядя Мексут.

— Бабку не надо,— тихо ответил товарищ из райцентра.

— Портфель с собой возьмешь или поставишь в несгораемый шкаф? — еще раз спросил дядя Мексут.

— Возьму с собой,— ответил товарищ из райцентра.

— Тогда пошли,— сказал дядя Мексут, и они покинули помещение.

В этот вечер в доме дяди Мексута устроили хлеб-соль и все обмозговали. На следующее утро в доме дяди Мексута после длительного обсуждения мне лично была продиктована справка на русско-кавказско-канцелярском языке.

— Наконец-то и этот дармоед пригодился,— сказал Колчерукий, когда я придвинул к себе чернильницу и замер в ожидании диктовки.

Справка обсуждалась руководителями колхоза с товарищем из райцентра. Колчерукий внимательно слушал и требовал перевести на абхазский язык каждую фразу. Причем он несколько раз уточнял формулировки в сторону завышения своих, как я теперь понимаю, социальных и деловых достоинств.

Особенно бурные споры вызвало место, где объяснялась его колчеруковость. Колчерукий стал требовать, чтобы записали, что он пострадал от пули меньшевистского наймита, ссылаясь на то, что ранивший его князек впоследствии удрал с меньшевиками. Товарищ из райцентра хватался за голову и умолял быть точными, потому что он тоже отвечает перед своим начальством, хотя и уважает своих родственников. В конце концов подобрали такую формулировку, которой остались довольны все.

Справка сочинялась так долго, что покамест я ее писал своим колеблющимся почерком, выучил наизусть. Составители попросили меня громко зачитать ее, что я и сделал выразительным голосом. После этого они дали ее переписать секретарю сельсовета. Вот что было сказано в справке:

«Старик Щаабан Ларба, по прозвищу Колчерукий, которое он получил еще до революции вместе с княжеской пулей, впоследствии оказавшейся меньшевистской, с первых же дней организации колхоза активно работает в артели, несмотря на частично высохшую руку (левая).

Старик Щаабан Ларба, по прозвищу Колчерукий, имеет сына, который в настоящее время сражается на фронтах Отечественной войны и имеет правительственные награды (в скобках указывался адрес полевой почты).

Старик Шаабан Ларба, по прозвищу Колчерукий, несмотря на преклонный возраст, в это трудное время не покладая рук трудится на колхозных полях, не давая отдыха своей пострадавшей вышеуказанной руке. Ежегодно он вырабатывает не менее четырехсот трудодней.

Правление колхоза вместе с председателем сельсовета заверяет, что тунговое дерево он пересадил на свою фиктивную могилу по ошибке, как дореволюционный малограмотный старик, за что будет оштрафован согласно уставу сельхозартели. Правление колхоза заверяет, что случаи пересадки тунговых деревьев с колхозных плантаций на общественное кладбище и тем более на личные приусадебные участки никогда не носили массового характера, а носят характер единичной несознательности.

Правление колхоза заверяет, что старик Шаабан Ларба, по прозвищу Колчерукий, никогда не надсмехался над колхозными делами, а согласно веселому и остроумному, как абхазский перец, характеру надсмехался над отдельными личностями, среди которых немало паразитов колхозных полей, которые являются героями в кавычках и передовиками без кавычек на своих собственных приусадебных участках. Но таких героев и таких передовиков мы изживали и будем изживать согласно уставу сельхозартели вплоть до изгнания из колхоза и изъятия приусадебных участков.

Старик Шаабан Ларба благодаря своему народному таланту передразнивает местных петухов, чем разоблачает наиболее вредные мусульманские обычаи старины, а также развлекает колхозников, не прерывая полевых работ».

Справка была заверена печатью и подписана председателем колхоза и председателем сельсовета.

Закончив дело, гости вышли на веранду, где были выпиты прощальные стаканы «изабеллы», и товарищ из райцентра через одного из членов правления дал намек, что не прочь послушать, как Колчерукий передразнивает петухов. Колчерукий не заставил себя упрашивать, а тут же поднес свою бессмертную руку ко рту и дал такого ку-ка-ре-ку, что все окрестные петухи сорвались, как цепные собаки. Только хозяйский петух, на глазах которого произошел весь этот обман, сначала обомлел от негодования, а потом так раскудахтался, что его вынуждены были прогнать со двора в огород, потому что он оскорблял слух товарища из райцентра и мешал ему говорить.

— Воздействует на всех петухов или только на местных? — спросил товарищ из райцентра, подождав, пока прогонят петуха.

— На всех,— с готовностью пояснил Колчерукий,— где хотите попробуйте.

— Действительно народный талант,— сказал тот, и они все ушли, попрощавшись с дядей Мексутом, который проводил их до ворот и немного дальше.

Председатель колхоза точно выполнил обещанное в справке. Он оштрафовал Колчерукого на двадцать трудодней. Кроме того, приказал пересадить назад тунговое деревце и навсегда засыпать могильную яму во избежание несчастных случаев со скотом. Колчерукий вновь откопал тунговое деревце и пересадил его на плантацию, но оно, не выдержав всех этих мучений, долгое время находилось в полувисошем состоянии.

— Как моя рука,— говорил Колчерукий. Могилу свою он сумел отстоять, огородив ее довольно красивым штaketником с воротцами на щеколде.

После того как затихла история с анонимным письмом, родственник Колчерукого снова через одного человека осторожно напомнил ему насчет телки.

Колчерукий отвечал, что теперь ему не до телки, потому что его опозорили и оклеветали, что он теперь и днем и ночью ищет клеветника и даже на работу ходит с ружьем. Что он не успокоится до тех пор, пока не вгонит его в землю, что он не пожалеет даже собственную могилу на этого человека, если этот человек своими размерами ее не слишком превосходит. Напоследок он передал, чтобы его родственник прислушивался и присматривался к окружающим, с тем чтобы при первом же подозрении дать ему, Колчерукому, сигнал, а за Колчерукиим дело не станет. Что только после выполнения своего Мужского Долга он, Колчерукий, утрясет с телкой и другими мелкими недоразумениями, вполне естественными в родственных делах близких людей.

Говорят, после этого родственник окончательно примолк и больше про телку не напоминал и старался не встречаться с Колчерукиим.

Все-таки на одном пиршестве они встретились. Уже изрядно выпивший, ночью, во время пения застольной песни, допускающей легкие импровизации, Колчерукий несколько раз повторил одно и то же:

О, райда, сиуа райда, эй,
За телку продавший родственника...

Пел он, не глядя в его сторону, отчего тот, говорят, постепенно трезвел и в конце концов, не выдержав, спросил у Колчерукого через стол:

— Что ты хочешь этим сказать?

— Ничего,— ответил, говорят, Колчерукий и оглядел его, как бы снимая с него мерку,— просто пою.

— Да, но как-то странно поешь,— сказал родственник.

— У нас в деревне,— объяснил ему Колчерукий,— все сейчас так поют, кроме одного человека...

— Какого человека? — спросил родственник.

— Догадайся,— предложил Колчерукий.

— Даже не хочу догадываться,— отмахнулся родственник.

— Тогда я сам скажу,— пригрозил Колчерукий.

— Скажи! — осмелился родственник.

— Председатель сельсовета,— промолвил Колчерукий.

— Почему не поет? — пошел напролом родственник.

— Не имеет права давать намек,— разъяснил Колчерукий.

— Можешь доказать? — спросил родственник.

— Доказать не могу, поэтому пока пою,— сказал Колчерукий и снова оглядел родственника, как бы снимая с него мерку.

На них уже начал обращать внимание встревоженный хозяин, боявшийся, что ему испортят пиршество, которое он затеял по случаю награждения сына орденом Красного Знамени.

Снова грянула песня, и все пели, и Колчерукий пел вместе с другими, ничем особенным не выделяясь, потому что он чувствовал, что хозяин следит за ним. Но потом, когда хозяин успокоился, Колчерукий, уловив мгновение, снова подсочинил:

О, райда, сиуа райда, эй,
Оградил ее, родимую, штакетником...

Но хозяин его все-таки услышал и, говорят, наполнив рог вином, подошел к ним.

— Колчерукий! — крикнул он. — Клянитесь нашими мальчиками, которые кровь проливают, защищая страну, что вы навсегда примиритесь за этим столом.

— Я про телку забыл,— сказал родственник.

— Что давно пора, — поправил его Колчерукий и обратился к хозяину: — Ради наших детей я землю грызть готов, пусть будет по-твоему, аминь!

И он, запрокинув голову, выпил литровый рог, не отнимая его от рта, все дальше и дальше запрокидываясь, под общее, хоровое, помогающее пить: «Уро, уро, уро, у-р-о-о...»

А потом грянул застольную, а родственник, говорят, настороженно ждал, как он пройдет то место, где можно импровизировать. И когда Колчерукий спел:

О, райда, сиау райда, эй,
О героях, идущих в огонь... —

родственник несколько мгновений прислушивался, со всех сторон осмысливая сказанное, и наконец, уяснив, что он никак не похож на героя, идущего в огонь, окончательно успокоился и сам присоединился к поющим.

* * *

Осенью мы сняли богатый урожай со своего участка и вернулись в город с кукурузой, тыквами, орехами и несметным количеством сухофруктов. Кроме того, мы заготовили около двадцати бутылок бекмеза, фруктового меда, в данном случае яблочного.

Дело в том, что по договоренности с бригадиром мы должны были собрать яблоки в одном старом саду, с тем чтобы половину урожая отдать колхозу, а половину себе.

В колхозе не хватало рабочих рук, просто некому было собирать яблоки, потому что все работали на основных культурах — чае, табаке, тунге.

Получив разрешение на сбор яблок, мама в свою очередь договорилась с тремя бойцами рабочего батальона, стоявшего недалеко от деревни, что они нам помогут собрать, перетолочь и выварить из яблок бекмез, за что они получали половину половины нашего урожая.

Через неделю операция была блестяще завершена. Мы получили двадцать бутылок тяжелого золотистого бекмеза (чистый доход), заменившего нам сахар на всю следующую зиму.

Таким образом, дав великолепный урок коммерческой изворотливости, мы покинули колхоз, и голос Колчерукого остался далеко позади.

* * *

И вот уже много лет спустя, проездом на охоту, я снова очутился в этой деревне.

В ожидании попутной машины я стоял у правления колхоза под тенью все той же шелковицы. Был жаркий августовский день. Я смотрел на здание пустующей школы, на дворик, покрытый сочной травой, словно это была трава забвения, на эвкалиптовые деревья, которые мы когда-то сажали, на старый турничок, к которому мы бежали каждую перемену, и с традиционной грустью вдыхал аромат тех далеких лет.

Редкие прохожие по деревенскому обычаю всех краев здоровались со мной, но ни они меня, ни я их не узнавал. Какая-то девушка вышла из правления колхоза с двумя графинами, подошла к колодцу и, лениво раскрутив ворот, набрала воды. Медленно вытянула ведро и стала наливать воду в графины, поставленные на деревянную колоду. Она наполнила сразу оба графина, одновременно поливая их водой, как бы любясь избытком прохлады. Выплеснула на траву остаток воды и, взяв мокрые графины, лениво пошла в сторону правления.

Когда она поднялась по ступенькам и вошла в дверь, я услышал, как оттуда навстречу ей выплеснулись голоса людей, и снова все замолкло. Мне показалось, что все это уже когда-то было.

Какой-то парень на ржаво скрипящем велосипеде, в пиджаке, с одной закатанной штаниной проехал мимо меня, но потом, развернувшись с тугой раздумчивостью, подъехал ко мне и попросил закурить.

К багажнику велосипеда были приторочены две буханки хлеба. Я дал ему закурить и спросил у него, не знает ли он Яшку, внука Колчерукого.

— А как же,— ответил он,— Яшка-почтальон. Стой здесь, он скоро должен проехать на мотоцикле...

Я стал всматриваться в дорогу. В самом деле, вскоре я услышал треск мотоцикла. Конечно, я узнал Яшку только потому, что ожидал. На своем легком мотоцикле он выглядел, как Гулливер на детском велосипеде.

— Яшка! — крикнул я. Он посмотрел в мою сторону, и мотоцикл испуганно остановился. В следующее мгновение он его, по-моему, слегка придавил к земле, и мотоцикл вовсе заглох.

Яшка выкатил его из-под себя, мы свернули с улицы и минут через пятнадцать лежали в тенистых зарослях папоротника.

Большой, дородный, с ленивой улыбкой на лице, он лежал рядом со мной, все еще похожий на того Яшку, который сидел на лошади за дедом, и рассеянно смотрел по сторонам. До недавнего времени, оказывается, он был бригадиром, но в чем-то провинился, и его теперь назначили почтальоном. Он мне об этом рассказал все с той же улыбкой. Еще в школьные годы было видно, что тщеславие не его слабость.

Кажется, дед его все запасы родовой ярости истратил сам, так что на Яшку ничего не осталось, а может, он и истратил их на себя, чтобы Яшке просто незачем было приходить в ярость. Какая разница — бригадир так бригадир, почтальон так почтальон. Только, пожалуй, голос у него был такой же густой и сильный, как у деда, правда, без тех клочущих переливов. Я, конечно, спросил его про деда.

— Как, ты ничего не слыхал? — удивился Яшка и посмотрел на меня своими большими круглыми глазами.

— А что? — спросил я.

— Все знают его историю, а где ты был?

— Я был в Москве,— сказал я.

— А, значит, до Москвы не дошло,— протянул Яшка с уважением к самому расстоянию от Абхазии до Москвы: раз уж такая история туда еще не дошла, значит до Москвы ехать и ехать.

Яшка сгреб и подмял под себя свежие кусты папоротника, поудобней подложил под голову сумку и рассказал мне последнее приключение своего неугомонного деда. Потом я эту историю слышал еще несколько раз от других, но в первый раз я ее услышал от Яшки.

Я еще мысленно любовался последним могучим всплеском фантазии Колчерукого, когда вдруг...

— Жужуна, Жужуна! — закричал Яшка без всякого перехода, даже не приподнявшись.

— Ты чего! — отозвался откуда-то девичий голос. Я приподнялся и посмотрел по сторонам. За зарослями папоротников виднелась небольшая буковая рощица. В просветах между деревьями угадывалась изгородь и за нею — кукуруза. Голос шел откуда-то оттуда.

— Письмо, Жужуна, письмо! — снова крикнул Яшка и подмигнул мне.

— Нарочно? — спросил я.

Яшка радостно кивнул головой и стал прислушиваться. Примолкшие было кузнечики снова стали осторожно перетикиваться.

— Абманч-и-и-к! — наконец раздался голос левушки, и я почувствовал, что манок почтальона уже поднял олененка.

— Быстрей, Жужуна, уеду, Жужуна! — восторженно откликнулся Яшка, пьянея не то от собственного голоса, не то от имени девушки.

Я понял, что мне пора уходить, и стал с ним прощаться. Продолжая прислушиваться, Яшка уговаривал меня остаться на ночь, но я отказался. И потому, что спешил, и потому, что оскорбил бы этим наших, к которым я так и не заглянул. Я знал, что, если остаться здесь на ночь, никакой охоты не получится, потому что придется еще дня два приходиться в себя.

Выбираясь по тропинке на улицу, я еще раз услышал голос девушки, теперь он мне показался отчетливей.

...— От кого, тогда приду-у,— кричала она.

...— Приходи, тогда скажу, Жужуна, Жужуна! — призывно прозвучало в жарком августовском воздухе в последний раз, и я с какой-то смутной тоской, в просторечии именуемой завистью, выбрался на пустынную проселочную улицу.

По крайней мере, подумал я, все-таки традиции Колчерукого не умирают. Через полчаса я уехал дальше и с тех пор там не бывал, но все же надеюсь как-нибудь выбраться к нашим, хотя бы для того, чтобы узнать, до чего Яшка докричался там со своей Жужуной.

* * *

Перескажу последнее приключение Колчерукого так, как оно у меня улеглось в голове.

Колчерукий благополучно дождался конца войны, дождался сына и прекрасно жил до последнего времени. Но с год назад пришел и ему срок умирать и уже по-настоящему.

В тот день он, как обычно, лежал на веранде своего дома и смотрел во двор, где паслась его лошадь. В это время приехал к нему на лошади Мустафа. Он спешился и взошел на веранду. Ему вынесли стул, и он уселся рядом с Колчеруким. Как обычно, они вспоминали о прошлом. Колчерукий мгновениями не то впадал в забытие, не то засыпал, но каждый раз, приходя в себя, он говорил с того места, на котором остановился.

— Так ты и в самом деле покидаешь нас? — спросил Мустафа, зорко глядя ваясь в своего друга и соперника.

— В самом деле,— ответил Колчерукий,— теперь мне тамошних лошадей купать в тамошних реках...

— Все там будем,— вежливо вздохнул Мустафа,— да не думал, что ты первый...

— Ты, бывало, и на скачках не думал, что я буду первым,— отчетливо произнес Колчерукий, так что родственники, дежурившие возле него, все слышали и даже слегка засмеялись, придерживая свой смех ладонями, потому что смех возле умирающего, даже если этот умирающий — Колчерукий, не слишком уместен.

Обидно стало Мустафе, да спорить неприлично, потому что человек умирает. Но если умирающий смеется над живущим, это как-то особенно обидно, потому что раз умирающий над тобой смеется — значит, ты как бы оказался в еще более бедственном или жалком положении, чем он, а уж куда хуже.

Спорить, конечно, неприлично, а рассказать кое-что можно. И он рассказал.

— Раз уж ты уходишь в такую дорогу, я тебе должен кое-что сказать,— промолвил Мустафа, наклоняясь над Колчеруким.

— Если должен, скажи,— ответил Колчерукий не глядя, потому что смотрел во двор, где паслась его лошадь. В оставшееся время ему было интересней всего смотреть на свою лошадь.

— Не взыщи, Колчерукий, но тогда это я позвонил в колхоз, что ты умер,— сказал Мустафа, как бы скорбя, что обстоятельства не позволяют и теперь пустить этот ложный слух и что он, Мустафа, жалеет об этом, как истинный друг.

— Как же ты, когда говорили по-русски?— удивился Колчерукий и посмотрел на него.

Мустафа русского языка не знал и был, несмотря на свой великий хозяйственный ум, до того безграмотным, что вынужден был изобрести свой алфавит или во всяком случае ввести в личное употребление своеобразные иероглифы, при помощи которых он отмечал всех своих должников, а также хозяйственные счета, основанные на сложных многоступенчатых обменных операциях. Вот почему Колчерукий удивился, что он говорил по телефону, да еще по-русски.

— Через городского племянника, сам я рядом стоял,— объяснил Мустафа.— Раз тебя вылечили, я решил пошутить, да и машину без этого кто бы прислал,— добавил Мустафа, напоминая о трудностях того далекого времени.

Говорят, Колчерукий закрыл глаза и долго молчал. Но потом он медленно открыл их и сказал, не глядя на Мустафу:

— Теперь я вижу, что ты лучший лошажник, чем я.

— Так получается,— скромно признался Мустафа и оглядел тех, кто дежурил возле умирающего.

Но тут близкие не выдержали и стали всхлипывать, потому что Колчерукий первый раз в жизни признал себя побежденным, и это было больше похоже на его смерть, чем сама предстоящая смерть.

Колчерукий заставил их замолкнуть и, кивнув в сторону лошадей, сказал:

— Напоите, лошади пить хотят.

Одна из девушек взяла ведра и пошла за водой. Девушка принесла родниковой воды и поставила ведра посреди двора. Лошадь Колчерукого подошла к ведру и стала пить, а лошадь Мустафы повернула голову и стянула уздечку. Девушка отвязала ее и, держа за уздечку, стояла рядом, пока она пила воду. Лошади, вытянув шеи, тихо пили воду, и Колчерукий с удовольствием следил за ними, и кадык на его горле, говорят, двигался так, словно он сам пил воду.

— Мустафа,— сказал он наконец, обернувшись к другу,— теперь я признаю, что ты был лучшим лошажником, но ты знаешь, что и я любил лошадей и кое-что в них понимал?

— А как же, кто этого не знает!— великодушно воскликнул Мустафа и оглядел всех, кто был на веранде.

— На днях я умру,— продолжал Колчерукий,— гроб мой будет стоять там, где сейчас стоят пустые ведра. После того как меня оплачут, я прошу тебя, сделай одно...

— Что сделать?— спросил Мустафа и, цыкнув на близких, потому что они снова пытались всплакнуть, наклонился к нему. Было похоже, что Колчерукий передает ему свою последнюю волю.

— Я прошу тебя трижды перепрыгнуть через мой гроб. Перед тем как закроют крышку, я хочу услышать над собой лошадиный дух. Ты это сделаешь?

— Сделаю, если наши обычаи не видят в этом греха,— обещал Мустафа.

— Думаю, не видят,— сказал Колчерукий, помедлив, и закрыл глаза— то ли уснул, то ли впал в забытье. Мустафа встал и тихо спустился с веранды. Он уехал, раздумывая над последней волей умирающего.

Вечером по этому поводу Мустафа собрал старейшин села и, угостив

их, рассказал о просьбе Колчерукого. Старейшины посоветовались между собой и решили:

— Прыгай, если покойник так хочет, потому что ты теперь лучший лошаадник.

— Он сам это признал,— вставил Мустафа.

— А греха в этом нет, потому что лошадь мяса не ест, у нее чистое дыхание,— заключили они.

В эту же ночь Колчерукий узнал о решении старейшин и, говорят, остался доволен. А через два дня он умер.

Снова послали горевестников по соседним селам, как когда-то, во время войны. Некоторые весть о его смерти встретили с недоверием, а родственник, что приволок когда-то телку, даже сказал, что, мол, не мешало бы его проткнуть хотя бы наконечником посоха, чтобы убедиться, окончательно он умер или опять морочит голову.

— Проткнуть не надо,— терпеливо отвечал горевестник,— потому что через него будет прыгать лошаадник Мустафа. Так покойник захотел, когда был жив.

— Ну, тогда можно ехать,— успокоился родственник,— потому что живой Колчерукий не даст через себя прыгать.

На похороны, говорят, собралось народу даже больше, чем в тот раз, когда никто не сомневался, что он умер. Многих привлекла возможность посмотреть на эти скачки через гроб, или похороны с препятствием. Все знали о великом соперничестве друзей. Говорили, что Колчерукий, хоть он и мертвый, но дела так не оставит.

Потом некоторые утверждали, что сами видели, как Мустафа тренировался у себя во дворе, прыгая на своей лошади через корыто, поставленное на стулья. Но Мустафа с яростью, достойной самого Колчерукого, отрицал, что он прыгал через корыто, поставленное на стулья. Он говорил, что лошадь его свободно перемахивает через ворота, так что Колчерукий его не достал бы даже, если б во время прыжка высунул свою знаменитую руку.

И вот на четвертый день после смерти, когда все окончательно попрощались со своим родственником и односельчанином, Мустафа встал у гроба, дожидаясь своего часа, скорбный и вместе с тем нетерпеливый.

Дождавшись, он произнес короткую речь, полную траурного величия. Он изложил героическую жизнь Шаабана Ларбы, по прозвищу Колчерукий, от лошади к лошади, вплоть до последней воли. Вкратце для сведения молодежи, как он сказал, Мустафа напомнил подвиг с уводом жеребца, когда Колчерукий не побоялся прыгать с обрыва, мимоходом дав понять, что, если б побоялся, было бы еще хуже. Он сказал, что снова напоминает об этом не для того, чтобы упростить подвиг Колчерукого, а для того, чтобы молодежь лишний раз убедилась в преимуществе смелых решений.

И тут согласно желанию покойника, а также своему желанию он вновь громогласно обратился к присутствующим старцам и снова спросил, нет ли в прыганье через гроб греха?

— Греха нет,— отвечали старцы,— потому что лошадь мяса не ест, у нее чистое дыхание.

После этого Мустафа отошел к коновязи, отвязал свою лошадь, вскочил на нее и, взмахнув камчой, ринулся сквозь коридор толпы к гробу.

Пока он отходил к коновязи, с той стороны гроба убрали все лишнее и отодвинули людей, чтобы лошадь на них не наскочила. Кто-то предложил прикрыть покойника плащ-палаткой, чтобы земля из-под копыт не сыпалась на него. Но один из старцев сказал, что в этом тоже греха нет, потому что покойник и так будет лежать в земле.

И вот, говорят, лошадь Мустафы доскакала до гроба и вдруг остановилась как вкопанная. Мустафа вскрикнул и огрел ее с обеих сторон камчой. Лошадь только крутила головой, скалилась, но прыгать никак не хотела.

Тогда Мустафа повернул ее на месте, галопом проскакал назад, слез, почему-то проверил подпруги и снова, как ястреб, ринулся на гроб. Но лошадь опять остановилась, и, сколько ни хлестал ее Мустафа, она так и не прыгнула, хотя и вставала на дыбы.

С минуту в напряженной тишине раздавалось только шелканье камчи и усердное сопение Мустафы.

И тут, говорят, кто-то из старцев промолвил:

— Сдается мне, что лошадь через покойника не прыгает.

— Ну да, — вспомнил другой старец, — подобно тому как хорошая собака не укусит хозяина, хорошая лошадь через покойника не прыгнет.

— Слезай, Мустафа, — крикнул кто-то из колхозников, — Колчерукий доказал тебе, что он лучше знает лошадей.

Тут, говорят, Мустафа повернул свою лошадь и, расталкивая толпу, молча выехал со двора. И тогда среди провожающих раздался такой взрыв хохота, который не то что на похоронах, на свадьбе не услышишь.

Хохот был такой, что секретарь сельсовета, услышав его в сельсовете, говорят, выронил печать и воскликнул:

— Клянусь честью, если Колчерукий в последний момент не выскочил из гроба!

Весело хоронили Колчерукого. Его загробная шутка на следующий день стала достоянием чуть ли не всей Абхазии. Вечером Мустафу все же уговорили прийти на поминальный ужин, потому что хотя прыгать через покойника не грех, но таить на покойника обиду все же считается грехом.

Когда умирает старый человек в наших краях, поминки проходят оживленно. Люди пьют вино и рассказывают друг другу веселые истории. Обычай не разрешает только напиваться до непристойности и петь песни. Хотя по ошибке кто-нибудь иногда и затянет застольную, но его останавливают, и он смущенно замолкает.

Когда умирает старый человек, мне кажется, вполне уместны и веселые поминки, и пышный обряд. Человек завершил свой человеческий путь, и если он умер в старости, дожив, как у нас говорят, до своего срока, значит живым можно праздновать победу человека над судьбой.

А пышный обряд, если его не доводить до глупости, тоже возник не на пустом месте. Он говорит: свершилось нечто громадное — умер человек, и если он был хорошим человеком, это отметят и запомнят многие. И кто же достоин человеческой памяти, если не Колчерукий, который всю жизнь украшал землю весельем и трудом, а в последние десять лет, можно сказать, добрался и до своей могилы и ее заставил плодоносить, собирая с нее, как говорят, неплохой урожай персиков.

Согласитесь, что далеко не всякому удастся собрать урожай персиков с собственной могилы, хотя многие и пытаются, но для этого им не хватает ни широты, ни отваги Колчерукого.

И да будет пухом ему земля, что, вероятно, вполне возможно, учитывая, что место ему выбрали хорошее, сухое, о чем он сам любил поговорить при жизни.



АЛЕКСАНДР ГИТОВИЧ

(1909—1966)

★

ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННОГО

* * *

Солдаты мы иль не солдаты?
Чего там думать и гадать:
Нам званье выдали когда-то —
У нас его не отобрать.

Я с вами в заревах жестоких,
От Риги и до малых скал,
На западе и на востоке
Четыре года воевал.

РОМАНТИКА

Какую-то основу из основ
Мы, очевидно, постигаем с детства:
По памяти досталась нам в наследство
Определенная оценка слов.

Ее младенческую правоту
Любой из нас усвоил не по книгам —
И между генералом и комбригом
Проводим мы особую черту.

ОЖИДАНИЕ

Опять считать часы, минуты
До возвращенья твоего
И что-то говорить кому-то,
Не зная толком, для чего.

И все ж я не кляню нимало
Жизнь, что порою тяжела, —
Она опять иною стала
И больше смысла обрела.



ТРУМЭН КАПОТЕ

★

ДЕТИ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Вчера вечером шестичасовой автобус переехал мисс Боббит. Сам не знаю, как мне рассказывать об этом: ведь, что там ни говори, мисс Боббит было всего десять лет, и все же я уверен — в нашем городе ее никто не забудет. Начать с того, что она всегда поступала необычно — с той самой минуты, когда мы впервые ее увидели, а было это около года тому назад. Мисс Боббит и ее мать, они приехали этим же самым шестичасовым автобусом — он прибывает из Мобайла и идет дальше. В тот день было рождение моего двоюродного брата Билли Боба, так что почти все ребята из нашего городка собрались у нас. Мы как раз угощались на веранде пломбиром «тутти-фрутти» и обливным шоколадным тортом, когда из-за Гиблого поворота с грохотом вылетел автобус. В то лето не выпало ни одного дождя; все было присыпано ржавой сушью, и, когда по дороге проходила машина, пыль иной раз висела в недвижимом воздухе по часу, а то и больше. Тетя Эл говорила — если в ближайшее время дорогу не замостят, она переедет на побережье; впрочем, она говорила это уже давным-давно.

В общем, сидели мы на веранде, и тутти-фрутти таяло у нас на тарелочках, и только нам всем подумалось — а хорошо бы сейчас произошло что-нибудь необычайное, — как оно и произошло: из красной дорожной пыли возникла мисс Боббит — тоненькая девочка в нарядном подкрахмаленном платье лимонного цвета; она важно выступала с этаким взрослым видом: одну руку уперла в бок, на другой висел большой зонт, какие носят старые девы. За нею плелась ее мать — растрепанная, изможденная женщина с голодной улыбкой и тихим взглядом, тащившая два картонных чемодана и заводную виктролу.

Все ребята на веранде до того обомлели, что даже когда на нас с жужжанием налетел осиный рой, девчонки забыли поднять свой обычный визг. Все их внимание было поглощено мисс Боббит и ее матерью — они как раз подошли к калитке.

— Прошу прощения, — обратилась к нам мисс Боббит (голос у нее был шелковистый, как красивая лента, и в то же время совсем еще детский, а дикция безупречная, словно у кинозвезды или учительницы), — но нельзя ли нам побеседовать с кем-нибудь из взрослых представителей семьи?

Относилось это, конечно, к тете Эл и — до некоторой степени — ко мне. Но Билли Боб и остальные мальчишки, хотя всем им было не больше тринадцати, потянулись к калитке вслед за нами. Поглядеть на них, так они в жизни девчонки не видели. Такой, как мисс Боббит, — определенно. Как говорила потом тетя Эл — где это слыхано, чтобы ребенок мазался? Губы у нее были ярко-оранжевые, волосы, напоминавшие театральный парик, все в локонах, подрисованные глаза придавали

ей бывалый вид. И все же была в ней какая-то сухощавая величавость, в ней чувствовалась леди, и, что самое главное, она по-мужски прямо смотрела людям в глаза.

— Я — мисс Лили Джейн Боббит, мисс Боббит из Мемфиса, штат Теннесси,— торжественно изрекла она.

Мальчишки уставились себе под ноги, а девчонки на веранде во главе с Корой Маккол, за которой в то время бегал Билли Боб, разразились пронзительным, как звуки фанфар, смехом.

— Деревенские ребята,— проговорила мисс Боббит с понимающей улыбкой и решительно крутанула зонтиком.— Мы с матерью,— тут стоявшая позади нее простоватая женщина отрывисто кивнула, словно подтверждая, что речь идет именно о ней,— мы с матерью сняли здесь комнаты. Не будете ли вы так любезны указать нам этот дом? Его хозяйка — некая миссис Сойер.

Ну, конечно, сказала тетя Эл, вон он, дом миссис Сойер, прямо через дорогу. Это единственный пансион у нас в городе, старый, высокий, мрачный дом, и вся крыша утыкана громоотводами — миссис Сойер до смерти боится грозы.

Зарумянившись, словно яблоко, Билли Боб вдруг сказал — прости-те, мэм, сегодня такая жарница и вообще, так не угодно ли отдохнуть и покушать тутти-фрутти; и тетя Эл тоже сказала — да, да, милости просим; но мисс Боббит только качнула головой:

— От тутти-фрутти очень полнеют; но все равно, мерси вам от души.

И они стали переходить улицу, и мамаша Боббит поволокла чемоданы по дорожной пыли. Вдруг мисс Боббит повернула обратно; лицо у нее было озабоченное, золотистые, как подсолнух, глаза потемнели, она чуть скосила их, словно припоминая стих.

— У моей матери расстройство речи, так что я вынуждена говорить за нее,— торопливо сказала она и тяжело вздохнула.— Моя мать — превосходная портниха; она шила дамам из лучшего общества во многих городах, больших и маленьких, включая Мемфис и Таллахасси. Вы, разумеется, обратили внимание на мое платье и пришли от него в восторг. Это работа моей матери, каждый стежок сделан вручную. Моя мать может скопировать любой фасон, а совсем недавно она получила приз от «Домашнего журнала для женщин» — двадцать пять долларов. Моя мать знает также любую вязку — крючком и на спицах — и делает всевозможные вышивки. Если вам понадобится что-нибудь сшить, обращайтесь, пожалуйста, к моей матери. Пожалуйста, порекомендуйте ее своим друзьям и родственникам. Спасибо за внимание.

И она удалилась, шурша накрахмаленным платьем.

Кора Маккол и остальные девчонки, озадаченные, настороженные, нервно дергали ленты у себя в волосах; они что-то скисли, лица у всех вытянулись. Я м и с с Боббит, передразнила Кора и состроила злобную гримасу, а я принцесса Елизавета, вот я кто — ха-ха-ха! А платье-то, сказала Кора, самое что ни на есть муровое. И вообще, я лично выпи-сываю все свои платья из Атланты, а еще есть у меня пара туфель из Нью-Йорка, я уж не говорю о том, что серебряное кольцо с бирюзой мне прислали из Мехико-сити, из самой Мексики.

Тетя Эл сказала — зря они так обошлись с приезжей, ведь она такая же девочка, как они, да к тому же нездешняя; но девчонки бесновались, как фурии, а кое-кто из мальчишек — те, что поглупей и любят водиться с девчонками,— взяли их сторону и понесли такое, что тетя Эл залилась краской и сказала — она сейчас же отправит их по домам и все-все расскажет ихним папашам, чтобы взгрели их хорошенько. Но

исполнить свою угрозу тетя Эл не успела, и причиной тому была мисс Боббит собственной персоной — она появилась на веранде сойеровского дома в новом и совсем уже странном одеянии.

Ребята постарше, как, скажем, Билли Боб и Причер Стар, которые упорно отмалчивались, покуда девчонки язвили по адресу мисс Боббит, и только мечтательно поглядывали затуманенными глазами на дом, где она скрылась, разом повскакали и пошли к садовой калитке. Кора Маккол фыркнула и презрительно выпятила губу, но мы, остальные, тоже поднялись с мест и расселись на ступеньках веранды. Мисс Боббит не обращала на нас ни малейшего внимания. В сойеровском дворе темно от туговых деревьев, он весь зарос шиповником и бурьяном. Иной раз после дождя шиповник пахнет так сильно, что даже у нас в доме слышно. Посреди двора стоят солнечные часы — миссис Сойер воздвигла их еще в 1912 году над могилкой бостонского бульдога по кличке Солннышко, который издох, умудрившись вылакать ведро краски. Мисс Боббит величественной походкой спустилась с веранды, держа в руках виктролу, поставила ее на солнечные часы, завела и пустила пластинку — вальс из «Графа Люксембурга». Уже почти стемнело; наступил час летающих светлячков, когда воздух становится голубоватым, как матовое стекло, и птицы, поспешно слетаясь в стайки, рассеиваются затем в складках листвы. Перед грозю цветы и листья словно бы излучают свой собственный свет, их окраска становится ярче; так и мисс Боббит в пышной, похожей на пуховку белой юбочке и со сверкающей повязкой из золотой канители в волосах, казалось, вся светится в сгущающихся сумерках. Выгнув над головою руки с поникшими, словно головки лилий, кистями, она встала на пуанты и простояла так довольно долго; и тетя Эл сказала — вот молодчина какая. Потом она принялась кружиться под музыку, кружилась, кружилась, кружилась; тетя Эл даже сказала — ой, у меня уже все перед глазами плывет. Остановилась она лишь для того, чтобы завести виктролу. Уже и луна скатилась за гребень горки, и отзвонили колокольчики, сзывавшие семьи к ужину, и все ребята разошлись по домам, и стал раскрывать свои лепестки ночной ирис, а мисс Боббит все еще была там, в темноте, и кружилась без устали, словно волчок.

Потом она несколько дней не показывалась. Зато теперь к нам зачастил Причер Стар — он являлся с утра и торчал до самого ужина. Причер — худущий, как жердь, парнишка с огромной копной ярко-рыжих волос; у него одиннадцать братьев и сестер, но даже они его боятся — нрав у него бешеный, и он знаменит на всю округу своими дикими, злобными выходками: четвертого июля он так отдубасил Олли Овертона, что того пришлось отвезти в больницу в Пенсаколу; а в другой раз он откусил у мула пол-уха, пожевал-пожевал и выплюнул. Пока Билли Боб не вымахал такой здоровенный, Причер и над ним измывался черт знает как: то набьет ему репьев за шиворот, то вотрет перцу в глаза, то изорвет тетрадку с домашним заданием. Зато сейчас они самые закадычные дружки во всем городе — и повадки у них одинаковые, и разговоры; иногда они оба пропадают по целым дням — одному богу известно где. Но в те дни, когда мисс Боббит не показывалась, они все время вертелись около дома — то стреляли из рогатки по воробьям, усевшимся на телефонных столбах, то Билли Боб брэнчал на гавайской гитаре и оба они что есть мочи горланили:

Отпиши-ка мне, милашка,
От тебя я писем жду,
Отпиши мне поскорее
В Бирмингемскую тюрьму.

Орали они так громко, что дядюшка Билли Боб (он у нас окружной судья) уверял — их даже в суде было слышно. Но мисс Боббит не слышала их; во всяком случае она ни разу носа за дверь не высунула. Потом зашла к нам как-то миссис Сойер одолжить чашку сахара и много чего наболтала про своих новых постояльцев. А знаете, сыпала она, прижмуривая блестящие, как у курицы, глазки, папаша-то ихний — мошенник, да-да, девчушка мне сама говорила. Стыда у нее ни на грош. Лучше моего папочки, говорит, на свете не сыщешь, а уж поет он слаще всех в Теннесси... Тогда я и спрашиваю — а где же он, кисанька? А она мне как ни в чем не бывало — да он, говорит, в каторжной тюрьме и у нас от него никаких вестей. Ну что вы на это скажете — просто кровь стынет в жилах, а? И еще я так думаю — ее мама, думаю, не иначе как иностранка какая: никогда слова не скажет, а другой раз сдается мне — ничегошеньки она не понимает, что ей говорят. Да, потом, знает, — они все едят сырое. Сырые яйца, сырую репу, сырую морковь. А мяса в рот не берут. Девчушка говорит — это для здоровья полезно, а вот и нет! Сама-то она с прошлого вторника пластом лежит, у ней лихорадка.

В тот же день тетя Эл, выйдя полить свои розы, обнаружила, что они все исчезли. Розы эти были особенные, она собиралась везти их в Мобайл на выставку цветов и потому, ясное дело, тут же впала в истерику. Позвонила шерифу и говорит — вот что, шериф, давайте-ка приезжайте сию же минуту. Такое дело — тут кто-то срезал все мои розы «леди Энн», а я с ранней весны хлопотала над ними, все сердце, всю душу в них вкладывала. Когда машина с шерифом остановилась у нашего дома, все соседи вылезли на веранды, а миссис Сойер, с белым от крема лицом, затрусилась к нам через улицу. Тьфу ты, пес, пробурчала она, страшно разочарованная тем, что у нас никого не убили, тьфу ты. да никто их не крал, эти розы. Ваш Билли Боб притащил их к нам, розы эти, и велел передать малышке Боббит.

Тетя Эл не сказала ни слова. Она подошла к персиковому дереву, срезала ветку и сделала из нее хороший прут. Ну-у-у, Билли Боб, выкрикивала она, идя по улице, ну-у-у, Билли Боб. Она обнаружила его у Лихача в гараже — они с Причером сидели и смотрели, как Лихач разбирает мотор. Она безо всяких подняла Билли Боба за вихры и потащила домой, что есть силы нахлестывая прутом. Но так и не заставила его просить прощения и не выжала из него ни слезинки. Когда тетя Эл наконец выпустила его, он убежал на задний двор, забрался на самую верхушку высоченного пеканового дерева и поклонился, что оттуда не слезет. Потом к окну подошел его отец и стал громко его уговаривать: сынок, мы на тебя больше не сердимся, слезай, ужинать пора. Но Билли Боб — ни в какую. Вышла тетя Эл, она припала к дереву, и голос у нее стал мягкий, как чуть затеплившийся день. Ну, не сердись, сынок, говорила она, я ж не хотела так сильно тебя отхлестать. А ужин-то, сынок, я приготовила какой вкусный — картофельный салат, вареный окорок, фаршированные яйца. Но Билли Боб твердил — уходи, не надо мне твоего ужина, ненавижу тебя, не-на-ви-жу! Тогда его отец говорит — нельзя так с матерью разговаривать, и тетя Эл заплакала. Она стояла под деревом и плакала и утирала глаза подолом. Да я ж не со зла, сынок... Да когда б я тебя не любила, разве стала бы я тебя драть... Листья пекана зашелестели, Билли Боб медленно сполз с дерева, и тетя Эл, взъерошив ему волосы, притянула его к себе. Ох, мам, приговаривал он, ох, мам...

После ужина Билли Боб пришел ко мне в комнату и улегся у меня в ногах на кровати. От него пахло чем-то кислым и сладковатым, мальчишки всегда так пахнут, и мне стало ужасно жаль его, он был такой

удрученный, даже глаза прикрыл. Но так ведь положено — когда люди болеют, посылать им цветы, сказал он вполне резонно. Тут мы услышали викролу, отдаленный ритмичный звук, и в окошко влетела ночная бабочка и закачалась в воздухе, нежная, слабая, как эта музыка. Уже стемнело, и мы не могли разглядеть, танцует ли мисс Боббит. Билли Боб, словно от боли, сложился вдвое, как складной нож, но лицо его вдруг просветлело, диковатые мальчишеские глаза замерцали, как свечи. До чего же она мировая, зашептал он, никогда таких мировецких девчонок не видел. А, к чертям всё, плевать мне — да я бы в Китае и то все розы пообрывал.

Причер тоже готов был пообрывать все розы в Китае. Он совсем ошалел от нее, как и Билли Боб. Но мисс Боббит не замечала их. Ее дальнейшее общение с нами ограничилось запиской к тете Эл — она благодарила за розы. День за днем просиживала она на веранде, разодетая в пух и прах, — вышивала, расчесывала локоны или читала словарь Вебстера; держалась она со всеми официально, но вполне дружелюбно; поздороваешься, и она поздоровается в ответ. И все же мальчишки никак не могли набраться духу подойти к ней и завести разговор; обычно она их попросту не замечала, даже когда они носились по улице и вытворяли черт знает что, лишь бы привлечь ее внимание: боролись, играли в Тарзана, выдвельвали idiotские трюки на велосипедах. Невеселое это было дело. Многие девчонки по два, по три раза за час проходили мимо сойеровского дома, чтоб хоть одним глазком взглянуть на мисс Боббит. Среди них были Кора Маккол, Мэри Мэрфи-Джонс, Дженис Аккерман. Но мисс Боббит и к ним не проявляла ни малейшего интереса. Кора перестала разговаривать с Билли Бобом, а Дженис с Причером. Дженис даже прислала Причеру письмо — оно было написано красными чернилами на бумаге с узорным обрезом, и в нем говорилось, что подлее его нет в целом свете, и у нее просто нет слов, и она разрывает их помолвку, и он может забрать обратно чучело белки, которое он ей подарил. Причер, желая все сделать по-хорошему — так он потом объяснял, — остановил Дженис, когда она в следующий раз проходила мимо нашего дома, и говорит — ладно уж, елки-палки, если она так хочет, то может оставить эту самую белку себе, — и совершенно не мог понять, с чего это Дженис вдруг разразилась воплями и убежала.

Однажды мальчишки разошлись пуще обычного. Билли Боб натянул отцовскую форму, оставшуюся после войны, а Причер разгуливал без рубашки, и на груди у него старой губной помадой тети Эл была намалевана голая красotka. Выглядели они оба совершеннейшими кретинами, но мисс Боббит, полулежавшая на качающейся скамье, при виде их только зевнула. Был полдень, на улице ни души, кроме пухленькой цветной девчухи, смахивающей на круглый леденец. Она брела с ведерком ежевики в руке, что-то мурлыкая себе под нос. Мальчишки тут же прилипли к ней, словно рой мошкaры; взявшись за руки, они не давали ей пройти — пускай заплатит пошлину. Да ни про какую я. пошлину знать не знаю, твердила девчуха, какую такую вам пошлину, мистер? Вечерок в амбаре, прошипел Билли Боб сквозь зубы, веселенький вечерок в амбаре. Девчуха надулась и, передернув плечами, сказала — да ну еще, какие такие амбары. В ответ Билли Боб опрокинул ее ведерко. С отчаянным поросычьим визгом она бросилась за рассыпанной ягодой, тщетно пытаясь ее спасти, и тут Причер Стар — а он иногда бывает гнусней самого сатаны — как наподдаст ей, и она плюхнулась, словно желе, прямо в пыль, на раздавленную ежевику. А с другой стороны улицы уже мчалась мисс Боббит, и ее указательный палец раскачивался, как метроном. Она похлопала в ладоши, словно заправская учительница, топнула, сердито сказала:

— Хорошо известно, что джентльмены для того и созданы на этой земле, чтобы служить защитой для дам. Неужели вы думаете, что в таких городах, как Мемфис, Нью-Йорк, Лондон, Голливуд и Париж, мальчишки держат себя подобным образом?

Мальчишки попятились, спрятали руки в карманы. Мисс Боббит помогла цветной девчужке подняться, отряхнула с нее пыль, вытерла ей глаза и, протянув свой носовой платок, велела ей высморкаться.

— Хорошее дело, — сказала она, — красивое положение — чтобы дама среди бела дня не могла спокойно пройти по улице.

Затем обе они направились к дому миссис Сойер и сели на веранде; и потом целый год они были неразлучны, мисс Боббит и этот слоненок в юбке по имени Розальба Кэт. Сперва миссис Сойер подняла бучу — почему цветная девчонка целыми днями околачивается у нее в доме. Ну, куда это годится, жаловалась она тете Эл, чтоб черномазая этак вот, у всех на виду, сидела, нахально развалясь, у нее на веранде; но, по-видимому, мисс Боббит обладала какими-то чарами; уж если она за что бралась, то делала все основательно и притом всегда действовала напрямик и с такою торжественной серьезностью, что остальным ничего другого не оставалось как подчиниться. Вот вам к примеру: сперва все торговцы у нас в городке пофыркивали, называя ее «м и с с Боббит»; но мало-помалу она стала для них просто мисс Боббит, и, когда она проносилась мимо, решительно крутя зонтиком, они отвешивали ей сдержанные полупоклоны. Мисс Боббит твердила всем и каждому, что Розальба — ее сестра, и сперва это вызывало немало шуточек; но постепенно к этому привыкли, как и ко всем ее выдумкам, и никто из нас больше не улыбался, слыша, как они окликают друг друга: «Сестрица Розальба!», «Сестрица Боббит!».

А между тем сестрица Розальба и сестрица Боббит проделывали довольно странные вещи. Взять хоть эту историю с собаками. Дело в том, что у нас в городке великое множество бездомных собак — тут и терьеры, и легавые, и овчарки. В полуденные часы они небольшими стайками сонно трусят по горячим пустынным улицам и лишь дожидаются, покуда стемнеет и взойдет луна, чтобы громко завывать; и всю ночь напролет слышится этот тоскливый вой: кто-то умирает, кто-то уже мертв. Так вот, мисс Боббит обратилась к шерифу с жалобой; стая собак облюбовала себе место у нее под окошком, а у нее очень чуткий сон, это во-первых; но что самое главное — вот и сестрица Розальба тоже так считает — это совсем не собаки, а нечистая сила. Шериф, разумеется, палец о палец не ударил, и тогда мисс Боббит взяла это дело в свои руки. В одно прекрасное утро, после особенно беспокойной ночи, мы видим: мисс Боббит шествует по улице, рядом — Розальба с цветочной корзинкой, доверху набитой камнями. Завидев собаку, они останавливаются, и мисс Боббит внимательно ее разглядывает; иной раз мотнет головой, но куда чаще кивает: да, сестрица Розальба, это одна из них! — после чего сестрица Розальба достает из корзинки камень, свирепо примеривается — и трах собаку между глаз.

А вот еще случай с мистером Гендерсоном, занимающим заднюю комнатку в пансионе миссис Сойер. Этот самый мистер Гендерсон — крошечный старичишка весьма крутого нрава; когда-то он рыл поисковые скважины в Оклахоме, а сейчас ему лет под семьдесят, и, как многие старики, он буквально помешан на отправлении своего организма. Вдобавок он горький пьяница. Однажды он пил запоем целых две недели и только услышит, бывало, что мисс Боббит и сестрица Розальба прохаживаются по двору, как сразу взбегает по лестнице на самый верх и оттуда орет хозяйке, что в стенах завелись карлицы и хотят известить всю его туалетную бумагу. Вот уже на пятнадцать центов украла.

Как-то вечером, когда девочки сидели во дворе под тутовым деревом, мистер Гендерсон выскочил из дому в одной ночной рубашке и стал за ними гоняться. Ах так, орет, задумали у меня всю туалетную бумагу разворовать? Ну, я вам покажу, карлицы окаянные! Эй, кто-нибудь, помогите, не то эти сучонки всю бумагу в городе разворуют, до последнего листочка!

Билли Бобу и Причеру удалось схватить Гендерсона, и они крепко держали его, покуда не подросли взрослые и не стали его вязать. Тогда мисс Боббит, которая держалась с изумительным хладнокровием, объявила мужчинам, что никто из них толком узла завязать не умеет, взялась за дело сама и сделала его на славу — у Гендерсона онемели руки и ноги, он потом целый месяц шага сделать не мог.

Вскоре после этой истории мисс Боббит нанесла нам визит. Явилась она в воскресенье. Я был в доме один, вся семья ушла в церковь.

— В церкви такой невыносимый запах, — сказала она и, слегка подавшись вперед, чинно сложила руки на коленях. — Впрочем, мне не хотелось бы, мистер К., чтобы вы сочли меня язычницей. У меня достаточно опыта, и я знаю — бог есть, и дьявол есть тоже. Но дьявола не приручишь, если ходить в церковь и слушать про то, какой он дурак и мерзкий грешник. Нет, возлюбите дьявола, как вы возлюбили Иисуса. Потому что он могущественная личность, и, если узнает, что вы ему доверились, окажет вам услугу. Мне, например, он нередко оказывает услуги — вот как в балетной школе в Мемфисе... Я все время взывала к дьяволу, чтобы он помог мне получить самую главную роль в ежегодном спектакле. И это благоразумно: видите ли, я понимаю, что Иисуса танцы ни капельки не интересуют. Да, в сущности, я взывала к дьяволу совсем недавно — только он может помочь мне выбраться из этого городишка. Я ведь не здесь живу, если говорить точно. Мыслями я все время в каком-то другом, совсем другом месте, где все так красиво и все танцуют, знаете, как люди танцуют на улицах, и все такие славные, как дети в свой день рождения. Мой бесценный папочка говорил, что я витаю в облаках, но если б он сам почаще витал в облаках, он бы разбогател, как ему того хотелось. В том-то и беда с моим папочкой — вместо того чтобы самому возлюбите дьявола, он дал дьяволу возлюбите себя. А я на этот счет большой молодец; я знаю: выход, который кажется нам не самым лучшим, а чуть похуже, очень часто как раз и есть самый лучший. Переезд в этот городишко — для нас не самый лучший выход, но раз уж я не могу продолжать здесь свою карьеру танцовщицы, значит мне надо делать какой-нибудь маленький побочный бизнес. Именно этим я и занялась. Я единственный в округе агент по подписке на «Популярную механику», «Детектив на пятак», «Детскую жизнь» и другие журналы — весьма внушительный список. Право же, мистер К., я сюда не за тем явилась, чтобы что-нибудь вам навязать. Но есть у меня на уме одна мысль. Я так подумала: эти два мальчика, которые вечно здесь толкуются... Меня осенило — ведь они как-никак мужчины! Как вы полагаете, смогут они быть хорошими помощниками в моем деле?

Билли Боб и Причер трудились для мисс Боббит не за страх, а за совесть. И для сестрицы Розальбы тоже: она открыла торговлю каким-то косметическим снадобьем под названием «Росинка», и в их обязанности входило доставлять покупки ее клиенткам. К вечеру Билли Боб до того изматывался, что едва мог проглотить свой ужин. Тетя Эл говорила — это же ужас, на него смотреть жалко; и вот как-то раз, когда с Билли Бобом случился солнечный удар и он еле добрал до дома, она объявила — ну, теперь все, придется ему расстаться с мисс Боббит. Но Билли Боб стал ругаться на чем свет стоит, и отцу пришлось запереть

его; тогда он сказал, что покончит жизнь самоубийством. Наша бывшая кухарка говорила ему, что если наесться капусты, хорошенько обмазанной черной патокой, то угодишь на тот свет — это как пить дать. Так он и сделал. Я умираю! — вопил он, катаясь по кровати. — Я умираю, а всем наплевать!

Пришла мисс Боббит и велела ему умолкнуть.

— Ничего страшного у тебя нет, мальчик. Боль в животе, только и всего, — сказала она.

Потом все с него сорвала и с головы до ног крепко растерла спиртом. Тетя Эл, ужасно шокированная, сказала ей, что девочке это как-то не пристало, на что мисс Боббит ответила:

— Не знаю, пристало или не пристало, но, безусловно, это очень освежает.

После чего тетя Эл сделала все, что было в ее силах, чтобы Билли Боб перестал работать на мисс Боббит, но его отец сказал — надо оставить мальчика в покое, пусть живет своей жизнью.

Мисс Боббит была весьма щепетильна в отношении денег. Комиссионные Билли Бобу и Причеру она выплачивала с величайшей точностью и никогда не позволяла им платить за нее в аптеке-закусочной и в кино, хотя они и порывались.

— Лучше поберегите деньги, — говорила она. — То есть если вы собираетесь поступать в колледж. Потому что у вас у обоих мозгов не хватит, чтоб получить стипендию, хотя бы футбольную.

Но именно из-за денег у Билли Боба с Причером вышла жуткая ссора. Суть, конечно, была не в деньгах; суть была в том, что они бешено ревновали друг к другу мисс Боббит. Словом, в один прекрасный день Причер ей заявил — и у него еще хватило наглости сделать это прямо в присутствии Билли Боба — пусть она ведет свою бухгалтерию повнимательней, а то у него есть подозрение, что Билли Боб отлает ей не все деньги, которые собирает, и это не просто подозрение. Подлая ложь! — воскликнул Билли Боб. Чистым левым хуком он сбросил Причера с сойеровской веранды и прыгнул вслед за ним на грядку с наступцией. Но когда Причер его обхватил, Билли Бобу было уже не сладить с ним. Причер даже песок ему втер в глаза.

Во время всей этой катавасии миссис Соьер, свесившись из окна верхнего этажа, издавала пронзительный орлиный клекот, а сестрица Розальба в полном упоении выкрикивала — убей его! убей! убей! Кого она имела в виду — непонятно. Одна только мисс Боббит, по-видимому, точно знала, что ей делать: она открыла шланг для поливки и, подбежав к мальчишкам вплотную, хорошенько их окатила. Ослепленный, Причер с трудом поднялся на ноги, громко пыхтя. Ох, радость моя, сказал он, отряхиваясь, словно мокрый пес, радость моя, ты должна сделать выбор.

— Какой выбор? — сердито оборвала его мисс Боббит.

Ох, радость моя, просипел Причер, не хочешь же ты, чтобы мы с Билли Бобом поубивали друг друга. Вот и реши, который из нас твой миленок.

— Миленок, скажите пожалуйста! — фыркнула мисс Боббит. — И как я только могла связаться с деревенскими ребятишками? Ну какие из вас выйдут бизнесмены? А теперь слушай, Причер Стар: не нужно мне никакого миленка, но уж если бы я его завела, это был бы не ты. О чем говорить, ты даже не встаешь, когда в комнату входит дама.

Причер сплюнул себе под ноги и вразвалочку подошел к Билли Бобу. Пошли, сказал он как ни в чем не бывало, пошли, деревяшка она и больше никто; ей только одного надо — хороших друзей перессорить.

На какой-то момент показалось, что сейчас Билли Боб и Причер удалятся в мирном согласии; но Билли Боб, вдруг спохватившись, подался назад и замотал головой. Долгую минуту глядели они друг на друга, и близость их переходила в другую, уродливую, форму — ведь ненавидеть с такою силой можно только того, кого любишь. Все это было написано у Причера на лице. Но ему ничего другого не оставалось, как уйти. Да, Причер, такой ты был потерянный в этот день, что я впервые почувствовал к тебе настоящую симпатию — такой худущий, гадкий, потерянный брел ты по улице и до того одинокий.

Они так и не помирились, Билли Боб с Причером; и не то чтобы им не хотелось мириться, только вот не было какого-то простого способа возобновить дружбу. Но и покончить с этой дружбой они не могли; один всегда знал, что затевает другой, а когда Причер завел себе нового друга, Билли Боб целыми днями места себе не находил: то за одно возьмется, то за другое и все валится у него из рук, а то вдруг выкинет какой-нибудь дикий номер — скажем, нарочно засунет палец в электрический вентилятор. По вечерам Причер иногда останавливался у нашей калитки поболтать с тетей Эл. Он оставался со всеми нами в дружеских отношениях — я думаю, только для того, чтобы помучить Билли Боба, — и даже преподнес нам на рождество огромную коробку очищенного арахиса. Он и для Билли Боба оставил подарок — оказалось, что это книжка про Шерлока Холмса, и на первом листе нацарапано: ЕСЛИ ТЫ НЕ-ВЕРНЫЙ ДРУГ, ДЛЯ ТЕБЯ НАЙДЕТСЯ СУК. Сроду не видел такой муры, сказал Билли Боб, господи, вот балда! Но потом, хотя день был холодный, он убежал на задний двор, залез на pekanовое дерево и до самого вечера просидел, скорчившись, в его по-декабрьски синеватых ветвях.

Но вообще-то он ходил счастливый — ведь у него была мисс Боббит, а теперь она стала с ним очень мила. Обе они с сестрицей Розальбой обращались с ним, как с мужчиной, — то есть милостиво разрешали все для них делать. Зато они проигрывали ему в бридж, никогда не уличали его во лжи и не расхолаживали, когда он делился с ними своими заветными мечтами. Счастливая это была пора. Но с началом школьных занятий пошли новые беды. Мисс Боббит отказалась учиться.

— Это смешно, право же, смешно, — заявила она директору школы мистеру Копленду, когда он зашел, чтобы выяснить, почему она не является на занятия. — Я умею читать и писать, и кое у кого здесь, в городе, были все основания убедиться, что я умею считать деньги. Нет, мистер Копленд, поразмыслите-ка минутку — и вы сами поймете, что ни у вас, ни у меня нет на это ни времени, ни энергии. В конце концов дело только в том, кто из нас первый дрогнет духом — вы или я. Да и потом чему вы можете меня научить? Вот если б вы что-нибудь понимали в танцах, тогда другое дело; но при данных обстоятельствах, да, мистер Копленд, при данных обстоятельствах, на мой взгляд, нам обоим лучше предать это дело забвению.

Мистер Копленд со своей стороны вполне готов был предать дело забвению. Но весь город считал, что мисс Боббит следует хорошенько всыпать. Хорейс Дизли прислал в нашу местную газету статью под заголовком «Трагическая ситуация». Создается поистине трагическая ситуация, писал он, если какая-то девчонка может игнорировать конституцию Соединенных Штатов, — почему-то он выразился именно так. Статья кончалась вопросом: «Можем ли мы допустить, чтобы это сошло ей с рук?»

Но все-таки это сошло ей с рук. И сестрице Розальбе тоже. Впрочем, так как Розальба была цветная, всем было решительно наплевать, учится она или нет. А вот Билли Бобу не удалось так счастливо отде-

латься. Пришлось-таки ему ходить в школу. Но толку от этого было мало; он мог бы с таким же успехом сидеть дома. В первом же табеле у него красовались три плохие отметки — своего рода рекорд. Но вообще-то он парень смысленный, и я думаю, ему просто было невмоготу столько часов подряд не видеть мисс Боббит; без нее он всегда был какой-то полусонный. И вечно лез в драку — то придет с фонарем под глазом, то с разбитой губой, то вдруг захромает. Насчет этих драк он никогда не распространялся, но мисс Боббит была достаточно проницательна, чтобы догадаться, в чем тут дело.

— Я знаю, знаю, ты сокровище. И я тебя очень ценю, Билли Боб. Только не надо вступать из-за меня в драки. Конечно, люди болтают про меня всякие гадости. А знаешь почему? Ведь это комплимент своего рода. Потому что в глубине души они считают, что я просто замечательная.

И она была права: ведь если никто вами не восхищается, кому интересно вас ругать?

Но по сути дела мы и понятия не имели, какая она замечательная, пока в наших краях не объявился один тип, назвавшийся Мэнни Фоксом. Дело было в конце февраля. Впервые мы узнали о Мэнни Фоксе из зазывных афиш, расклеенных во всех лавках города:

ПОКАЗЫВАЕТ МЭННИ ФОКС ТАНЕЦ ЖИВОТА — ДЕЙСТВУЕТ ЖИВОТВОРНО

А внизу помельче:

*Сенсационная любительская программа — выступают ваши соседи.
Первая премия — гарантированная кинопроба в Голливуде.*

Все это должно было состояться в следующий четверг. Входная плата — один доллар; по местным масштабам — целое состояние, но подобного рода острые развлечения у нас здесь такая редкость, что все раскошелились, и вообще вокруг этой затеи поднялась страшная кутерьма. Шалопай, работавшие под ковбоев и целыми днями прохлаждавшиеся в аптеке-закусочной, всю неделю изощрялись в похабщине — главным образом по адресу исполнительницы танца живота, которая оказалась не кем иным, как миссис Мэнни Фокс. Остановились Фоксы за городской чертой, в Чеклвудском туристском кемпинге, но весь день проводили в городе, разъезжая в старом «паккарде», на всех четырех дверцах которого было выведено по трафарету полное имя Фокса. Своей штаб-квартирой они сделали бильярдную, и под вечер их всегда можно было там застать — они потягивали пиво и перебрасывались шуточками с нашими городскими лоботрясами. Как выяснилось в дальнейшем, сфера деловой активности Мэнни Фокса не ограничивалась театральными представлениями. У него была еще своего рода контора по найму: исподволь он дал понять, что за вознаграждение в сто пятьдесят долларов может обеспечить любому предприимчивому парню в округе классную работенку на грузовых судах «Юнайтед фрут», курсирующих между Нью-Орлеаном и Южной Америкой. Шанс, какой выпадает только раз в жизни, — так он выражался. У нас тут не найдется и двух ребят, которые могли бы набрать без труда хоть пять долларов, и все же человек десять умудрились наскрести нужную сумму. Ада Уиллингем отдала сыну все, что сумела скопить на мраморного ангела, которого ей хотелось поставить на могиле мужа, а отец Эйси Трампа продал свою привилегию на закупку хлопка.

Да, но что творилось в день представления! В этот день было забыто все — и закладные, и тарелки в кухонной раковине. Можно поду-

мать, будто мы собираемся в оперу, сказала тетя Эл, — все так нарядились, разругались, от всех так хорошо пахнет. Давно уже «Одеон» не знал такого наплыва публики... Почти у каждого кто-нибудь из родных участвовал в любительской программе, так что волнений было много. Из всех выступающих мы знали толком одну мисс Боббит. Билли Боб весь извертелся: он снова и снова повторял нам, чтоб мы не хлопали никому, кроме мисс Боббит, но тетя Эл сказала — это было бы очень невежливо, и тут на него опять накатило, а когда его отец купил нам всем по мешочку поджаренных кукурузных зерен, он к своему и не прикоснулся — сказал, что боится засалить руки, и потом, чтобы мы, бога ради, не шумели и не вздумали грызть кукурузу, когда на сцену выйдет мисс Боббит.

То, что она участвует в конкурсе, вообще-то было для нас полнейшим сюрпризом. Правда, этого можно было ожидать, да мы и сами могли б догадаться по некоторым признакам — хотя бы по тому, что вот уже сколько дней она носу не высовывала за калитку, и по звукам виброфоны, игравшей до глубокой ночи, и по тени, кружившейся на шторе, и по таинственному, важному виду, который принимала сестрица Розальба всякий раз, как у нее спрашивались о здоровье сестрицы Боббит. Одним словом, имя ее значилось в программе, но, хотя оно стояло вторым, не появлялась она очень долго. Сперва вышел Мэнни Фокс, сверкая напомаженной головой и шныряя глазами; он долго рассказывал анекдоты для курящих, похлопывая в ладоши и гогоча. Тетя Эл объявила — если он расскажет еще один такой анекдот, она тут же уходит. Рассказать-то он рассказал, но уйти она не ушла. До мисс Боббит выступило одиннадцать человек, среди них — Юстасия Бернштейн, изображавшая кинозвезд (так, что все они смахивали на Юстасию), и совершенно бесподобный старикан, некий мистер Бастер Райли, лпоухий простофиля, сыгравший на пиле «Вальс Матильды». Пока что номер его оставался гвоздем программы, хотя, в общем-то, публика окзывала участникам конкурса довольно ровный прием: все хлопали щедро; все — это значит все, кроме Причера Стара. Он сидел на два ряда впереди нас и каждое выступление встречал по-ослиному громким возмущенным ревом. Тетя Эл сказала: с этого дня она с ним больше не разговаривает. Аплодировал он только мисс Боббит.

Несомненно, на сей раз дьявол действовал с ней заодно — и она того заслуживала. Вихрем вылетела она на сцену, потряхивая локонами, вращая глазами, покачивая бедрами. Мы сразу поняли, что это будет номер не из ее классического репертуара. Она прошла в чечетке через сцену, изысканным жестом приподнимая на бедрах пышную, словно облако, голубую юбочку. Вот это лихо, сроду такого не видел, сказал Билли Боб и хлопнул себя по ляжке, и тете Эл пришлось согласиться, что мисс Боббит и вправду выглядит просто прелестно. Она закружилась по сцене, и публика разразилась аплодисментами. А она все кружилась, кружилась и только шипела: «Быстрее, быстрее!» — аккомпанировавшей ей на рояле мисс Аделаиде, хотя та, бедняга, и так старалась изо всех сил.

Я родилась в Китае,
Но Япония — мой дом...

До тех пор мы ни разу не слышали, как она поет; оказалось, что голос у нее резкий, царапающий, как наждак.

...Коль товар мой не по вкусу,
Лучше вам забыть о нем! Э-эй! Э-эй!

Тетя Эл даже задохнулась. Потом она задохнулась вторично — это когда мисс Боббит, бойко топнув, задрала юбочку и выставила на всеобщее обозрение голубые гипюровые штанишки, в результате чего на ее долю достались почти все одобрительные свистки, приберегавшиеся парнями для исполнительницы танца живота. (Впрочем, как мы убедились в дальнейшем, та тоже не сплеховала — под звуки популярной песенки «Яблоко для учительницы» и возгласы «гип-гип!» дама эта проделала все, что положено, в одном купальном костюме.)

Но на том, что мисс Боббит продемонстрировала свою попку, триумф ее не кончился. Под руками мисс Аделаиды зловеще загремели басы, на сцену выскочила сестрица Розальба с зажженной римской свечой и сунула ее в руки мисс Боббит, старательно делавшей шпагат; он тоже ей удался, и в тот самый момент, когда она села на пол, свеча рассыпалась каскадом красных, синих и белых шаров, и нам всем пришлось встать, потому что мисс Боббит во всю глотку запела «Полосато-звездное знамя». Тетя Эл говорила потом — это было одно из самых пышных зрелищ, какие ей довелось видеть на американской сцене.

Словом, мисс Боббит бесспорно заслуживала кинопробы в Голливуде, а так как она вышла победительницей на конкурсе, похоже было, что дело на мази. Мэнни Фокс так и сказал ей: детка, сказал он, вы из того самого теста, из какого делаются кинозвезды. Но на другой день он смылся, наобещав своим подопечным с три короба. Следите за почтой, друзья мои, я всем вам дам знать. Так он сказал ребятам, у которых взял деньги, и так он сказал мисс Боббит. Письма у нас доставляются три раза в день, и каждый раз на почте собиралось порядочно народу — веселая ватага, оживление которой мало-помалу угасало. Как тряслись у мальчишек руки всякий раз, когда в их почтовый ящик падало письмо! Но дни шли, и молчаливый ужас сковывал их все сильнее. Каждому было ясно, что думают другие, но никто не осмеливался произнести это вслух, даже мисс Боббит. Впрочем, почтмейстера Паттерсона высказалась начистоту: этот тип — мошенник, сказала она, я с первого дня поняла, что он мошенник, и если мне еще хоть день придется глядеть на ваши физиономии, я застрелюсь.

Наконец к исходу второй недели заклятие было снято — не кем иным, как мисс Боббит.

— Ну так, мальчики. Теперь вступает в действие закон джунглей, — объявила она и увела всю ватагу к себе домой.

Там состоялось учредительное собрание Клуба вешателей Мэнни Фокса, каковая организация в несколько более цивилизованном виде существует и по сей день, хотя Мэнни Фокса давным-давно удалось изловить и, выражаясь фигурально, повесить. А в том, что это удалось, — прямая заслуга мисс Боббит. За неделю она настрочила свыше грехсот писем с описанием примет Мэнни Фокса и разослала их всем шерифам Юга; кроме того, она написала в газеты всех более или менее крупных городов, и письма ее привлекли внимание широкой публики. В результате «Юнайтед фрут компани» предложила четырем из жертв Мэнни Фокса хорошо оплачиваемую работу, а позднее весной, когда Фокс был арестован в Апхае, штат Арканзас, где он пытался проделать все тот же старый трюк, организация «Лучезарные девушки Америки» представила мисс Боббит к медали «За доброе дело». Но по какой-то причине мисс Боббит постаралась оповестить всех и вся, что она отнюдь не в восторге.

— Мне не нравится эта организация, — заявила она. — Трубят в горн что есть мочи. Ничего веселого тут не вижу, и вовсе это неженственно. И вообще — что такое доброе дело? Не давайте себя одурачивать: всякое доброе дело делается для того, чтобы что-нибудь получить взамен.

Как отраднo было бы сообщить здесь, что она ошиблась и что другая, желанная награда, когда она наконец получила ее, была вручена ей от чистого сердца, в знак любви. Но на самом деле это было не так. С неделeю назад все ребята, которых обжулил Мэнни Фокс, получили от него чеки в возмещение понесенных убытков, и мисс Боббит весьма решительно прошествовала на заседание клуба. (Заседания эти и поныне служат кой для кого предлогом, чтобы по четвергам весь вечер играть в покер и наливаться пивом.) Мисс Боббит сразу взяла быка за рога.

— Вот что, мальчики,— сказала она,— никому из вас и во сне не снилось когда-нибудь снова увидеть эти деньги, но раз уж вы их получили, вам надо вложить их в какое-нибудь реальное дело — скажем, в меня.

Предложение ее заключалось в следующем: они сложатся и оплатят ее поездку в Голливуд; за это она обязуется пожизненно выплачивать им десять процентов от своих гонораров, и значит, когда она станет звездой — а этого ждать недолго,— все они будут богатыми людьми.

— Во всяком случае по местным понятиям,— добавила она.

Никому из мальчишек не хотелось расставаться с деньгами, но когда мисс Боббит смотрит тебе в глаза, что тут скажешь?

...С понедельника сыплет летний дождик, днем веселый, пронизанный солнцем, но по ночам мрачный и полный звуков — стука капель по листьям, перезвона струй, незатихающего тревожного топотка.

Билли Боб — начеку, и глаза у него сухие, но все эти дни он какой-то замороженный, и язык у него не ворочается, будто это язык колокола. Нелегкая для него штука — отъезд мисс Боббит. Потому что она была для него не только безумной любовью в тринадцать мальчишеских лет, но чем-то гораздо большим. Так чем же? Да все его странности — и то, что он удирал на pekanовое дерево, и то, что любил книги, и то, что настолько считался с людьми, что позволял им себя обижать,— все это была она. И то, что он боязливо таил от всех, кроме нее,— это тоже была она. А в темноте струилась сквозь дождь отдаленная музыка. Ведь будут такие ночи, когда мы услышим эту музыку так ясно, словно и впрямь через дорогу играет виолончель. И ранние вечера, когда вдруг смешаются тени и она красиво развертывающейся лентой пройдет перед нами по лужайке. Она улыбалась Билли Бобу, брала его за руку, даже целовала его.

— Я же не собираюсь умирать,— говорила она.— Ты приедешь ко мне, и мы уйдем на высокую гору, и проживем там все вместе, ты, и я, и сестрица Розальба.

Но Билли Боб знал, этому не бывать, и когда сквозь тьму доносилась музыка, натягивал на голову подушку.

А вчера день вдруг улыбнулся странной улыбкой, и это как раз был день ее отъезда. Около полудня появилось солнце и принесло с собой ласковый запах глицинии. Снова цвели желтые розы тети Эл, и она поступила замечательно — сказала Билли Бобу, что он может их срывать и подарить мисс Боббит на прощание. До самого вечера мисс Боббит просидела у себя на веранде, и все время вокруг нее толпились люди — они заходили пожелать ей всего хорошего. Казалось, она собралась к причастию — в белом платье, в руках белый зонт. Сестрица Розальба подарила ей носовой платок, но тут же его позаимствовала — она все плакала и никак не могла остановиться. Другая девчушка принесла жареного цыпленка — на дорогу; одно было плохо — она позабыла его выпотрошить. Но мать мисс Боббит сказала — что ж, это ничего: цыпленок есть цыпленок; слова знаменательные, если учесть, что это было единственное мнение, когда-либо высказанное ею.

Лишь одно омрачало всем настроение: вот уже сколько часов Причер Стар околачивался на углу—то играл в расшибалочку на тротуаре, то прятался за дерево, словно хотел остаться незамеченным. Всех это очень нервировало. Минут за двадцать до прихода автобуса он вразвалочку подошел к нашему дому и встал у калитки, прислонившись к ней лбом. Билли Боб все еще срезал розы в саду: он набрал уже столько, что хватило бы на огромный костер, и их запах был плотным, как ветер. Причер смотрел на Билли Боба, пока тот не поднял головы. И покуда они глядели друг на друга, снова стал сеяться дождик, тонкий, как водяная пыль над морем, и расцветенный радугой. Ни слова не говоря, Причер подошел к Билли Бобу, помог ему разделить розы на два большущих букета, и они вместе вышли за калитку. На той стороне улицы шмелями гудели разговоры, но когда мисс Боббит увидела их, двух мальчиков, чьи лица, скрытые букетами роз, были как желтые луны, она сбежала по ступенькам веранды и бросилась через дорогу, протягивая к ним руки. Мы поняли, что сейчас произойдет, и мы закричали; наш крик, словно молния, прорезал завесу дождя, но мисс Боббит, бежавшая к лунно-желтеющим розам, казалось, не слышала нас. Вот тогда-то шестичасовой автобус и переехал ее.

Перевела с английского С. Митина.



ИЗ СОВРЕМЕННОЙ ЮГОСЛАВСКОЙ ПОЭЗИИ

ЕВРЕМ БРКОВИЧ

★

Революция

(Из поэмы)

С сербохорватского

Откуда и как,
это знают бывшие ссыльные и каторжане,
это знают испанцы
и поседевшие коминтерновцы этих лет,
а ко мне он явился
как раз посредине детства —
Революции красный цвет.
В самый раз было счастья
для эпохи и песни —
чтобы в бой последний,
под красными небесами, в грохоте и в пальбе.
Я видел, как Революция подымает шестнадцатилетних
и шестидесятилетних зовет к себе.
И в нашу деревню,
где жили скотоводы и каменотесы,
где два жандарма,
старый наш дом
и кладбище позади,
она пришла, как февральская ночь, сурова,
в кепке
и с пулеметными лентами на груди.

.....

Мать Революция,
добрая мать кормящая,
но нельзя ей плакать, ношу свою неся.
Когда в груди у нее материнская боль шемящая,
и хотела б она расчувствоваться, да нельзя.
Потому что ее караулили у каждой обочины,
у каждой дороги поджидали в полночный час.
И виселицы уже были для нее сколочены.
И, словно бы дьявола, изгоняли ее из нас,
из наших душ изгоняли куском металла,
и предавали ее на каждом шагу,
и ликовали, когда пуля в нее попадала,
и еще сулили каждому мужику
вознаграждение: за голову рядового

лошадей, мол, дадим и денег, щедро платя,
 а за комиссара — и много еще другого.
 Но в нашей деревне,
 где дом наш и кладбище наше,
 не предали б Революцию
 даже за́ три летних дождя.

ОСКАР ДАВИЧО

★

Ха́на

С сербохорватского

1

Я охотничий сын, и когда подошло мое время,
 я влюбился в Ха́ну, взбалмошную девчонку,
 дочь торговца печального, вдовца еврея,
 содержавшего возле кладбища трактир и лавчонку.

Как ракета над лесом, надо мной она заблестала,
 и стал я ходить, как слепой разводя руками.
 И любовь моя стала, как мир, и любовь моя стала
 маяком и спасенными им моряками.

От нее глаза мои загораются блеском,
 В ней и море колышется, и рыбы, и сети.
 От нее водопады свергаются с гулом и плеском
 и стрекочут кузнечики, словно птицы и дети.

О, чего только я не видел этой весной
 с этим Чоро кривым и с компанией набожной этой!
 Все, что пито было не мною и разбито не мною,
 я сполна оплатил, как положено, звонкой монетой.

Но сейчас я люблю, и люблю это небо и этой руки
 движение,
 которая вдруг воскрешает и выводит на сцену
 всех погибших и потерпевших в море крушение
 и ломает решетки, чтобы лбом я — о стену

и о небо, до которого некогда пальцем
 доставал, и до солнца, когда это солнце, и кости,
 и могильщика даже я сделал у нас постояльцем
 и в корчму пригласил их, на добрую чарочку, в гости.

2

Когда над весами я увидел ее груди тугие,
 между мылом и апельсинами разглядел подробно,
 я понял, что она прекраснее, чем все другие,
 и вся она — как ее губы, и вся съедобна.

О, зрачок ее — зернышко перца в полдневном зное,—
притягивающий к себе, лаская и не отпуская!
Кто бы мог не влюбиться в изобилье это лесное,
в эти ноздри и в грудь, что как буря морская!

Ты не знаешь зубов ее, что, как снег, поскрипывают, играя,—
эту гармонику с блестящими пуговками, сиянье ее золотое,
этот колодец, наполненный радостью до самого края,
это животное, здоровое и молодое.

Когда к губам моим прижимаются ее губы,
я плыву по ветру, побросав паруса и тросы,
потому что ее объятья просты и грубы,
как еда дикаря, как еда, что едят матросы.

Ты не знаешь взгляда ее, темноватого от угля и дымной
печи,
и ресницы ее — занавеску, что так нехотя поднималась,
и зубы ее, процеживающие неторопливые речи,
и язычок этот острый, хотя и распушенный малость.

ДЕСАНКА МАКСИМОВИЧ

★

*Прошу о помилованье...**

С сербохорватского

...ДЛЯ ЗЕМЛИ, КУДА ВОЙСКО ИДЕТ

Царь Душан,
я прошу о помилованье
для бедной земли, куда войско идет,
потому что земля, она такова —
любит, когда устилает ее трава,
когда в поле слово слышится человечесье,
и не любит одна коротать она время свое,
и любит, чтобы коровы будили ее
и бляенье усыпляло овечье.

Земля, она такова,
что нетрудно порохом ее задушить,
она любит греться у ночного огня,
прислушиваясь к пастушеской речи,
земля, она не может без человека жить,
земля, словно веточка, дожидается дня,
чтобы руки свои человек положил ей на плечи.

* Книга Десанки Максимович «Прошу о помилованье. » построена как лирический спор с царем Душаном, государем средневековой Сербии, и его знаменитым Сводом законов.

Земля, она такова,
она просит, чтобы хоть раз в году
как следует ее мяли,
она любит, чтобы в нее семена кидали,
чтобы овсом и рожью пропахли дали,
она любит весной просыпаться в цвету
черешен и яблонь, словно бы под снегами,
земля, она просит,
чтобы зимою, когда снега,
человечья рука
утеплила ее стогами.

...ДЛЯ КРЕСТЬЯНИНА

Прошу о помилованье
для крестьянина твоего,
который рождается и умирает, как трава и растенья,
в забвеньи переходя из забвенья;
для его картошки в огороде его;
для его кукурузы, выращенной с трудом;
для дыма над его кровом;
для него, если где-то, не ведая сам о том,
согрешил он делом и словом.

Для крестьянина,
издревле верного своей судьбе,
любящего это солнце на небесах.
Если жизнь предает и жаворонок полевой,
и певунья запахов, бузина в осенних лесах,
и ящерица, греющаяся на камнях
солнечным летом,—
для крестьянина,
ибо он, мужик, не предаст,
для крестьянина, что тянет воз на себе
и десять своих сынов
ведет за собою следом.

ТАНАСИЕ МЛАДЕНОВИЧ

★

Белый петух

С сербохорватского

Белый петух на пороге белого утра
расцвел, как черешня, как слива и груша.
И весна отразилась в круглых его глазах.
Белая весна, белое деревце, белый звук
и дым белых запахов и лепестков
под небом, тяжелым от облаков,
от ранней росы, от раннего дождика.

Неуловимые запахи,
как утренний сумрак в долинах.

Белый петух — как белый букет лепестков,
раскрывшихся в молочной тишине зари.

ТОНЕ ПАВЧЕК

★

Во имя...

Со словенского

Среди трав и миражей,
надежд и отчаяний,
преследований и мечтаний,
среди всего, что есть
и быть должно бы на этом свете,
здесь,
на единственной этой планете,
стреляют,
стреляют,
изо дня в день стреляют,
стреляют в себя и в других,
в настоящее и в грядущее,
в идеалы,
в идеи,
в надежды
и в человека
во имя его, человека,

во имя грядущего века
законов сегодняшних именем,
во имя идей, идеалов,
во имя свободы своей
и своей справедливости,
во имя,
во имя,
извечно во имя
стреляют,
стреляют
убежденно, со злобой и с верой,
профессионально и как дилетанты,
стреляют изо дня в день
и не перестанут никак
люди
стрелять,
и падать,
и умирать
на этой стремящейся в завтра
единственной нашей планете.

Зажимаю уши, чтобы выстрелов этих не слышать,
 закрываю глаза, чтобы мертвых не видеть,
 и за мертвыми вслед повторяю:
 ни одного больше выстрела
 жизни во имя!

ЖИТЬ

Жить —
 это значит быть
 в пути,
 как парус под яростным ветром похода.
 Идти и идти, все время идти,
 от восхода и до захода.

Жить —
 это в некий прекрасный день
 впервые упасть,
 и упасть опять,
 и вновь и вновь — о камня.
 И будет рана кровоточить,
 и будет больше она, что ни день,
 и будет глубже она, что ни день,
 до последнего твоего паденья.

Жить —
 это значит прийти в конце,
 как раненое животное,
 к порогу тьмы
 и голову там сложить,
 чтоб в последний раз
 на губах запеклось
 это вечное
 волшебное —
 жить.

ВАСКО ПОПА

★

Воскресший памятник

С сербохорватского

В Шанхае разрушен памятник Пушкину...
 (Из газет)

Памятник разрушен. С пьедестала
 бронзового сбросили поэта.

С плеч поэта голуби вспорхнули,
 носятся над площадью в смятенье.

Но стихи опять на том же месте
памятник незримый воздвигают.

Прилетают голуби обратно —
птицы возвращаются к поэту.

Свергшие поэта с пьедестала
смотрят и глазам своим не верят —

как и прежде, голуби летают
над незримым памятником этим.

СТЕВАН РАИЧКОВИЧ

★

Руки

С сербохорватского

Руки нежны. И тверды. И упруги.
Знаю на плуге лежащие руки.

Руки с пилой. С топором. С нивелиром.
Руки над фруктами. Руки над миром.

Руки свергают и вновь поднимают.
В пропасти рушат. Казнят. Обнимают.

Не представляю, как эти руки
вдруг исторгают волшебные звуки,

и в каждом из пальцев сердечко стучит
и незаметно кровоточит.

Руки, коснувшись небес, посинели.
Сделались желтыми. И потемнели.

Ночью, во мраке, мне видится вдруг
круг ореола вокруг этих рук.

УСТАЛАЯ ПЕСНЬ

Где с миром связь оборвалась — там песня кончится.
Смотри — как дерево, стою, плоды отдавшее.
Желанье двигаться, увы, в суставах корчится.
Что делать мне с рукой и в ней — свободой давешней?

Слова, вы узники — бежать, уйти из тела!
Стихи не лечат — лишь певцам отравой служат.
К поэту стая воронья, смотри, слетела —
украдкой мозг его клюют и кружат, кружат.

И песня, вырвавшись на миг, как крик, из горла,
 чтоб в уши миру прогреметь светло и гордо,
 вспять возвращается без слов — одно мычанье.

И пустота на всем пути, на всей орбите.
 Но потерпите, о слова, но потерпите,
 пока к вам рифму подберут смерть и молчанье.

ИЗЕТ САРАЙЛИЧ

★

Говорю о Европе

С сербохорватского

Говорю о Европе, что рассталась вчера лишь с бронемашинами.
 Говорю о Европе с ее женщинами, так пленительно произносящими:
 «Je vous aime» — или «Я люблю».
 Говорю о Европе с ее бывшими лейтенантами и с ее чемпионами.
 Говорю.

Говорю о Европе, в которой парни собираются стать не меньше
 чем Гейне, а девчонки — завтрашними
 мадам Кюри,
 но Марс, Европы старинный бог, им путает карты, черт побери!

Говорю о Европе с ее музеями, с ее могилами, с ее морями.
 Говорю о Европе с ее провинциями, из которых вышли великие
 писатели прошлого и наших дней.
 Говорю о Европе с ее матерями, которые и мне доводятся
 матерями.

Говорю о Европе, о ней.

Говорю о Европе с ее солнцем, вчера только выпущенным
 из-за проволоки, из-под стражи.
 Говорю о Европе с ее морозами, что не хуже Кутузова
 умеют армии неприятеля разбивать.
 Говорю о Европе тихо, с желаньем, чтоб ни один из ее купальщиков
 ни на одном ее пляже
 не вздумал бы песни военные распевать.

Говорю о Европе, которая на три века вперед наплодила героев
 отчаянных.

Говорю о Европе, что вчера лишь в армейских ботинках шагала
 и мчалась верхом.

Говорю о Европе с ее великанами, улыбающимися печально.

Говорю о Европе с ее рифмами и с ее свободным стихом:

милая моя Европа, вся, от Требиня и до Тулы, мне видишься ты.
 Ты тиха утрами воскресными, как старушка на скамейке бульвара.
 Даже слышно, как жена моя ставит в вазу цветы
 и как дышит моя маленькая Тамара.

БОЖИДАР ТИМОТИЕВИЧ

★

*Стихи о грядущем**С сербохорватского*

В те дни, когда мы собирались вместе
в садах, желтеющих у дороги,
к нам запросто приходило грядущее,
о котором мы знали из рассказов наших отцов.

Мы также из книг уже знали вполне достаточно,
чтобы с улыбкою умереть, если надо,—
наше будущее, стоявшее перед нами,
было нашим домом, хотя еще и без стен.

Мы к нему приходили из наших садов осенних,
бесконечной зимой, в холодную трудную пору,
когда в равной степени верили и не верили,
что и наше имя история произнесет.

Но мы умели радоваться, как дети,
и трудную зиму все-таки зимовали,
и даже с собственным сердцем порой воевали
и к стенке его ставили за обман.

Перевел Юрий Левитанский.

ЛЕВ ТИМОФЕЕВ

★

В СЕЛЕ БЛАГОДАТНОМ

Очерк

Благодатновскую церковь ограбили глухой зимней ночью. Грабителей было трое. Накануне они пили водку у целовальника в Ендовах и спрашивали, как добраться до Благодатного. Одного из них — высокого белокурого парня — через год поймали на конокрадстве, и целовальник опознал его.

Церковь сторожили двое мужиков. Их убили топорами. Трудно и долго убивали — в сторожа ходили с пиками, и теперь мужики сопротивлялись, как могли. Весь снег вокруг церкви был истоптан и залит кровью.

Когда первый из сторожей упал, второй закричал. Кричал он страшно, понимая собственную смерть. Крик этот слышали по всему селу, но нигде даже свет в окне не засветился. Проснувшись среди ночи, бабы в страхе так и оставались лежать, глядя перед собой в темноту и слушая недалекий предсмертный вопль. В ту пору мужиков почти не осталось — они были в зимнем отходе.

Церковь содержалась бедно, если не сказать нище, и грабители нашли унести только серебряную кадильницу да на три рубля медных денег.

Один из грабителей был ранен пикой — долго, верст десять за ним тянулся тонкий кровавый след. След этот обрывался на реке у проруби: двое здоровых столкнули раненого под лед.

Убийство и пропажу трех рублей медью обнаружили только наутро, когда уже совсем рассвело. Но еще до этого, в предрассветных сумерках, не понимая хорошенько, что же произошло, по селу высоко и негромко заголосили бабы.

Через год белокурого парня — крестьянина соседнего уезда — приговорили к вечной каторге. Третий из грабителей так и исчез где-то...

Эту историю я вычитал в старых церковных хрониках и ни разу не слышал о ней изустно за те годы, что езжу сюда, в Благодатное. И хотя этому страшному случаю живы еще свидетели, память о нем заслонилась событиями более крупными: войнами, недалекой отсюда антоновщиной и наконец голодными годами.

В прошлые времена неурожай на здешних бедных почвах случались часто, и любой такой год для иных мест мог показаться голодным, но в Благодатном свой счет: «Нет и нет, ты мне не говори — в тэм году, что ты вспоминаешь, голода не было. Твоя правда, и хлеб тогда не уродился, и картошка, словом, в поле пусто было. Но мы тот год в лесу желудей насобирали. Верно, зимой опухали — это точно, но не очень. Тогда из этой желудевой муки лепешки выпекали. Они хоть и черные, и зубы от них черные, но есть можно. В ту зиму всего трое-то и умерли... Нет, тот год голода не было — так, недород...»

Но даже и в урожайные годы хлеба никогда не хватало, и каждую осень, едва собрав с полей всякую малость, мужики собирались в отход: из Благодатного — овчинники, из Ендов — плотники, из Рамени — извозчики.

Дома оставались почти одни только бабы, и здесь был свой неистовый промысел — вязание. Вязали всегда и везде: дома, накормив детей и задав корму скотине; в телеге, едучи в город; на базаре, продавая готовые уже изделия; на

вечеринках и «улицах». Даже на кладбище хоронить соседей приходили с вязаньем в руках. Вязали молодые и старые, здоровые и больные. Слепые тоже вязали. И зарабатывали какие-то неуловимые и уж по крайней мере ничтожные деньги. И ежедневно, первым словом помянув бога, вторым тут же просили у него хлеба...

Теперь уже и память об этих временах исчезает постепенно. Давно уже в Благодатном колхоз, а два года назад он в совхоз преобразован. Прошлый год здесь был невиданный урожай трав. На сенокосе были высокие заработки. Доярки и те в летние месяцы по сто двадцать рублей получали. Нет нужды в отхожем промысле, а молодых и себе-то связать ничего не заставишь. Другие теперь зимы в Благодатном и заботы другие...

Начало ноября. Я в Благодатном всего на несколько часов проездом из Рамени. Стоит ясный предзимний день. Утром выпал было первый снег, но тут же растаял под солнцем.

Еще только приближаются Октябрьские праздники, но здесь они вроде бы уже начались. Два дня назад совхоз выплатил рабочим за уборку картошки. Приехали студенты, отпущенные из районного техникума механизации. Вернулись из соседней области девушки, ездившие туда помочь с уборкой свеклы. Они привезли с собой по мешку сахара.

По селу шумно, празднично.

Чуть в стороне от дороги, возле своего дома, стоя на сухой, теперь уже прошлогодней траве, хромой ветеринар Снычев играет на гармонии. Его жена — немолодая, но еще красавая бездетная баба, приплясывая, выкрикивает частушку:

У миленочка у Вани
Не хватает двух частей —
Нет у Вани зажиганья
И коробки скоростей.

Вокруг собрались соседи. Сменяются.

В совхозной конторе рабочий день. Сюда только слабо доносятся уличные звуки. Управляющий отделением Чекрышев, полный крупнолицый человек в черном кителе с расстегнутым воротом, сидит за письменным столом. Перед ним на стуле, прямо посреди комнаты, — Люба Подзорова, широкая в плечах и груди молодая девушка. Она, скучая, смотрит в окно. На ней под красным пальто уже надето праздничное платье из какого-то черного, тускло-блестящего материала.

— Почему же нет? — говорит Чекрышев. — Летом доярки знаешь по сколько зарабатывали?

— Да это мы знаем, — говорит Люба, — работали.

Люба мне знакома. Год назад она и вправду работала дояркой, и я тогда писал о ней.

— Работали... — говорит Чекрышев. — А раз работала, почему теперь не хочешь? Ты теперь одна...

— Нету, — говорит Люба, — не хочу... У нас по дому делов много... Мать болеет.

— Где же она болеет? — возмущается Чекрышев. — Я давеча видел — навильник сена пуда в три тащила.

— Нету, нету. — Люба, не глядя на него, отрицательно качает головой. — Не хочу. И не уговаривайте.

— Ну ладно, — вроде сдается Чекрышев. — Только смотри, как бы вас на будущий год сеном не обделили.

Во все время разговора Люба безразлично смотрела в окно, но здесь она поворачивает лицо к Чекрышеву и смеется, понимая, что разговор окончился в ее пользу.

— Не обделят, — говорит она, — мать заработает. А я на будущую весну на свеклу уеду. Там, говорят, весело — отовсюду съезжаются...

Уже в дверях она оборачивается.

— Вы не того уговариваете,— говорит она,— вы Зинку Панину позовите — она пойдет.

— Ладно, иди,— почти зло говорит Чекрышев,— как-нибудь разберусь...

Мы с Чекрышевым остаемся вдвоем. Он молча смотрит на меня, потом улыбается.

— Ты обедал?

Я говорю, что нет и не буду — сейчас уеду, а заехал я затем, чтобы попросить его, Чекрышева, подыскать мне квартиру,— я в начале декабря сюда недели на три приеду.

— Ну что же, приезжай,— говорит он,— по зайцам ходим. Польшинин-то, слышно, прошлый год собаку натаскал...

Декабрь. Давно уже время быть настоящей зиме, но снега все еще нет. Правда, иногда подмораживает, и тогда темные избытые срубы и набухшая от влаги щепка крыш делаются глянцевыми и тускло блестят, словно в ожидании какого праздника. Но особых праздников нету: и Михайлов день — здешний престол,— и День Конституции уже прошли, а до Нового года еще далеко.

Я живу в Благодатном в свободной и пустой половине старой избы. Другую половину занимают хозяева: старик Зрюев с женой и их взрослый сын. Сам хозяин когда-то был на различных должностях в колхозе и теперь бы должен отдыхать на пенсии, но бумаги о его довоенном стаже где-то погибли, деньги он получает совсем незначительные и подрабатывает починкой обуви. Цельными днями и даже по вечерам я слышу стук его молотка — редкий, с долгими паузами от удара к удару, словно, вогнав гвоздь, старик каждый раз прислушивается: не отзовется ли кто на этот стук. Но кругом тишина. И тогда он еще раз ударяет молотком и снова прислушивается.

Я в отпуске, но пороши для охоты все нет, и я, вместо того чтобы без надежды бродить по лесу, сижу дома и читаю.

Каждое утро я хожу за книгами чуть ли не через все село к новым домам, которые директор здешней восьмилетки Польшинин строит для себя и для других учителей. В одном из домов, уже законченном, но еще не заселенном, прямо на свежих досках пола, связанные в аккуратные стопки, лежат старые книги. Они принадлежат самому Польшинину.

Всякий раз я беру три — нет, лучше пять или шесть книг и уношу их к себе и целый день читаю или просто просматриваю, понимая, что прочесть их все у меня не хватит времени.

Я почти не жалею о потерянной охоте. Мне живется спокойно и счастливо, и никто не вмешивается в эту мою жизнь — разве что стук хозяйского молотка, но он как-то сразу и благополучно вошел в мой сельский быт...

Так продолжалось до того дня, когда ко мне зашел старик хозяин. Он открыл дверь уже в сумерках и, приближаясь, долго шел по пустой горнице. Я оторвался от книги и увидел, что вокруг уже темнеет. Зажег свет.

Старик был без шапки, в старом полушубке, брошенном на голые худые плечи, и в тапочках на босу ногу. Под полушубком на нем была одна только лinnenая синяя майка — она была выпущена поверх штанов и свободно, чуть не до колен обвисала его щуплое старческое тело.

Старик сел на лавку рядом со мной. У него было обиженное, тоскливое лицо.

— Не мерзнешь тут?— безразлично спросил он.

Я подышал перед собой — пара не было. Старик помолчал.

— Жена к нему едет с ребеночком,— вдруг сказал он.

— К кому?

— К нам сюда — больше ей некуда... Все-таки сын. Он в целинном крае год работал. Его жена-то. И ребеночек его...— Старик снова помолчал.— Женится неизвестно где... Одно слово — дурак...

Старик посмотрел на меня. Книга, которую я читал, сама по себе начала закрываться, и я перевернул ее корешком вверх, чтобы не потерять нужную страницу.

— Ты не слышал, там в школу учителя не нужны? — спросил старик.

— Нужны.— обрадовался я,— конечно, нужны.

— Ты уж будь другом,— старик просительно смотрел на меня,— поговори с Польшинным.

— Поговорю,— сказал я,— он только рад будет.

— И хорошо... Рад — не рад, а тебя послушается — корреспондентов все уважают... А то я было с Кучиным, с нашим предсоветом, договорился, чтоб в клуб ее, да он обманул — кого-то другого туда определяет... В школу-то чего лучше... А то ведь он уж завтра поедет за ней к автобусу.

Старик поднялся уходить.

— Приедет — они там у нас пока поселятся,— сказал он,— так что ты тут доживай. Я пришлю бабу, пусть протопит хорошенько и приберет.

Я поблагодарил, но отказался. Прибирать в пустой горнице было нечего. Старик направился к двери и, не обернувшись, вышел. Я слышал, как под ним проскрипели половицы общих сеней, потом мягко хлопнула обитая войлоком дверь на соседней половине, и тут же все вокруг сделалось тихо.

Декабрьскими вечерами такая тишина и одиночество, что даже звук обвалившихся углей в печи принимаешь за чьи-то шаги в сенях. Я начинаю читать статью о вязальном промысле, но глаза мои бесполезно скользят по строкам — нет, читать не хочется. Я набрасываю на плечи пальто и выхожу на крыльцо курить. Слышно, как где-то в лесу, должно быть, километрах в пяти отсюда, работает трактор.

Мимо меня по улице, осветившись светом моих окон, медленно проходит парень с транзисторным приемником в руках. Он что-то ищет в эфире, и из приемника, сменяя, забывая друг друга, раздаются шумы, музыка, голоса дикторов. Парень проходит, и звук радионастройки постепенно стихает. И снова слышен один только далекий трактор...

На противоположной стороне улицы на секунду зажигается и тут же гаснет карманный фонарик. Стучат кому-то в светлое окно.

— Любка, скоро, что ли? — кричит девичий голос.

Проходит минута, другая, и вдруг этот высокий, пронзительный голос запекает, закликает частушку:

Ты, подружка, не гордись —
Я любила шоферочна.
Каждый день машина «ЗИС»
Стояла у дворочка.

Едва только затихает долгое и тоскующее последнее «а... а... а», как голос опять взбирается наверх:

Не заметила сама —
Он ушел с товаркою.
Я теперь кругом одна —
Работаю дояркою...

Наконец слышно, как кто-то сбегает по ступеням крыльца. Но, сколько я ни вглядываюсь в темноту, разглядеть никого не могу, только слышу негромкий удаляющийся девичий говор.

Мимо опять бредет парень с приемником. Он все крутит, крутит ручку настройки. Голоса... Музыка... Снова голоса дикторов, мужчин и женщин... Но ему все это не нравится, а может быть, и вовсе ничего не нужно — его радует и забав-

ляет уже само звучание приемника, и он даже не прислушивается, о чем это говорят, кричат, поют, плачут радиостанции. Меня он не замечает, хотя и проходит мимо всего в двух шагах.

Наутро возле строящихся домов я встретил Польшину и сказал ему о приезде новой учительницы. Как я и думал, он обрадовался и велел ей сегодня же зайти к нему.

Когда я вернулся домой, невестка старика Зрюева уже приехала. Старик зашел ко мне с приглашением выпить стаканчик. Мне было неожиданно и странно увидеть его в темном, хотя и выцветшем от времени кителе с большими накладными карманами на груди — таком же точно, какой теперь носил управляющий Чекрышев. Казалось, что и шиты они были в одно время и даже одного размера, но Чекрышев располнел и заполнил собой эти одежды, а Зрюев так и не набрался тела, даже еще больше усох и ссутулился — китель был ему сильно велик. Тем не менее старик надел его с видимой гордостью, и то ли от кителя, то ли потому, что он давал угощение в семье, голос его сделался хозяйственным и распорядительным.

— Значит, так,— сказал старик,— давай собирайся. Там ждут.

Я извинился и от водки отказался, сославшись на дела. Тут же я сказал, что насчет учительства все договорено и что невестке надлежит сегодня же зайти к Польшину.

— Ну ладно, ладно,— сказал старик.— Это потом. А теперь все уже на стол собрано.

Я твердо отказался, и старик, нахмурившись, с достоинством вышел, не сказав больше ничего.

Целый день за стеной праздновали. До меня глухо доносились пьяные и неясные голоса, плакал ребенок, кто-то плохо играл на гармонии, потом два мужских голоса — старик и сын — вразнобой запели «Катюшу». Я скоро привык к этому шуму и даже не заметил, как все стихло.

Я люблю прийти вечером в школу к Польшину. Его директорский кабинет напоминает не то лабораторию, не то складское помещение, сплошь заставленное стеллажами и ящиками с образцами минералов, пород и окаменелостей древних, диких растений и существ. Все свободное от школьных занятий время Польшин уделяет геологии. Я люблю слушать, как он спокойно объясняет смысл той или иной находки. При этом он не настаивает, не спешит делать окончательных выводов, но всегда оставляет место для сомнений и тем самым как бы приглашает меня, случайного слушателя, поразмыслить вместе с ним. Мне это льстит. Я делаю свои, мало серьезные предположения, и Польшин мягко, но убедительно отвергает их одно за другим. Все это похоже на увлекательную игру, и потом, вспоминая о ней, я всякий раз завидую его ученикам...

Впрочем, сегодня наш разговор далек от науки, и то, что говорит Польшин, очевидно, не терпит возражений:

— Нет, такую собаку, как мой Бурый, ты больше нигде во всем районе не найдешь. Он, стервец, по заборам, как кошка, лазает. А в работе, в работе... Как след возьмет, так только потягивает, но если зайца подымет — недровым голосом раскатается и не замолчит, хоть весь день одного гонять будет...

Мой приход оторвал Польшину от работы над кандидатской диссертацией, но он, видимо, не сердится — погоды для охоты нет, так хоть поговорить о зайцах и о собаках.

— Погоди, снег выпадет — еще посмотришь на Бурого... Я на Затоне одно место знаю, прошлый год там весь снег следами истоптан был.

— Чекрышев просился,— говорю я.

— Ну что же, возьмем,— говорит Польшин,— хотя его, старого пройдоху, и надо бы наказать. Понимаешь, сына своего к нам в школу хотел учителем пристроить... Погоди, погоди, а ты-то мне кого прислал?

— Кого я тебе прислал?

Полынин смеется.

— Зрюева твоя — она же ведь бухгалтер, счетовод.. Ты это брось,— серьезно говорит он.— Что вам школа — биржа труда, что ли? Я только недавно уволил одну, у нее образования было — краткосрочные курсы колхозных агрономов. Да еще судился с ней — уходить не хотела. Она пятнадцать лет как в школу пристроилась и к учительской зарплате уже привыкла. Вы, друзья мои, поймите: здесь детей учат — школа, а не дом призрения. Детей-то учить — надо и самому кое-что знать. А вы хотите...

— Да ничего я не хочу... Я и не знал даже.

— Ну, ну — если только не знал...

Мы помолчали. Говорить об охоте больше не хочется. Я поднялся уходить.

— Ты пойми,— как бы извиняясь, говорит Полынин,— мне учителя вот как нужны. Я и квартиры строю с запасом, в расчете на будущий приезд. Но не могу же я и Зрюеву твою, и Чекрышева, и Любку Подзорову, и кто там у нас еще по селу без дела ходит,— не могу же я их всех в учителя... Им самим еще учиться.

— Да будет тебе,— говорю я,— ты словно бы извиняешься передо мной.

— Я не перед тобой. Я это к тому, что самому жалко,— Зрюева-то, она же толковая, видно, девчонка... Жалко, что не учительница... Мы бы ей квартиру дали — центральное отопление, газ...

С утра за стенкой ругаются. Впрочем, мне слышен только голос старика — очевидно, мы с ним сидим спина к спине по обе стороны бревенчатой стены.

Старик говорит, что он не намерен кормить в доме дармоедов, что было время — он всем нужен был, тогда и дом полным содержался, а теперь Кучин и тот его обманывает; корреспондент этот, жилец, тоже обнадежил, а сделать не сделал. Что нынешний год им самим со старухой картошки едва на зиму хватит, что Василий — сын его — только двадцать рублей за последний месяц принес, и неизвестно, когда его машина отремонтируется, а хоть она и в порядке будет, так зимой Василий все равно больше того не заработает.

Старик говорит злые слова, но голос его по-старчески беспомощен и ворчлив. Я почти уверен, что он опять в своем полушубке, накинутом поверх майки.

Потом старик говорит о разделе имущества, что Василию по закону не полагается, что закон: кто не работает, тот не ест, а Василий по закону не наживал, а все по целинам катался. И вообще Василий дураком уродился, и право, что молодой гусь с головы залезает: женился бы здесь, взял бы девку с хозяйством и при деле. Хоть бы и Любку Подзорову — она теперь свободная... А эту... Куда он теперь ее устроит?

Слушать весь этот разговор мне неприятно. Я надеваю пальто и ухожу на улицу.

Погода все еще стоит теплая, сырая и пасмурная. Идти в лес бесполезно, да и пока дойдешь, по пути в грязи увязнешь. Поэтому я не торопясь иду по хорошо утоптанной дороге мимо потемневших деревенских изб к свежим срубам новых учительских домов. Их четыре, но оконные переплеты и стекла вставлены только в одном, а остальные пока пусты и насквозь раскрыты, и от этого хорошо видно, как они светлы и просторны внутри. «Центральное отопление, газ...» Говорят, Полынин каждый день после уроков приходит сюда. Не то чтобы у него здесь дела были, а просто так, отрадно ему посмотреть...

Я возвращаюсь домой не по улице, а задами. Огороды выходят на высокий коренной берег над поймой. В лугах теперь все черно и безжизненно. Даже потемневшие от влаги стога сена, кажется, никак не относятся к прошедшему лету, но стоят здесь уже многие годы.

Снизу в гору от ближнего озера медленно поднимается баба в зеленой телогрейке. На плече у нее коромысло, спереди и сзади тяжело обвешанное сти-

раным бельем. Я вдруг вспоминаю, что мне нужно купить мыло, и чужим огоро- дом выхожу к магазину.

В магазине никого нету — даже продавщица и та где-то в боковом помеще- нии.

— Кто там? — спрашивает она оттуда. — Я сейчас.

Но прежде чем она появляется, широко распахивается входная дверь, и, не снимая с плеча сырого белья, входит женщина в зеленой телогрейке. Это Снычева.

— Манька! — кричит она продавщице. — Иди, что ли, человек ждет!

Вытирая руки о подол, выходит продавщица.

— Мне селедок оставила? — спрашивает Снычева.

— Ой, Нюра, а как же, — радостно говорит продавщица.

— Клади сюда, — говорит Снычева и поворачивается так, что передний край палки, обвешанной бельем, оказывается над прилавком. Продавщица достает газетный сверток и кладет его сверху, прямо на белье. Снычева свободной рукой дотягивается до свертка, но не снимает его, а только поплотнее прижимает к белью.

— Тогда зайдешь за деньгами, — говорит Снычева.

— Да уж найду, найду, — охотно соглашается продавщица.

Я спешу открыть дверь, и Снычева, чуть улыбнувшись моей торопливости, спокойно и плавно выходит из магазина.

Я спрашиваю у продавщицы мыло и чай, а сам все смотрю в широкое окно, где ровно движется женское лицо посреди коромысла, обвешанного стиранным бельем.

— Что, понравилась? — смеется продавщица. — Она теперь-то похудела, а была красивая женщина... Только черт. Охалка такая! — восторженно говорит про- давщица. — Мы как-то блины вместе с ней печь собрались — соседи мы. Так она тесто в окно ну давай кусками швырять. Все равно, говорит, все их не перепе- чешь — много. Ой, бродяга!.. А любовь тут у ней была — насмерть прямо, вешать- ся собиралась, когда оставил... Вот только детей у ней не получилось. Мужик, что ли, у нее теперь неподходящий?..

Расплатившись, я выхожу из магазина. Почему-то мне радостно от этого восторженного отношения продавщицы к Снычевой...

Возвращаясь домой, я твердо решил съехать от Зрюевых и уступить свою горницу Василию с женой. По пути я навестил одних знакомых и договорился с ними о постое. Потом, не заходя к себе, я постучал на хозяйскую половину. Мне никто не ответил, но все же я открыл дверь в избу.

Старик в своем углу подшивал валенок. Он даже не поднял головы, когда я вошел. Хозяйка собирала на стол ужинать. Она быстро обернулась на звук открывшейся двери и, увидев меня, вдруг опустилась на лавку и заплакала — маленькая, совсем седая старушка.

— А где молодые? — спросил я.

Хозяйка вытерла лицо серым кухонным полотенцем, медленно поднялась и начала резать хлеб.

— Нету, — сказала она, — съехали от нас.

— Уехали?

— Уедут, как же, — сказал старик, яростно продергивая дратву, — без гро- ша-то... У Мори они, у сестры ее. — Он кивнул головой в сторону жены. — Те- перь, должно, разделяться будем...

— Да уж ты поделишься, — вдруг зло сказала хозяйка, — скорей отелишься.

— Это присудят, — уверенно сказал старик. — Как думаешь? — обратился он ко мне.

Я сказал, что не знаю, и вышел.

Ко мне в гости пришла Люба Подзорова. Но прежде чем она постучалась, за окном долго слышался девичий переговор, смех, кто-то несколько раз поднялся по ступеням крыльца, но тут же сбегал обратно, и снова за окном смеялись. В кочце концы дверь открылась, и вошла Люба.

Теперь она сидит чуть поодаль от меня на лавке, сложив на коленях большие руки и глядя прямо перед собой. Очевидно, у нее ко мне какое-то дело, но она смущается начать разговор.

— В клуб собрались? — спрашиваю я, чтобы помочь ей.

— Нету, — говорит она, обрадовавшись, — мы в клуб не ходим. А чего там делать? Ребята в домино играют, а радиолы сломались... Так, если когда кино, то после иногда остаемся, анекдоты рассказываем. — Люба смеется. — Вот на Михайлов день было весело... Тогда в Ендовах гармониста украли...

— Как так украли?

— А Васька Зрюев ваш и еще этот с ним, Чекрышев-транзистор. ходил. Они там гармонисту бутылку купили, а потом его на тачку положили и сюда привезли на себе.

— Что же с него толку-то было? — смеюсь я.

— Было. — серьезно говорит Люба. — Играл всю ночь. А ендовские на следующий день прибежали, господа, — обокрали, обтрясли, чего не было унесли.

— Что же вы радиолу-то не почините?

— Это завклубом... Да она так, мало интересуется. Она только откроет клуб да печь затопит, а закрывают уже те, кто последние остаются... У ней по хозяйству делов много... В общем, она плохо обеспечивает. — Люба смотрит на мои книги. — А вы все книжки читаете?.. Я тоже одну книжку недавно прочитала — «Черное море».

Кто-то постучал в окно, но тут же слышно, что отбежал прочь. На улице засмеялись.

— Я вот что спросить вас хотела, — говорит Люба, — не знаете, в Москве или в Рязани на производство устроиться трудно?

— Не знаю, — говорю я, — наверное, можно. Я там давно не был... Хотя в Рязани можно. А что же здесь? Или наскучило дома?

— Да нет, — говорит Люба, — не то... Здесь хорошо. И природа у нас красивая, и все... Нам бы тут производство — и уезжать не надо.

— Какое же еще производство? У вас совхоз перспективный. Вы, я слышал, и заработали неплохо.

— Да заработали... Только ведь производство, это когда весь год работают и специальность дают. А тут даже и не знаешь, какие специальности на свете есть... Доярка да механизатор...

— А что же доярка? Помнится, вас на совещание передовиков посылали...

— Да что вы все заладили: доярка, доярка. — Глаза у Любы сделались злыми. Она быстро посмотрела на меня, но тут же отвернулась.

— Любка, мы пошли! — кричат за окном.

— Я эту специальность вот как превзошла, — говорит Люба. — Два года потратила... Я замужем была... Он теперь уехал... Так, бывало, наутро он говорит: «Что это ты ночью всю подушку руками изжевала?»... А я шестнадцать коров выдои, да когда по три раза. У меня и ночью все руки сжимаются. А вроде с детства привыкла... Нету, не надо... Теперь не так жить можно. Это, конечно, у кого с семейным положением трудно... Вот Зинка Панина... А я одна. Мне довольно — домой приходила, и говорить-то ни с кем не хотелось... А он говорит: несчастная... Он шофер, у него специальность. Куда хочешь устроишься.

Я молчу. Она поднимается. Улыбнулась.

— Ладно, извините, я пойду... Я только узнать... Если в Рязани хоть как-то можно устроиться, я устроюсь. А может, и с общежитием можно, а?

— Думаю, что можно, — говорю я, — на стройку наверняка можно...

Она ушла, и я слышу голоса на улице. Видно, подруги дождались ее.

И снова бесконечный вечер и тишина. Слышно, как на соседнем дворе кашляют овцы. С улицы вдруг раздается и, уходя, затихает беспорядочный звук радионастройки. И опять тишина. Если бы знать наверное — будет в ближайšie дни пороша или нет, можно было бы что-то решить, что-то предпринять, надеяться на что-то или, махнув рукой, уехать. А так — читать нельзя, потому что каждое прочитанное слово начинает звучать в голове, идти некуда... Я даже жалею, что у меня нет приемника, — я бы настроился на какую-нибудь станцию и слушал бы тихую музыку, или пусть бы просто диктор говорил, хотя бы и на непонятном языке — все не было бы так тихо.

Невестка моего хозяина, Женя Зрюева, — совсем еще юная, почти девочка. Она рыжеволосая, у нее светлые брови и ресницы и круглые, совсем круглые, как бы удивленные глаза. Когда я вошел в избу одинокой тетки Мори, там никого, кроме Жени, не было. Увидев меня, она отвернулась и стала застегивать кофточку на груди. Ребенок ее спеленатый лежал на большой и высокой Мориной кровати. Женя быстро и легко пошла по избе, поставила для меня стул, убрала со стола какие-то свои вещи, подошла к ребенку, взяла на руки и, покачивая его, села передо мной.

Я представился по имени и сказал, что съезжаю от Зрюевых и они — Женя и Василий — могут в ту горницу перебираться.

— Спасибо, конечно, — сказала Женя, — только мы туда не поедem. У нас ребенок, а там иней в углу... Я заходила, когда вас не было. — Она посмотрела в лицо спящего ребенка, улыбнулась и взглянула на меня. — Так что живите... Мы вам и так уже столько беспокойства сделали...

— Какое же беспокойство? — сказал я. — А вы, Женя, где учились?

Она вдруг смутилась и совсем склонила лицо к ребенку.

— Вы не думайте, — тихо сказала она, — я не обманывала. Мне говорили, что вы все устроили. Я и обрадовалась. Я учительницей всегда мечтала. А у нас там, на целине, курсы бухгалтеров открыли. Все пошли, и я тоже... А вашему директору я так и сказала: может, он меня бухгалтером возьмет... Только я не обманывала... Я только мечтала... А так у меня специальность есть...

— Ну вы бы и попробовали в совхоз, — сказал я.

— Василий спрашивал, с ним и разговаривать не захотели. — Женя справи-лась со смущением и подняла на меня глаза. — Если бы я знала, что так будет, я бы, честное слово, до весны не приехала бы. Как жить будем — не знаем. До апреля заработков не предвидится. Василий бы машину отремонтировал, но теперь, как назло, запчастей нету... Вот как, — сказала она, словно бы обращаясь не ко мне, а к своему ребенку на руках, и коротко кивнула ему головой.

Мне вдруг показалось, что она может сейчас расплакаться.

— Ну хорошо, — сказал я, — хорошо, хорошо... Я поговорю в совхозе. Думаю, найдут они вам работу.

— Ой, что вы, — сказала Женя, — спасибо вам... Вы к нам приходите... Даже если вам не захочется в совхозе насчет этого говорить. Просто так приходите. Вы с Васей подружитесь — он, знаете, как по-птичьи свистеть умеет. Вот удивитесь... А то сейчас вечерами-то пойти некуда. — И, прощаясь, она протянула мне руку поверх ребенка.

Я пообещал, что непременно зайду.

— Постоянства в жизни — его кто же не хочет, — говорит Чекрышев, — постоянство всякому делу первая основа...

Завтра воскресенье, прогноз погоды обещал на ночь снегопад, и теперь мы сидим с Чекрышевым у него дома и, отчаянно надеясь на этот прогноз, набиваем патроны для завтрашней охоты. Воспользовавшись случаем, я попросил Чекрышева подыскать работу для Жени Зрюевой, и эта моя просьба как раз и вызвала разговор о сезонном и всяком ином постоянстве в нашей сельской жизни.

— ...Вот возьми хотя бы животноводство,— продолжает Чекрышев, аккуратно засыпая в патроны порох. (Моя работа — забивать пыжи.) — Мы в животноводстве постоянства этого и в глаза не видели... Вот только кормов у нас постоянно не было, а на все другое — что ни год, то своя мода. Свиной мы здесь разводили? Разводили... Хотя кормить их тут ну совершенно ясно, что нечем. А уж мы их и в темноте содержали, окна-двери в свинарнике забивали — темный откорм называлось... И в лесу пасли, как коз... И в воде они у нас плавали...

— Разве свиньи плавают? — удивился я.

— Да это, жрать нечего — поплывешь... Велели для них лагерь на берегу пруда устроить. Устроили. И вот она, свинья то есть, в своем закуте все сожрет и к соседке спокойно переплывает и там еще подожрет. Какие свиньи характером побойчее — те держатся, а какие поробее — те подыхать готовятся. Это у нас тогда еще здесь колхоз был. Твой Зрюев председательствовал... Как новая мэда, так он, бывало, первый рапортует: есть, готово, сделали. А что сделали? Хоть так, хоть эдак — кормить-то все равно нечем... А потом три плана по мясу! А кукуруза? А травопольщики?.. Я тебе не о вредности, не о вредности... Вредность эту нам уже в газетах достаточно объяснили. Я к тому, что нам бы здесь решать, что полезно, а что нам вредно. А то ведь все мысли откуда-то присылаются... Ну, правда, теперь у нас совхоз, с зарплатой вроде получше стало — и уже хорошо. А Зрюеву эту... Ну куда я ее дену? Конторские у нас все в комплекте. Будь бы она зоотехником или агрономом... В растениеводство? Да за последний месяц там работ всего на четыре человеко-дня понадобилось по всему совхозу. Четыре человека один день работали или один четыре дня трудился — это как хочешь считай... Вот разве что дояркой?

— Она не может, — говорю я, — у нее грудной ребенок.

— А что же, у нас одна работает с ребеночком. Панина Зинаида. Так что, если сумеешь Зрюевой предложить — предлагай. Возьмем.

— Нет, — говорю я, — не сумею.

— Вот видишь... И я не стану.

Теперь мы с Чекрышевым меняем род своих занятий: я отмеряю и засыпаю дробь, а он ставит картонные пыжи и заливает их воском. Работа эта однообразна и, казалось бы, скучна, но мне она приятна, поскольку в ней всегда присутствует мечта о завтрашней охоте.

— У меня, друг, у самого беда такая же, — продолжает Чекрышев. — Сын у меня из армии вернулся. Думал я — поживет. Приемник я ему транзисторный к приезду купил, на костюм деньги приготовил. Скажу по чести, и насчет работы заранее договорился: предсовета Кучин давно собирается клубного работника увольнять, так я своего парня на ее место решил... А он теперь уезжает. В Сибирь на стройку подается.

— А что же завклубом-то? — говорю я. — Может, Зрюева для этого подойдет?

— Ты поговори, поговори с Кучиным-то. Глядишь, и поладите...

Патроны наши уже набиты и стоят рядом, как солдаты.

Согласно прогнозу на улице начало подмораживать, и к вечеру у меня в горнице сделалось совсем холодно. Я затопил печь, приготовил себе поесть. За окнами смеркалось, а в горнице и вовсе стало темно. Я открыл печную дверцу и сел на край лавки лицом к жару, ожидая того момента, когда можно будет закрыть заслонку и лечь спать. Спокойно и лениво смотрел я на догорающие угли, над которыми время от времени вспыхивало и тут же исчезало легкое голубое пламя.

За стеной разговаривали, но я старался не вслушиваться. Наконец там хлопнула дверь, и сразу же кто-то затоптался в сених, словно пытаясь, но не умея

войти ко мне. Я поднялся, прошел через горницу и открыл дверь. В сенях стоял Василий Зрюев. Под мышками у него были две курицы.

— Ко мне? — спросил я. — Заходи.

Он вошел и повернулся к двери, чтобы закрыть ее, но руки у него были заняты. Я закрыл сам и пошел впереди него к тому краю лавки, где сидел, и снова сел лицом к открытой печи.

— Садись где-нибудь, — сказал я.

Он тоже подошел к печи, но остался стоять, освещенный красным отсветом. Курицы у него в руках от неудобства ворочали головами.

— Разделились, — сказал он. — Решили до суда не доводить. Нам пять мешков картошки досталось, вот эти две курицы и козу еще через день доить.

Я промолчал.

— Вы в конторе не были? — спросил он.

— Разговаривал. Пока ничего.

— Ну да, — сказал он, — и не будет ничего. Здесь зимой с работой плохо. Я смотрел на догорающие угли. Огонь уже больше не вспыхивал. В печи все было красно и жарко.

— Что же с целины уехал?

— Да здесь хоть лес и речка... Я у дедушки на кордоне вырос-то... Отец нас вроде бросил тогда. Он тут ходил к одной. Она теперь за ветеринаром... А наш тогда председателем был... Мать в райком ездила. Приказали ему к нам вернуться. Сказали, что с председателей снимут... Пять лет я в лесу у дедушки жил. Там хорошо... Мне бы и теперь не шоферить, а егерем либо охотоведом... Только ведь учиться этому надо, а у меня семья... Вы не слышали, говорят — кроликов разводить хорошо? Я бы стал, да у нас этим никто не занимался, не знают как.

— Я тоже не знаю, — сказал я. — Да ты садись, садись, что же стоять-то?

— Да нет, — сказал он, — я пойду. Я спросить только насчет нее. А то ведь ей тоже не сладко...

— Завтра, — сказал я, — или нет, послезавтра я зайду к вам.

Я проводил его на крыльцо и остался стоять, глядя, как он уходит по мерзлой земле в свете моих окон, держа под мышками двух куриц.

На совхозной ферме все было темно, кроме одного маленького зарешеченного окна в дальнем углу коровника. Само помещение коровника старое и низкое. Сушила над головой сплошь забиты соломой, а от этого коровник казался еще ниже и длиннее, и дальний конец его тускло освещен желтым светом. Пахло животным теплом, сухой травой и навозом. Слышно было, как жуют едва различимые в темноте коровы.

В центре освещенного пространства стояли двое: доярка Панина и ветеринар Снычев. Я подошел и поздоровался. Они оба быстро посмотрели на меня, но тут же отвернулись.

В стойле перед ними лежала корова. Морда у нее была вытянута вперед и глаза чуть выпучены от напряжения. Время от времени она оглядывалась, точно старалась отмахнуться от боли, как от оводов.

— Ну лежи, лежи, — сказал Снычев, — теперь уже скоро.

Он снял с себя полушубок, по локти закатал рукава рубахи и, чему-то улыбаясь, начал густо смазывать руки вазелином. Потом, сильно припадая на одну ногу, он быстро обошел вокруг коровы и вдруг остановился возле меня.

— Помочь не желаете? — все усмехаясь, спросил он.

От неожиданности я ничего не ответил, только пожал плечами. Снычев сделал еще два шага и остановился близко против Зины Паниной. Она отвернулась.

— Снимай жакет, — сказал Снычев, — замараешь.

Панина стояла прямо и смотрела мимо него туда, где — слышно было — жевали и вздыхали невидимые в темноте животные. Снычев презрительно, как-то

сбоку оглядел ее и отвернулся. Он широко расставил смазанные вазелином желтые и от этого как бы неживые руки и, хромя, опять быстро пошел вокруг лежащей коровы, словно исполняя странный ритуальный танец.

Корова стонала. Уже показались передние копыта и слепая морда теленка — все это слабо блестело, как будто было покрыто лаком. Снычев остановился. Он поправил ногой кусок брезента, подоткнутый под корову, склонился над ней и вдруг неожиданно мягко и нежно провел свои руки мимо телячьей морды в глубь коровьего тела. Потом секунду помедлил и наконец быстрым и ловким движением вытянул всего теленка наружу. Теленок мягко стукнулся об пол. Снычев на секунду распрямил свою спину и снова склонился.

Я посмотрел на Панину. Она стояла все так же прямо и молча плакала. Снычев взялся за брезент, на котором лежал теленок, и подтащил его под коровью морду.

— Ну оближи, оближи его, — сказал он и тут же резко обернулся к Паниной. — Полотенце давай.

Панина быстро сняла с низкого стропила и подала ему полотенце. Снычев начал медленно вытирать руки.

— Ну, как? — спокойно усмехаясь, спросил он Панину.

Она засмеялась сквозь слезы.

— Дурак, вот как, — сказала она и, взяв пустое ведро, ушла за водой..

— Жалостливая, — сказал я.

— Так-то она, в общем, баба ничего. Вот если бы еще замужем... А так она скотину любит, хоть и через нужду сюда пришла... Доярка — тоже специальность от души идет. А то у нас всякие были. Да хоть бы и ударница наша — Любка Подзорова. Коров, бывало, по стойлам распахает как попало, а корова — она привыкает, кто у нее справа стоит, кто слева. Чуть что не так, она тебе сразу удоем скажет... Нет, Панина-то — эта будет дояркой. А что она сегодня так, это не смотрите. Первый отел. Присмотрится еще.

Прогноз погоды обманул — снег гак и не пошел...

На следующий день хоть и выходной был, но я все же застал Кучина в Совете. Он сразу же согласился на то, чтобы Женю Зрюеву сделать завклубом.

— Слушай, — сказал Кучин, — давно, слушай, пора нам толкового завклубом иметь. А то наша и как-то ничего не делала, и еще муж у нее проворовался, на полтора года ушел. А у нас зимой работы мало. Нам культурно-массовую работу проводить надо. Ведь у нас... Недавно человека из соседней деревни украли... Некультурно. слушай, получается.

Я согласился, что хороший клуб — большая помощь.

— А она, слушай, справится? — спросил Кучин.

— Должна справиться. — сказал я. — Все-таки грамотный человек. Десятилетку окончила. Во всяком случае хуже не будет, можно попробовать.

— Ну, давай, слушай, — сказал Кучин, — пусть дела принимает. Я с управлением культуры договорюсь. Надо, слушай, ломать эту практику... С закупками у нас неважно — вот собираюсь по деревням за молоком ехать, — так, может, хоть по культурной линии вперед выйдемся...

Выйдя из сельсовета, я встретил Василия Зрюева и сказал ему, что Женя может работать завклубом. Все уже договорено, и пускай она принимает дела. А я, к сожалению, зайти к ним не смогу уже — собираюсь уезжать.

Мне и впрямь уже пора ехать. Отпуск мой кончается, а время для охоты все не приходит. И все-таки на следующее утро я беру ружье и иду в лес. Подморозило, но снега нет. Теперь, верно, до самого Нового года. «Зимы ждала, ждала природа. Снег выпал только в январе...»

В лесу все пусто и прозрачно. Шаги по оледенелым сучьям хрустко раздаются вокруг, и их, должно быть, далеко слышно. Ничьих следов на мерзлой земле различить невозможно. Я хожу по лесу часа два или три и, так ничего и не увидев, возвращаюсь в село. «Зимы ждала, ждала природа...»

Дома я собираю книги и несу их к Польшину в школу, чтобы заодно проститься с ним. Уроков у него нет, и мы долго сидим и разговариваем об охоте, о его работе, о предстоящей зиме...

Машина в город должна была идти только завтра в обед, и вечером я зашел к хозяевам расплатиться за постой. Старик работал с молотком в руках. Он загонял гвоздь в подметку сапога и потом, откинувшись, словно присматривался — ладно ли сделал, и только после этого прилаживал и загонял следующий.

Я сказал, что уезжаю. Старик продолжал работать. Хозяйка молча сидела за столом и все с ожиданием смотрела на меня, словно я должен сказать еще что-то.

— Женя будет работать завклубом, — сказал я.

— Ой, что же это я, — сказала хозяйка, — вечеряйте с нами.

Я поблагодарил, сказал, что только поел, и положил на стол деньги.

— Не обидел? — спросил я.

— А вот тут у тебя один раз электричество всю ночь горело — читал ты, что ли, — так это в общий счет? — спросил старик.

— Нет, отчего же, — сказал я и добавил еще полтинник.

Я уже пошел к двери, когда старик остановил меня.

— Погоди, — сказал он. — Мы с моим дураком-то разделились, а теперь выходит, зря?

— Не знаю, — сказал я.

— Зря, точно зря, — сказал старик. — Если она работать будет... Ты их увидишь... Это... пусть уж возвращаются. Когда надо будет, мать со внуком-то посидит.

Я сказал, что уже не увижу их.

— А с разделом-то мы оплошали, — сказал старик, снова принимаясь за работу. — Те две курицы, что у нас остались... Одна-то испортилась — не нестся...

Я попрощался и вышел.

Снег начал идти еще ночью, и в полдень, когда я вышел с рюкзаком из дома, все еще шел снег. Кругом было все бело: и сельская улица, и крыши изб, и ветки деревьев, где снег от безветрия повисал долгими махрами. И даже женщина, которая шла мне навстречу, вся была облеплена белым снегом. Когда она подошла ближе, я узнал Женю Зрюеву.

— Ну что, Женя, принимаете дела? — весело спросил я.

— Приняла уже, — тихо сказала она. — Только я в клубе работать не буду.

— Отчего же?

— Да ведь их четверо: сама да еще трое детей у нее. Я про теперешнюю завклубом говорю... Они же на эту зарплату живут... Я, извините, не буду... Да я уже и договорилась с Чекрышевым. Дояркой. Сегодня утром и группу приняла... Как думаете, смогу? — она подняла на меня глаза.

Я молчал.

— Но ведь работают же, — тихо и неуверенно сказала она.

— Да, Женя, конечно, — сказал я, — конечно, работают... Сможете... Но вы же в учительницы хотели. Вам учиться надо.

— Потом... — сказала Женя.

Машина в город уже собралась отправиться. Место в кабине занято женщиной — бухгалтером, и я залезаю в кузов, где на большой охапке соломы уже

лежит Чекрышев-младший, Чекрышев-транзистор, как его теперь прозвали. Приемник висит у него на шее и наконец-то настроен на одну волну.

— «Сокол»? — спрашиваю я.

— «Сокол»... — говорит Чекрышев. — Сорок два девяносто восемь... А вы не знаете, сколько новая «Спидола» стоит?

— Нет, не знаю..

Передают футбольный репортаж. Играют где-то в далекой и жаркой стране.

Машина идет через все село, и я смотрю, как мы проезжаем мимо животноводческой фермы, потом мимо того дома, где я жил и где теперь стучит, верно, своим молотком старик Зрюев: наконец мы минуем новые, но пока еще пустые и раскрытые учительские дома.

Идет густой снег, и село Благодатное тут же пропадает в нем, как только мы минуем последние строения. Мы въезжаем в лес, и все идет, идет снег. Начинается долгая среднерусская зима.



ПУБЛИЦИСТИКА

О. ЛАЦИС

★

НЕТ ИСКЛЮЧЕНИЯ БЕЗ ПРАВИЛА

Заметки об экономике строительства

Давно уже стала общеизвестной истина: судьбу любого дела решает человек. Слова эти даже как-то стерлись от непрерывного употребления, и все же выраженную ими мысль мы забывали слишком часто. И только в хозяйственной реформе, начатой в 1965 году, вновь отразилось во всей полноте понимание этой истины: мало придумать самые лучшие планы, инструкции и показатели — необходимо еще и желание людей выполнять их, нужна инициатива трудящихся. Сегодня мы вновь повторяем во весь голос знаменитый ленинский лозунг: предприимчивость, соревнование, смелый почин.

Раньше всего реформа началась в сельском хозяйстве, и первый же шаг ее превзошел все ожидания. Пленум ЦК КПСС принял решение в марте, перед самым севом, — казалось, решительного действия в начавшемся году нельзя будет заметить: в сельском хозяйстве не скоро дело делается. Год выдался засушливый, урожай зерна был много ниже, чем в предыдущем году. ЦСУ собралось подводить печальные итоги. Подсчитали — и обнаружилось, что общий объем продукции сельского хозяйства не только не упал в неурожайный год, но даже вырос на два процента. Рост производства в трудоемких и традиционно отстающих отраслях — животноводстве, овощеводстве — с лихвой перекрыл недобор зерна. Экономические рычаги сработали на удивление быстро и безотказно. Вот уж подлинно экономическое чудо!

В следующем году исцеляющую силу хозрасчета ощутили на себе первые сотни промышленных предприятий. Об их успехах много писали — повторяться нет нужды. Напомню только, что, при всей незавершенности реформы в промышленности, и здесь первый же толчок хозрасчета по своей силе превзошел все прогнозы. Дополнительные задания, принятые на себя предприятиями согласно новой системе, были вскоре же далеко перекрыты, а ведь казались всем такими напряженными.

На фоне общего движения реформы еще заметнее продолжающееся уже много лет отставание строительства. На недавней сессии Верховного Совета СССР, утверждавшей новый годовой план и бюджет, ни для кого не были неожиданными слова из доклада председателя Госплана СССР Н. К. Байбакова: «Недовыполнен план капитального строительства и ввода в действие производственных мощностей и жилой площади». То же самое говорилось и в прошлые годы — об этом напомнил в содокладе на той же сессии председатель планово-бюджетной комиссии П. А. Розенко. Выступавшие на сессии вновь напомнили о самом главном бедствии — росте незавершенного строительства.

Почему я утверждаю, что из многих бед нашего строительства именно эта — главная? Потому что только при Иване Калите считалось: лежат деньги — зна-

чит целы, слава богу. Давно уже известно иное: лежат — значит пропадают. Деньги должны двигаться, оборачиваться, ибо только в движении рубль обрастает новыми копейками. На 1967 год, например, запланировано ускорение оборачиваемости оборотных средств в стране всего на два с половиной процента. Но это «всего» даст бюджету миллиард рублей.

Сегодня в нашей стране в самые разнообразные строящиеся объекты, начатые и не оконченные, вложено около тридцати миллиардов рублей. Считается, что в среднем современное предприятие должно окупаться лет за семь — примерно по пятнадцать процентов стоимости в год. Следовательно, продержат тридцать миллиардов замороженными лишний год — значит потерять безвозвратно четыре с половиной миллиарда.

Расчеты эти весьма приблизительные, они лишь должны дать представление о масштабах проблемы. А проблема заключается в том, что наши стройки, за редкими исключениями, затягиваются сверх нормативного (то есть вполне достижимого при современной технике) срока. Причем часто затягиваются не на один год. Например, Западносибирский металлургический завод (стройка особо важная, снабжаемая без отказа) дал первый металл после восьми лет строительства, а до полного цикла ему и сейчас далеко. В том же городе тридцатью годами раньше подняли Кузнецкий комбинат за три-четыре года.

В Ростовской области не так давно несколько шахт вместо трех-четырех лет строили по восемь—двенадцать лет. В Кузбассе цементные заводы строили по восемь—десять лет.

Нарушение сроков строительства стало правилом, а не исключением. Потери от этого не ограничиваются выключением из оборота нескольких десятков миллиардов рублей. На строящемся заводе есть своя дирекция и обслуживающий персонал — меньше, чем на действующем, но есть. Строящийся, как действующий, надо охранять, освещать, поддерживать в порядке, а если дело затягивается — ремонтировать. В сахалинском городе Шахтерске я лазил в шахту, которую строили десять лет. Десять лет работали насосы, вентиляторы, поддерживалась крепь в штреках. Некоторые выработки завалились и были пройдены заново. Эта шахта обошлась раза в два дороже, чем следовало, только из-за одной затяжки срока строительства.

Завод не вступает вовремя в строй — потребители не получают его продукции, на которую рассчитывали.

В Омске близ нефтеперерабатывающего завода горит гигантский факел: сжигают газ — отход переработки нефти. Правда, для использования этого газа рядом построен громадный завод синтетического каучука, но строители нефтезавода отстали с пуском установок очистки газа. Поэтому неочищенный газ сжигают, а очищенный возят в Омск цистернами из европейской части страны. Омский завод синтетического каучука только на транспортных расходах теряет шесть миллионов рублей в год. Пожалуй, не меньше теряет и Омский нефтеперерабатывающий оттого, что сжигает свой газ, а не продает соседу. Но ни тот, ни другой ничего не могут поделать со строителями.

В общем, все это давно известно. Давно уже строительство объявлено «вопросом вопросов». Давно ясно, что не сможет нормально действовать наша экономика, если не будет порядка в строительстве.

Сейчас, в пору хозяйственной реформы, мы на многое смотрим новыми глазами. Когда дискуссии сменились делом, освобождение от многих заблуждений пошло чрезвычайно быстро. Давно ли самыми распространенными объяснениями всех бед были примерно такие: «организованности не хватает», «Госплан путает», «в снабжении нет порядка». И вся мораль была: «усилить», «улучшить», «наладить». Не так уж много лет прошло с той поры, когда я ехал с первым своим газетным заданием на стройку, вооружившись самой ходовой концепцией: во всем виноваты бюрократы-начальники. Следуя этой теории, я пошел прямо к рабочим:

— Ну как дела, ребята?

— Да вот сидим.

И они еще более укрепили мои тогдашние воззрения, заявив:

— Прорабу что — он на окладе. Нам получать нечего будет, а ему хоть бы что.

Когда потом прораб объяснял, что не подвезли кирпич, а кран сломался, я уже твердо знал, что этот чиновник просто ссылается на объективные причины (в то время эта формула была ругательной, с ярко выраженным разоблачительным оттенком).

Позже я узнал, что прораб, который «на окладе», зарабатывает меньше, чем квалифицированный рабочий. Да и весь его облик как-то не вязался с моим представлением о бюрократе. К тому же я скоро убедился, что прораб, в общем-то, не виноват.

Я стал искать бюрократа выше. Потом, много позже, я сам удивлялся силе этого стремления обязательно найти врага, который лично творит все несуразности по своей злодейской воле. Помнится, на экзаменах по диамату все мы были убежденными материалистами. А в жизни упорно не желали видеть явление, всеми силами старались свести его к случаю, к массе отдельных случаев, в каждом из которых виновата личность. Найти ее, устранить — и будет порядок. Видимо, в основе здесь защитная реакция. Осознать новое явление — значит обречь себя на его изучение — не всегда легкое, на отказ от любимых предрассудков — не всегда безболезненный, на поиск новых решений — не всегда простой.

В общем, я быстро нашел нового бюрократа, действия которого объясняли все зло. И как было не найти, если о нем знал любой прохожий? За неделю до Нового года улицы Южно-Сахалинска покрылись кострами, вокруг которых застучали отбойные молотки, вгрызаясь в мерзлую землю. Народ возмущался: неужели осенью не знали, что понадобятся эти траншеи? Дальше — больше. Оказалось, что траншеи вовсе никому не были нужны. После Нового года их забросили, никаких труб в них не укладывали, а весной они заплыли глиной. Все это было сделано по указанию управляющего строительством. Отвертеться он не мог.

Он и не стал отпираться. Да, велел копать траншеи зимой. Да, знал, что они понадобятся не скоро. А что бы вы делали на его месте? С самого января он просил увеличить план тресту, но ему отказывали: денег нет. Годовые ассигнования трест освоил за девять месяцев. Дальше работа идет из милости: кто что наскребет. А в конце года в Москве обнаружили, что где-то на другом краю страны кто-то не выполняет план. Теперь с той организации деньги снимают и раздают тем, кто просил прибавки. И вот в конце декабря трест получает дополнительные деньги, которые были так нужны полгода назад. Что теперь с ними делать? За оставшиеся дни ни материалы добыть, ни новые объекты построить нельзя. Остается одно — рыть траншеи: для этого никаких материалов не надо, а в план работа запишется.

Я еще спросил наивно: разве нельзя было отказаться от этих денег? Конечно, можно было. Но ведь на будущий год опять мало дают, трест опять просит. Кто же ему даст, если он в этом году откажется? Ведь планируют по достигнутому. Из Госплана не видно, как оно достигнуто, это достигнуто. Тут деньги буквально зарыты в землю, а в отчетах — «освоены». Значит, могут осваивать, надо им дать еще.

Так мой идеальный бюрократ переселился еще повыше — в совнархоз и Госплан. В Кемеровском совнархозе лет пять назад я было почти совсем настиг его. Строительство в Кузбассе в ту пору шло из рук вон плохо. Взять ли Кемеровский капролактан или Беловскую ГРЭС, Толкинский цементный или сам Запсиб — негде было глазу отдохнуть. На Запсибе подсчитали: в первый год его строительства было выполнено работ в четыре раза меньше, чем в первый же год Кузнецкстроя, начавшегося в двадцать восьмом году. За свой второй год Кузнецк-

строй создал в полтора раза больше, чем тридцать лет спустя создали строители Запсиба, за третий — в три с лишним, за четвертый — в два с лишним раза больше. Кузнецк поднимали на пустом месте голыми руками крестьяне в лаптях. В руках у строителей Запсиба — лучшая техника и сборный железобетон, рядом — могучий промышленный город Новокузнецк, позади — шесть пятилеток. Обидное получалось сравнение.

Где ни спросишь в Кузбассе, почему плохо строят, отвечали одно: материалов не хватает, база слаба. А между тем база была гораздо больше, чем требовалось, но использовали ее очень плохо. Заводы железобетонных изделий, деревообделочные, бетонные и прочие были розданы строительным трестам по одному, по два, и каждый такой хозяин делал со своим заводом что хотел, не заботясь о других. У одного на стройке простой оттого, что нет бетона, а у другого рядом бетонный завод недогружен — и не подумает помочь. На заводах железобетонных изделий — никакой специализации, каждый делает сотни разновидностей блоков — ведь один завод должен обеспечить все потребности своего треста. Рядом «чужой» завод делает то же самое, но перераспределить номенклатуру, на каждом делать один-два вида блоков в массовом масштабе, для всех трестов — об этом и думать было нечего. Для этого надо было отнять заводы у трестов, собрать их в одну организацию. Но совнархоз не шел на это.

В то время в областной газете «Кузбасс» работал корреспондентом мой друг Саня Никитин. Нелепость того, что происходило в строительстве, зрелище строек, длящихся десятилетиями, — все это возмущало его донельзя, и он повел священную войну за объединение заводов стройматериалов в одних руках, за нормальное развитие этой отрасли. Несколько лет он буквально жил этой идеей. Его одержимость подтверждается блестящими статьями в «Кузбассе».

Возражать ему было невозможно — из совнархоза приходили ответы, авторы которых соглашались с ним. Но ничего не менялось. После своей поездки в Кузбасс я написал в одной из центральных газет то же самое — с тем же результатом.

Гораздо позже Никитин озаменовал свое освобождение от предрассудка большой статьей в «Известиях» под красноречивым заголовком «Злые шутки дяди Миллиона». А в ту пору мы оба разделяли общее убеждение, что главное в экономике — «единый хозяин», то есть единый администратор, нажимающий все кнопки из одного центра. Мы знали мощь газетного слова и с его помощью вели атаку против самой экономической необходимости — этого мы не сознавали, иначе поняли бы, что атака безнадежна.

Да, каждой низовой строительной организации был совершенно необходим свой завод, и бюрократы не были повинны в этом антигосударственном стремлении. Ведь хозрасчет был разрушен, материальная ответственность поставщика перед потребителем сведена к нулю. Поэтому вполне естественно стремление строителей иметь поставщиков у себя под рукой. Естественно и непреодолимо. А мы-то чуть было не пришли к грустному выводу, что непреодолима стена бюрократизма. Во всяком случае я продолжал искать повинного во всем бюрократе.

Гипотеза о бюрократе в Госплане настигла меня на Севере, в Архангельской области. Там были в разгаре две крупные стройки: Котласский целлюлозно-бумажный комбинат и реконструкция Архангельского комбината. Обе стройки были в тот год пусковые и обе испытывали огромные трудности. Новые мощности Архангельского комбината никак нельзя было пустить в срок. Бумажную фабрику, правда, построили, но не построили новую ТЭЦ, а без нее работать невозможно. Выяснилось, что капиталовложения для одного предприятия проходят по разным отраслевым отделам Госплана РСФСР: бумага и целлюлоза отдельно, энергетика отдельно, стройматериалы отдельно и т. д. Сговориться между собой им не удалось: на бумагу денег выделили достаточно, а на ТЭЦ мало. А перебросить ассигнования из одной отрасли в другую — ни-ни, это никому не позволено. Пуск но-

вых мощностей был задержан на три года сверх срока. Каждый год реконструированный комбинат должен был давать двадцать миллионов рублей прибыли. На эти деньги можно было финансировать еще одну такую стройку.

Так я и записал: в Госплане, мол, чиновники не могут между собой договориться, а кроме того, не желают перестраиваться в духе прогрессивной совнархозовской системы, держатся за старые ведомственные привычки.

Ничуть не лучше шли дела и в Коряжме, хотя эта стройка — Котласский комбинат — была умно задумана и умные люди руководили ею. Это был редкий образец правильной организации дела. Мы ведь уже привыкли к тому, что стройка начинается с палаток, с бездорожья, с тяжелого ручного труда. Все это — чуть ли не обязательные принадлежности тех мест, где, как принято думать, обитают романтика и трудовой героизм. Считается, что при асфальтовых улицах и центральном отоплении героизма быть не может. Затяжные палаточные старты крупных строек наносят неисчислимый ущерб — экономический, политический и моральный. Разочаровываются и уезжают молодые романтики — они же и «рабсила», которая стоит немалых денег. Город строится дважды: сначала временный, потом постоянный — и неизвестно еще, какой обходится дороже. Не подготовленное заранее, растягивается и дорожает строительство.

Но в Коряжме я ничего такого не увидел. Комбинат еще не был достроен, а город стоял — с иголочки. Многоэтажные дома со всеми удобствами, школы и детские сады, парк, вечерний институт, кино и клубы. Деревья между домами строители поберегли, еще и новые посадили к старым. В общем, люди с самого начала жили культурно. Но и эта стройка, справедливо считавшаяся на фоне других образцовой, была таким же экономическим поражением, как и многие другие. Ведь и она вместо нормативных пяти лет тянулась восемь лет только до пуска первой очереди, а пуск готовился в великом штурме.

Отнести все это на счет руководителей стройки никак нельзя было. И опять кругом выходил виноват он — бюрократ в Госплане. Всяких фактов, свидетельствующих о его безобразиях, было сколько угодно.

И вот тут, при полной ясности очередной гипотезы, все запутал Евгений Юльевич Шварц, заместитель директора комбината по строительству. За свою жизнь он перебивал в строительных организациях на всех должностях, был и прорабом, и начальником стройуправления, а теперь приобрел новый опыт в роли представителя заказчика. Когда деловой наш разговор закончился и мы толковали о том, о сем перед тем, как расстаться, Шварц между прочим сообщил, что недавно защитил диплом в Московском инженерно-экономическом институте имени Орджоникидзе, где учился заочно. Темой диплома были показатели объема строительных работ. Он критиковал действующий показатель и предлагал свой. И выходило по Шварцу, что все те нелепости в строительном деле, в которых я винил отдельных бюрократов, были совершенно необходимы строителям, без них просто нельзя было обойтись.

То было самое начало золотой поры разоблачения «вала». Со всем усердием новообращенных обрушивались на показатель валовой продукции писатели и конструкторы, академики и студенты, журналисты и пенсионеры. Кто-то в пылу обличительной деятельности заявил даже, что этот показатель плох потому, что заимствован у капиталистов, хотя как раз в капиталистических странах им и не пользовались ни в государственной статистике, ни тем более отдельные фирмы. Несовершенством показателей — «вала» и других — стали объяснять почти все затруднения в экономике. Это был громадный шаг вперед: корень зла стали видеть не в личностях, а в методах хозяйствования. Это было время, когда экономическая дискуссия вышла на всенародную арену, на страницы массовых газет и журналов. Дошло и до строительства. Шварц в своей дипломной работе один из первых разоблачил — и вполне убедительно — строительный «вал».

Шварц взял реально существовавшее стройуправление № 3 треста Котлас-

бумстрой. Взял объекты, которые оно действительно строило. Он отвлекся от текущих трудностей и ошибок в работе треста и управления (не хватает материалов для нужного объекта, нет крана и т. д.). Он сам составил идеальный календарный план работ по всем объектам и определил расчетную выработку на человека на каждый месяц по каждому объекту. В результате оказалось, что на отделке одного из цехов выработка на человека при стопроцентном выполнении норм составит 4,8 рубля в день, а на устройстве сборных железобетонных перекрытий того же цеха — 91 рубль. Короче, есть работы выгодные и невыгодные. По подсчетам Шварца вышло, что при идеальном выполнении идеального календарного плана на реальном объекте каждый рабочий при стопроцентном выполнении норм с января по июнь даст своему управлению 32—37 рублей выработки в день, а с июля по декабрь — 12—13 рублей. А планы на все месяцы примерно равны, и если план не выполнить — зарплаты не будет.

Все это каждому прорабу известно. Поэтому ни один прораб ни о каких идеальных планах не думает. Распределяя работу на месяц, он заботится прежде всего не о правильной организации труда и не о скорейшем завершении стройки, а о соблюдении равновесия между выгодными и невыгодными работами. Пусть невыгодный объект трижды необходим предприятию в этом месяце — прораб не возьмется за него, пока не сможет компенсировать потери другим, выгодным объектом. И не надо обвинять его в антигосударственных действиях: ведь он старается ради выполнения плана, а это и есть его первая государственная обязанность.

Шварц сделал и другой подсчет. В августе один из участков — реальный участок Волкова — в числе прочих работ на объекте вел отделку и настилал полы. На устройстве полов рабочих было столько, сколько планировалось, и все выполнили нормы на сто процентов. Но случилось так, что на отделку потребовалось поставить рабочих на двадцать процентов больше, чем планировалось, да к тому же они благодаря своей высокой квалификации выполнили нормы на сто тридцать процентов. Итог? По участку в целом производительность труда на два процента ниже плановой, фонда зарплаты не хватило. Не увлекайтесь невыгодными работами!

Что должен делать начальник участка Волков в следующем месяце? Он теперь научен. Штукатуров перебрасывает на устройство полов. Работая не по своей специальности, они выполняют нормы всего на девяносто пять процентов. Технология нарушена, организация труда нелепая, нормы не выполняются. Что же с планом? А план перевыполнен, средняя производительность труда — сто пять процентов, участку полагается повышенный фонд зарплаты. Кому же нужен такой план?

А ведь неприятности от провалов не ограничиваются потерей прорабской премии — это бы еще куда ни шло. Хуже другое: нет плана — банк задерживает зарплату рабочим. Надо писать объяснения в трест, а тресту — в главк, чтобы возместили перерасход. Разрешение придет в конце концов, и не в том беда, что придет оно вместе с выговором. Главное — переписка отнимает недели. Тресту все можно объяснить, а что объяснит прораб сотням своих рабочих, которые честно трудились, а зарплаты не получают? Прочитает лекцию об особенностях показателя объема строительно-монтажных работ?

Нетрудно заметить, что выгодны в основном как раз начальные работы, а невыгодны завершающие. Вот почему строители так любят выстраивать каменные коробки и не любят доделывать их. Семь миллионов человек в стране — именно те, кто строит, — кровно заинтересованы в распылении средств. На крупной стройке бывает: строители прямо-таки вымогают у заказчика согласие заложить какой-нибудь новый объект, прежде чем закончат начатый, действительно необходимый. Не раз доходило до крайности: строителей призывали в наступающем году ничего или почти ничего не начинать — только завершать начатое. Из этого ничего не получалось — и не могло получиться. Нельзя же с помощью призывов

заставить всех строителей сразу на год отказаться от зарплаты. Как-то по-другому надо было добиваться перемен на стройках.

А как?

Поначалу за ответом на этот вопрос ходили недалеко: если показатели плохи — придумаем другие, получше. Период бурного поиска новых показателей пережили и промышленность и строительство. Я сам успел ввязаться в спор, защищая один из показателей, который и по сей день считаю более удачным, чем другие. Но на роль показателей вообще — любых — смотрю уже иначе. Радикального решения проблемы не давал ни один из них. Эксперименты с показателями подтверждали: путь неверен, решение должно быть иным. Завершалась волна наивной критики. Все больше становилось людей, которые понимали: нужно не улучшать способы административной регламентации работы предприятий, а освободиться от этой регламентации вообще. Невозможно было с помощью «правильных» показателей решить неправильно поставленную задачу.

Помнится, в самом начале дискуссии чуть ли не в каждой второй статье присутствовало рассуждение о том, что в недавние годы были в экономике сплошной волюнтаризм и администрирование, а вот сейчас кругом господствуют экономический анализ, расчет, научный подход. Получалось, что до середины пятидесятых годов — на протяжении четырех десятилетий советской власти — была как бы некая пустота, а подлинная экономическая мысль только-только родилась из этой пустоты.

Позже, когда миновал период наивного подхода к решению сегодняшних проблем, глубже стали смотреть и на прошлое. За последние год-два не случайно все больше выходит научных работ, посвященных истории экономической мысли двадцатых и тридцатых годов. И особенно внимательно исследуются две стадии нашей экономической политики: переход к нэпу в начале двадцатых годов и отношение к хозрасчету в пору первой пятилетки. Появляются новые оценки. Часто они бывают весьма спорными — но могут ли обойтись бесспорными истинами подлинно научные поиски? Несомненным представляется одно: нынешняя экономическая реформа по глубине и смелости поворота, по масштабам перемен может быть поставлена в один ряд с теми двумя. Одно это уже предопределяет живейший интерес к тем дням. Нет, не было пустоты, не было скачка из ничего. Были пятьдесят лет непрерывного движения, где каждый шаг очень четко обусловлен объективными требованиями жизни.

В конечном счете ведь мы и сейчас в любом конкретном экономическом споре решаем все тот же коренной вопрос, поставленный еще в 1917 году: каким будет переход от капитализма к коммунизму? Был путь «левых», свято веривших в силу команды, администрирования или, как со злой иронией писал Ленин, «коммунистического веления». Они хотели — и считали возможным — «вести» коммунизм немедленно. Ленин не зря сразу взял их «левизну» в кавычки: это был гибельный для революции путь. Ленин предлагал другое: учсть громадную трудность строительства самого нового общества в одной из самых отсталых стран с преобладанием крестьянской массы, встать на путь медленного, но прочного изживания мелкособственнической психологии с помощью всем понятной хозяйственной политики.

Всем известен, в зубах навяз один из любимых тезисов западной пропаганды в связи с нашей экономической реформой: поворот к использованию прибыли означает, дескать, что социалистическая система провалилась и Советский Союз эволюционирует к капитализму. Разъяснений в связи с этим — в чем подлинная разница между социализмом и капитализмом — было в нашей печати предостаточно.

Бывает, что и у нас где-нибудь раздается недоуменный вопрос: прибыль? А как же моральные стимулы? Самостоятельность предприятий? А как же государственное планирование? Чем же будет наша экономика отличаться от капиталистической?

По этому поводу Ильич говорил «левым коммунистам»: «Коммунистами достойны называться лишь те, кто понимает, что создать или ввести социализм, не участвуя организаторов треста, нельзя».

Велика власть слов. Мы отлично знаем научные, подлинные признаки социалистической формации: общественная собственность на средства производства и распределение по труду. Но годами, десятилетиями откладывались в сознании слова, ставшие синонимами: планирование=социализму; прибыль=капитализму. И почти не осталось людей, которые помнят, что государственное планирование экономики в широких масштабах применялось еще до рождения первой социалистической страны: в Германии в годы первой мировой войны. Именно о Германии писал Ленин в той же брошюре «О «левом» ребячестве и о мелкобуржуазности»: «Здесь мы имеем «последнее слово» современной крупнокапиталистической техники и планомерной организации, подчиненной юнкерски-буржуазному империализму. Откиньте подчеркнутые слова, поставьте на место государства военного, юнкерского, буржуазного, империалистического, то же государство, но государство иного социального типа, иного классового содержания, государство советское, т. е. пролетарское, и вы получите всю ту сумму условий, которая дает социализм».

Вот как! Образец «планомерной организации» — капиталистическая страна. А в других работах — неоднократное разъяснение того, что прибыль и коммерческие отношения могут служить социализму. Иначе говоря, и планирование, и прибыль, и другие атрибуты разных экономических систем сами по себе беспартийны — все дело в том, кому и чему они служат. Все это лишь средства, готовые служить кому угодно — только умей пользоваться.

Эти истины убедительно доказаны еще при Ленине опытом новой экономической политики, сменившей трехлетнюю вынужденную политику военного коммунизма. Сейчас наши экономисты освобождаются от поверхностного взгляда на нэп только как на отступление, как на большую неприятность. Ведь нэп имел две стороны, и опять лучше Ленина не объяснить:

«В частности, теперь допущены и развиваются свободная торговля и капитализм, которые подлежат государственному регулированию, а, с другой стороны, государственные предприятия переводятся на так называемый хозяйственный расчет...»

Очень знаменательно вот это «с другой стороны». Другая-то сторона и была главной, если учесть, что восемьдесят процентов крупной промышленности находилось уже в руках рабочего государства. Допущение частников — это от бедности, это сейчас только история. А вот Лениным заложенные хозрасчетные отношения между социалистическими предприятиями — это и сейчас ценно, как лучший учебник.

В ходе нэпа социалистическая промышленность и торговля победили экономически — это была самая прочная победа.

И вот после всего этого, после убедительных подтверждений правильности избранного пути, многое пришлось менять. С началом первой пятилетки возникла необходимость в значительной мере ограничить действие товарно-денежных отношений. До того плановые органы искали способы подчинить плановому воздействию оборот, осуществлявшийся на базе требований рынка. Теперь же усилилось прямое административное воздействие, вынужденное далеко не всегда считаться с требованиями рынка. Сам облик рынка менялся: наиболее стихийная его сторона — сельская — быстро социализировалась.

Широко известно, для чего все это делалось. Обстановка требовала ускоренной индустриализации — и партия приняла такое решение: развивать тяжелую промышленность в ущерб другим отраслям, за счет потребления. Народ шел на это с энтузиазмом, как на «все для фронта»: люди видели, что эта мера временная и необходимая. Но для ломки нормальных пропорций, диктуемых рынком,

нужно было рыночные отношения насильственно ограничить и ввести прямое административное распределение.

Сейчас мы многое в нашем прошлом заново проверяем придирчивым взглядом. Не обойдена и эпоха индустриализации. Например, С. Первушин в своей статье в сборнике «Производство, накопление, потребление» высказывает предположение о том, что польза от ускорения темпов в пору индустриализации была небольшой.

Я уже имел случай высказать на страницах «Нового мира» самое положительное отношение к этой статье и к сборнику в целом. Но сильно сомневаюсь, что С. Первушин прав в данном конкретном рассуждении. Дело даже не в явной условности самой постановки вопроса о том, «что было бы, если бы», — вопроса, на который нет решительного ответа. Суть дела в том, что даже ошибки, неизбежные в любом новом опыте, не остановили резкого скачка в темпах роста тяжелой промышленности. Индустриализация громадной отсталой страны, совершенная за две пятилетки на основе самопожертвования революционного народа, это исторический факт.

Но человек, собравшийся в дальний путь, не может долго бежать: надо переходить на шаг. Даже форсаж двигателя не может быть долгим: механизм сломается. Если уж искать задним числом ошибку, то не в начале индустриализации, а в конце ее, когда временное полезное действие административных методов исчерпало себя и надо было вернуться от исключения к норме.

И впрямь: во второй пятилетке ненамного, а в третьей весьма заметно снизились темпы роста промышленности. Наиболее дальновидные стали задумываться над необходимыми изменениями методов хозяйствования. Почти забытый, но любопытнейший факт: в середине тридцатых годов по распоряжению Серго Орджоникидзе на Макеевском заводе был проведен экономический эксперимент в области материального стимулирования, удивительно похожий на то, что мы делаем сейчас. Один из участников этого опыта, В. О. Чернявский недавно рассказал о нем в своей книге «Эффективность экономических решений». Макеевка стала Меккой металлургов, ее опыт широко распространился в этой отрасли. Во всей стране, казалось, начался экономический ренессанс.

Тридцать лет назад! Как вовремя и как не ко времени было это предприятие. Возврата к норме не последовало. Почему? Не потому ли, что кому-то понравилось управлять нажатием кнопки — так просто и здорово. Или еще не успели осознать необходимости поворота? С 22 июня 1941 года административные методы управления хозяйством опять стали неизбежными, единственно возможными — на четыре года войны и на всю пятилетку восстановления.

Привычка к исключению — не правилу — крепко сидела в умах. Однако уже к середине пятидесятых годов неблагополучие в экономике для всех стало явным. В общем, ведь верно ощутили в пятьдесят седьмом году: нужна децентрализация, демократизация управления хозяйством. Но как поверхностно это было понято, как повернуто в старое русло! Пересадили администраторов на другие места, предприятиями стали командовать не из Москвы, а из областных центров — но командовать по-старому. Ничего не изменилось в самом главном — в экономических интересах и хозяйственных правах предприятий, в отношениях между ними. Но теперь уже совсем шла массовая экономическая дискуссия. Именно в тот период в новой Программе партии было записано:

«В коммунистическом строительстве необходимо полностью использовать товарно-денежные отношения в соответствии с новым содержанием, присущим им в период социализма. Большую роль при этом играет применение таких инструментов развития экономики, как хозяйственный расчет, деньги, цена, себестоимость, прибыль, торговля, кредит, финансы».

Начатая в 1965 году хозяйственная реформа — это уже прямое практическое выполнение задачи, поставленной Программой партии. После октябрьского Пле

нума Центрального Комитета перестройка идет не верхушечная, а глубинная. Реформа началась в сельском хозяйстве, потом в промышленности. А на другой день после сентябрьского Пленума — первого октября 1965 года — начался крупный эксперимент в строительстве. Он охватил двадцать семь предприятий и организаций в Москве.

В этом эксперименте испытывались уже не те или иные показатели, как бывало прежде. Не способы улучшить регламентацию работы предприятий — нет, искали пути освобождения от этой регламентации. Вспомним: пять лет назад инженер Е. Шварц из Коряжмы предлагал в своей дипломной работе новый показатель объема строительных работ, который не мешал бы правильно планировать фонд зарплаты. Сегодня участникам нового эксперимента вообще не планируют сверху ни объем работ, ни фонд зарплаты. Из тридцати прежних показателей плана, вязавших строителей по рукам и ногам, здесь оставлены два: прибыль и отчисления в государственный бюджет. Место административного контроля занял контроль экономический. «Единым хозяином» (помните начало?) стал материальный стимул. И сразу стало очевидно, что этот метод намного надежнее и действеннее.

Вот, например, домостроительный комбинат № 1 — самый большой из коллективов, участвующих в эксперименте. Раньше на его заводах железобетонных изделий был вечный перерасход материалов, особенно цемента. Как ни ругали за это работников заводов — ничего не получалось. Все привыкли считать нормы расхода невыполнимыми. Сейчас никто за перерасход не ругает — просто из-за него уменьшается прибыль. Прибыль же теперь не формальный показатель, а источник премий для всех. На заводах сразу же ввели премии за экономию материалов — и через месяц перерасходов не стало.

А на Хорошевском заводе того же комбината стали сберечь и такие материалы, на которые никаких норм не было: никто за них раньше не спрашивал. Там остается много тарных досок. Раньше их просто жгли. Сейчас тару частью восстанавливают, частью перерабатывают на рейки. Нашли рядом покупателя этих реек — и каждый месяц получают сотни рублей в прибыль заводу.

Все это простые вещи, можно было до них додуматься и раньше, но нельзя было осуществить. Чтобы сберечь материалы, рабочий должен затратить дополнительный труд. За труд надо платить. А платить премии за экономию материалов разрешалось только из фонда зарплаты — в случае, если там будет экономия. А там экономии никогда не бывает: мы помним, что все беды с незавершенным строительством происходят как раз из-за погони за фондом зарплаты. Теперь же этот фонд коллективам — участникам эксперимента не планируется вовсе. При его расходовании действует один закон — экономическая целесообразность.

Инициатива тех, кто трудится, это та лампа Аладина, с которой в эпоху реформы решается любая из прежде не разрешимых хозяйственных проблем, — если только инициатива развязывается всерьез, а не для вида. Взять хотя бы проблему сроков и незавершенного производства — ту наиболее тяжкую проблему, с которой начался наш рассказ. Она еще не решена, правда, в масштабах страны, потому что в этих масштабах еще не было реформы в строительстве. Но, скажем, в домостроительном комбинате № 1 такой проблемы нет, как нет работ выгодных и невыгодных. От рабочих бригад план требует одного: быстрее, с наименьшими затратами и при высоком качестве сдать дом. От этого зависит благополучие бригады, монтажного управления, комбината — интерес у всех единый. И многоэтажный дом строят и полностью отделывают за полтора-два месяца. Это не рекорд, а норма. А ведь и техника, и материалы, и детали — все здесь обычное. Необычен материальный интерес: платят не за безличные «объемы» — платят за готовую продукцию, за дом, сданный в эксплуатацию. Так платит монтажное управление рабочим, так платит заказчик монтажному управлению.

Правда, в промышленном строительстве применить такой метод сложнее, ибо там длиннее цикл сооружения объекта. Но и там это вполне возможно и нуж-

но. Просто нельзя без этого. Проблема решится, когда строить быстро всерьез захотят семь миллионов строителей. Ведь именно такой процесс происходит и в промышленности, где реформа уже началась, и для включившихся в нее предприятий основным показателем объема стала реализованная — то есть купленная — продукция. Куда девались все запасы незавершенной или даже готовой, но не проданной продукции — те самые запасы, с которыми годами ничего не могли поделать, несмотря на драконовские санкции банка. Теперь это все словно бы само исчезает.

Мне представляется хозрасчетная государственная строительная фирма, которая наделена своими оборотными средствами и дорожит ими, как своими, и заботится, чтобы они быстро оборачивались. Эта фирма берет подряд: в такой-то срок и за такую-то сумму построить для заказчика цех, завод или другой объект. Если строит быстрее и дешевле — экономия либо существенная часть экономии остается в ее руках. Строит дороже — расплачивается из своей прибыли, уменьшает свои поощрительные фонды. Не так, как сейчас: дешевле сделаешь — все отберут в бюджет, дороже — возместят из государственного бюджета. Что-то не припоминаю случая, чтобы сделали дешевле...

А уж какой тогда будет контроль за проектировщиками — теми самыми проектировщиками, на которых сейчас валят — и не без причин — чуть не всю вину за просчеты в строительстве. Ведь правилом стало: любая крупная промышленная стройка обходится дороже, чем предполагалось по проекту. Даже средняя норма просчета определилась: тридцать процентов. Треть! По стране — миллиарды. Здесь повинна система премирования, поощряющая за удешевление на бумаге. Но еще более существенная и более общая причина — безответственность проектной организации. Ее не заставят платить за такой просчет, как и за иные ошибки. Теперь представьте по-настоящему хозрасчетную проектную организацию, которая продает свою продукцию — проект — по-настоящему хозрасчетному промышленному предприятию, намеренному строить не за счет бюджетных ассигнований, а за счет своей прибыли или за счет возвратного кредита. При сделке присутствует подрядчик: по-настоящему хозрасчетная строительная фирма, которая получит деньги точным счетом, — прибавки ждать не от кого. Тут не административный контроль сверху и не беспристрастная экспертиза — тут коллективы, кровно заинтересованные. Ни халтура, ни обман тут не пройдут.

Это, конечно, очень общая и очень неполная схема отношений. И, вероятно, не сразу, а по частям будут пускаться в ход элементы экономического контроля за деятельностью строительных организаций: платность производственных фондов, финансирование за счет возвратных кредитов и прибыли, аккордные подряды с расчетами за готовую продукцию, прибыль как стимул к расширению производства, ускорению строительства и повышению качества и т. п. И в эксперименте на московских стройках, конечно, не было возможности — да и не ставилась такая задача — решить сразу все проблемы. Но решено многое. Во всяком случае этот эксперимент продвинулся по ряду направлений дальше той системы, которая принята для промышленных предприятий, начавших работать по-новому. Но что особенно важно для начального периода реформы — эксперимент показал силу хозрасчета, показал плодотворность основной идеи: заменять мелочный административный контроль экономическим давлением и на этой основе предоставлять коллективам предприятий, строительным организациям большую самостоятельность.

Механизм самоуправления срабатывает безотказно. Это особенно наглядно проявилось при решении одного из самых острых вопросов: о планировании фонда зарплаты. Когда этот фонд перестали ограничивать сверху, у строительных организаций появилась теоретическая возможность увеличить его. Однако произошло обратное. Расход зарплаты на каждый дом стал снижаться. Заметно возросла производительность труда. Рабочие сами стали просить повысить им нормы выработки. Инженеры предложили расширить их обязанности с тем, чтобы сократить линейный персонал.

Опять-таки люди и раньше знали, что могут полнее использовать свое рабочее время, повысить выработку даже при имеющейся технике — за счет лучшей организации труда, уменьшения «перекуров», ликвидации простой безалаберности. Но они знали, что в условиях жесткого ограничения фонда зарплаты сделщина давно стала формальной и фактически заработки не повысятся сверх определенной средней величины, как бы ни шла работа. Будут «резать» наряды, повышать нормы, но заработать больше не дадут. Перспектива за большее количество труда получать ту же зарплату никого не увлекала. Так и шло: низкая производительность — низкие заработки. Нужна была смелость, чтобы разорвать этот круг. А когда его разорвали, результаты сказались немедленно. В первые же месяцы в коллективах — участниках опыта производительность труда возросла в среднем на одиннадцать процентов, зарплата — на восемь процентов.

Н. Фомичев, представитель института НИИМосстрой, наблюдавший за экспериментом, так говорил при подведении первых итогов:

— Мы думали, что все участники эксперимента бросятся и нахватают себе фонд зарплаты побольше. Но, оказывается, есть экономические закономерности, которых ни один руководитель не может игнорировать. При новой системе самоуправления коллективу невыгоден перерасход зарплаты.

Опыт убедил всех: давление экономической необходимости сильнее административного контроля.

Чрезвычайно поучительной была для меня беседа с Владимиром Николаевичем Галицким, директором домостроительного комбината № 1 — крупнейшего предприятия, участвующего в эксперименте. Во время этой беседы я вспомнил своего друга А. Никитина, его героическую и безуспешную борьбу за единую строительную базу в Кузбассе, о которой шла речь в начале этой статьи. Галицкий объяснял мне структуру комбината: четыре монтажных управления, которые собирают дома, четыре завода, которые поставляют этим управлениям все железобетонные детали, и управление комплектации. Я сразу спросил:

— А деревообрабатывающий завод? А автобаза?

— Нет их у нас. И не хотим иметь.

— Почему?

В. Галицкий объяснил. Оказывается, при их объеме строительства понадобился бы всего один деревообрабатывающий завод. И на этом единственном заводе пришлось бы производить все многочисленные изделия — без какой-либо специализации, без массового потока. Другое дело сборный железобетон: объем его потребления таков, что четыре завода загружены полностью при хорошей специализации, каждый из них выпускает всего один-два вида плит.

Экономическое давление пока неполное, одностороннее: от домостроительного комбината уже требуют расчетливости, экономного ведения дела, а вот комбинат сам на своих поставщиков еще не может воздействовать рублем. И, несмотря на это, уже не хочет брать их под свой административный контроль. Даже неполный хозрасчет уже заставляет исходить из государственных, а не ведомственных интересов.

Хозяйственная жизнь многообразна и часто сама вдруг преподносит где-нибудь в виде готового опыта те самые решения, которые долго искали, — надо только уметь разглядеть искомое в том, что родилось само. Зародыш такого решения, очень нужного всем, мне хочется видеть в опыте домостроительного комбината № 1, хотя данный эксперимент и не ставил того вопроса, на который здесь найден частичный ответ. Я имею в виду поиски тех новых методов и форм работы органов управления хозяйством, который провозглашен на сентябрьском Пленуме ЦК КПСС в 1965 году, а затем в Директивах XXIII съезда. Что это за новые методы, откуда их взять, где им научиться?

В домостроительном комбинате, мне кажется, некоторые из этих новых методов можно увидеть в действии. В составе этого комбината, кроме четырех заводов железобетонных изделий и четырех монтажных управлений, есть еще орга-

низация особого рода — управление комплектации. Для восьми самостоятельных предприятий и строительных организаций комбината — это коллективный снабженец, сбытовик, комплектовщик и диспетчер. На заводах и в монтажных управлениях нет снабженцев и сбытовиков, а на строительных площадках не бывает складов — даже временных. У производственников здесь одна забота — производство. Как это естественно и как необычно! Может ли мечтать строитель в любом другом месте не думать о снабжении? Да заботы о нем съедают больше половины времени у любого прораба, мастера. Но только не здесь. По графику — точно в назначенный час — приезжают панелевозы с деталями дома. С такой же точностью к началу отделки прибывают контейнеры с отделочными материалами, а к началу монтажа электрооборудования — контейнеры с электроарматурой, проводами и т. п. И не рулоны обоев или линолеума, не мотки проволоки — все заранее раскроено, склеено, подготовлено к установке на место. Все это работа управления комплектации.

Это управление — не административный орган, а предприятие, как любой из заводов комбината. И не только потому, что оно имеет свое производство: цех, где кроят, клеят, комплектуют материалы. Самое интересное заключается в том, что и чисто управленческие операции здесь производятся, как любое изделие на любом заводе, и продаются за плату заводам и монтажным управлениям. Продаются, как любая продукция, имеющая вещественную форму, со штрафами за брак и поощрением за высокое качество. Договоры с автокомбинатом, увязка работы заводов, монтажных бригад и транспорта, вся сложнейшая организация выполнения графиков, от планирования до диспетчеризации, снабжение заводов материалами — все это выполняет управление комплектации, и за все это ему платят заводы и монтажные управления, как платят любые покупатели любому поставщику обычной продукции. Им выгодно платить: их поставщик — специализированный завод по производству управленческих услуг. Он продает их дешево и с гарантией качества, а если промахнулся — есть с кого взыскать. Производи такие «услуги» вышестоящий начальник в виде обычной команды — с него много не взыщешь. А тут — равноправное предприятие.

Мы много пишем последнее время о прямых связях в народном хозяйстве, считая их последним словом администраторского прогресса. И многие понимают это так: прямые — значит без посредников, без лишних инстанций. А поняв так, начинают сомневаться и колебаться. ибо, по зрелом размышлении, видят, что без многих инстанций и посредников обойтись никак нельзя. Взять хотя бы сбыт продукции. Хорошо, если речь идет об изделии, которое производится на небольшом числе заводов, и круг потребителей тоже ограничен. Тогда возможны прямые связи в самом буквальном понимании этих слов. Ну а если — как чаще бывает — поставщиков десятки, потребителей тысячи и возможных вариантов связей — миллионы? Что же, каждому заводу содержать свой главснабсбыт? Нелепо. И совершенно естественно им объединиться и коллективно содержать для себя один сбытовой орган и через него устанавливать связь с рынком. Это вовсе не противоречит идее прямых связей. Только не надо понимать их примитивно, не надо сводить все к отсутствию посредников. Это вопрос второстепенный, а главная цель заключается в том, чтобы все партнеры в этой цепочке, включая посредника, несли полную материальную ответственность за свои действия. В этом суть.

Было время, когда предприятия многих отраслей содержали таких посредников — они назывались синдикатами. Синдикат изучал состояние рынка, заключал договоры, искал новых потребителей — он специализировался на сбыте, мог делать эту работу хорошо, мог быть заводам полезен и получать плату за услуги. Но если работал плохо — платы не получал, и завод всегда имел право сбыть свою продукцию и помимо синдиката. Синдикаты были под контролем заводов, а не наоборот.

Итак, платные управленческие услуги на основе взаимной выгоды, а не административной подчиненности. Этот принцип обеспечивает высокую ответствен

ность и в итоге — высокое качество управления. Кроме того, создается такая атмосфера, в которой бюрократу плохо, в которой бюрократизм чахнет.

Управленческие услуги на хозрасчете. Новая хозяйственная реформа берет и это из арсенала социалистической экономики двадцатых годов. За последние два-три года в Москве, Ленинграде, Новосибирске и других городах появились хозрасчетные фирмы, которые торгуют услугами в области организации управления производством с помощью вычислительной техники. В ряде отраслей родились хозрасчетные фирмы научной организации труда. Есть в одном министерстве первый хозрасчетный главк. Хозрасчет все более проникает в область услуг отраслям при создании новой техники, новых образцов продукции. Но нет еще настоящего, не формального хозрасчета в самой важной и обширной области экономических отношений — в области хозяйственных связей, или, проще, снабжения и сбыта. И вот ростки такого хозрасчета, первый ограниченный, но ценный опыт можно увидеть в работе управления комплексации домостроительного комбината № 1. И этим особенно ценен московский эксперимент — помимо успеха новой системы планирования и материального стимулирования в самом строительном производстве.

Не все в этом эксперименте блестяще удалось, не все уже решено — надо еще продолжать поиски. Но есть главный результат: еще раз подтверждена верность того общего направления, в котором двинулась наша экономика после мартовского и сентябрьского Пленумов ЦК партии 1965 года. Еще раз — как и экспериментами в промышленности, на транспорте — подтверждена великая сила раскованной инициативы людей, которым предоставлено не по бюрократической указке, а самим по-хозяйски решать, как лучше работать. Еще раз подтверждено, что не существует противоречия между планом и инициативой, что развитие инициативы означает не отрицание планирования, а лишь новые формы его, более соответствующие современной обстановке.

Конечно, экономическая реформа делает только первые шаги, путь ее сложен и долог. Есть много чисто практических вопросов, которые еще ждут ответа. Но едва ли не самая трудная проблема реформы — это проблема человеческих отношений, проблема понимания, что ли. Уж очень крут поворот к новому от того, с чем жились десятилетиями. Не каждому — будь то прораб или министр — легко дается новый стиль, когда надо обо всем думать самому и подчиненных приучать к тому же. Не все хотят привыкать к такому стилю, а иные не хотят, потому что не могут. В открытую атаку против решений партийного Пленума никто не ходит, но бывает, что — сознательно или по причине старого склада мыслей — выполняют эти решения формально, стараясь ничего не менять в самом существе.

В слова, обозначающие новые методы, нередко вливают старое содержание. Например, хозрасчет, суть которого в полной материальной ответственности предприятия за свою деятельность, рассматривают лишь как метод учета. В таком-то виде он и существовал все эти тридцать с лишним лет, когда не было хозрасчета настоящего, в ленинском понимании. Недаром же на сентябрьском Пленуме говорилось: хозрасчет был формальным. И план еще часто рассматривается как цель, а не средство. И признание стимулирующей роли прибыли кое-кому еще мыслится лишь как уступка, а не принцип экономической политики.

Время от времени встречаешься с сожалениями: уходят, мол, героические времена на бессребренников, приходит царство сухой расчетливости, когда человеком движет одна лишь погоня за рублем. И здесь во весь рост встает проблема правильного сочетания моральных и материальных стимулов. Ведь прибыль или зарплата — самые мощные средства воспитания. И никто не станет отрицать, что оплата труда — весьма существенный фактор бытия, того самого бытия, которое, как известно марксистам, определяет сознание. Когда человек старается работать лучше, а в ответ ему снижают расценки, снижают плату за труд — это воспитание, даже если человек бессребреник. Пусть он не жаден — просто он за-

ключает, что труд его не нужен, и перестает стараться. Разве мало мы видели таких фактов? А вот на Краснопресненском заводе железобетонных изделий, что входит в московский домостроительный комбинат № 1, после начала эксперимента показали иной образец воспитания. Первые деньги из сверхплановой прибыли директор завода лично вручал рабочим на торжественном митинге. Это был праздник. Все видели, как ценится успешный труд всего коллектива и каждого человека в отдельности. Хорошее воспитание, социалистическое! И нет никакой нужды вести какую-то особую воспитательную работу вопреки материальным стимулам, преодолевая их воздействие на сознание людей. Не нужно это и, к счастью, безнадежно. Лучше позаботиться о правильном направлении материальных стимулов, чтобы они вели человека туда же, куда и самые высокие моральные побуждения. Хозяйственная реформа указывает именно такой курс. Остается двигаться этим курсом, не останавливаясь и не сбиваясь.



НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

А. КУЦЕНКОВ

★

ИЗ РАДЖАСТАНА В ГУДЖЕРАТ

(Путевые заметки)

Пологие рыжие горы, равнины, изрытые оврагами, белесая трава — таким запоминается Раджастан, огромный и диковатый край — самое жаркое место Индии. Горячий ветер гонит столбы красной пыли и стаи гремящих прошлогодних листьев. Он врывается в окна машины, обжигает лицо.

Дорога безлюдна. Едва ли где в густонаселенной Индии найдется второе такое место, где можно было бы в течение четверти часа ехать, не встретив на дороге людей.

Селения попадаются редко. Это, как правило, несколько приземистых, в рост человека, хижин из хвороста, обмазанных глиной, с рваными проемами дверей. Стоящие рядом «домики» из кизяка, который жители запасают на топливо, выглядят куда более внушительно. Еще реже видны поля. Они напоминают дворы, обнесенные высокими глинобитными оградами или густыми посадками кактусов, которые защищают посевы от диких животных.

Время к полудню. Вдали блестит дорога, как будто ее смочили водой. Но это не вода. Это блестит нагретый на солнце асфальт. Придорожные щиты поминутно напоминают: «Осторожно, сыпучие пески!» Дальше на запад — пустыня, раджастанские пески. Когда поднимается ветер, пыль несется отсюда далеко на восток, закрывая солнце оранжевой пеленой.

Природа Раджастана не вяжется с нашим представлением о юге, о солнце, о тепле. Этот край не блещет разнообразием красок. Преобладает бурый тон — скалы, камни, невысокие заросли с голыми деревьями и кустарниками. Иногда цвет меняется на пепельный, местами — на желтый. Но сверкающее голубое небо, пронзительное солнце заставляют искриться каждый оттенок так, что скоро забываешь об этой бедности цветовой гаммы.

В июле, когда выпадают первые дожди, Раджастан преображается. За одну ночь горы покрываются яркой зеленью. На деревьях распускается молодая листва. В бесчисленных руслах звенят ручьи. Все цветет, все спешит жить. Но проходит еще два-три месяца, и безжалостное солнце снова превращает все в раскаленную пустыню. Выгорает трава, деревья сбрасывают листья, и природа Раджастана снова погружается в знойную спячку.

При всем поразительном разнообразии ландшафтов, языков, народов и культур, которое характерно для Индии и которое ставит в тупик всякого, кто пытается нарисовать ее обобщенный образ, Раджастан — один из самых «индийских» штатов. Именно здесь зародилась древняя индийская культура, которая потом распространилась на весь Индостан. Недавно в районе Ганганagara открыты остатки высокой и более ранней цивилизации, чем известные руины Харалпы и Мохенджо-Даро в долине Инда, насчитывающие четыре-пять тысячелетий. В недрах Раджастана, еще очень мало изученных, скрыты залежи меди, цинка, лигнитов, асбеста и других полезных ископаемых. Его многочисленные дворцы и храмы — воплоще-

ние труда и таланта многих поколений — поражают роскошью и богатством. Одновременно Раджастан и сказочно беден — беднее, чем многие другие штаты Индии. Десятилетия иноземного ига сказались в том, что до недавнего времени здесь почти полностью отсутствовала промышленность. На корпусах фабрик и заводов, которые теперь можно увидеть здесь, еще не высохла штукатурка: индустриализация — явление последнего десятилетия и еще в большей степени — дело будущего. В этом штате доход на душу населения чуть ли не самый низкий в Индии. Раджастан — край непрерывных засух и наводнений, край непрекращающегося голода. Болезни — оспа, холера, дизентерия, туберкулез, — забытые в других странах, ежегодно уносят тысячи жизней.

Раджастан — это часть индийской истории, он внес и вносит свою лепту в сокровищницу страны, он стойко делит со всем народом тяготы нужды и лишений.

И в то же время Раджастан удивительно самобытен. Слабо защищенный естественными барьерами, этот край вместе с соседними штатами — Гуджератом и Пенджабом — служил воротами для вторжения иноземных захватчиков. Предки раджастанцев первыми вступили в бой с древними завоевателями Индостана — ариями. В числе первых они скрестили мечи с воинами Александра Македонского. Здесь, в раджастанских песках, они встретили орды Моголов. Одними из последних раджастанцы подпали под власть английской короны, преданные кичливыми, вечно враждовавшими между собой правителями.

Суровая природа, беспокойная история закалили народ, его боевой дух и волю. По народным поверьям, раджастанец может достичь небесного блаженства только в том случае, если умрет на поле боя. Раджастанцы не преминут рассказать вам легенду о том, как один старый и могущественный раджа, почувствовав приближение смерти, упросил своего друга — соседнего раджу — вторгнуться в пределы своих владений, чтоб он мог умереть с мечом в руке.

Раджастанцы — темпераментный и вспыльчивый народ. Говорят, что их гнева страшатся даже боги. В одном из раджастанских городов прихожане недавно вдребезги разбили изваяние верховного божества индуистов — Шивы — за то, что он несколько промедлил с муссоном и тем вызвал засуху и недород. Даже полицейские власти, отчитываясь перед правительством за случаи правонарушений, которые здесь более часты, чем в других штатах, не прочь сослаться на особенности национального характера раджастанцев. Впрочем, это вопрос особый.

Самобытен и уклад жизни Раджастана. Здесь реже можно встретить женщин в сари. Обычно так одевается зажиточная часть городского населения. Одежда раджастанских женщин — цветная кофточка с короткими рукавами, широкая длинная юбка и шаль, которая часто служит и покрывалом для ребенка. Женщины Раджастана любят украшения. Запястья рук и щиколотки ног буквально унижены бронзовыми и серебряными браслетами. У редкой франтихи не увидишь на шее каскада бус и ожерелий, а на голове сложных подвесок. Украшения в ушах и в носу настолько тяжелы, что их приходится поддерживать специальными шнурками и цепочками, которые крепятся на голове. В нарядах мужчин приметнее всего тюрбаны. Говорят, что на высокий тюрбан, увенчивающий высокую сухощавую фигуру раджастанца, требуется не менее шести метров ткани. Это, пожалуй, больше, чем идет на все остальные части туалета. Можно в конце концов обойтись без рубашки, шаровары можно заменить короткой набедренной повязкой, но тюрбан незаменим.

Бедность красок природы жители Раджастана с лихвой возмещают яркостью своих нарядов. Желтые и зеленые кофточки, красные и черные юбки, белые, голубые и гранатовые тюрбаны всегда останавливают глаз свежестью тона, несмотря на солнце, под лучами которого блекнут любые краски. Впрочем, раджастанцы и не думают соперничать с солнцем. Они намеренно красят свою одежду стойкими красителями. Это имеет свои преимущества: можно периодически менять туалет, не расширяя гардероба, — сперва носят желтый тюрбан; когда он поблекнет, его перекрашивают в голубой цвет, потом в зеленый, малиновый и так далее. Кра-

сильщик всегда под рукой: красильный промысел издавна процветает в раджастанских деревнях.

Минуем высокую арку, которая перекинулась через дорогу прямо в поле. На арке надпись: «Вы въезжаете в район Альвара». Конечно, власти Альвара не настолько тщеславны, а муниципалитет его не настолько богат, чтобы строить пограничные знаки, да еще столь помпезные. Арка стоит здесь издавна — с того времени, когда существовали княжества.

Два десятка лет назад территория нынешнего Раджастана выглядела наподобие лоскутного одеяла, где каждый клочок был самостоятельным государством — княжеством. Князья признавали верховную власть английского вице-короля, которому они выплачивали часть своих доходов. Во всем остальном они были полновластными вершителями судеб своих подданных. Когда Индия стала независимой, правительство не рискнуло сколько-нибудь серьезно посягать на их привилегии. Князья остались «раджпрамукхами» — правителями своих территорий, — хотя их права были урезаны конституцией. Реформа 1956 года окончательно лишила их политической власти. Княжества растворились в штатах.

Но магараджи не исчезли. В соответствии с соглашениями, которые заключило правительство Индии с князьями, за последними сохраняются многие атрибуты их былой власти. Каждый магараджа имеет свой «государственный» флаг. Флаг поднимают, когда магараджа находится в своей резиденции, и опускают, когда он покидает ее пределы. Машины, в которых разъезжают магараджи, отмечены специальными номерными знаками красного цвета. Князья имеют право на ношение личного оружия и на военный эскорт. Личные вещи магараджи не подлежат осмотру в таможенных. Чтобы привлечь магараджу к суду, требуется специальное решение правительства. День рождения может быть объявлен праздничным днем на территории его бывших владений. За раджами и магараджами сохраняются их полные титулы, которые надлежит перечислять в документах и на официальных церемониях.

Нелегко расстаться они и со своими царственными привычками. В газетах писали, что недавно во время праздника огня — «дивали» — вокруг дворца одного бывшего магараджи собралась толпа. По традиции люди просили бакшиш — ожидали подачек. Рассерженный магараджа выскочил с мечом из дворца и нанес увечье человеку, который не успел вовремя увернуться от карающей руки, как это сделали другие.

В одном из южных штатов я видел фотографию в местной газете, на которой репортер запечатлел встречу бывшего магараджи с правительством штата. Если бы не подпись под фотографией, не год и число газеты, то всю эту сцену можно было бы с успехом отнести к старым временам — так величественна была осанка магараджи и так подобоострастно склонились перед ним министры...

Машина переваливает через невысокую горную гряду, такую же бурую, безжизненную и обожженную, как и все вокруг, и пейзаж преобразуется: вокруг поля, сады, сочные густые кроны деревьев. Это Альварский оазис. Здесь есть вода. Главная проблема всего этого огромного края, протянувшегося на юго-запад от Дели, — вода. Воды в Раджастане очень мало. Ее приходится беречь. Она на вес золота.

Город Альвар — ныне районный центр, а в прошлом столица самостоятельного княжества, о чем свидетельствует еще крепкий форт и городские укрепления, — мы проезжаем, не останавливаясь.

Навстречу нам время от времени попадают машины с делийскими номерами. Пассажиры — в спортивных куртках, жокейских кепи, пробковых «колоннальных» шлемах. В кабинах удочки, ружья. Это возвращаются охотники и рыболовы с озера Селишер. Пока мы боремся с соблазном отдохнуть на его лесистых берегах, машина проскакивает поворот к озеру.

Час езды, и за высоким выступом скалы открывается город-крепость: массивные ворота, стены, разбегающиеся по склонам гор, с рядами окошек-бойниц, дворец, к которому ведет крутая мощеная дорога. Это Амбер — столица бывшего Джайпурского княжества. До дворца можно дойти пешком. Но кто в городе магараджей будет ходить пешком, если к вашим услугам есть настоящие живые слоны?

Наша слониха с поэтическим именем Шакунтала оказалась на редкость мирным и спокойным животным. Повинуясь погонщику, сухонькому старичку в малиновом тюрбане, она подошла к помосту, подождала, пока пассажиры уселись на многоместное седло, и, раскачиваясь, зашагала в гору вместе с другими слонами-риками. На середине пути к нашему каравану пристроился музыкант. Прижав инструмент к подбородку, он легко провел смычком по струнам. Музыкант обогнул мелодию так же внезапно, как начал. На землю скупой упали монеты. Он подобрал их и, считая на ходу, пошел встречать очередную кавалькаду.

Дворец Амбера — массивное и вместе с тем стройное сооружение с высокими стенами, многочисленными башнями, переходами, террасами, бассейнами. На вершине дворца сохранилось то, что сегодня назвали бы «эркондишен», — приспособление для охлаждения воздуха. Представьте себе крытую веранду, которая с двух сторон имеет глухие стены, а с двух других — арочные отверстия. В старину отверстия завешивались матами из волокна кокосового ореха. К верхней кромке мата подводилась вода и капля за каплей стекала вниз. Сквозной жаркий ветер, соприкасаясь с водой, охлаждался и создавал для обитателей террасы «искусственный климат». Этот дешевый и очень эффективный способ охлаждения воздуха используется в Индии и сейчас. Правда, с тех пор на помощь человеку пришло электричество, которое вращает вентилятор и гонит воздух через влажный мат.

Рядом с дворцом — храм богини смерти Кали. Говорят, магараджа Джайпура, чтобы поклониться свирепой богине — покровительнице княжеского рода, — приезжает сюда на своем «роллс-ройсе де люкс».

Дворец Амбера был покинут в XVII веке. Вместе с его обитателями ушли и те, кто кормился около двора. Поэтому в городе рядом с дворцом никто теперь не живет. Как и прежде, стоят дома, вьются узкие улочки. Но нет главного, чем запечатывается индийский город, — движения, красок, запахов, нет жизни.

Впрочем, это далеко не единственный мертвый город на нашем пути по Индии. Причудливо складывались судьбы многих государств, городов и народов Индии на протяжении столетий. И вся эта история, временами бурная и жестокая, оставила о себе память заброшенными храмами, гробницами и целыми городами; некогда величественные и цветущие, они поглощены ныне джунглями, населены змеями и обезьянами.

Мы снова рассказываемся на широкой спине Шакунталы. Еще семь миль пути — и мы в Джайпуре.

Город лежит в долине. С севера и востока он окружен холмами, по вершинам которых протянуты высокие стены. Систему его укреплений венчает Нахаргарх — Тигринный форт.

Джайпур называют «розовым городом»: многие его дома сложены из розового песчаника. В городе множество замечательных архитектурных памятников. Хава махал, или Дворец ветров, например, — одно из признанных чудес света. Он построен магараджей Пратап Сингхом в конце XVIII столетия. Жемчужиной Джайпура называют Лунный дворец. Половина этого дворца закрыта. Там живут родственники магараджи. Другая половина открыта для осмотра. Во флигеле (если так можно назвать здание в несколько этажей) размещается музей. Там можно увидеть охотничьи костюмы магараджи и другие принадлежности его туалета, подарки английских королей, японских микадо, русских царей и других представителей почти вымершей в наше время профессии самодержцев.

В дворцовых залах собрана богатая коллекция индийской живописи различных школ, размещен оружейный музей, который считается одним из самых бога-

тых в Индии, выставлено множество редкостных изделий народного ремесла. Размякший от жары служка в тюрбане отгоняет от круглого стола из черного мрамора голубей длинной бамбуковой палкой.

Во дворце с его многочисленными двориками и садами поддерживается неплохой порядок, но, видимо, содержание его обходится недешево. Во дворце и сейчас занято три сотни слуг. И все же магараджа Джайпура — далеко не самый богатый князь в Индии. Поистине «великим» раджей считается низам Хайдерабада, личные владения которого включают пять дворцов в Хайдерабаде, один из которых — Фалакнума — служил только для приема английских вице-королей, два летних дворца в курортном городе Отокаунд в «Голубых горах» и дворец в Махабалешваре. Котхи-палас, который служит сейчас резиденцией низама, обслуживают двенадцать тысяч человек, в том числе тысяча семьсот его личных гвардейцев. Об образе жизни низама можно составить представление хотя бы по тому, что только «на стол» он расходует два миллиона рупий ежегодно. Много это или мало? Судите сами: по официальным данным, доход на душу населения в Индии составляет в среднем четыреста двадцать рупий в год. И это средняя цифра, которая ставит на одну доску и низама Хайдерабада, тратящего свыше двадцати пяти тысяч рупий в день, и кули, который живет с семьей на рупию!

На какие деньги содержатся эти роскошные дворцы?

Государство выплачивает пятистам шестидесяти низложенным князьям пенсии, которые после получения Индией политической независимости были установлены в размере ста десяти миллионов рупий в год. Под нажимом демократической общественности правительство Индии стало постепенно сокращать эти выплаты. Сейчас на эти цели расходуется ежегодно пятьдесят миллионов рупий. Самую крупную пенсию получает низам Хайдерабада (пять миллионов рупий в год), далее идут магараджи Майсора (2,6 миллиона рупий), Джайпура и Тривандрума (по 1,8 миллиона рупий), Патналы (1,7 миллиона рупий), Бароды (1,5 миллиона рупий). Самая маленькая пенсия досталась на долю магараджи Катодия — сто девяносто рупий в год.

Магараджи пользуются некоторыми привилегиями, которые дают им определенную материальную выгоду. Начать хотя бы с того, что пенсии и имущество магараджи не облагаются налогами, князья не платят даже за воду и электричество, они обеспечиваются бесплатным медицинским обслуживанием и т. д.

Используя свои богатства, многие князья стали крупными бизнесменами. Магараджа Бароды, например, — один из главных держателей акций крупного банка. Магараджа Джайпура владеет текстильной фабрикой и заводом водоизмерительной аппаратуры. Один из своих дворцов в Джайпуре он приспособил под гостиницу. Играя на любопытстве и тщеславии туристов, он «зарабатывает» немалые деньги. Номер в «Магараджа-отель», правда самый дорогой, стоит двести семьдесят рупий в сутки.

Некоторые князья, однако, считают обременительным содержать свои огромные дворцы и стремятся сбыть их по сходной цене. Но покупателей мало; подумайте сами, кому нужно такое огромное и нелепое с точки зрения здравого смысла сооружение? На выручку опять же приходит государство. Магараджа Патналы, например, продал свой дворец государству за очень внушительную сумму. Теперь там размесился институт спорта.

Смотр города и дворца занял всю вторую половину дня. Нужно было подумать о ночлеге. Мы объехали все отели города, но безуспешно. Еще не окончился туристский сезон, и гостиницы, даже самые дорогие, были забиты до отказа.

— Где же можно переночевать? — спросил я служащего последнего и самого дорогого «Магараджа-отель».

— Попробуйте найти приют в «Кхетри-хауз». Это маленький отель, не очень известный, у них иногда бывают номера.

— Может быть, есть смысл позвонить им по телефону?

— Нет, сэр, им нельзя позвонить, у них нет телефона. — ответил служащий, как бы извиняясь.

Поминутно спрашивая дорогу, мы поехали по пыльной улице, которая уперлась в небольшой парк с павлинами на деревьях. В глубине его стоял небольшой дом в стиле могольских дворцов, с минаретами и башнями: маленькая копия больших дворцов с их роскошью. Слуга, пожилой и бедно одетый, шлепая босыми ногами по каменным ступенькам, проводил меня в комнату на втором этаже. Большую ее часть занимала широкая кровать, на стенах — барельефы Шивы и Сарасвати. В проеме между окнами — портрет головастого мальчика с большими грустными глазами.

— Раджа, — шепнул слуга, показывая на портрет.

Комната обставлена с претензией на музей магараджи Джайпура. В шкафах аккуратно расставлены детские игрушки, некоторые из них поломаны; за стеклянной витриной — недорогой детский костюмчик.

— Что вы будете пить завтра утром, сэр? Чай или кофе? — спросил кто-то за спиной.

Я невольно вздрогнул. Передо мной стоял пожилой головастый мужчина с большими грустными глазами.

— Я владеец этого дома. Располагайтесь, отдыхайте. Ужин мы подаем в восемь часов вечера.

Утром с разрешения хозяина я отправился осматривать дом. На втором этаже оборудована небольшая молельня. Около изваяния бога-слона Ганеша с завернутым хоботом и человеческим туловищем курятся сандаловые палочки. Их сладковатый запах разносится по всему дому. На стенах коридора развешаны литографии — в простых деревянных рамках под стеклом. Это «картинная галерея»: портрет английской королевы Виктории, сцена коронации короля Эдуарда VII, портрет Черчилля...

Первый этаж — жилые комнаты раджи. Под стеклом выставка оружия — мечи, пики, стрелы, щиты. Много шкафов с книгами.

— У вас большая библиотека? — спросил я у хозяина.

— Да, я собираю книги.

— Вас интересует какая-то определенная область, ну, скажем, литература, искусство или наука?

— Нет, вы знаете... — замялся хозяин, — я просто собираю книги, без особого разбора.

Есть что-то общее между поместьями нынешних мелких феодальных князей Индии и прежними русскими «дворянскими гнездами». Та же растерянность их владельцев перед напором новой и непонятной жизни, та же отчужденность и стремление укрыться в своей раковине. И та же обреченность.

Но богатые княжеские фамилии отнюдь не собираются сдавать свои позиции без боя. В полукруглом зале Народной палаты индийского парламента можно видеть стареющую, но еще поразительно красивую женщину в дорогом сари. Это магарани Джайпура Гаятри Деви — депутат реакционной партии «Сватантра». Бывший магараджа Куча Химатсингх, известный своими реакционными взглядами, тоже один из лидеров «Сватантры», член ее исполнительного комитета.

«Сватантра» — не единственное прибежище низложенных феодалов. Многие из них состоят и в рядах правящей партии — Индийский национальный конгресс. Но это не меняет сути дела. Бывшие князья представляют собой реакционное крыло этой партии. Не случайно демократическая печать Индии объясняет задержку в проведении аграрных реформ, законы о которых были приняты в первые годы независимости, засильем помещиков и князей в законодательных и исполнительных органах власти. Раджастан может служить доказательством справедливости этой точки зрения. За двадцать лет положение в сельском хозяйстве штата изменилось очень мало. До последнего времени пятьсот крупных землевладельцев концентрировали в своих руках столько же земли, сколько приходилось на долю миллиона крестьянских хозяйств. Около двух третей крестьян этого штата находится в долгу у ростовщиков.

На выборах 1967 года раджи и магараджи нанесли поражение многим кандидатам правящей партии Индийский национальный конгресс. «Сватантра», например, сумела провести в парламент Индии более сорока своих депутатов и заняла положение главной оппозиции.

Возникает вопрос: почему отжившие свой век раджи и магараджи, которым, казалось бы, давно уже пора быть в музее наряду с пышными атрибутами княжеской власти и утех, до сих пор не покидают авансцены политической жизни? Одна из причин кроется в том, что антифеодальные преобразования, которые были торжественно обещаны правящей партией в первые годы независимости, оказались незавершенными, силы феодализма не были сломлены. Князья лишились административной власти, но сохранили свои богатства — дворцы, земли, драгоценности. Идя на уступки бывшим правителям княжеств, Национальный конгресс рассчитывал заручиться поддержкой этой влиятельной силы или по крайней мере нейтрализовать ее. На какое-то время ей удалось добиться этого. Первые годы князья вели себя тихо, устраивая свои дела, и даже выражали симпатии конгрессу. Сейчас же они встали в прямую и открытую оппозицию существующему режиму. «Неблагодарность» раджей была в какой-то мере неожиданностью для некоторых лидеров конгресса. «Разве не конгресс защитил вас от массовой резни после получения независимости? — сказал в своей предвыборной речи один из ведущих государственных деятелей Индии, обращаясь к раджам. — Не мы ли благодетельствовали вас пенсиями, не от нас ли вы получили специальные привилегии, несмотря на упорные требования лишить вас всего этого? Так почему же вы выступаете против нас?»

Действительно, почему?

Да потому, что раджи и магараджи никогда не были сторонниками независимости страны. Их вполне устраивала роль вассалов английской короны, пышные приемы в метрополии и доходы, которые они собирали со своих подданных. Сегодня раджи и магараджи оправились от потрясений и страха за свое будущее, они нашли свое место в экономической и политической структуре Индии. Они обрели влиятельных союзников. Я имею в виду верхушку индийской буржуазии: крупнейшим финансовым тузам, воротилам «крупного бизнеса», сосредоточившим в своих руках значительную долю промышленности, торговли, банковского дела, тоже не нравятся многое из того, что происходит в сегодняшней Индии. Они выступают против планирования и развития экономики, они хотят неограниченной свободы частному предпринимательству, они стремятся к сотрудничеству с международным капиталом. Они мечтают покончить с «курсом Неру» во внешней политике и «усмирить» демократические силы.

«Сватантра», созданная летом 1959 года, и представляет собой по сути политический блок столь, казалось бы, разных социальных сил, как отживающие свой век феодалы и капиталистические монополии.

Союз монополистов и раджей не выглядел бы столь зловеще, если бы он не находил себе поддержки в среде других «рассерженных» классов и групп, объединяющихся в рядах других реакционных организаций, и прежде всего партии «Джан сангх»: помещиков, недовольных ликвидацией архаических, но очень доходных для них форм земельно-налоговых отношений, элиты высших каст, недовольной отменной кастовых привилегий, и т. д. — всех тех, кто ненавидит новое, кто мечтает о возврате «доброе старого времени» с его обскурантизмом, с покорностью и заботностью простых тружеников.

Анализируя причины возросшей активности реакционных сил, нельзя сбрасывать со счетов и то, что они имеют возможность спекулировать на тяжелом положении трудящихся масс Индии, на реальных трудностях, перед которыми стоит эта страна: неуклонный рост налогов, цен, внутренней и внешней задолженности, усиленное проникновение иностранного капитала и возрастающее давление империалистов на внешнюю политику страны.

С другой стороны, развитие капитализма в городе и деревне, конкуренция крупных фабрик приводят к массовому разорению крестьян и ремесленников.

Не находя себе применения в современной промышленности, поскольку темпы ее все еще оказываются недостаточными, чтобы занять «свободные руки», эти люди пополняют огромную армию безработных. Всякий, кому довелось побывать в Индии, обратил внимание на тысячи людей без крова, промышленяющих случайными заработками и нищенством. Эти люди, задавленные нуждой, неграмотные, отсталые в политическом отношении, легко становятся добычей всякого рода политических авантюристов, готовых на любые обещания ради достижения своих реакционных целей.

Опыт последних выборов показывает, что там, где демократические силы организованы, где они нашли дорогу к массам, воля трудящихся служит непреодолимым препятствием для планов реакции.

Однако прогрессивным силам Индии пока еще не везде удастся мобилизовать массы для борьбы против реакции. Поэтому — а именно такова логика политической борьбы — недовольством масс в значительной мере пользуется реакция.

В Джайпуре нас ожидал приятный сюрприз. Прямо на улице я встретил своего давнишнего знакомого В. В. Раджу, адвоката из Удайпура.

В. Раджу — коренной раджастанец, горячий, напористый, неукротимый. И, как все раджастанцы, он имеет прямое отношение к раджам: еще два десятка лет назад его отец и он были подданными магараджи Удайпура.

Узнав, что мы едем мимо его родного города, он быстро закончил свои дела в суде и присоединился к нам.

Перед нами опять пепельная равнина. Опять слепит глаза солнце, скрипит на зубах тонкая раджастанская пыль.

— Через двадцать миль — Аджмер. Там можно перекусить, — говорит Раджу. — Аджмер — священный город. Собственно говоря, у нас в Индии почти все города священные. В одном родился какой-нибудь бог, в другом городе есть священное озеро или река, омовение в которых исцеляет болезни, в третьем живет святой, благословение которого приносит счастье и здоровье. Но Аджмер — один из самых святых городов. Тут не иссякает поток пилигримов.

Действительно, мы все чаще и чаще обгоняем группы пешеходов. У них усталые, запыленные лица. Босые ноги с надувшимися от долгой ходьбы венами покрыты ссадинами.

Завидев дерево, под которым можно укрыться от солнца, мы остановили машину. Шофер открывает капот — перегрелся мотор. Тем временем мы делаем разминку — пять шагов вперед, пять назад, не выходя из тени, которую отбрасывает на дорогу жидкая крона дерева.

К нам приближаются трое: худой высокий старик и два его спутника помоложе. По всему видно, что старик — бывалый странник. В подол его длинной рубашки завязан узелок с продовольствием. В руках он держит круглый глиняный кувшин с узким горлышком — вода.

— Аре, бхан! — окликает их Раджу, жестом подзывая к себе.

Они охотно останавливаются, вытирают рукавами рубашек пот. Самый младший отходит в сторону и в изнеможении ложится на землю.

Мы предлагаем сигареты. Старик берет сигарету двумя пальцами и прячет в карман рубашки. Его спутник закуривает, с удовольствием затягивается. Завязывается беседа. Куда они идут? Идут в Аджмер, поклониться праху Муннутдина Чисти... Да, все трое идут туда. Двое — он сам и вот этот, Максуд, — они из Морадабада. Слыхали такой город? А вон тот парнишка — из Гвалиора. С ним познакомились в дороге. Втроем все-таки веселее. Что? Гвалиор тоже священный город? Старик с чувством превосходства объясняет: так в Гвалиоре жил один из великих учителей сикхов. А они мусульмане. Сикхи идут в Гвалиор, а мусульмане — в Аджмер.

Какая необходимость гонит их так далеко от дома?

— Я скоро предстану перед аллахом, — говорит старик серьезно.

У его спутников свои заботы: Максуд имеет пять дочерей и ни одного сына. Авошь аллах смилуется над ним и пошлет наследника. Самого младшего — Раза Али — послал в Аджмер отец. У них небольшая мастерская. Делают бронзовую посуду. Дела идут неважно — конкуренция. Старшие братья — хорошие ремесленники. Чтобы не пострадало дело, отец послал в Аджмер его... Сагибы тоже едут в Аджмер? Да. Аджмер — очень священный город. Сам великий Акбар ходил из Агры сюда пешком. И аллах — старик поднимает глаза к небу — вознаградил его за это...

Мы снова трогаемся в путь. Скоро фигуры странников скрываются за холмом.

Как и многие раджастанские города, Аджмер имеет долгую и боевую историю. Основанный, по преданию, в VII веке, он многое претерпел за более чем тысячелетнее существование. Каждый век, каждый властитель оставлял здесь свои следы в виде дворцов, крепостных стен, усыпальниц, мечетей и храмов, которые карабкаются по каменистым склонам невысоких гор, отражаются в бирюзовой глади озера Ана Сагар.

Сейчас Аджмер — крупный центр паломничества приверженцев мусульманской секты суфитов.

У мечети и могилы основателя секты Муинутдина Чисти всегда много людей. Группами и в одиночку входят они на раскаленные мраморные плиты и застывают в глубоком поклоне. Церковный служака сердито трясет перед ними металлическим ящиком с прорезью в крышке. Все опускают туда свои монеты. На надгробиях, на мраморных резных барельефах и просто на полу — гирлянды цветов. В горячем воздухе стоит запах увядающего жасмина.

Аджмер привлекает к себе не только мусульман. В семи километрах от города раскинулось озеро Пушкар — одно из самых почитаемых мест в Индии. Оно упоминается в «Рамаяне» и «Махабхарате». На берегах озера расположены храмы и гаты — места омовения. Около них — «гостиницы»: ряды крытых навесов.

В октябре—ноябре здесь негде упасть яблоку — на праздник «Пурнима» стекаются десятки и сотни тысяч верующих индусов, чтобы совершить омовение в озере, вода которого очищает душу и тело и гарантирует вознесение на небо.

На берегу озера дует прохладный ветерок, и мы сразу вспоминаем, что с утра ничего не ели...

— Может быть, настала пора подумать о пище телесной? — робко спрашиваю я Раджу.

Предложение принимается с энтузиазмом. Обедаем в небольшом ресторане с искусственным климатом, утоляем жажду холодным рисовым пивом, едим плов, подкрашенный шафраном, пьем крепкий кофе. Потом в колонке английской фирмы «Бурма Шелл» пополняем запас бензина.

За Аджмером, на развилке, Раджу просит остановиться.

— Я предлагаю свернуть с магистральной дороги и заехать в Читтор. Вы не пожалеете о потраченном времени, — горячо убеждал нас он. — Когда вы еще сможете побывать в Читторе? А его нужно видеть.

За беседой время идет быстрее. Казалось, не прошло и часа, когда у подножия горы показался небольшой городишко с плоскими крышами.

Машина с трудом преодолевает крутой подъем. По сторонам дороги — хижинки; пахнет кизячным дымом, в пыли играют дети. Женщины несут на головах вязанки хвороста.

Вооружившись фотоаппаратами, мы отправляемся смотреть крепость.

В Индии очень много крепостей — больших и маленьких. В конце концов внимание притупляется от обилия развалин. Но развалин Читтора забыть нельзя. И дело не только в тех удивительных памятниках, которые тут сохранились. Здесь каждый камень овеян легендами о мужестве, о верности воинскому долгу, о беззаветной храбрости.

— Трижды Читтор был разрушен до основания и трижды он возрождался буквально из пепла, — рассказывает Раджу. — Будучи еще столицей княжества Сисодия, Читтор был в первый раз разрушен Аллауддином Хиджли в 1303 году. Как говорит легенда, Аллауддин не имел дурных намерений в отношении города Читтора. Он просил руки у правительницы Читтора рани Падмини — индийской Елены, считавшейся самой красивой женщиной в мире. Но гордая раджастанка отказала Аллауддину.

Тогда он пошел на читторцев войной. Храбро дрались воины Читтора, но силы их слабели. Чтобы не стать добычей завоевателей, женщины Читтора совершили массовое самосожжение — сатхи. Последней на погребальный костер вошла рани Падмини. Когда Аллауддин вступил в город, перед его глазами открылась картина смерти и разрушений: город был мертв.

— Второй раз Читтор был взят в 1535 году войсками Бахадур-шаха — султана соседнего Гуджерата. Раджастанцы снова оказали упорное сопротивление. Когда гарнизон убедился в том, что город отстоять не удастся, тысяча триста женщин Читтора повторили поступок рани Падмини и ее подруг. Третий раз стены Читтора пали в 1567 году под ударами могольского владыки шаха Акбара... Неприступная крепость Читтор трижды становилась добычей врага. И трижды причиной этому были раздробленность, отсутствие единства между соседними княжествами, — говорит наш спутник. — Об этом, кстати, не мешало бы помнить тем, кто сегодня стремится подорвать единство Индии. Пока мы вместе, мы, индийцы, можем выдержать многое. А если нас разобщить, нас может постичь участь Читтора, хотя читторцам не нужно было занимать мужества...

Мы рассчитывали приехать в Удайпур засветло. Но где-то на полпути между Читтором и Удайпуром наша машина чихнула и остановилась. Шофер нырнул под капот. Прошел час, полтора, но мы не сдвинулись с места.

Внезапно перед нами вырос «джип». Из него выскочили двое молодых людей — светловолосые, жизнерадостные, веселые, в коротких рубашках-бушетах.

— Хелло, в чем дело?

— Что-то не ладится с машиной.

Один оттеснил в сторону шофера. Тем временем мы знакомимся с его товарищем.

— Сэм Вуд из Цинциннати, а это мой коллега, Гарри Стоун. Он из Чикаго. Мы работаем в колледже, учим индийцев сеять, пахать, объясняем им, что такое трактор...

Сэм Вуд широко и добродушно улыбается. Но постепенно улыбка сходит с его лица. Искоса поглядывая на Раджу, наш новый знакомый жалуется на жару, на скуку, на «странности» местного населения, на подозрительность индийцев.

— В общем-то симпатичные парни, — говорит Раджу об американцах, когда мы снова трогаемся в путь. — Занимались бы себе тракторами и сеялками, им и слова бы никто не сказал. Наоборот, благодарны были бы. А то все норовят политику делать... Лезут не в свое дело, а потом жалуется.

В Удайпур мы приехали поздно ночью. Сначала в свете фар появилась массивная стена, обозначающая черту города. Въехали в ворота. Поворот, еще одни ворота, расписанные замысловатым орнаментом.

— Я, кажется, приехал. Итак, до завтра, — говорит Раджу, протягивая на прощание руку.

Еще один поворот, и еще одни ворота. Внезапно дорога оборвалась широкой асфальтированной площадкой. Слева, покуда хватает глаз, — вода. Вдали на ее темной глади сияет ажурный белый дворец. Один из бывших дворцов магараджи превращен в гостиницу.

Шофер сигналил. Из темноты выходит заспанный слуга в красной ливрее.

— В отель, сэр?

Он молча берет чемодан и направляется к маленькой пристани. Я знаком приглашаю шофера, но служитель качает головой: нельзя. Пытаюсь возражать.

Время позднее, куда он пойдет искать пристанища? Мы объехали с Моханджи всю Индию, не один раз делили с ним и хлеб и кров. Но Моханджи машет рукой: здесь такие порядки, сэр. В чужой монастырь со своим уставом не ездят...

Моторная лодка перевозит меня к дворцу. Щеголеватый портье с напомаженной головой записывает фамилию, номер паспорта, пункт отправления и пункт назначения в толстую книгу с массивным переплетом. Босой слуга в красной ливрее и белых перчатках бесшумно уносит чемодан.

Прохожу в свою комнату. Обилие лепных украшений, позолота, на стенах и потолке — яркие фрески. За окном слышатся всплески. В озере играет рыба. Куда-то вдаль убегает лунная дорожка. На стене несколько объявлений под стеклом. Во избежание недоразумений их нужно прочесть. «Счета оплачиваются по предъявлению. Чеки не принимаются». Владелец отеля хоть и магараджа, но вполне деловой человек, он не верит в бумажки. Еще одна инструкция: слугам категорически запрещается спать в комнатах постояльцев и в коридорах отеля. Собаки могут это делать с разрешения администрации.

Проснувшись, я увидел огромное озеро, гористый берег которого тонул в глубокой дымке.

Утром Раджу показывал нам город. Как многие индийские города, Удайпур резко делится на две части. Старый город с крутыми извилистыми улочками, снующими осликами, с криками торговцев, резким запахом подгорелого растительного масла — средоточие резких красок, звуков и запахов.

Удивительно яркие удайпурские базары — желтые манго, оранжевые апельсины и бледные гоава лежат вперемешку с зелеными арбузами и огромными темными тыквами. За овощными рядами тянутся лавки кустарей и ювелиров. Блестят на солнце огромные бронзовые блюда с тисненными слонами, павлинами и цветами, пепельницы и подсвечники чеканной работы, кувшины с длинными горлышками. В лавках сапожников и знаменитые раджастанские вышитые туфли — «чапли» — из сафьяна и бархата с длинными загнутыми носами, в которых щеголяли много столетий назад, и вполне современные резиновые шлепанцы.

А вот и ряды «красного товара» — шитые серебром и золотом халаты, сари, вороха пестрых «чунри». «Чунри» — достопримечательность Раджастана и гордость его ремесла. Изготовление «чунри» требует не только мастерства, но и терпения и времени. Может быть, поэтому этот промысел отдан на откуп женщинам. «Чунри» делается так: на кусок ткани, сложенный в несколько слоев, с помощью графарета шпильками наносится контур будущего рисунка. Женщина двумя пальцами оттягивает помеченные места и аккуратно смазывает их специальной пастой, на которую не садится краска. Обработанный таким образом отрез отдается красильщику. После окраски «чунри» готов. Женщин, которые занимаются этим ремеслом, можно узнать по длинным ногтям на большом и указательном пальцах, которыми они пользуются как пинцетами.

В Удайпуре находится самый крупный в Раджастане дворец магараджи. Устав от жары и солнца, мы наотрез отказались его осматривать. Тем более что внешне дворец напоминает виденное раньше.

— Напрасно, — убеждал нас Раджу. — Ведь этот дворец имеет связь с вашей страной. Вы знаете что-нибудь об Удайпури Махал — любимой жене императора Аурангзеба?

Нет, я ничего не знал об этой выдающейся женщине.

— Удайпури Махал — грузинка. Ее купил на рынке невольников брат Аурангзеба, наместник Дара Шукох. Благодаря всему уму и красоте пленница скоро стала украшением его гарема. Когда удайпурский наместник восстал против императора, Аурангзев разбил его войско и по традиции взял себе весь его гарем. Удайпури Махал очаровала императора, и он женился на ней. До конца его дней она была ему верным другом и советчиком. Аурангзев умер в июне 1707 года. Через четыре месяца в Гвалноре умерла и его жена... Романтическая история, не

правда ли? — спрашивает Раджу и с торжествующим видом ведет нас по крутым ступеням вверх, к воротам дворца...

А вот новый город: тихий, спокойный и безлюдный. По обеим сторонам асфальтированной дороги, в зелени садов, спрятались бунгало с нависающими черепичными кровлями, с просторными верандами, окруженные подстриженными газонами и цветниками, и совсем современные дома с плоскими крышами, бассейнами и теннисными кортами.

На окраине города мое внимание привлекла группа домиков. Они стояли на голом, как яйцо, склоне холма. Вокруг — ни кустика, ни травинки.

— Что это? — поинтересовался я.

— Это — колония бхиллов, — сказал Раджу, — вы ни разу не были у адхиваси?

Как и многие индийские штаты, Раджастан неоднороден в этнографическом отношении. Помимо народов, пришедших сюда сравнительно недавно, в горах и каменистых пустынях сохранились племена аборигенов — адхиваси.

Бхилы — одно из самых многочисленных и интересных племен. Название племени происходит от дравидского слова, означающего «лук». Бхилы — замечательные стрелки из лука. Говорят, что их стрелы не знают промаха.

Мужчин бхиллов можно узнать по густой татуировке, которая покрывает все тело. Они разрисовывают себя изображениями луны, звезд, животных, птиц. Женщины отдают предпочтение бронзовым и серебряным украшениям, хотя не пренебрегают и татуировкой.

Прежде бхилы были кочевниками. На лесистых склонах гор и сейчас можно видеть их временные поселения — несколько жалких домиков, сплетенных из хвороста. Но сейчас большинство бхиллов ведет оседлый образ жизни. Они занимаются земледелием, охотой, сбориением лекарственных трав.

С ростом городов и промышленности бхилы все чаще покидают леса, деревни и устремляются в города, где пополняют армию неквалифицированных, низкооплачиваемых рабочих.

Правительство делает немало для того, чтобы облегчить участь этих людей. Государство помогает им в трудоустройстве. Для них создаются школы, интернаты, поселки.

Едва мы подошли к ближайшему домику, как нас окружила толпа полуголых ребятишек. Входим в дом. Навстречу поднимается хозяин — пожилой человек с усталым, безучастным лицом. Знакомимся. Его зовут Паярлал. Хотите посмотреть, как он живет? Пожалуйста. Небольшая комната метров двенадцать—пятнадцать. Никакой мебели. В углу две циновки. Здесь помещаются восемь человек: он сам, жена и шестеро детей. Поселок создан семь лет назад, а до этого он жил в городе. Перебивался случайными заработками, не имел постоянного жилья. Государство выдало каждой семье бхила по семьсот пятьдесят рупий на строительство домика. Работает он в каменоломне, получает примерно пятьдесят—шестьдесят рупий в месяц. Это, конечно, очень мало. Жить трудно. Все дорожает. Но больше не зарабатываешь — нужны грамотные рабочие, а Паярлал не умеет ни читать, ни писать.

— Может быть, дети будут жить лучше, — говорит он, привлекая к себе худенькую взлохмаченную девочку с куском сахарного тростника в руке.

Старшие дети Паярлала ходят в школу. Он очень гордится этим.

— Они уже образованнее своих родителей, — говорит он, улыбнувшись.

Да, жизнь идет вперед. И как бы ни казалось прочным старое, новое пробиивает себе дорогу. Даже в самых отдаленных районах страны появляются школы, растет промышленность.

Раджастан не исключение.

Несколько лет назад считалось, что Раджастану надолго уготована участь «богатого, но отсталого» штата. Огромным запасам минерального сырья, казалось бы, лежать еще долгие годы нетронутыми. В этом районе страны не было топли-

ва. Но топливо нашлось. С помощью советских специалистов, советской техники и кредитов в соседнем штате — Гуджерате — обнаружены крупные запасы нефти. Недавно вступил в строй нефтеперерабатывающий завод в Кояли — детище советско-индийского сотрудничества. А это в корне меняет перспективы экономического развития края. Характерно, что еще задолго до пуска нефтеперерабатывающего завода вдоль железной дороги Джайпур—Бомбей стали возникать новые предприятия. В печати обсуждаются возможности развития горной, нефтехимической и других отраслей промышленности.

Одно из важнейших следствий промышленного развития — рост рабочего класса. С каждым годом усиливается его влияние на политическую жизнь. Профсоюзы все активнее выступают в защиту интересов трудящихся. Если в 1957 году в Раджастане было зарегистрировано двадцать семь крупных забастовок, то в 1964 году уже было пятьдесят четыре забастовки. В прошлом году прошли крупные стачки фабрично-заводских рабочих в Альваре, Джайпуре, Джодхпуре, Бина-нере. И что характерно — несмотря на раскол профсоюзного движения, забастовками нередко руководили комитеты объединенных действий, в которые входили представители различных союзов рабочих..

Мы прощаемся с Раджу. Он долго машет нам рукой. А через час мы прощаемся и с Раджастаном: машина бежит по дорогам штата Гуджерат. Кажется, все осталось по-старому. Та же жара, та же пыль, та же бурая земля. Но чаще попадаются селения, просторнее стали поля. И в воздухе появилась едва уловимая мягкость — признак недалекого моря.



В МИРЕ НАУКИ

Ю. ФРОЛОВ,

заслуженный деятель науки РСФСР,
профессор

★

В СРЕДУ, У ПАВЛОВА

(Из воспоминаний)

Мне хочется рассказать всего лишь об одном рабочем дне великого физиолога — среде 2 октября 1935 года — не только потому, что другие дни были похожи на этот рабочий день, но и потому, что в самом течении его как в зеркале отражались дела и надежды Павлова, закрепленные в воспоминаниях людей, лично знавших его и работавших с ним. Правда, рассказывая о делах и мыслях, так или иначе связанных с этим днем, мне невольно придется обращаться к прошлому и настоящему, и это будет несколько нарушать мой замысел, но зато позволит воссоздать более целостную картину того, кем был для отечественной науки этот великий ученый.

Проснувшись очень рано, как всегда в семь утра, Иван Петрович принял прежде всего прохладную ванну, которую он наполнял водой с вечера. Зимой температура этой ванны была значительно ниже, чем летом, — это имело профилактическое значение, укрепляло работу сердца и сосудов. Павлов всю жизнь занимался закаливанием организма, а купание в прохладной воде любил начиная с детства в Рязани, да и теперь еще в Колтушах летом плавал и нырял в пруду в любую погоду.

На днях ему исполнилось восемьдесят шесть лет, и этот день своего рождения, как и все предыдущие, Иван Петрович, не любивший банкетов и торжественных приветствий, провел в Колтушах, раздумывая и работая над своей любимой проблемой — над основами развития высшей нервной деятельности животных и формирования сознания человека.

Легкий завтрак в семь тридцать утра и затем получасовой «кейф» в большой гостиной, где собрано около ста картин, преимущественно русских художников-передвижников. Отдыха требуют врачи, основывающиеся в свою очередь на выводах его, Павлова, теории об «охранительном торможении». Никакой записной книжки, ни карандаша! Сиди в мягком кресле и думай о чем угодно, только не разговаривай ни с кем — это скупая дань возрасту. Зато с какой энергией он вскочит с места, когда часы пробьют один раз, и бросится в прихожую, чтобы одеваться и ехать в свой Институт экспериментальной медицины навстречу огромной и привычной ежедневной научной работе — с десяти до семнадцати тридцати с перерывом на обед.

* * *

Выйдя из подъезда старого академического дома на 7-й линии Васильевского острова, где теперь красуются на стенах четыре десятка мемориальных досок с именами академиков, здесь живших, и где находится квартира-музей И. П. Павлова, Иван Петрович видит машину. С водителем ее он соревнуется в аккуратности

сти, добиваясь того, чтобы никто из них ни минуты не ожидал другого. Точно так же он состязается и с научными сотрудниками, считая не только опоздание, но и преждевременную явку хотя бы на минуту раньше срока преступлением против неписаного закона организации творческого труда.

Ежедневно утром он едет в Институт экспериментальной медицины сначала по набережной Большой Невы, через старый Биржевой мост, потом по Большому проспекту Петроградской стороны и дальше на Аптекарский остров, где когда-то Петр Первый заложил плантацию лекарственных растений. Здесь, близ разветвления Большой и Малой Невки, на Лопухинской улице, был построен в 1890 году первый русский научно-исследовательский институт по медицинской специальности и в его составе — физиологический отдел, возглавляемый Павловым. Именно в этой лаборатории, пользуясь обширным комплексом хирургических и биохимических методов, Павлов открыл ряд основных законов пищеварения, легших в основу современных способов лечения и профилактики расстройств в работе желудка, печени, кишечника и других органов и в основу новой науки — бальнеологии.

В этом небольшом двухэтажном здании возникла и всемирно известная научная физиологическая школа И. П. Павлова, занявшаяся впоследствии изучением законов несравненно более сложной деятельности организма, а именно — основных «правил» работы головного мозга, его коры больших полушарий как материальной основы всей психической жизни человека и всего поведения животных.

Здесь мужчины и женщины всех возрастов в белых халатах, в сюртуках, студенческих тужурках и военных кителях изо дня в день, из года в год в течение целого тридцатипятилетия работали вместе с И. П. Павловым, проводили долгие часы в темных камерах «башни молчания», наблюдали за подопытными собаками, чтобы добыть какой-нибудь один, но точный экспериментальный факт. А самый главный труженик и хозяин этого необычного научного комбината, мучаясь и терзаясь сомнениями («на верном ли мы находимся пути?»), заряжал духом бодрости весь коллектив. Он собирал по крупицам и хранил в памяти все достоверные факты и полученные цифры и, подобно художнику, строил из этих разноцветных камешков тончайшую мозаику высшей нервной деятельности, как в свое время М. В. Ломоносов, на которого Павлов походил темпераментом, создавал мозаику «Полтавский бой», украшающую поныне вестибюль старого здания Академии наук.

Неумолчный собачий лай привычно оглушал Ивана Петровича и затихал, когда он переступал порог своей старой, далеко не комфортабельной лаборатории, где находилась его святая святых — операционная для стерильных опытов, по образцу которой функционируют тысячи экспериментальных физиологических лабораторий во всем свете.

Но современному посетителю института не менее дорог и кабинет с окнами, выходящими в парк, комната, на дверях которой прибита скромная дощечка с надписью «Иван Петрович Павлов». Хозяин этой комнаты не любил, чтобы его называли «академиком», а тем более «превосходительством», и сам обращался ко всем по имени-отчеству, независимо от занимаемого положения и социального веса.

Даже и в трудном 1920 году в кабинете Павлова ровно в полдень, по сигналу пушки с Петропавловской крепости, сотрудники лаборатории, свернув часы, собирались вместе для полуденного чая с бутербродами, причем первая половина этого слова носила чисто формальный характер — не было жиров. Впрочем, не было достаточно и хлеба. Павлов недоедал и сильно похудел, как и все петроградцы, но регулярно посещал свою лабораторию. Однако, когда международный Красный Крест предложил ему ходатайствовать перед Москвой о переезде его в Западную Европу на полное иждивение рокфеллеровского и других фондов, глава русской физиологической школы с возмущением заявил, что он отказывается от таких «услуг» и навсегда остается в голодном, но милом его сердцу Петрограде, куда собирались теперь его ученики, работавшие на фронтах гражданской войны.

Чай к нашему лабораторному завтраку ввиду отсутствия стаканов подавался в тонкостенных химических мензурках, а заваривали его в колбе. Но какие это были замечательные чаепития! В 1919 году Иван Петрович являлся к столу прямо

с институтского огорода, где умело и по-хозяйски выращивал овощи так же, как до войны он выращивал любимые тюльпаны и левкоя на даче в Силламягах, на берегу Финского залива. Было странно слышать из его уст, что занятия физическим трудом для него приятнее, чем умственным, хотя он и пояснял, что такие его симпатии к земле объясняются тем, что его дед был деревенским пономарем — следовательно, и крестьянином, землепашцем...

Каковы были политические убеждения И. П. Павлова в дореволюционную эпоху? Будучи последователем освободительных идей Чернышевского, Добролюбова, Писарева и других, И. П. Павлов не мог равнодушно относиться к отрицательным сторонам промышленного и финансового капитализма, возникшего и достигшего своего расцвета на его, Павлова, памяти. Более того, И. П. Павлов весьма критически, чтобы не сказать резко, относился и к либералам-кадетам, которых он именвал «болтунами», чуждыми интересам русского народа. Вместе с тем И. П. Павлов любил и уважал русскую студенческую молодежь и всегда стоял за нее горой в случаях, когда возникали революционные стычки между студентами и администрацией. Так было в январе 1905 года, так было и на наших глазах в марте 1913 года, в дни знаменитого студенческого «восстания» военных медиков, когда И. П. Павлов в числе пяти профессоров Академии из тридцати шести встал на сторону студентов, исключенных министром Сухомлиновым.

В те незабываемые годы направление научной деятельности И. П. Павлова все более склонялось в сторону эволюционного учения Ч. Дарвина. В дореволюционный период взгляды Сеченова, Тимирязева и других эволюционистов вызывали страх в реакционных кругах, в том числе среди столичной профессуры, которая далеко еще не порвала с религиозными предрассудками. Достаточно сказать, что в ту эпоху Антоний, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский, состоял членом конференции (ученого совета) Военно-медицинской академии, а профессор-патологофизиолог Лукьянов занимал пост обер-прокурора святейшего синода.

* * *

С Институтом экспериментальной медицины, с январем 1921 года, связано у нас и воспоминание о постановлении Совета Народных Комиссаров о помощи научным трудам И. П. Павлова.

Едва окончилась гражданская война, Советское правительство взялось за восстановление народного хозяйства, разрушенного интервенцией и блокадой. В первую очередь оно занялось собиранием научных сил, оставшихся от старого строя и не связанных с саботажем советских учреждений, который проводила часть столичной интеллигенции. Речь шла также об организации научной смены из числа тех самых людей, которые защищали республику в качестве врачей Красной Армии, и их учителей, не оставивших своего научного поста.

В. И. Ленин высоко ценил значение огромных талантов в науке. К числу их безусловно принадлежат Н. Жуковский, А. Карпинский, В. Вернадский, В. Гулевич, А. Бах, П. Лазарев, В. Стеклов, Ф. Успенский и другие. Но первое место среди этой плеяды было справедливо отведено И. П. Павлову.

В этом историческом документе главой нового государства наряду с другими методами материального обеспечения павловского научного дела было предложено выпустить в лучшей типографии республики плоды двадцатилетних трудов Павлова, ранее нигде полностью не издававшихся, а его научные заслуги были признаны «имеющими огромное значение для трудящихся всего мира».

Владимир Ильич вас своим соратником считает, революционером в науке, говорил Павлову М. Горький, участвовавший в составлении этого документа.

Вряд ли сам великий ученый подозревал в те дни, что его учение о высшей нервной деятельности может сыграть какую-то роль в революционной борьбе трудящихся против эксплуататоров. Но дальнейший ход событий показал, что павловская научная теория вошла как один из камней в фундамент мировоззрения людей

социалистической эпохи, стала частью строительства новой, Советской России, могучей и свободной, то есть именно такой, какой хотел видеть ее И. П. Павлов и для которой он готов был отдать всю свою жизнь.

* * *

Сегодня на письменном столе кабинета — этого капитанского мостика, с которого Павлов управлял развитием отечественной и мировой физиологии, — стоит блок-календарь с датой последнего посещения им своей старой любимой лаборатории — 10 февраля 1936 года.

Но мы хотим проследить, как протекал день 2 октября 1935-го. Ведь это была среда. Поэтому Павлов вместо Института экспериментальной медицины отправляется в Физиологический институт Академии наук СССР, помещающийся в обширном и прекрасном здании на набережной Малой Невки. Это своеобразный дворец науки, о каком в досоветское время ни Павлов, ни его сотрудники не могли и мечтать.

Здесь работает несколько десятков штатных сотрудников, в то время как до революции их было всего два, не считая самого Павлова. А ведь вместе с лабораторией Института экспериментальной медицины и вновь основанной лабораторией экспериментальной генетики высшей нервной деятельности в Колтушах число сотрудников доходит до ста. И всем им Павлов в свои восемьдесят шесть лет уделяет частицу своего внимания, освещает их труд ярким прожектором своего гения и как цементом склеивает отдельные глыбы и кирпичи, изготовляемые в стенах растушей научной школы.

Но что такое научная школа? Это не лекционная аудитория в вузе, ибо многие из заведующих кафедрами, зная свой предмет и преподавая его, не создают коллектива людей, беззаветно преданных идее исследования.

Научная школа — это и не проектное бюро, где достаточно лишь рационально распределить детали, чтобы затем собрать их вместе и начать строительство здания или серии машин. Это и не фабрика кандидатских и докторских диссертаций. Больше всего научная школа Павлова была похожа на мастерскую художника, такого, как Леонардо да Винчи или Рембрандт, где авторитет учителя стоял недосягаемо высоко, но где он вместе с тем держал себя как «первый среди равных», работал сам, своими руками, и отдавал свой труд на суд других.

Не следует думать, что Павлов был «благостным старцем», который всем все разрешает и все одобряет. Работа в его лаборатории была делом нелегким, она требовала ответственности за каждое слово, за каждый жест.

Сохраняя огромный авторитет среди учеников, И. П. Павлов никогда не страдал догматизмом, который губил и продолжает губить многих ученых, мешая созданию настоящей научной школы. Павлов никогда не цитировал труды своих предшественников, в частности любимого им И. М. Сеченова, хотя всегда оставался верным духу и содержанию его учения. Он и сам не терпел, когда ученики в подтверждение своих мыслей дословно цитировали его собственные высказывания.

Павлов позволял окружающим не соглашаться с ним в трактовке полученных экспериментальных фактов, предлагать свои способы решения поставленной проблемы. Он даже радовался всякому возражению, протесту как случаю еще больше напрячь свой ум и... большею частью разбить аргументацию «противника». Зато если «протестант» оказывался прав, а павловская гипотеза оказывалась в несоответствии с действительностью, то учитель первый поздравлял ученика и в течение нескольких дней подряд делился со всеми другими радостью нового открытия нашего товарища.

Таким образом, кроме единого экспериментального метода и манеры материалистически мыслить о проявлениях высшей нервной деятельности, Павлов внушил всем нам идею о том, что научная школа — это отнюдь не отвлеченное понятие: это означает гордиться каждой победой, которую одержал ваш товарищ по институту или лаборатории!

* * *

Второго октября на павловскую среду собралось более ста человек, причем в конференц-зал института пришли не только научные работники Ленинграда, но и люди, приехавшие в специальные командировки из других городов Союза, чтобы присутствовать на одной из знаменитых еженедельных конференций Павлова, послушать его отчет за неделю, увезти с собой его высказывания и потом вспомнить об этой встрече всю свою жизнь.

Своеобразные это были собрания — павловские среды.

Здесь не существовало никакого писаного регламента, не было и докладчика, тем более никаких резолюций. Единственным и бессменным докладчиком был сам И. П. Павлов, а оппонентами — все присутствующие, в том числе и гости.

Обычно обсуждалось пять-шесть серий опытов разных сотрудников павловских лабораторий, зрелых и молодых, с последующим анализом и значительными отступлениями от темы, порой и с обсуждением текущих политических событий, наконец научных новостей за рубежом. Словом, тем для свободной дискуссии было более чем достаточно. Лишь одно было строго запрещено — повторять то, что однажды уже было сказано. Конечно, это не мешало обсуждать наиболее важные темы на двух, даже на трех средах, но каждый раз в новом аспекте.

При таком огромном числе участников сред и различии их специальностей каждое заседание могло бы длиться бесконечно долго. Однако этого не было: выступавшие, в том числе и сам Павлов, отличались необычайной лаконичностью. Чувство ответственности у всех было развито чрезвычайно высоко.

И пожалуй, самым главным было то, что научное новаторство участников физиологических сред и самого руководителя школы отнюдь не мешало всеобщему глубокому уважению к классике, к тому, что однажды было открыто и подтверждено многочисленными опытами и получило силу закона.

Какое громадное отличие от некоторых современных «метаний» в биологической науке, когда новые тенденции, приобретая иногда характер всеисильной моды, отбрасывают начисто то, что достигнуто в течение многих десятилетий!

Впрочем, об этом пойдет речь именно при воспоминании о среде 2 октября, при обсуждении одного из поставленных вопросов.

* * *

Павлов вошел в зал заседаний в состоянии обычной деловой сосредоточенности, уселся в кресло, обвел глазами многолюдное собрание и начал тихим, едва слышным голосом. Но вскоре его речь стала звучать все громче, иногда с металлическими нотками.

Первой темой было обсуждение интереснейших опытов К. С. Абуладзе с удалением нескольких рецепторов (органов чувств) при полной сохранности коры головного мозга, причем слепо-глухие животные, в остальных отношениях вполне здоровые, при малейшей нервной трудности погружались в глубокий сон, вообще пребывали в состоянии непрерывного сна, хотя оставшиеся органы чувств, например кожа, функционировали вполне нормально.

Вся высшая нервная деятельность таких собак не выносит никакой, даже минимальной, нагрузки. Никаких признаков обострения осязания у них не было обнаружено.

Второй темой, вызвавшей горячее обсуждение, были опыты А. О. Долина, наблюдавшего реакцию животного на отношении внешних раздражений. До последнего времени в физиологии учитывались лишь тончайшие различия отдельных раздражений, дифференцировки звуковых, обонятельных и световых оттенков. Но в тот год внимание павловской школы было привлечено к различию отношений — например, отношений между редкими, средними и частыми

раздражителями¹, то, что прежде в логике называлось суждением «abstractum in concreto», то есть отвлечениями в пределах конкретного.

Если угодно, речь в этих опытах шла об экспериментальной основе утверждения Ф. Энгельса:

«Нам общи с животными все виды рассудочной деятельности: индукция, дедукция, следовательно, также абстрагирование...» Последнее особенно является важным для углубленного понимания аналогии как абстракции в пределах конкретных отношений между предметами. Лишь диалектика, то есть исследование природы самих понятий, является согласно Энгельсу исключительным достоянием человека на новых исторических этапах развития высших отделов мозга.

И. П. Павлов по поводу опытов А. О. Долина, касающихся различения отношений, сказал: «То, что положительно и точно, — это ты бери и стой за это, и если ты новое что-то получил, то ставь новый вопрос и имей в виду, что когда-нибудь одолеешь и это».

В своем отзыве Павлов решительно осуждал претензии представителей так называемой гештальт-психологии, или психологии целостных образов. Кёлер, Коффка и другие психологи, открыв в опытах на обезьянах некоторые своеобразные черты «целостного» поведения животных, в том числе реакции на отношения явлений, решили навсегда отбросить все прежние достижения ассоциативной теории поведения, начиная с Локка и кончая павловскими условными рефлексами, и стали возражать даже против самого термина «рефлекс», понимаемого как связь элементов, связь восприятия, переработки ощущений в мозгу, и наконец пришли к отрицанию значения тонко дифференцированной внешней реакции на раздражения!

Вопрос о «гештальте» служит предметом горячих споров и сегодня в связи с появлением новых понятий кибернетики и теории систем, наконец математического моделирования.

Тем знаменательнее, что он получил правильное, научное направление еще в выступлениях Павлова 2 октября 1935 года по поводу «реакции на отношение явлений».

Много можно было бы еще сказать о содержании этой среды. Например, третьим пунктом повестки дня было обсуждение опытов старшей сотрудницы И. П. Павлова — М. К. Петровой, которая впервые в истории психиатрической науки воспроизвела экспериментальным путем состояние фобий у животных, то есть испуга, даже ужаса в заведомо безопасной ситуации — то, что душевнобольные люди испытывают, например, на больших открытых городских площадях (агарофобия), которые кажутся им непроходимыми пустынями.

М. К. Петровой удалось, подобрав соответствующий тип нервной системы собаки и вызвав у нее срыв высшей нервной деятельности, добиться того, что она, подбежав после опыта к ступенькам лестницы, ложилась как пласт в полном изнеможении рядом с перилами, и никакие силы, ни уговоры не могли заставить ее двинуться с места. По всей видимости, обычная, знакомая лестница представлялась ей в момент срыва глубокой пропастью или чем-то в этом роде.

Я при этом вспомнил свое ощущение в горах Кавказа, когда, находясь на вершине, трудно заставить себя встать в полный рост и распрямиться — все тело становится как бы налитым свинцом.

Эти простые, но глубоко продуманные и хорошо спланированные павловские опыты служили как бы переходом, экскурсом физиолога в область клинической науки — психиатрии, наименее изученной части медицины, того комплекса болезней центральной нервной системы, который и сейчас еще причиняет так много страданий человечеству.

¹ Например: выработано отличие звука метронома от 30 до 60 ударов в минуту (60 ударов — активный раздражитель). Затем предлагается отличить 60 ударов от 120. При этом 60 ударов оказывается тормозным, пассивным, по аналогии с первой парой.

И. П. Павлов, всю свою жизнь принимавший близко к сердцу интересы врачебной науки, в последний период своей жизни взялся со всей энергией ума за психопатологию, заинтересовался течением и даже терапией нервных и психических заболеваний, оставаясь на строго физиологической, научно объективной почве, вооруженный всем арсеналом открытий, сделанных на животных.

«Клиника человеческих болезней,— говорил он,— дает такой огромный материал разнообразных случаев отклонений от нормы в работе высших отделов мозга, что физиолог должен учиться у клинициста».

И восьмидесятишестилетний ученый пошел на эту учебу, основав при своем институте две клиники — нервную и психиатрическую, и каждую среду во второй половине дня ездил туда набираться впечатлений о тяжело болеющих людях, находивших приют в этих клинических, образцово поставленных учреждениях.

Но странное дело: гениальный «ученик» невропатологов и психиатров сам выступал среди них в роли учителя и руководителя, свободно двигаясь в темном подчас лабиринте симптомов и синдромов, в изучении глубоких причин и обстоятельств заболеваний, в том числе биологических, наследственных и приобретенных, а также возрастных и типологических особенностей личности,— во всех многочисленных отклонениях от норм высшей нервной деятельности, изученных им в лаборатории.

Павлов присутствовал при разборе течения заболеваний истерией, психостенией, травматическими неврозами, эпилепсией; в психиатрической клинике — шизофренией, паранойей, маниакально-депрессивным психозом. Многие из этих названий ничего не говорят здоровому человеку с сильной нервной системой. Но врач, да и больной хорошо знают коварство человеческой природы и патологию социального быта, наделивших людей подобными мучительными заболеваниями, лишаящими подчас жизнь ее цели.

Подобно современному радиоастроному, который исследует звездные миры, Павлов вникал во все симптомы психических заболеваний, размышляя о них вслух перед врачами-специалистами, и, находясь на огромной дистанции от накопившихся в психиатрии предрассудков, объединял многие из признаков болезней, которые раньше считали принципиально различными. Он находил переходные формы между различными синдромами и, наоборот, выявлял различие в том, что до сих пор считалось неразделимым.

При этом Иван Петрович соединял в своей клинической работе, будучи «заложником физиологии», две важнейшие стороны врачебной деятельности: он оставался абсолютно беспристрастным в споре между различными психиатрическими школами как ученый, для которого истина важнее всего, и вместе с тем проявлял величайший гуманизм в отношении исследуемого больного — чему могут позавидовать многие психиатры!

К тому же Павлов не только обсуждал постановку диагнозов и течение болезни у проходивших перед ним больных, но на основании своих лабораторных патофизиологических опытов рекомендовал в некоторых случаях средства лечения. Таким оказался способ лечения некоторых форм шизофрении длительным (в течение недели) наркотическим сном.

При современных методах погружения больных в состояние анабиоза и автоматического поддержания всех жизненно важных функций такого рода искусственный сон уже приносит немалую пользу людям во время хирургических операций.

* * *

Для решения всех важнейших вопросов, которыми Павлов жил в последние месяцы 1935 года, у него была выделена вторая половина каждой среды. Таким образом, обычно в этот «безумный», с точки зрения обычного человека, день Иван Петрович виделся и беседовал не с сотней, а с двумястами специалистами, причем вторая группа его слушателей состояла из еще более разнородной массы научных работников, не всегда принимавших простые и точные толкования Пав-

лова, касающиеся диагноза и лечения. И все же психиатры и невропатологи уходили с этих сред обнадеженными и удовлетворенными.

Но сегодня, после перенесенной Павловым болезни (тяжелого гриппа; «Господин грипп изволил посетить меня», — сказал он) и после огромной нагрузки в дни XV Международного конгресса физиологов, проходившего под председательством его, Павлова, он, поддавшись уговорам учеников, отменил вторую (клиническую) среду и отправился домой, чтобы пообедать в кругу семьи.

Семнадцать тридцать. Скромный обед сервирован в уютной столовой, во главе стола — жена Серафима Васильевна, всецело посвятившая свою жизнь мужу, детям и двум внукам — Люсе и Марусе.

Иван Петрович никогда не пил вина, даже легкого. Он не придерживался никакой особой диеты, ел все, что подавали, он не был вегетарианцем и лишь для облегчения переваривания пищи резал вареное мясо на мелкие кусочки, хотя все зубы его были в полной сохранности. Нарушая еще одно правило геронтологии, он за обедом рассказывал и обсуждал подробности сегодняшней физиологической среды. Для того чтобы иметь собеседника даже в домашних условиях, Павлов убедил свою дочь Веру Ивановну работать в его лаборатории над условными рефлексам.

Он был нежным отцом и никогда не ложился спать, пока его взрослые дети не возвращались под семейный кров.

После обеда, длившегося вместе с разговорами около часа, Павлов давал себе отдых в течение двух с половиной часов. Он посвящал эти часы не сну, не дремоте, а чтению (не обязательно научных книг, а чаще газет и журналов) и коллекционерству. Он очень любил собирать почтовые марки, книги, эстампы, а в юности собирал коллекции бабочек и других насекомых. Иногда играл с внуками, но никогда в эти часы ничего не писал.

В девять — вечерний чай (никакого ужина!), после него — раскладывание пасьянса (любимый из них — «наполеон»), а в десять Павлов отправляется в свой кабинет, берет в руки обыкновенное стальное перо (авторучек он не любил) и раскладывает наиболее важные рукописи на большом письменном столе, на который сверху, с книжного шкафа, смотрит стеклянными глазками небольшая пушистая собачка, вся утыканная фистулами с пробирками, предназначенными для собирания пищеварительных соков. Это подарок Павлову от кембриджских студентов во время присуждения ему звания доктора. В свое время по такому же поводу Чарльз Дарвин получил от них игрушечную обезьянку.

Работа над рукописями занимает время с десяти часов вечера до половины второго ночи, то есть три с половиной часа; итого за весь день — десять с половиной часов напряженной умственной деятельности при пяти часах ночного сна и четырех часах дневного отдыха.

Вся эта программа заканчивается вечерней разрядкой — легкими физическими упражнениями или прогулкой — и отходом ко сну, разумеется без всяких снотворных.

Судя по тому, что этот режим с некоторыми изменениями поддерживался в течение многих десятков лет, значительно более полустолетия, такая пропорция творчества и отдыха более всего соответствовала работе гениального павловского мозга.

* * *

Особенно ярко запечатлелась в памяти последняя встреча с Иваном Петровичем. Это было ровно за месяц до его смерти, которой никто из нас не ожидал: настолько все были убеждены в его безграничной жизнеспособности.

Двадцать седьмого января 1936 года я приехал к нему на 7-ю линию Васильевского острова. Иван Петрович сам открыл мне дверь, держа на руках большого kota с голубым бантом на шее.

Поздоровавшись, он прошел вперед меня в знакомую гостиную. На стенах, как и прежде, висели многочисленные картины русских мастеров, которые он так

любил. Усевшись на низенькое креслице, он положил кота к себе на колени и, разговаривая, медленно поглаживал его шелковистую шерсть.

Руки Ивана Петровича показались мне очень исхудавшими. Я спросил:
— Как ваше здоровье?

Иван Петрович ответил, что чувствует себя отлично, и добавил, что, кажется, нашел средство бороться с болезнями, особенно с гриппозным воспалением легких, которое еще недавно его «порядочно донимало».

Настроение у него в этот день было приподнятое.

Позвонил телефон. Иван Петрович быстро поднялся и, прихрамывая, подошел к аппарату. Из психиатрической клиники сообщили о благоприятных результатах лечения длительным сном.

Павлов связывал этот вид терапии с необходимостью сбережения ресурсов истощенных клеток коры мозга больного.

— Торможение,— говорил Иван Петрович,— скованность, часто наблюдаемая у больных шизофренией, есть результат саморегулирования, способ сохранения нервной ткани наиболее реактивных, но вместе с тем и наиболее истощаемых клеток коры мозга.

Радостно возбужденный, он строил обширные планы на предстоящее лето. Он собирался ехать на конгресс психологов в Испанию, в страну, где он когда-то выступал с первым докладом об условных рефлексах, и там, в Мадриде, подвести итоги новых побед. Тогда еще никто из ученых не думал о близости испанской революционной войны.

Мы заговорили о письмах, которые И. П. Павлов получал со всех концов страны и со всего света. По мнению многих близких Ивану Петровичу людей, для разборки этих писем надо было бы обзавестись секретарем, даже двумя. Павлов категорически воспротивился такому предложению: он предпочитал сам писать ответы, хотя это стоило ему большого труда.

— Передайте вашим ученикам и товарищам,— сказал Павлов,— одну, но очень важную мысль: чтобы они сосредоточили все свои силы на исследовании основных законов высшей нервной деятельности и притом не отклонялись бы от объективного метода исследования.

Не желая утомлять хозяина, я собрался уходить. Иван Петрович осторожно снял кота с колен, поставил его на пол. Провожая меня, он сам открыл дверь, хотя я и просил его не беспокоиться, боясь, что он простудится. Но Павлов, как я уже говорил, любя все делать сам, не изменил своей привычке и на этот раз.

Через месяц — 27 февраля 1936 года — мы получили в Москве печальное известие о кончине Ивана Петровича.

Хоронили его первого марта. Гроб, утопающий в цветах, стоял в Таврическом дворце, где еще так недавно Иван Петрович выступал на конгрессе физиологов. Теперь огромный аванзал дворца был наполнен венками с траурными лентами.

Мы стояли в почетном карауле и не могли оторвать глаз от лица великого учителя, смотрели на сомкнувшиеся уста, которые еще так много могли сказать человечеству.

Гроб установили на лафете, запряженном белыми конями,— хоронили маршала науки. Советский Союз отдавал Павлову последние почести. Под траурные звуки оркестров медленно двигались за гробом в рядах провожающих вместе с пожилыми учеными тысячи студентов и студенток. Мне представилось, что именно к ним, к этим юношам и девушкам, пришедшим на похороны прямо из лабораторий и институтов, обращался Иван Петрович со своим последним письмом завещанием:

«Помните, что наука требует от человека всей его жизни. И если у вас было бы две жизни, то и их бы не хватило вам. Большого напряжения и великой страсти требует наука от человека. Будьте страстны в вашей работе и в ваших исканиях».

* * *

У читателя есть все основания спросить: а что означает весь комплекс замечательных павловских открытий в условиях современного грандиозного развития науки и тесно связанной с нею техники?

Некоторые полагают, что благодаря ряду новых открытий в области физики, химии полимеров, биологии, грудной хирургии, электронной микроскопии, наконец математики в эпоху атомной энергии и блистательных полетов в космос учение Павлова о мозге и высшей нервной деятельности устарело, сделалось старомодным и что развивать и популяризировать павловские принципы в науке о высшей нервной деятельности означает, пожалуй, задерживать рост молодых, прогрессивных областей знания, выдвигаемых самой жизнью.

При этом кое-кто из людей, стремящихся низвести учение Павлова с его пьедестала, указывает на то, что, мол, история остается историей, что музейные ценности — это тоже ценности, но что сегодня нельзя опираться на то, что было достигнуто полвека назад, что со смерти И. П. Павлова прошло три десятилетия — следовательно, целая историческая эпоха. За это время появилась новая гигантская литература, журнальная и книжная, как в области изучения поведения животных, так и в области психологии и психиатрии, которыми занимался И. П. Павлов.

Недавно в Москве состоялась научная конференция по философским вопросам высшей нервной деятельности, где была принята резолюция, указывающая, что учение Павлова — это одна из научных основ диалектико-материалистической теории познания, что оно — надежная опора психологии, медицинской и сельскохозяйственной практики. Это учение входит в программу преподавания физиологии как в высшей, так и в средней советской школе.

Однако на этой же научной конференции были представлены доклады, в которых говорилось, что учение И. П. Павлова, даже сама теория рефлексов И. М. Сеченова — И. П. Павлова как закономерных связей между внешним раздражением и нервной реакцией должны быть заменены новой концепцией.

Этой группе докладчиков необходимо ответить следующее. Как бы ни была нова и привлекательна новая научная теория, как бы доказательны ни были вновь добываемые факты, как бы совершенна ни была техника современного эксперимента, — старая, проверенная десятилетиями классическая концепция (например, теория всемирного тяготения Ньютона) остается в силе даже и тогда, когда появляется теория относительности Эйнштейна. Как известно, учение Ньютона рассматривается ныне как частный случай общей теории относительности, когда физик имеет дело со скоростями движения, не сравнимыми со скоростью света.

Если И. П. Павлов — Ньютон в психологии, сформулировавший основные законы деятельности мозга, законы возбуждения и торможения, иррадиации, концентрации и индукции нервных процессов, то в современной физиологии очень затруднительно назвать имя ученого, равного по масштабу имени Эйнштейна или хотя бы Планка, основателя законов микромира. Исключение, пожалуй, составляет лишь Норберт Винер — глава современной кибернетики.

Сегодня в физиологии нервной системы и ее высших отделов получил чрезвычайное распространение метод усиления электрических потенциалов, биотоков мозга, чему способствовали успехи современной радиоэлектроники. Благодаря новой технике удалось не только отводить потенциалы от отдельных нервных волокон в момент их деятельности, но даже улавливать интимные процессы, происходящие в нервных центрах и в отдельных нервных клетках, расположенных на большой глубине, как у животных, так и у человека — большого и здорового. Появилась возможность воочию наблюдать, как на экране своеобразного «телевизора мозга» вспыхивают и затухают очаги возбуждения, совершенно в духе того, что имел в виду Павлов, когда говорил о мозаике нервных корковых процессов.

Однако, при всей громадной популярности современной электроэнцефалографии, широко применяемой в клинике и на некоторых видах производства, например в космофизиологии, никто из ученых пока еще не в состоянии ответить на вопрос, чему в точности, то есть какому состоянию сознания человека или какому виду нервной деятельности животных и человека соответствует данный вид биотоков. С точки зрения учения Павлова, идеалом исследования было бы прямое указание на то, из какого пункта нервной системы данный процесс исходит, куда он направляется и сколько времени там продолжается. А на этот вопрос, за некоторыми исключениями, электроэнцефалография пока ответить еще не может. То же самое касается и биохимии, которая имеет также огромные достижения в изучении процессов, происходящих в нервной клетке на молекулярном уровне, но которая не может еще характеризовать поведение организма в целом и в частях, как характеризовал его Павлов.

Лет двадцать назад в науку и технику вошло новое слово, новое понятие — «кибернетика», то есть учение о связях и управлении в машинах и живых организмах. Эта новая наука имеет прямое отношение к историческому развитию учения Павлова, притом на новой, более широкой основе.

Вначале кибернетика была областью техники связи, близкой к электронике и телемеханике. Уже Павлов говорил, что даже простейший телефонный автомат имеет некоторое сходство с работой центральной нервной системы, так как, во-первых, с его помощью осуществляется временная связь — модель условного рефлекса, а во-вторых, этот прибор допускает и выбор между возможными абонентами, то есть осуществляет анализ путем торможения всех других путей, кроме заданного.

Особенностью кибернетических приборов, стяжавших заслуженную славу, являются обратные связи, дающие возможность проверки исполнения заданий. Но именно этот принцип искусственно вырабатываемых обратных связей был открыт в живом управляющем органе — головном мозге — Н. И. Красногорским. Он совершил это открытие в лаборатории И. П. Павлова в 1910 году, то есть на тридцать восемь лет раньше Норберта Винера.

Вспоминая Винера, следует сказать, что, быть может, никто другой, кроме этого выдающегося математика, инженера и писателя, не прочитал так внимательно творения Павлова, предназначенные главным образом для представителей медицины и психологии. Кибернетика — это детище не только физики (в частности, электроники), математики, но и физиологии высшей нервной деятельности. Она повсему применяет биологическую и философскую концепцию И. П. Павлова к огромному кругу новых технических явлений. Великолепные счетно-решающие и аналитические устройства помогли определить траектории полетов спутников Земли и космических кораблей. Быстрота и точность этих электронных агрегатов превосходит в настоящее время человеческие возможности. Однако это вовсе не означает, что, стоя на строго физиологической точке зрения, возможно ставить знак равенства между работой высших отделов коры головного мозга и работой счетно-аналитической машины, а тем более называть мозг биологическим агрегатом, действующим на основе тех или иных заложенных в него программ. Между тем различие между биологическим объектом, развившимся в течение десятков миллионов лет, и техническими объектами, так называемыми думающими машинами, заключается не только в способности животных к дальнейшему развитию, но и в том, что человек, обладая высшим отделом коры головного мозга, так называемой второй сигнальной системой, на определенной стадии культуры начинает переделывать окружающую среду, входить в производственные отношения с другими людьми, чего электронная машина осуществить не может и никогда не сможет. Она не в состоянии обмениваться мыслями с другими машинами или образовывать новые отвлеченные понятия, эстетические и этические категории.

Означает ли такое утверждение разрыв между кибернетикой и павловской физиологией? Отнюдь нет. Тесный контакт между обеими науками осуществляется в настоящее время в самом широком масштабе.

Павловское учение о единстве живой природы, об особенностях развития человека, о второй сигнальной системе его мозга как основе проявлений личности дорого передовым людям всего мира потому, что оно свободно от всевозможных «тупиков» идеалистической философской мысли.

И. П. Павлов в августе 1935 года провозгласил с трибуны Международного конгресса физиологов неколебимость нравственных идеалов человечества и заявил, что истинная наука не разделяет, а тесно связывает ученых и народы всех стран и что в моральном, а не только в военном состязании с захватчиками и поджигателями войны победит Союз Советских Социалистических Республик. У нас науку чтит весь народ и свобода человеческой личности никак не противоречит идее самопожертвования ради интересов родины.

Только так и можно понимать последнюю высказанную И. П. Павловым патристическую мысль, близкую всем нам без различия поколений.

На пятидесятом году истории советского общества мы «свежими нынешними очами» перечитываем многие славные страницы, связанные с достижениями, накопленными за полвека в самых различных областях нашей жизни. Победы И. П. Павлова, достигнутые в развитии физиологии высшей нервной деятельности, принадлежат к числу самых замечательных страниц полувековой истории советской науки. Потому я и считал долгом современника воскресить хотя бы один день — одну из павловских сред.

Юрий Петрович Фролов успел еще прочитать верстку этой статьи. Через несколько дней его не стало. Умер один из немногих оставшихся в живых учеников великого физиолога, видный ученый и замечательный популяризатор павловского учения, груды и книги которого стали достоянием народа.



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

В. АРМАНД

★

ЖИВАЯ НИТЬ

(Из воспоминаний и переписки с Н. К. Крупской)

Я с Надеждой Константиновной не работала. Но моя мать Инесса Арманд, профессиональная революционерка, большевичка, была другом Владимира Ильича и Надежды Константиновны. Мне помнятся две встречи с Надеждой Константиновной до 1920 года: первый раз в 1912 году — когда мы жили в Париже на улице Мари-Роз, нас с братом мать послала передать ей записку, и в 1918 году — после ранения Ленина, мать взяла меня с собой в квартиру Владимира Ильича. Там Надежда Константиновна показывала мне много фотографий, относящихся к первым дням революции.

Когда в сентябре 1920 года пришло известие о смерти мамы, нам тут же позвонила Надежда Константиновна и просила к ней прийти. Мы пошли, и не знаю, как это произошло, но в короткий срок Надежда Константиновна стала нам близкой, любимой и как будто всегда существовавшей в нашей жизни.

Ее искренность, ласковость, необычайная теплота и обаяние сделали этот процесс совершенно незаметным. Она заботилась о нас, интересовалась, что мы делаем, как мы себя чувствуем, как живем, делилась с нами своими печальями, радостями, воспоминаниями о своем детстве, юности и работе в партии.

У Надежды Константиновны была очень хорошая память, и она часто нам читала стихи, выученные в детстве, еще в гимназии. Она любила и знала русскую классическую литературу и особенно подчеркивала огромную роль Некрасова в формировании убеждений ее поколения. В этом с ней я расходилась, и это естественно. Все, что писал Некрасов, имело глубокие корни в жизни, с которой сталкивалась Надежда Константиновна, а в нашей жизни, жизни молодежи двадцатых годов, основа этих условий была разрушена в процессе революции, и нам ближе был Маяковский. Но я не спорила с Надеждой Константиновной, и мы не обсуждали специально вопросы литературы — мы просто беседовали. Она нас звала к себе, несмотря на свою занятость, и называла нас даже «усыпляющими порошками»: дескать, когда мы бываем у нее, она так успокаивается, что потом хорошо спит. И мы были вполне довольны такой ролью.

Но бывало и так, что она просила прийти пораньше, когда у нее рабочий день еще не кончился. Сама она продолжала писать, а меня сажала рядом и просила разобрать письма, которых она получала великое множество, и временами у нее оказывались заторы.

Писали ей очень много пионеры о своих сборах и комсомольцы о том, что они делают в деревне; спрашивали, правильно ли они понимают свои задачи, рассказывали о ходе коллективизации. Писали ей учителя о школе, библиотекари — о массовой работе, которую они проводили. Много писем было от делегатов с фабрик и заводов. Все эти письма связывали Надежду Константиновну живой нитью со всеми сторонами работы и в деревне и в городе. Она была к ним очень внимательна и непременно отвечала на них. В отдельных случаях комплектовала

небольшие библиотечки и посылала их, всегда учитывая при этом, кому именно отправляет книги. Но были, конечно, и просто просьбы о том или о сем. Вот я и занималась тем, что кратко излагала суть письма, а Надежда Константиновна потом читала мои записи и решала, что надо делать с каждым отдельным письмом. Пока я сидела недалеко от нее, она попишет, попишет, потом оглянется, скажет что-нибудь ласковое, улыбнется и опять работает.

Работала она по пятнадцать—шестнадцать часов в сутки и вела учет своей работе. Иногда вечером показывала, что сделано за день.

Вставала она очень рано, в шестом часу, и пока все кругом тихо, писала статьи, готовилась к выступлениям. В ее записях было помечено: ответы на письма, две-три статьи, два-три выступления на заседаниях, несколько встреч и, кроме того, текущая работа. Весь день был плотно загружен.

Мы с Надеждой Константиновной переписывались очень немного. Только в тех случаях, когда я уезжала на практику или в отпуск или если она уезжала куда-нибудь отдыхать. К сожалению, по недоумию я не все письма сохранила.

В 1922—1923 годах ее, конечно, очень волновало состояние Владимира Ильича. 13 сентября 1923 года она мне пишет из Горок в Егорьевск, где я находилась на практике:

«Не знаю, что писать. У нас дела ничего себе, хотя временами кажется, что только обманываешь себя. Во всяком случае все движется гораздо медленнее, чем хотелось бы. Конечно, там видно будет... Ездим за грибами в далекий лес на автомобиле, читаем газетки. Сестер отменили окончательно. Доктора сведены до минимума. Живем ничего себе, по существу, если бы не думать, и то стараюсь этим делом как можно меньше заниматься. Ну, вот и все дела мои».

Той осенью у меня было воспаление легких, и Надежда Константиновна написала мне 6 ноября из Горок в Москву:

«Милая Варюшка, поправилась ли ты? Как себя чувствуешь? Целую вечность не видала тебя, не слыхала твоего голоса.

Сейчас по вечерам сидят подолгу доктора — приехал Фёрстер. Потом бывает уже поздно звонить да и очумевши бываешь.

Я буду в городе в четверг, в 4 часа, пойду к Цеткиной, а потом созвонюсь с тобой — либо ты ко мне заходи, либо я к тебе приду».

В 1923 году, когда Владимир Ильич находился в Москве, я бывала у Надежды Константиновны ежедневно. У нее была невероятная потребность поделиться, рассказать, что произошло в течение дня, как себя чувствует Владимир Ильич, что она ему читала, как прошел день.

Я не могу забыть, как она меня встречала. Так в глазах и стоит: открывается дверь и в дверях — Надежда Константиновна с невероятно доброй улыбкой, озаренная каким-то внутренним сиянием. Ее очень мягкие волосы слегка лохматились и представлялись мне серебряным ореолом.

После смерти Владимира Ильича я первое время тоже очень часто бывала у нее. Мы с ней просматривали периодические журналы и вырезали все фотографии Владимира Ильича, потом подбирали их и клеили в маленькие книжечки-альбомчики разного размера. Они были у нее на виду, и она постоянно их просматривала.

Надежда Константиновна, чтобы не оставаться наедине с непоправимым горем, с головой ушла в партийные дела и работу в Наркомпросе. Я продолжала болеть. Весной 1924 года у меня было второе воспаление легких за год. Мы, естественно, стали видеться реже, а на июнь меня послали лечиться в Суук-су.

В письме от 14 июня она мне пишет:

«Я живу по-прежнему: была на своей излюбленной Прохоровке, на Голутвинской мануфактуре, на фабрике Ливерса — околачивалась там, даже младенца ок-

тябрила. Очень я люблю на фабриках бывать. Ну и у молодежи была — старалась — у рабфака Покровского, на 1-м МГУ, у тимирязевцев — доклады по работе в деревне делала. Еще на ликбезграмотности. Поеду еще в Тверь, Ярославль, Иваново-Вознесенск.

На отдых не поеду, но дня три в неделю буду проводить в Горках, была уже на прошлой неделе, еду сегодня. Там писать лучше.

Маняша все прихварывает. Сегодня напускают на меня тоже докторов, но я согласна только пить какую угодно мерзопакость, но режиму ихнему подчиняться не стану, наперед говорю. Сегодня уже сказала Погосяну, что подчиняться не стану, несмотря ни на какое политбюро.

Я сейчас специализировалась на работе в деревне и меня запрятывают во всякие комиссии по работе в деревне, работы все прибывает.

Потому не бываю и в Институте Ленина. Там теперь, впрочем, очень толкотливо, т. к. Институт открыт для посетителей.

У меня теперь много новых карточек Вл. Ильича».

Двадцать третьего июня я получила еще одно письмо.

«Милая Варюшка, получила твое письмишко, посланное с оказией. Сегодня (23-го) условилась с Енукидзе, что он дает телеграмму в Суук-су, чтобы тебе продолжили срок пребывания в санатории. Теперь, когда Саша¹ тоже в Крыму, ты, верно, согласишься остаться там еще. Надо выправиться решительно и окончательно.

Из моего письма, которое ты, вероятно, уже получила, ты знаешь, как я живу. Теперь езжу на три дня в неделю в Горки и много успеваю там сделать. Летом все учреждения работают не очень интенсивно — и я, кажется, скоро сведу концы с концами.

Я влезла теперь в деревенскую работу и строчу всякие статьишки на этот счет.

ЦКК работает с развалкой.

Сейчас идет конгресс Коминтерна, но я туда не хожу...

О съезде (XIII) я потом тебе расскажу подробно.

В Институт Ленина не езжу, там теперь толчея непротолченная, экскурсии без конца. У нас в ГУСе, кажись, будет месячный перерыв, тогда я засяду за писание и не буду вылезать из Института.

Я сегодня в очень скверном настроении, не глядели бы мои глаза на свет божий, и потому пишу коротенько, только пару слов».

Работала она много и уставала, конечно, очень, сердце у нее расшатывалось и приходило в негодность, врачи требовали отдыха, и она сдавалась, хотя и с трудом и с сопротивлением.

В конце августа 1924 года ей все же пришлось поехать на отдых в Кисловодск. Она очень не любила курорты. Приехав на место отдыха, она мне пишет 27 августа:

«Добрались до Кисловодска. Ну, и мерзость же тут: отель на отеле и отель погоняет. К вечеру кругом стоит какой-то гул голосов, около часу ночи он сменяется неистовым собачьим лаем, а затем ораньем петухов. Нарзана пить мне нельзя, брате нарзановые ванны также, гулять также. Для того, чтобы лежать по 6-ти часов в сутки — не стоило ехать за тридевять земель. Кроме того, тут избыток знакомых и очень толкотливо. Режим не налаживается, и я уже впала в какую-то тупую тоску. Если бы не компания, которую расстраивать не хочется, я бы немедленно повернула лыжи обратно.

Ну, и мерзость же!

Начала я тут заниматься, но все из рук валится».

¹ Мой брат, Александр Александрович Арманд.

Но она быстро преодолела неприятные для нее условия обстановки курортного жилья. 5 сентября она мне пишет:

«Тут я была в пяти детских домах — один очень хороший, ребята какие-то особенные, организованные, умеют делать все на свете, удивительно прямо лепят и учатся. От этого детдома (он в Пятигорске) пахнет, действительно, школой будущего. Но и у них книг никаких нет. Другие же детдома очень плохи — хоть и устраивают праздники, ничему ребят там не учат как-то. Жаль мне их до крайности. Была у пионеров — ребяташки славные, но городят всесветную чепушинку, ну, да это образуется. Толковала с учителями, они тут очень славные (не все, конечно).

Гуляла я очень мало, тут ездят кататься на автомобилях, но я совершенно не выношу сейчас коллективных прогулок... Мы наконец двигаемся 8-го. Беда в том, что М. И.¹ почти совсем не поправилась тут, а без меня оставаться не хочет. Мне же, как-никак, надо ехать поскорее.

Я тут писала воспоминания — хочется рамку дать, в которой проходила жизнь В. И. Питерский период, Сибирь, потом Мюнхен, Лондон и т. д. Этих первых годов его работы очень многие совершенно не знают. Написала около трех печатных листов, но это черновик, буду делать разные вставки».

За месяц отдыха! Три печатных листа — это примерно 75 машинописных страниц. Без работы она совершенно не могла быть. На отдыхе она работы не прекращала, а только меняла ее, и если работа не налаживалась, то она этим тяготилась.

Здесь мне хочется сделать маленькое отступление. После лечения в Сууксу я сразу же поехала на практику в Симбирскую губернию на Измайловскую грубо-суконную фабрику. Там уже были две мои товарки с мужьями — один из них архитектор, второй — живописец. Фабрика эта была «*tabula rasa*», если можно так выразиться. И вот мои товарищи начали «вспыхивать» эту целину. Они начали строить стадион, делать антирелигиозную роспись на стенах в клубе. Приехав сюда, я тоже занялась организацией производственных кружков и работой с делегатками. Кроме того, мне было поручено вести физкультуру на новом стадионе. Это было очень интересно. Я об этом Надежде Константиновне писала, и в этом же письме 5 сентября, в начале, она мне пишет:

«Милая Варюшка, получила от тебя 2 письма. Ты, видимо, увлечена своей фабрикой донельзя. С одной стороны, я считаю, что, работая в низах с рабочими и работницами, страшно многому учишься, многое начинаешь понимать совсем по-другому. По-моему, так только и можно научиться марксизму и ленинизму, надо основательно повертеться в самой гуще. Но только меня беспокоит очень твое здоровье. Молоко молоком, а как бы ты, моя девочка милая, не надорвалась, меры ты не знаешь. Соображайся все же с силами. Твое последнее письмо я прочла с громадным интересом. Погляди, пожалуйста, как там со школами дело обстоит».

В дальнейшем Надежда Константиновна в порядке шефства решила послать на эту фабрику радиорепродуктор, который и был там установлен на столбе. Но беда была в том, что репродукторы были в то время еще малосовершенны, и он очень быстро испортился. Мне писала одна из делегатов, что вокруг этого репродуктора развернулась невероятная религиозная пропаганда: что, дескать, злой дух повержен, господь бог восторжествовал и поэтому эта «дьявольская выдумка» молчит, а не говорит. Надежде Константиновне пришлось туда направить мастера для починки репродуктора. Но история вскоре повторилась, а так как это было слишком далеко, то и пришлось это оставить, чем Надежда Константиновна очень огорчалась.

1924 год, год смерти Владимира Ильича, был для нее очень тяжел, и в

¹ Мария Ильинична Ульянова.

апреле 1925 года ее отправляют в Мухоматку, в Крым. После приезда туда, 21 апреля, она мне пишет:

«Тут хорошо: горы и море, есть где погулять, что я и делаю. М. И. на меня поваркивает. Вера¹ старается не пустить, но тут достаточно диких мест, куда очень хорошо забираться. Холод стоит добропорядочный, и все на меня удивляюся, что я целый день держу окна открытыми. Сейчас тут немного народу... Лежу я тоже достаточно и читаю пока что о кустарях. Хочу сегодня статейку на эту тему писать. А хоть и хорошо тут, а все же не люблю я по курортам таскаться и уже о Москве думаю».

Дальше она пишет:

«Я занимаюсь «естественными науками», натащила полную комнату шишек, камней, ракушек. Цветы какие тут потешные, также удоды очень забавные: большая кофейного цвета птица с пестрым хвостом, длинным носом и форсистым хохлом, важно ходит, на пять шагов к себе подпускает.

Библиотека тут старинная: заберешься в нее и детство вспоминаешь: сказки Перро, Жюль Верн, Всемирная Иллюстрация с ее глупейшими рисунками...

Я еще не настроилась на настоящую работу и кажется мне, что зря небо копчу чего-то».

Пятого мая 1925 года она мне пишет:

«Мы выедем, вероятно, 12-го, если не 11-го.

Знаешь, я прибавляю по кило в день! Стала черна, как галка, только насчет сердец плоховато.

Я тут довольно много читаю, но пишу мало — ни воспоминаний, ни брошюры. Тут, кроме нас, да вот еще к Мане ее правдисты на 3 дня приезжали, никого нет».

И дальше:

«Это ужасное свинство, что я побросала все дела и уехала перед конференцией, которая имела большое значение как раз для работы в деревне...»

Еще два письма от августа 1926 года. На этот раз она поехала отдыхать под Тверь со своей знакомой А. И. Радченко. 5 августа она пишет:

«Милая Варюша, получила твою открытку. Я уже два дня на лоне природы. Тут хорошо — дико. Что-то от Брет-Гарта, какой-то поселок пионеров. Никаких людей нет: трое взрослых да четверо подростков, собака Дамка.

Тут все очень просто, что мне до чрезвычайности нравится. Кругом сосновый лес, болото, брусника, черника и голубица. Волга тут же неподалеку, и ребята там целый день пропадают.

Я наладила себе уже «прижим» — гуляю и занимаюсь. Читается и пишется хорошо. Но тут такая пустыня, что нет даже газет».

В письме от 16 августа она пишет:

«Я тут прямо процветаю. Очень тут хорошо. Тишина тут чудесная. Кругом версты на 1½ бор — грибы всякие, черника, брусника. Хозяйева очень хорошие: Марья Ивановна — хозяйничает на всех, трое 17-тилетних ребят, один 14-тилетний, один 9-ти и потом моя знакомая Алиса Ивановна. Ребята хорошие, простые очень. Вообще тут просто очень — и так я этому рада...

Я сначала чинно гуляла и читала. Читается тут очень хорошо. Прочла ряд книжек по экономике, а теперь загуляла. Во-первых, попала я, как оказывается, в весьма знаменитую волость: тут когда-то в 70-х годах были знаменитые народнические сыроваренные артели. В одной из них работала Софья Перовская. Были еще кузнечные артели. Благодаря этому население тут легко пошло на кооперацию — кооперировано почти сплошь. Была я сегодня в одном селе — там и школа, и сыроварня, и ЕПО², и ячейка комсомольская, и делегатки, и делегатская швейная, и ККОВ³ — идет сейчас там землеустройство. Стройка твер-

¹ Вера Соломоновна Дридзо, секретарь Н. К. Крупской.

² Единое потребительское общество.

³ Комитет крестьянского общества взаимопомощи.

ская — избы красивые, деревни сухие, деревьями усаженные, газету — «Тверскую правду» — каждый двор получает. Только школа в очень плохом здании, а в избе-читальне сыроварня летом.

Народ удивительно развитой — бывалый, все директивы знает до точности. Подрядили меня уже выступить тут в трех местах».

И дальше она продолжает:

«Это одно. А другое — тут горфоразработки — торфуши — строится электрическая станция, ботаническая станция тут же. За десять дней, что я тут прожигу — много повидаю и узнаю. В этом году, одним словом, получился у меня заправский отдых.

Тут, если бы взяться, много бы сделать можно. Как-то увлекательно очень.

И вот что еще. Последнее время такое настроение было — лежать бы только, а теперь опять куда-то застремилась — всюду захотелось идти, с людьми новыми быть, работать всюю.

Вот. Жду и от тебя столь же основательного письма...»

После отпуска, уже приехав в Москву, Надежда Константиновна написала своей сестре Инне:

«Я очень хорошо отдыхала это лето — целых три недели. Жила в лесу — у старых знакомых. Кругом никакого жилья. Целыми днями собирала грибы и ягоды. грелась на солнце и наслаждалась одиночеством».

И дальше она пишет, как она использовала эти «целых три недели» отпуска и как «наслаждалась одиночеством»:

«Везде сунула нос. Завела обширные знакомства. Потом ходила на хутор другого села, потом в волостном селе митинговала — там даже радио есть! Узнала, где трактор купили, где школу строят, где ячейка, где что. Потом там около нас стройка шла — толковала с тверскими, владимирскими, рязанскими виковцами¹, с строительными рабочими, торфяниками — наслушалась, чем деревня живет. Охвачены все горячкой строительства. Конечно, мне товар лицом показывали, ну, все же. С бабами натолковалась власть.

Потом сторговали меня в Тверь, там три дня крутилась, как сумасшедшая — там «Пролетарка» хозяин города — 19 тысяч рабочих. И фабрику осматривали, и столовку — в церкви устроена — и клубы, два митинга было, потом на вагоностроительных, потом в Горсовете, потом два митинга у просвещенцев, потом снимались и толковали с делегатками, губкомом, райкомом, пионерами, Педвузом, в трех очагах побывала, в библиотеке, музее, детдоме, обсудила все наши вопросы в ОНО, написала статейку в «Тверскую правду», была в яслях, в доме крестьянина.

Приласкали меня здорово».

Вот какая была Надежда Константиновна — жизнелюбивая, оптимистичная, невозможная работяга, до предела целеустремленная.

Пережив такую трагедию, как смерть Владимира Ильича. Надежда Константиновна черпала свои силы в общении с рабочими, крестьянами, студенческой молодежью. Она не могла отдыхать без того, чтобы не писать воспоминаний о Владимире Ильиче, или статьи и брошюры, популярно излагающие точку зрения Ленина на тот или другой вопрос. Дело Ленина было делом Надежды Константиновны, и она все свои силы приложила, чтобы побольше рассказать о нем людям.

¹ Работники волостных исполнительных комитетов Советов рабочих и крестьянских депутатов.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Полвека советской литературы

Е. ПОЛЯКОВА

★

ЗА ЗЕМЛЮ, ЗА ВОЛЮ...

(Книги Александра Неверова)

Ина прилавках книжных магазинов «Ташкент — город хлебный» занял прочное место среди литературы для среднего школьного возраста — где-то рядом с «Принцем и нищим» и Гайдаром. Сами школьники за «Ташкентом» вовсе не охотятся. Люди же возраста не школьного обязательно задержат взгляд на тонкой книге: «А, это про Мишку, что в Ташкент ездил!»

Фамилию автора — Неверов — помнят далеко не все, но название повести и то, что героя звали Мишкой, помнится отлично.

Повесть эта бесспорно вошла в ряд первых и лучших произведений советской литературы. Она — у истока пятидесятилетия, рядом с «Чапаевым», «Виринеей», «Конармией», «Бронепоездом 14-69». Рядом с «Россией. кровью умытой» и «Железным потоком». Кажется, что автор ее пришел в литературу вместе с буденновскими бойцами, продармейцами, красноармейцами, комиссарами. На деле сельский учитель Александр Скобелев, писавший под псевдонимом Александр Неверов, не был в литературе новичком. Первый его рассказ был напечатан в 1906 году; с тех пор произведения Неверова публикуются постоянно — и в популярном журнале «Жизнь для всех», и в таком солидном издании, как «Русское богатство», и в таком наивном, как «Вестник трезвости», редакция которого искренно верила, что ей удастся искоренить пьянство на Руси. Имя Неверова про-

чно входит в «крестьянскую литературу», встает рядом с именами Подъячева, Семёнова, Вольнова — не свидетелей, не очевидцев, но людей, живших мужицкой жизнью и крестьянским трудом.

Книги этих авторов подробны, неторопливы, перечислительны. Они повествуют о том, как мужики готовятся к севу, как справляют свадьбы, как идут к богатее просить муки в долг, как везут сына «в мальчишки», как сводят с крестьянского двора корову за недоимки, как падает лошадь и как покупают другую, как одеваются, что едят, куда уходят — в дворники, в половые, в шахтеры, в странники — и как снова возвращаются в деревенскую, «подлиповскую» жизнь.

В этих рассказах и повестях привычные картинки — тощий бедняк стоит перед пузатым кулаком, мальчишка-сапожник вцепился в калач, привезенный матерью, — заново обретали свежесть, горестную значительность.

Эти жанровые картины — свидетельства крестьянских писателей — были хоть и не новы, но неопровержимы. Правда, эти писатели не создали характеров, равных мужикам Чехова, Льва Толстого, Бунина. Но свидетельства их необходимы социологии, истории, литературе.

Среди этих свидетельств живут и рассказы Неверова. О мужике из села Голополье, что пропивает заработанные тяжким трудом шестьдесят копеек. О крестьянине Арефе, который пошел просить в долг хлеба и замерз во выжном поле. О другом крестьянине: он идет искать обетованную

страну, продает двух овец с поросенком, чтобы сбить денег на дорогу, и тоже пропадает в пути.

Рассказы эти. Впрочем, не только о бедняках, но и о деревенской «элите». Не о врачах — они редко жили в селах. Не об агрономах, зоотехниках — их вообще не было. Но о попах, дьячках, псаломщиках, неизбежных в старой деревне. О них писали многие. Гусев-Оренбургский, например, вообще «специализировался» только на лицах духовного звания. Для Неверова они были не главным, но неизбежным элементом деревенского быта старого времени. Так же, как кабатчики, волостные старшины, кулаки — мужики дельные, оборотистые и бессовестные, подчинившие односельчан, подчиненные сами одному желанию: нахapatь, разбогатеть, вывести в люди своих детей.

И, конечно, цикл рассказов посвящен сельским учителям с их нищенским жалованьем, с горницей при школе, со сторожем-собеседником, с мечтой — пойти в гости хоть к попу, где пьют чай с вареньем и разговаривают об умном. Власть тьмы — физическая, духовная, социальная. Редко-редко брезжит в ней свечечкой человеческая доброта: то учительница организует ясли, то другая вечерами показывает крестьянам картинки о чужих городах, о дальних странах.

Это все — истинная правда степных сел, что лежат южнее бунинских, черноземных. Здесь безлесье, топят кизяком. Здесь ветры, снега, просторы, но сама гамма рассказов — коричнево-серая, однотонная. Все в них безотрадно и тускло. Идут дожди, вязнут ноги в глине, грязные свиньи бродят по улице, мужики в лохмотьях едят хлеб и воблу с грязной тряпицы. Кажется, они сошли с полотен Сергея Коровина, Касаткина; суриковского кипения народной жизни, суриковских мощных характеров здесь нет. Мужика можно назвать Арефой, Егором, Степаном — от этого суть не меняется: в нем сильнее общие, родовые черты, чем начало индивидуальное; из рассказа в рассказ переходит все тот же Мужик, задавленный нуждой и невежеством.

Арефы и Егоры возвращаются у Неверова из окопов первой мировой войны. Возвращаются покалеченные, зараженные сифилисом и чахоткой, озлобленные, чающие перемен и готовые к ним.

Неверов всегда писал только о том, что

сам видел и знал. На фронте он не был и «фронтовых рассказов» в прямом смысле этого слова не печатал. Его книги — о деревне глубокого тыла, откуда уходят на фронт и куда приходят с фронта мужики, находя дома разоренье и принося с собой смуту. Устойчивый быт нарушают перемены, чем дальше — тем больше. Может быть, именно действенность, напряженность деревенской жизни 1914—1918 годов и привела Неверова к новому для него жанру — драматургии.

В пьесах, известных в истории театра, — в «Бабах», «Захаровой смерти», как и в забытых «Богомолах» и «Добровольцах», — Неверов снова фотографически правдив в описании тупой, темной жизни. Избы здесь настоящие, утварь всамделишная. Женщины перенесены прямо на сцену с деревенской завалинки. «Бабы» начинаются тем, что одна у другой ищет в голове: «Ты, кума, вот тут пошарь хорошенько — в ямке. (Показывает пальцем.) Чешется больно».

Эти дремучие бабы говорят о мужниных письмах из лазаретов, и пусть совсем по Островскому — «Литва с неба упала», — но комментируют международное положение: «Четыре года будут воевать с гличанкой». — «С какой гличанкой?» — «А я больно знаю! Земля, что ли, эдакая, вроде нашей».

В нишей, темной деревне все неотвратно меняется. Солдат, вернувшийся из окопов, — уже не мужик, век сидевший на своем наделе. Привычен в селе пленный австриец, заменяющий хозяина на работе и в семье. В речах крестьян звучит полное неуважение к высшим мира сего: «Пушай бы сама начальства дралась али царь, коли хотца ему». Самые забитые, бабы, и те поднимают головы. Солдатка Домна говорит почти лозунгами. Безответная Катерина (вероятно, не случайно взятое имя) уходит от мужа к матери. В «Захаровой смерти» два сына Захара — не просто соперничающие в хозяйстве братья, но соперники и противники классовые собственник и революционер, накопитель и бесребреник. Известный отзыв Блока об этой пьесе подчеркивает бесспорные ее достоинства: «Захарова смерть» — бытовая драма, написанная прекрасным русским языком, правдиво изображает некоторые стороны современной деревенской жизни... Художественная чуткость уберегла его от лжи: старики

вышли неправы, но они — милые и живые. Носители нового — сбившиеся с панталыку бабы, девки, мужики и казаки — представлены также правдиво».

Этим же «прекрасным русским языком» написаны новые рассказы Неверова. О возвращении на родину красноармейца с гражданской войны. О том, как встречает революцию богатей, только что поставивший себе новый дом с железной крышей и медными дверными ручками. Как «сбившиеся с панталыку» женщины покидают свои избенки. Избенки — подслеповатые, щи — пустые; все вроде бы так же, как было в 1906, 1908, 1914 годах, когда Неверов учительствовал и писал обличительные корреспонденции в самарскую газету.

Вот возвращается мужик из лазарета: «Избенка дома встретила худыми, разбитыми окнами, упавшим карнизом. По двору бродила все та же кобыла с отвислой губой и старая, надоевшая нужда с разинутым ртом. Не успел Мирон оглядеться, — со всех сторон окружили старые, непримиримые враги: волчья несытая злоба, шелкающая зубами, бессмысленная мужицкая жадность, мешающая жить. Купеческие участки расклеивались хозяйственными мужиками. Беднякам и калекам приходилось собачиться, тащиться в хвосте».

Вроде бы прежняя тональность. Прежняя серо-коричневая одноцветность. Но этот рассказ девятнадцатого года называется непривычно для крестьянской литературы — «По-новому». Идея и сюжет его просты и новы, как идеи тех плакатов, что стихами Маяковского, частушками Демьяна Бедного призывали бить беляков, гнать кулаков. «Тереньков произнес неслышанное слово «коммуна». Покатилось оно по улицам, как сказочный колобок».

И сразу, как в театре, как в сказке, изменился неверовский пейзаж: «Небо синее, ведряное... Солнышко светило хорошо, приветливо. Под согревающим теплом росли новые мысли. Виделась впереди обновленная жизнь, построенная общим трудом и любовью. Виделось широкое вольное поле, выращенное общими руками на общую пользу»...

Все просто и молодо. Коммунары занимают богатый хутор, гниль и запустение сменяются там разумной общей жизнью. Артельно готовят еду, артельно обедают, артельно работают, и забитый мужик Ми-

рон «улыбался широкой улыбкой вместе с солнышком, которое улыбалось мужикам с голубого весеннего неба».

2

Словно жанровая картина из жизни бедного села сменилась праздничным, ярким плакатом. Контрасты его ясны, разумны, бесспорны: старое — новое, так было — так будет, нужда и неволя — земля и воля.

«По-новому» — не случайная обмолвка Неверова, но обозначение этапа; его рассказы, его пьесы 1919—1920 годов — это прямая, точно адресованная агитация за новую власть и новую жизнь. Агитация, облеченная в форму бытовой притчи, с точными приметам жизни, с сегодняшним «прекрасным русским языком». Все очень просто. Богачей сшибли, кто был всем, стал ничем. Надо, чтобы они не вернулись. Чтобы все работали одинаково и делили бы все поровну. Чтобы был мир у народов, земля у крестьян, хлеб у голодных.

В «Красноармейце Терехине» мужик, мобилизованный в Красную Армию, мечтает сначала о своем, исконном: в мечтах перед ним «проходили лошади, коровы, овцы, свиньи, пять десятин ярового, пять десятин ржаного. Теплая печка, баба рядом, жирные дымящиеся щи». Другой, передовой красноармеец, Яков Московский, разъясняет Терехину: «Нельзя нам строить новую жизнь в одиночку. Или мы обгоним, или нас оставят позади. По-другому надо». И когда погибает Яков, Терехин занимает его место.

Перед обездоленным прежде мужиком распахнута вся земля, открыты все дороги. Прежде героиня рассказа «Баба-Иван», волевая и умная, могла в лучшем случае выжить кабатчика из села. Теперь «Марья-большевичка» уходит от мужа-самодура, становится женорганизатором, а потом и вовсе уезжает из села в огромную новую жизнь. Учителям приходится сегодня вроде бы хуже, чем бедолаге Стройкину из прежнего рассказа: они сами сажают табак, солят огурцы, десять пудов муки — богатство, пятьдесят восемь курней табака — мечта. Мысли их крутятся сначала вокруг этого табака, кадушек с огурцами, четырех ведер помидоров. И все же настроение, вся атмосфера жизни рассказа «Шкрабы» совершенно иная, чем в «Учителе Стройкине» или «Серых днях». Молодые «шкра-

бы» — учитель и учительница живут невенчаннные. Вызывая нареkania священнослужителя. Они учат, разъяняют события, ставят спектакли. Мужичкий хор поет у них: «Духом окрепнем в борьбе...» — а над школой развеивается кумачовый флаг сразу с двумя лозунгами: «Ученье — свет, неученье — тьма» и «Долой капитализм!».

Успех этих рассказов был огромен (по тиражам Неверов в те годы стоял на втором месте, за Демьяном Бедным), потому что очень нужны были такие вот примеры из жизни, становящиеся примерами для жизни.

Человек может сдвинуть горы. Жизнь идет по-новому: отступает нужда, кончается невежество.

На Руси-то трава растет не по-старому,
Цветут цветы не по-прежнему.

Этот эпиграф к повести «Андрон Непутевый» может быть отнесен ко всему, написанному Неверовым после восемнадцатого года. Не по-прежнему воспринимает он жизнь и видит ее искусство: «Искусство на грани двух эпох должно быть... героическим, и художник... должен выбирать для своих работ величественное и прекрасное». Не по-прежнему звучит его собственный голос: предметные, тяжелые, подробные описания сменяются напевно-яркой, прихотливой, почти ритмической прозой:

«Солнце мелким решетом пыль по избе сеет.

Кот на подоконнике за ухом лапой чешет.

Бабушка Матрена в переднем углу божию мать просит со вздохом:

— Пресвятая владычица, матушка, сохрани непутевого сына Андрона. Воевать пошел дурак — убьют...

Дверь — настезь, на пороге колокольчики заиграли. По глазам ударила рубашка красная. Шапка пальцем кверху, на шапке звезда пять концов».

Так на пороге родительской избы появляется Андрон по прозвищу Непутевый. Словно огромный красноармеец с плаката Моора «Ты записался добровольцем?» возникает перед нами, хотя внешность его совершенно реальна: буденовка, кумачовая рубаха, колокольчики-шпоры.

Андрон прост и категоричен, как этот красноармеец. Все для него и в нем самом ясно:

«— ...Скажем, бог, Андрон Михайлыч, есть или нет?

— Обморачиванье головы... Религиозный театр представлений».

«— ...Капитализма нам нестрашная. С ней давно можно покончить, если бы не буржуазия».

«— ...Я... женщину всякую считаю за товарища».

Отец спрашивает:

«— Тебя кто на свет произвел?

— Природа.

— Сказывай, какая природа!

— Не лезь, тятка, ушибу...»

Жизнь течет эпически, былинно, в густых красках.

Почти символы действуют в повести: Отец, Мать, Непутевый сын, Старики судьи, которые призывают Андрона родителя и напевно спрашивают его:

«— Сказывай, Михайла, о сыне по новости!»

Михайла отвечает в тон:

«— Чего скажу незнамо, неведомо».

Судьи печалуются: «Девки будут спать невенчанными, сыновья перестанут слушаться. Лошадям в хвосты натыкают тесемок красных, заплетут гривы по-свадебному. Скакать будут, беса окаянного радовать».

Формы былинные, песенные, речитативы и заплачки служат новому, как служат ему лубок, перешедший в плакат, частушки в агитках Демьяна Бедного, иконные Георгии Победоносцы, превратившиеся у палешан в красноармейцев, скачущих на красных конях.

Уже не только самарская степь лежит перед нами, не только безлесная деревня, но та огромная, округлая планета, по которой идут блоковские красногвардейцы и люди «Железного потока», умирающий Комиссар Петрова-Водкина и кустодиевский Большевик, огромный, как Андрон, шагающий со знаменем через дома, — люди той же революционной, заново родившейся планеты. Камерное, личное растворяется в общем, в единстве неодолимой, неизбежной стихийности, в этой жизни — без крыши над головой, без устойчивого быта, развеянного временем. «На Руси-то трава растет не по-старому...»

В это былинное, эпическое включается даже обыкновеннейшая физзарядка, которой не выдвигали раньше Старейшины:

«На пороге Андрон из сеней... Ухватился руками за брус и давай вертеться: вверх

головой, вниз головой, того гляди полати переломятся.

— Как можно человеку испортиться — батюшки!

Наигрался Андрон, улыбается старикам:

— А вот вы не умеете!»

Опасения Старейшин сбываются: трава растет не по-старому, Андрон скачет на мерине, украшенном лентами, уходят девки от отцов, уходят бабы от мужей, закрывает Андрон церковь под старушечий вой:

«Вывели батюшку из большого батюшского дому — слез-то сколько было! Все старухи плакали, все старики головами качали:

— Не к добру!

Так по слезам и вошел батюшка в церковную сторожку ночь переночевать. Запряг утром кобылку серую, матушку с ребятишками посадил...

Стоит церковь запертая, колокола не звонят.

На паперти телята отдыхают.

На колокольне голуби воркуют целый день.

Висит замок общественный на дверях церковных...»

Все идет, как хочет того Андрон. Алый флаг полыхает над селом. В красном углу, где прежде были иконы, — Карл Маркс, убранный лентами. Родается ребенок — его не крестят, старик при смерти — не исповедуют. В поповском доме строят сцену, девки разучивают роли. Орудует в исполкоме Андрон, отдает приказы, краткие и справедливые: «Немедленно всем коллективом села Рогачева запахать озимое красноармейкам», «У Прохора Черемушкина взять восемь досок поделочного тесу на общую пользу». Все — по правде, по справедливости. Дают беднякам землю, дают всем волю. Все, как хочет красноармеец Терехин, за что борется Марья-большевичка, о чем мечтает любой бедняк.

Но вот ползут в народе новые слухи:

«В казаках генерал поднимается.

В Сибири генерал поднимается...

Тот генерал, который в Сибири поднимается, прямо сказал: — На хлеб цена, на овес цена».

Понятно, когда ждут генералов толстопузые, гладкие, чьи дочери были в гимназии, а сыновья в офицерах. Но у Неверова ждут их и мобилизованные на общественные работы плотник и столяр. И мужику из мужиков Прохору Черемушкину, у ко-

торого восемь его собственных досок конфисковал Андрон, снится блаженный сон о возвращении кровной его собственности: «Вскочит ночью, а генералы — вот они: как на картинках стоят и писарь генеральский с бумагами:

— Ты Черемушкин?

— Я.

— У тебя взяла коммуна восемь досок поделочного тесу?

— У меня.

— Распишись».

Крестьянский писатель великолепно показал неизбежность революции, естественность порыва крестьянства, поднявшегося за землю, за волю, за лучшую долю. Здесь нет ничего придуманного, все видно в жизни, все эти Прохоры, Андроны, Михайлы — соседи и ученики сельского «шкраба» Александра Неверова.

В то же время в повести, написанной в 1922 году, не всегда учтена сложность времени, сложность фактов. В народной стихии еще не выделены ее тенденции, ее течения. Она у Неверова могуча и одинакова, словно одинаковы все слагаемые ее, словно действительно все мужики так же дружно, едино встают против Андрона, как прежде стояли за него. Кажется, что Андрон и помощники его сами не крестьяне, не «первороссияне» своей деревни, а сила чуждая, сторонняя.

Словно бы действительно всему народу слышится магическое: «На хлеб цена, на овес цена», — и блекнут перед этими словами Андроновы призывы: «мое» для многих оказывается сильнее, чем «наше». Когда идет шеренга коммунистов отбирать хлебные излишки, хватает мужик привычные вилы и гонит, и терзает уже не гладкого кулака, но исполкомовца Андрона и хромого Гришку — Андронина помощника: «Гонят Гришку Колчика с деревянной ногой... словно волка пятьдесят собак». Отстреливается Андрон от земляков из нагана: «Не жалеть нельзя и жалеть нельзя...»

В дореволюционном неверовском рассказе «Музыка» сторож слушает-слушает игру барышни на фортепьянах, да и поджигает усадьбу. В новой повести мужики жгут исполком, толчут декреты, о которых мечтали столько лет. Бежит по улице мерин с красной лентой в хвосте, мечутся куры, летят из окон кадушки, хомуты, ухваты. «Воют бабы. Воют собаки. Ржут лошади. Крик. Стон. Шум. Рев. Война так война!»

Разгром, черное пожарище. На пепелище стоит Андрон с разбитой головой — стоит, как герой Довженко, которого расстреливают в упор и не могут расстрелять враги. Снова Непутевого «вперед зовет дорога трудная: через жалобы тихие, через трубы обгорелые, через черное горе мужицкое». Снова, как неизбежный припев, вроде бы неожиданный для этого радостного, налитого силой богатыря, звучит раздумчивое «Не жалеть нельзя и жалеть нельзя...»

Жизнь оказалась сложнее, чем ослепительная, ясная мечта об общей пашне и общем столе. Дорога труднее и длиннее, чем та, что виделась в восемнадцатом, девятнадцатом. Война идет не только с врагами внешними — с белыми, англичанами, белочехами, не только с кулаками и попами, но и с собою — с этой жадностью к своим восьми доскам, к своей земле.

Отсюда прямой путь к донским рассказам Шолохова, к «Ненависти» Шухова, к «Ярости» Яновского, к «Станице» Ставского и ко многим другим книгам, в которых словно заново возникает Андронов: «Не жалеть нельзя и жалеть нельзя...»

Сам Неверов продолжил эту ставшую для него главной тему в романе «Гуси-лебеди», над которым работал несколько лет: он умер в 1923-м, не успев его закончить. Где-то роман растянут, где-то однообразен, в нем нет художественной цельности, единого ритма предшествующего «Андрона Непутевого» и последующего «Ташкента». Но важнейшая тема времени, тема сложности, противоборства процессов деревенской жизни 1918—1919 годов прослеживается писателем во всем разнообразии ее оттенков, в противопоставлении социальных лагерей.

Здесь снова встает развороченный муравейник степной деревни, мужики, вернувшиеся с фронта в мечтах о справедливом дележе земли, и мужики, дрожащие за свою землю. Попы и поповские дети. Учителя, оказавшиеся вдруг в центре важнейших событий. Большевик Федякин. Исполкомы и комитеты. Поп, прячущий оружие и хлеб. Захудалый попишко, у которого большевики съели два фунта сахара и четыре фунта черносмородинового варенья. Думают по-разному. Кто: «Рубить — так рубить, нечего дергать». Кто: «Сколько всех партий и какая из них самая лучшая, чтобы никто в ней не трогал?»

Приходят в деревню не генералы — при-

ходят белочехи устанавливать свои порядки, давать цены на хлеб и овес. Белочехов лупят — и в открытую, выстрелами, и тишком, удавкой. Хоронят убитых иство, в добротных гробах, на своем же кладбище. На кресте пишут дату смерти: 1918. Идет сложнейший, но необратимый процесс: «Билась мужицкая жизнь в мертвой захлестнутой петле, искала ненайденное. И когда пришел приказ о мобилизации в народную армию на борьбу против большевиков, заливановская, упакововская, лозихинская, чернореченская, поддубовская, проталинская беднота сделалась вдруг сама большевистской. Все затанли в себе сокровенное, злое, упрямое, крепче стиснули зубы»...

Снова скачут обезумевшие лошади, снова выстрелы, слезы, кровь. Снова мерная, напевная речь, то ли сказка о гусях-лебедях, то ли песня про степь широкую. Люди, потоки, отряды. Есть реплики — нет монологов. Есть массы людей, есть представители классов и партий — большевик, белый, кулак, учитель, но человеческие отдельные их лица еще смутны, неотчетливы. В этом эпосе еще не выделена, не прослежена человеческая судьба, отдельный характер. Новой литературе новой России еще суждено воплотить эти судьбы, эти характеры. Григория Мелехова. Макара Нагульнова. Кати и Даши, Телегина и Рощина. Одно из первых лиц этой далеко еще не законченной галереи — крестьянин села Лопатина Самарской губернии Бузулукского уезда двенадцатилетний Михаил Додонов.

3

После революции Неверов написал несколько коротеньких «детских рассказов», по интонации и приемам своим как бы продолжающих рассказы Льва Толстого о грозе, о сборе грибов, о Филиппке, пошедшем в школу. Только Неверов раскрывал в своих рассказах понятия новые, необычные — «коллектив», «большевик». Все укладывалось в несколько незамысловатых строчек, доходчиво иллюстрирующих тему.

После смерти Неверова появился в печати его четырехстраничный рассказ «Как у нас война была». Он очень похож на те сочинения яснополянских учеников, которые радовали Льва Толстого простотой и свежестью взгляда. У Неверова это даже и не сочинение, а именно устный рассказ

мальчишки лет одиннадцати — двенадцати, мальчишки крестьянского, который понятия не имеет о международном положении и положении внутреннем, хотя и знает, что отец его был коммунистом. В рассказе нет никаких рассуждений и описаний. Только действия: зазвонил колокол, затряслась изба, прибежала тетка со скалкой, «схватила мама тятину шубу, напялила на себя, а в руке чугунок с кашей держит, сует мне его»... Побежал парень с чугуном, потерял мать, поколупал кашу, заснул в соломе, проснувшись — нашел мать возле сожженной избы. «Встал на теплую золу, начал ноги греть, потому что вместе с избой и сапоги мои сгорели».

Ужас, пожар, бой выражаются в простейших физических действиях: надел, побежал, упал, заплакал, заснул, сапоги сгорели. Неверов перевоплощается в мальчишку, который пережил войну, а после нее испытал еще более страшное, чем война. Во время великого поволжского голода 1921 года писатель жил на родине, видел поток людей, уходящих от голода на лошадях, у кого еще уцелели лошади, и пешком, видел людей, облепивших поезда, которые шли еще тише, чем пешие, видел матерей, умиравших возле детей, и детей, умиравших на материнских руках. Он сам ездил в Ташкент и привез не только зерно, которое тут же без меры щедро стал раздавать, но и готовый сюжет новой, лучшей своей повести.

Во время самого голода Неверов был там, где всего страшнее, — в дальних деревнях. Он написал две пьесы, цикл очерков, издал в пользу голодающих однодневную газету с посвящением любимейшему и суровейшему из учителей своих — В. Г. Короленко. В очерках Неверов рассказал о том, что видел сам: мужик ест тараканов, баба грызет щепку, один кричит: «Умираю!», другая стонет: «А, господи наш, господи!» В повести эта мгновенность зарисовок претворяется в большое искусство, хотя и сохраняет всю силу документа. Претворяется прежде всего потому, что в ней реальность голодающего края предстает через восприятие мальчишки. Все видится его глазами — зоркими, ясными, любопытными, двенадцатилетними. Без всяких отступлений, «внутренних монологов», анализа психологии — своей и чужой. Только действия. Только события, с ним, Мишкой, происшедшие, им увиденные.

Жизнь ребенка всегда действительна и всегда естественна: не понимая и не отыскивая причин событий, ребенок принимает их как нечто необходимое и живет в них по-детски.

В «Ташкенте» нет никаких предисловий о беде в Поволжье, о причинах и размерах голода. Сразу — действие. «Дед умер, бабка умерла, потом — отец. Остался Мишка только с матерью да двоими братишками... Умер дядька Михайло, умерла тетка Марина. В каждом доме к покойнику готовятся. Были лошади с коровами, и их поели, начали собак с кошками ловить».

Голод показан не в ужасном, но вроде бы во вполне обычном обличье; здесь умирают не с проклятьями, не с криками, почти незаметно, только очень часто и оттого еще более обычно. Мать не причитает даже, а привычно ходит по воду и стряпает что-то из травы, ребята привычно возятся возле. «Мать на кровати охала. Младший, Федька, дергал за подол, клал палец в рот, просил хлеба. Средний, Яшка, делал деревянное ружье — воробьев стрелять для пищи, думал: «Убью троих — наемся. Маленько Федьке с мамкой дам».

Никаких ужасов. Все уже приспособилось, приноровилось к новым обстоятельствам жизни — и от этого еще страшнее.

Маленький по глупости еще может торжествовать мать, просить хлеба. Восемилетний действует сам, мечтая о жареных воробьях. А двенадцатилетнему видятся уже не воробьи, а город, о котором случайно услышал от мужиков. Хлебный город Ташкент, где «сады виноградные — во! Шутя можно урюку карман нарвать».

Вроде бы прежняя фотографическая, достоверная жанровая картина деревенской жизни, только самый жанр предельно трагичен. И в то же время очевидно, что книжка написана после «Андрона», «Красноармейца Терехина», — она взяла лучшее, что было в этих произведениях. Жанр слился в «Ташкенте» с эпосом, воплотив не только главный поток народной жизни, но и главные характеры, выделив, увидев людей. Уже не старательные жанристы, но именно Суриков, его «шум вод многих» вспоминается в сценах, где штурмом берутся не только вагоны, но крыши и буфера, в степном переходе людей от станции к станции, от одного человеческого жилища к другому, во всех этих криках, ругани, божбе, ребячьем плаче, бабьих воплях.

Заводят мужики: «Ты, рассукин сын, ка-

маринский мужик!» — а мимо проносят женщину, повавшую под поезд. Стонет на станции мальчишка: «Ой, аллах!» Улыбается смерти одинокий старик, брошенный в степи. Падают кудрявая девка: «Поглядела она вокруг помутившимися глазами, белая сделалась вся. Схватила себя за голые оцарапанные ноги — не поймет ничего Будто бабы и будто не бабы около нее». Бабы спрашивают по-былинному: «Что, Настенька, смерть твоя?» И девка отвечает им тоже по-былинному: «Силушки нет».

В середине тридцатых годов «Ташкент — город хлебный» был одной из центральных книг школьной программы. Проходили ее в классе что-то очень долго, писали сочинения — «Образ Мишки Додонова», а к сочинениям — предварительные планы, в которых перечисляли основные Мишкины качества: а) смелость, б) справедливость, в) чувство товарищества. Потом программу изменили, приблизили ее к классике. Мишку сменили «Крестьянские дети», ребята из «Бежина луга». И неверовский «Ташкент» как-то очень слился с ними, подхватывая тему крестьянского детства, открытия мира деревенским мальчишкой.

Ужасна жизнь позолжского села 1921 года. Здесь нет коров и лошадей — их съели, нет полей и огородов — они сгорели в засухе. И все-таки двенадцать лет — это двенадцать лет. Находит парень гайку — событие: «Какой я счастливый! Приеду домой, чего-нибудь сделаю из этой гайки или кузнецу продам за сто рублей».

Поезд настукивает ему колесами, как всем ребятам всех стран:

«— Еду, еду — раз!

Ловко, ловко — два!..»

Мотив путешествий, странствий часто звучит в прекрасных книгах о детстве. Бежит из дома Том Соьер, плывет на плоту Гек Финн, плетутся в город Давид Копперфильд и приютский беглец Оливер Твист. Но эти странствия — сюжетные, литературные приемы, счастливые окончания их связаны с избавлением от нищеты, с получением наследства, с отыскавшимися родными. Здесь поездка — документальный очерк. Она реальна, как реальна цель ее — привезти из сказочного города в свою деревню хлеба фунтов по двадцать, то есть всего-то по восемь килограммов. Два мальчика — двенадцатилетний Мишка и одиннадцатилетний сосед его Сережка — идут на станцию, как шли в те годы сотни тысяч лю-

дей, менявших одежду, сапоги, мыло на главное в жизни — хлеб. За хлебом люди ехали в теплушках, ютились на вагонных крышах. Сутками стояли поезда в пути, десятками суток тянулись до места назначения.

Пути за хлебом были и более дальними. У Андрея Платонова его «сокровенный человек» машинист Пухов встречает тверских баб, которые возвращаются из турецкой Анатолии, откуда везут кукурузу, а «один калека, у которого Пухов английским табаком угощался, ехал из Англии в Иваново-Вознесенск, везя пять пудов твердой чистосортной пшеницы»... Неверов ведет своих ребят дорогой реальной, но не менее для них трудной, чем путь до Аргентины.

Пылят проселком две фигурки в картузах — одна побольше, другая поменьше. За плечами у них лапти и чулки. В залатанных мешках — жестяные кружки. Кусок травяного хлеба — вся еда, юбка покойной бабушки — весь товар для обмена. Ножик у пояса — единственное сокровище. Денег нет. Документов нет. Ничего нет. Двое вливаются в великий поток беженцев и мешочников. Вливаются, но не сливаются с ним: в человеческом водовороте на станциях возле водокачек, в драке из-за хлебных корок все время выделяются эти двое. Скоро остается один. Слабосильный Сережка то теряет Мишку, то отстает от поезда, а скоро и совсем отстает. «Иди, иди... Зарыли. Вот тебе и Сережка!» — гонят Мишку от больницы, где лежал товарищ.

Постояв у больницы, Мишка уходит. Едет на буферах, на крыше, на паровозе. Спит на загаженной станции, вповалку. Ест выпрошенные или отбитые у беспризорников корки, мослы, рыбы кости, картофельную кожуру. Где выпросит, где разжалобит, где подоврет. Мишке везет. И он живуч, силен, упорен, жизнеспособен. Его ругают — он отругивается, высаживают — вскакивает на подножку. Борется за жизнь. Побеждает в этой борьбе за существование. Здесь выживает сильный. Здесь забывают о том, что слабейший тоже человек. Всем не до этого. Всем до себя. До того, чтобы утолить голод, жажду, спастись. И если бы еще все были одинаковы! Но даже в этой ревушей толпе есть свои богатые. Одни скулят от голода, другие варят щи с бараниной. Одни попадают под

колеса, другие откупают вагон, едут просторно, сытно, бегают по базарам, закупают для обмена табак и самовары, шелестят деньгами.

И все-таки идет через эту страшную одиссею лейтмотив: «Какие хорошие люди!»

Он возникает не только тогда, когда статный начальник чека товарищ Дунаев приказывает накормить Мишку или когда машинист товарищ Кондратьев подхватывает его, повисшего на подножке, и сажает рядом с собой в паровоз (снова — осуществление исконной мальчишечьей мечты). Дело не в этих случайностях, хотя они и выражают закономерность. Дело в неодолимости самого этого «потока», который течет и течет степями, сбиваясь в артельки, в ватаги, — потока, неодолимого даже в смерти, потому что все эти люди — народ, потому что идут эти люди по земле и о земле думают в последние свои минуты: «Опять солдат рассказывает о холодной прозрачной воде и зеленых садах, а старик, убаюканный пройденными верстами, покорно лежит в высокой сухой траве под откосом. В последний раз окидывает мыслями потухающие родные поля...

— Уроды, кормилица, на старых, на малых, на радость крестьянскую!..»

Всю дорогу от села Лопатина до Ташкента звучит этот мотив, хотя голод остался голодом и волжские степи уже перешли в азиатские степи, киргизы говорили непонятное, близился хлебный город, а беда все не отступала. На всех станциях «лежали стадами, плакали, молились, ругались голодные мужики.

Точно совы безглазые тыкались бабы...
тащили ребят на руках,
тащили ребят, привязанных к спине,
тащили ребят, уцепившихся за подол»...

В повествовании Неверова много того, что называется обычно натурализмом. Но попробуй обойдись без него в рассказе о том, что реально видят Мишкины глаза. Ведь видят они заплеванные вокзалы, загаженные становища голодных, мертвецов, по которым ползают вши, живых, ворующих хлеб у мертвых.

Окружающее Мишку кошмарно, и в то же время этот кошмар стал привычным бытом, таким же, как деревенский покорный голод. Поэтому вроде бы закономерное здесь стилистическое определение — натурализм — скорее затмевает сущность не-

веровской повести, чем раскрывает ее. Писатель вовсе не избирает натурализм как метод изображения действительности. Он не хочет никого эпатировать, не хочет ничем ужасать. Он вспоминает и просто описывает то, что видел сам во время поездки в Среднюю Азию. Но так как Неверов — писатель истинный, то это свое он пропускает через взгляды, мысли, оценки Мишки Додонова, который просто не может видеть иначе и думать иначе. И потому так естественно, необходимо сочетаются с этой грубой, страшной действительностью те же былинно-сказочные обороты, которые в «Андроне» определяли всецело стиль повести, а здесь оттеняют сложность ее: «Не река сорвалась в половодье — народушко прет со всех сторон, со всех концов»... «Не олень бежит, рогами кусты раздвигает — Мишка скачет с мешком за плечами».

Бежит Мишка от собак, то ли реальных свирепых степных овчарок, то ли призрачных, которые поднимаются в небо и рассеиваются черными тучами. Снятся Мишке на станциях, в вагонах прекрасные сны: качается под ветром спелая пшеница, мужики разговаривают о жатве. Самые реальные сны. Но, как в «Ивановом детстве», именно благодаря полной реальности кажутся они недостижимой мечтой, только снами.

Ташкент возникает, как еще один сон: продают большие лепешки, ягоды кистями (впервые увиденный виноград). Как в смешном сне, «сидят мужики на маленьких жеребятках, стучат жеребят по шее тоненькими палочками, а жеребята, мотая длинными ушами, идут без узды, и хвосты у них ровно телячьи». Снова Мишка — уже один — идет и идет длинной ташкентской улицей, а мы смотрим ему вслед. Уменьшается фигура мальчика: «Долго белелись чулки, перекинутые через плечо. Вот остановился, поглядел в грязный, пропыленный арык, опять пошел, повернул за угол и скрылся». Здесь кончается мечта о сказке, о молочных реках и кисельных берегах. Сказка снова обращивается нищенством, голодом, болезнями — реальностью. И все-таки реальность эта одаривает Мишку Додонова не двадцатью фунтами — двумя мешками зерна.

Возвращается он в деревню, совсем уже тихую: «Подошли две бабы... подобрали два упавших зернышка, протяжно сказали: «Батюшки, чего он привез!» Мать по-пре-

жнему лежит на кровати — словно и не вставала. Яшка с Федькой умерли. Осмотрел Мишка запустевшее хозяйство, удивленно взглянул на случайно уцелевшего воробья. Хозяйственно поправив почерневшую дугу, мальчик «встал около мешков с пшеницей, гвердо сказал: «Ладно, гужить геперь нечего, буду заново заводиться...»

Как он будет заводиться, что ждет Мишку дальше — Неверов не успел рассказать. В 1923 году он умер неожиданно, тридцати семи лет от роду. По воспоминаниям, к гробу его подошел красноармеец: «Это я, Андрон Непутевый, пришел проводить тебя».

Путь писателя оборвался. Пути Мишки

Додонова, самарских мужиков пошли дальше. В пути этом им понадобилось многое, в том числе и книги Неверова. Их издавали — и отдельно и собраниями сочинений. О них писали диссертации и монографии (среди них следует выделить последнюю — отличную книгу В. Скобелева, изданную в 1964 году). Их переводили на многие языки. Прочитав «Ташкент — город хлебный», Франц Кафка сказал: «Это великолепно... Народ, имеющий таких ребят, как этот в книге, такой народ невозможно победить»...

Так жили, так живут через много лет после смерти писателя лучшие его книги — книги о недолгом времени, надолго определившем будущее.



Г. ТРЕФИЛОВА

★

О СТИЛЕ ПАУСТОВСКОГО

Проза Паустовского в ее лучших образцах теперь общепризнана. Она не нуждается более ни в защите, ни в снискождении. А было время — не так давно — ее поэтика встречала недоверие, она казалась неканоничной. Теперь мы все меньше спорим о ней, все больше ее исследуем.

Мера зрелости и совершенства книг писателя, выходявших в двадцатые — тридцатые годы и теперь, безусловно, различна. Различно и их «эстетическое отношение» к действительности. Одно дело — экзотика ранних рассказов «о кораблях и капитанах», где собственные впечатления молодого одесского журналиста не без труда пробиваются сквозь интонации Грина и Бабеля. Другое дело — целеустремленный пафос в лирических репортажах, предназначенных для журнала «Наши достижения», или в повести «Кара-Бугаз», естественно вписавшейся в советскую литературу тридцатых годов и так соответствовавшей общему мироощущению тех лет. Одно дело — автобиографический цикл «Повесть о жизни» с ее историческими реалиями, другое — поэтическая фантазия «Ночной дилижанс», посвященная великому сказочнику Андерсену и похожая на изысканную сказку о нем самом.

Но Паустовский узнаваем всюду.

Он уводит нас в простор полей, продутых свежим ветром, в сумрак влажных, тенистых лесов Мещоры; он открывает нам заманчивые дороги и тропы, зовущие неутомимого путешественника сменить уют непритязательных сельских картин на шумливое движение больших городов, где все

дышит историей, преемственным творчеством поколений, где самая пыль — тысячелетняя пыль, где торжественные залы музеев и библиотек, величественные памятники хранят

Чуть видные слова седого манускрипта.
Божественный покой таинственных могил.

Таков его мир. Это жизнь, какой она бывает, какой может быть и более всего — какой быть должна. Это храм невраждебной природы, искусства и красоты, где мирно и дружелюбно соседствуют века, народы, культуры.

И это обжитая земля, где каждая травинка растет для умножения прекрасного, а человек — созидатель, demiurge, или, вспоминая старинный язык священных книг, «венец творения».

От книг Паустовского исходит ощущение постоянства. Мы не ждем от них ни кричащей о себе новизны, ни совершенной ни на что непохожести. Они дороги нам такие, какие есть, как могут быть дороги слова любви, сказанные не впервые, но с прежней нерастраченной силой чувств.

Эти книги едины попыткой уловить и закрепить такие духовные отношения и свойства, без которых жизнь линяет, обесцвечивается и затухает. Культ природы, творчества, красоты, женственности, поэзии, ничем не истребимая вера в торжество свободы, добра и света — вот Паустовский и прежний и нынешний.

Нравственно-философская основа мироощущения писателя — вечное «непокор-

ство» идеала, требующего реализации в изменчивом и конфликтном земном бытии. Здесь и его сила, и его слабость. Слабость — в том, что как только он покидает почву воображаемого и желанного, так все подвиги «суровой правды жизни» становятся у него на пути как зло, избежать которое куда легче, нежели одолеть. Сила — в неутомимости призыва к человеку и человечности.

Но самая душа произведений Паустовского, средоточие всего значительного и доброго, что они несут читателю, — это образ родины, светящий нам — то зримо, то незримо — со страниц его книг. За много лет литературной деятельности писателя чувство родины в его творчестве все более крепло и набирало силу, чтобы свободно, полно и заразительно излиться в его лучших вещах, от рассказов «мещорского» цикла, начатого более тридцати лет назад, и до «Ильинского омота», написанного совсем недавно. Именно национально-патриотическое начало книг Паустовского более всего другого укореняет их в народном сознании как прочную ценность. Оно сообщает им гражданственность и современное звучание, оно конкретизирует и освящает его понимание идеала, оно же делает его преемником лучших традиций отечественной культуры, судьбы которой неотрывны от судеб России: родина, «тихая и немудрая земля под неярким небом», —

Ее степей холодное молчанье,
Ее лесов безбрежных колыханье,
Разливы рек ее, подобные морям...

«Разливы рек» — эта ассоциация, кажется, должна была возникнуть сама собой, и она возникает. Как это часто бывает у Паустовского, вслед за стихами является их автор и сам становится персонажем, героем. Так возникает рассказ о поручике Тенгинского полка Михаиле Лермонтове.

В краткой жизни героя писатель избирает лишь один эпизод: случайную встречу с Марией Щербатовой на дорогах России во время весенней распутицы, их возвышенное, тоскливое и недосказанное чувство друг к другу, их готовность отвергнуть «светские цепи и блеск утомительный бала», их predetermined судьбой разлуку.

Тона, в которые окрашен весь эпизод, характерны для «любобной лирики» Паустовского. И самое имя Мария, стократ

освященное в нашей поэзии, — одно из самых любимых у писателя.

Безрассудное, неизбывное стремление нищего художника Пиросмана к певичке, не способной его понять; итальянка Мария в «Ночном дилижансе» — из числа женщин «потрясающей красоты, чьи лица как бы изнутри опалает сжигающая их страсть»; Мария в «Дыме отечества»; прелестная Мария из главы «Все это выдумки» в «Повести о жизни»: «Мне казалось невозможным жить вдалеке от Марии. Я был готов на все, — пусть она ни разу не взглянет на меня, но, может быть, я вдруг услышу утром, днем или вечером ее отдаленный голос. Пусть одно и то же небо простирается над нами, и вот это облако, похожее на голову рыцаря в забрале, будет одинаково видно и ей, и мне».

И еще один образ безоглядной страсти, устраняющей все препятствия, утверждающей себя в своем наивысшем взлете как главное дело жизни, затмившее все прочее, — это любовь седого маршала и певички Марии Черни в маленькой изысканной стилизации «Ручьи, где плещется форель».

В нашей строгой, социально детерминированной литературе оправдать любовь, посягнувшую на долг война и гражданина, оправдать поступок старого маршала, хотя бы на время в нарушение приказа оставившего своих солдат ради любимой женщины, — это не совсем обычное разрешение извечного конфликта долга и страсти, необычное не для одной литературной, но и для поздней фольклорной традиции (вспомним: «И за борт ее бросает в набежавшую волну»). Суровая гражданская мораль жестоко карает за такие предпочтения, она их не прощает. И искусство, как бы оно ни благоволило к ним, чаще всего завершает их трагической развязкой, что мы знаем из истории героев Шекспира и Данте, Толстого и Гоголя: смертью от руки своего отца заплатил младший сын Тараса Бульбы за любовь к прекрасной полячке.

В новелле Паустовского ликующий праздник любви оправдан и освящен. Он романтичен не только по существу, но и по обстоятельствам, и по смягченной, милостивой, лишь предположительной развязке. Рука рассказчика не поднимается, чтобы покарать красоту, и он сводит взор от жестокости мира, спеша оставить ее где-то вне границ повествования.

Но вне этих границ остается и многое другое. Одна из существенных особенностей лирической прозы Паустовского состоит в том, что «романы» его героев и героинь, при всей фатальности их страстей,— это «любовь по воздуху», как назвал бы ее М. Пришвин: от нее не бывает детей. Интерес «органической жизни» — связи, брака, семьи — не присутствует здесь или присутствует с той констатирующей условностью, что была принята в старинной нравоучительной беллетристике. От всего этого остается одно лишь притягательное «блистающее облако» очищенной духовности, вознесенное выше житейских отношений: оно либо предшествует им, то есть до них недоразвилось, «не снизошло», либо уже «воспарило». Даже в куртизанки Люсьены в «Повести о жизни» неприметно снят налет вульгарности и плотской искушенности; даже баловень женщин Мопассан представлен в «Золотой розе» отвергнувшим сердце маленькой бедной работницы, чтобы извиваться от боли, «уцоров совести и напрасных сожалений» потом, когда он поверил наконец в то, «что любовь не только вождение, но и жертва, и скрытая радость, и поэзия этого мира».

Не одна любовь,— творчество тоже несет в себе эту поэзию. Но и в нем есть проза каждого дня. Герои Паустовского различным образом ее минуют.

Одним это удастся благодаря отменившейся их печати исключительности, гениальности, которая выбивает их из обычной колеи человеческих сует и предопределяет их великое, всепоглощающее призвание. Это люди бессмертия, люди славы — поэты, композиторы, художники, представляющие как бы наиболее развернутые возможности человеческой личности вообще: Пушкин, Кипренский, Левитан, Чехов, Бунин, Чайковский, Андерсен, Ван Гог, Мопассан.

Другие, что особенно относится к нашим современникам, которых нам психологически трудно было бы воспринять в чисто легендарном плане, хотя и причастны как-то к будничной повседневности, все же выведены над ней субъективной наблюдательностью художника, ищущего и нередко находящего для них особый ракурс и ореол. Таковы у Паустовского портретные эскизы Луговского, Довженко, Юрия Олеши: «Мне всегда казалось (а может быть, это было и вправду так), что Юрий Кар-

лович всю жизнь неслышно беседовал с гениями и детьми, с веселыми женщинами и добрыми чудаками... Вокруг Олеши существовала... особая жизнь, тщательно выбранная им из окружающей реальности и украшенная его крылатым воображением. Эта жизнь шумела вокруг него, как описанная им в «Зависти» ветка дерева, полная цветов и листьев».

Слова об «особой жизни» — счесть ли их тщательно подобранными или оброненными случайно — многое открывают и в самом рассказчике, и в его героях. Потому что и третья группа его персонажей — множество безвестных людей, которые в совокупности составляют народ, — в изображении писателя так же богата этой творчески, эстетически особой жизнью.

Книги Паустовского полны редкостного доброжелательства к человеку, умения даже в самом ничтожном существе разглядеть то, что все-таки дает ему маленькое право сохранить за собою человеческое имя: таков спекулянт, спасавший детей из фашистского концлагеря, и таков вор Шустрый в «Начале неведомого века». Каждая новая книга писателя — и более других цикл автобиографических повестей — снова и снова утверждает: нет незначительных жизней, нет неинтересных людей, не бывает ничем не поучительных встреч.

Этот романтический ключ сообщает прозе Паустовского присущую ей легкость, нарядность. Она отталкивается от будней, от повседневной «деловитости», она стремится сохранить свою праздничность, донести ее до нас, читателей, в чистом, нерасплесканном виде.

Проблема праздника и будней решалась многими советскими писателями — современниками Паустовского начиная еще с двадцатых годов. Например, для героев Александра Грина обеспечением «праздника» могло быть чье-то нечаянное богатство — выигрыш, наследство или клад, попавший в благородные и щедрые руки. Для героев Юрия Олеши столкновение «праздника» с «делом» кончилось трагически: сломалась «ветка, полная цветов и листьев». Когда Л. Сейфуллина издала свои «созерцательные» «Охотничьи рассказы», она попыталась оправдаться: «Читатель нуждается в такой улыбке в литературе. У таких рассказов есть право на существование в нашем быту, который ведь не сплошь со-

стоит из страданий, из сомнений, из напряжений. Он состоит и из улыбок, и из шуток, и из поездок на природу». (Стоит сравнить это служебное «на природу» со словами Паустовского: «Люди обычно уходят в природу, как в отдых. Я же думал, что жизнь в природе должна быть постоянным состоянием человека».)

Эта сохраненная — не без известных потерь — поэтичность резко противопоставила книги писателя эмоциональному оскудению и примитивному рационализму «серой» литературы, безнадежно подавленной бытом и только в нем полагающей «истину жизни».

Каким же именно образом писатель стремится вызвать в нас то особо счастливое состояние, которое необходимо для восприятия прекрасного и которое он считает близким пушкинскому понятию вдохновения, — когда нам «новы все впечатления бытия»? К плодотворной сосредоточенности этого состояния он устремляет нас обычно с первых же слов и строк — их выбором, их расстановкой, размеренным ритмом спокойных фраз, выверенных естественностью ровного дыхания (подобно тому как, по остроумной догадке писателя, цезура гекзаметра соответствует паузе между двумя прибрежными волн):

«Но больше всего времени мы проводили на Пре. Я много видел живописных и глухих мест в России, но вряд ли когда-нибудь увижу реку более девственную и таинственную, чем Пра.

Сосновые сухие леса на ее берегах перемешивались с вековыми дубовыми рощами, с зарослями ивы, ольхи и осины. Корабельные сосны, поваленные ветром, лежали, как медные литые мосты, над ее коричневой, но совершенно прозрачной водой. С этих сосен мы удияли упористых язелей».

Основной фон этой ритмики может, конечно, перебиваться живой репликой, диалогом, сменами темпа речи, которая совсем не монотонна. Но нигде она не обрывается нервно и внезапно, а плавно, уравновешенно закругляется, успокаиваясь к концу:

«Утром мы ушли в Спас-Клепики. Был тихий светлый день. Ржавые листья слетали на землю. Лесной край уходил в нежную мглу, рядился в прощальный туман. И с переливчатым звоном протянул высоко над нами первый косяк журавлей».

Как нерезки, «переливчаты», переходны звуки и краски, любимые писателем, так и самое разнообразие слов, употребляемых им, не стремится ошеломить или удивить; их достоинство не в «самовитости» смысла или необычном звучании, а прежде всего в их уместности, и чем проще они, тем лучше. Это традиция гармонической прозы, идущая от Лермонтова, Тургенева, Бунина. В ней как бы сохраняется воспоминание о соразмерности и музыкальности классического стиха. В прозе Паустовского это «воспоминание о стихе» реализуется еще и буквально: авторское повествование очень часто сливается со строками Пушкина, Блока, Брюсова, Баратынского, Мея, Волошина — круг имен может быть расширен до бесконечности.

Писатель предстает ревностным хранителем пушкинского завета «соразмерности и соразности». Совокупность употребляемых им художественных средств не опровергает традиционную изобразительность, а, наоборот, упрочивает ее. В эпоху натиска формальных новинок и расшатывания устоявшихся норм, когда на литературный язык покушаются и новаторы-модернисты, и архаисты-догматики, и все, кто имеет смелость дерзать, стилистика Паустовского выглядит преднамеренно и настойчиво консервативной, если не забывать, что это слово имеет и большой положительный смысл: в «Повести о лесах» есть образ ученого, сохранившего ценные семена пшеницы во время ленинградской блокады. Он умирал от голода, но не тронул этих редкостных зерен и не дал их разбазарить — сохранил, предназначая послеблокадному будущему. Он тоже был «консерватор».

Писатель ищет возможности обогащения прозы за счет профессиональной и научной лексики — словаря летчиков, моряков, ботаников. Он много раз писал о сохранении и умножении сокровищ родного «алмазного» языка. Но каждая находка вводится осторожно, без нарушений «равновесия прозы».

У Паустовского есть, правда, свои пристрастия и «маленькие слабости», порою хорошо сознаваемые и служащие предметом шутливой самокритики. Есть, например, слова-любимчики: «медлительный», «скитания»; есть предпочтения, в романтическом стиле легко объяснимые. Например,

предпочтение высокого слова низкому, интимного слова официальному. В «Ильинском омуте» он пишет: «Мы не любим пафоса, очевидно потому, что не умеем его выражать. Что же касается протокольной сухости, то в этом отношении мы переживаем, боясь, чтобы нас не обвинили в сентиментальности. А между тем многим, в том числе и мне, хочется сказать не просто «поля Бородина», а «великие поля Бородина», как в старину, не стеснясь, говорили «Великое солнце Аустерлица».

Разумеется, не в одних словах дело. Из всей системы воззрений писателя следует, что если он говорит о жилище, то реже это будет квартира, чаще комната, флигель, дом, мезонин, что вместо службы будет работа, труд, вместо магазина — какая-нибудь лавчонка, вместо «гастронома» — рынок, базар. Официального языка деловых бумаг, если это не стилизация, не колоритная старина, писатель избегает, канцелярщину же ненавидит лютой ненавистью и преследует с той степенью ожесточения, когда уже и юмор кажется неуместным.

Тот же закон «равновесия» соблюдается писателем и в композиции его новелл. Художественная интуиция опытного и занимательного рассказчика почти безошибочно подсказывает ему, с чего начать, что приберечь к кульминации, где, прерывая доверительное признание, вставить забавный эпизод, где завершить торжественную речь шуткой или пейзажем.

Разнообразие пейзажей Паустовского трудно не только исчерпать, но и классифицировать. Это тема специальная. Легче отметить их общее: везде — ликующий ли это праздник весны, роскошная ли летняя картина, представлен ли пойменный луг с его неисчерпаемым разнотравьем или глухие лесные заросли — природа обжита, как дом, далека от стихийности, и ее красота — это красота здорового, доброго и, хочется сказать, благородного существа, точно так же как ее неблагополучие и неприглядность — это болезнь, а не зло. Она может плакать, капризничать, кукушаться, как дети, как человек, а не как сила, противостоящая ему («Дождь, тихий и угрюмый, как несчастный еврей, копошился на крышах и стекал жидкими струйками на дырявые зонтики торговок»).

В тридцатые годы Паустовский немало

внимания уделил теме преобразования природы человеком социалистического общества. Ныне его занимает не столько мотив «укрощения», «перестройки» природы, сколько менее радикальные, но не менее злободневные и общественно значительные в наши дни тенденции помощи, бережливости, возвращивания, охраны. Характерно и то, с какой осторожностью пейзаж Паустовского вмещает в себя технику. Нельзя сказать, что его природа — дикая и нетронутая; еще менее — что она комфортная или, как считают некоторые, дачно-парковая. Но и самолет, оставляющий в небе длинный белый след, и гудение трактора в дальнем поле предстают у писателя как часть ее самой: не техника «покоряет» природу, а, напротив, та как бы поглощает, переваривает, усваивает технику, ничем уже не грозящую. Тогда и техника становится своей, домашней, как, например, усталый старенький громкоговоритель в пустынной зимней Ливадии («Горсть крымской земли»): «Он честно трудился и дни и ночи, промокал от дождей, высыхал и трескался на солнце, ржавчина разъедала его металлические части, ветер нашвырял в него мелких летучих семян, запылил ему горло трухой. В конце концов, он устал, охрип от необходимости перекрикивать шум моря и ветра, простудился, начал кашлять и даже по временам совершенно терял голос и издавал только писк и скрежет».

Он страдал от холода и одиночества, особенно в те дикие ночи, когда на небе не было даже самой застенчивой маленькой звезды, которая могла бы его пожалеть.

Но ни на минуту он не переставал делать свое дело. Он не мог замолкнуть. Он не имел права сделать это точно так же, как не может маячный наблюдатель не зажечь каждый вечер маячный огонь».

Проза Паустовского — размышляющая и несколько «учительная», хотя и не в узкопедагогическом смысле слова. Средства лирической образности не исчерпывают ее, в ней остается место для публицистики. За многие годы творческой деятельности писателя эта сторона в его книгах претерпела особенно заметные изменения. Видимо, вера в действительность прямого и громкого «ораторского» слова, к которому он прежде часто прибегал, позже была у него значи-

тельно подорвана. Со временем пафос торжественных концовок и монологов, произносимых героями, стал более целомудренным и более скрытым. Чтобы увидеть это, достаточно сравнить «Северную повесть» с «Повестью о жизни». Прямолинейность натянуто-патетических речей Никанора Ильича и Щедрина в первой из этих книг уже не удовлетворила бы рассказчика в автобиографическом цикле; назначение этих обращений к аудитории осталось тем же, количество их лишь возросло, но теперь они более мотивированы художественно и более тщательно стилистически обработаны, чаще всего в виде «лирических отступлений», иногда иронически сниженных или осложненных сомнением, сожалением.

Паустовский любит и умеет придавать своим рассказам характер вольной импровизации. Собственного сквозного сюжета в традиционном смысле здесь может и не оказаться: бытие, наличие, существование допускают бессюжетность, — такова, например, тема «Ильинского омота», ближних и дальних живописных планов среднерусской равнины.

Что касается сюжетов писателя, то они, в полном соответствии с его поэтикой, остаются сюжетами новеллы, рассказа, одноплановой повести, то есть жанров, имеющих в виду преимущественно индивидуальное событие или судьбу — «происшествие», зачастую случайность: «меня в жизни привлекали больше всего такие случаи, обстоятельства и люди, — признается писатель, — которые оставляли ощущение промелькнувшей небылицы».

Как только возникает необходимость развернутого сюжета, в смысле «сцепления» характеров и отношений, автор оказывается в трудном положении. В его многоплановых повестях, не являющихся циклом новелл (как «Золотая роза») и не связанных единой фигурой героя-повествователя (как в «Повести о жизни»), сюжеты обнаженно-условны. Действующие лица связаны обычно «избирательным сродством» душ, общими духовными устремлениями и склонностями, например отношением к музыкальному произведению, книге, картине, историческому событию («Повесть о лесах», «Северная повесть», «Дым отечества»).

Та же особенность сказывается и в решении проблемы художник — народ. В книгах

Паустовского и тут большую роль играет случай: артист, художник, писатель, композитор находит восхищенных ценителей где-нибудь в деревенской глуши, он открывает в них свою народную аудиторию, а вместе с тем и подлинный адрес собственного творчества (таковы «личностное» восприятие героиней «Повести о лесах» стихотворений Лермонтова; героями «Дыма отечества» — пушкинских строк; музыка, созданная Григом для Дагни Педерсен; отношение Чайковского к девочке Феня; встреча писателя Леонтьева с читателем; лесная избушка пианиста Рихтера и так далее).

Пожалуй, именно это обстоятельство — связи и «сцепления» по «отраженным», вторичным жизненным мотивам — особенно резко ощущается иными читателями как условность и сказывается на восприятии творчества писателя в целом, побуждая порой — весьма опрометчиво и расточительно — относить его книги к так называемой «беллетристике».

Но у беллетристики, литературы «готовых форм», нет с действительностью никаких существенных отношений. Современный кибернетик сказал бы, что она содержит жесткий минимум информации, ее философия в основном — «коммерческая», ее приемы, стиль, уловки — все заимствовано и расчет ее — на неразвитый вкус, который этого не заметит.

Даже и самые слабые произведения Паустовского, которые он числит как неудачу, — нечто качественно иное. А его лучшие книги с их умением видеть, которое у писателя есть прежде всего умение видеть прекрасное, дарят нам целый мир.

Писатель, чье семидесятипятилетие мы отмечаем в этом году, прошел по эпохе странником зеленых джунглей Мещоры, скитальцем полуденных стран Средиземноморья, патриотом и гражданином «страны поэзии». Он умыл руки студеной водой лесных речушек, росами вешних лугов и, проделав тысячекилометровые путешествия, воображаемые и действительные, встретившись и подружившись (и подружив нас!) со множеством хороших людей, жалеет лишь о том, что все-таки видел мало.

В нашем мире — «мире ранее неведомых целей и стремлений, задач и подвигов, новой сдержанности, новой строгости и новых испытаний», как сказал один из

современников Паустовского,— его книги доказали стойкость, казалось бы, нестойких вещей, силу жизни, вечной в своем неисчерпаемом разнообразии.

Верность самому себе, избранному пути выступает в его книгах как несомненное нравственное достоинство художника, жизнью и биографией своей ручающегося за достоверность добытых им истин.

Эта цельность, благородство духовного

образа писателя привлекают к нему сердца читателей и создают ему учеников. Творческие «наследники» Паустовского, наша сегодняшняя так называемая лирическая проза — вопрос особый, требующий внимания, изучения. Но наследники эти есть, их много, и отношение их к учителю часто самое трогательное, что свидетельствует о жизнеспособности и серьезности его «легкой», крылатой музы.



ИЗ РЕДАКЦИИ ОННОЙ ПОЧТЫ

КРЕМЛЬ. КВАРТИРА ИЛЬИЧА

Самый скромный и самый драгоценный музей Московского Кремля — это комнаты, где жил и работал Владимир Ильич Ленин. Мне и еще нескольким моим товарищам-историкам посчастливилось работать в этом музее, сопровождать его посетителей, рассказывать им о днях, проведенных Владимиром Ильичем и его близкими в этих стенах, об интересных встречах, происшедших здесь.

Среди посетителей музея, которым нет конца, можно встретить людей, видевшихся здесь с Владимиром Ильичем много лет назад. Такие встречи нас всегда особенно волнуют. Как нам хочется, чтоб из тайников своей памяти эти люди извлекли какие-то новые для нас детали, черточки, относящиеся ко времени и обстановке их бесед с Ильичем.

В числе первых посетителей нашего музея, летом 1955 года, был президент Чехословацкой Социалистической Республики Антонин Запотоцкий. Для нас эта встреча осталась незабываемой — мы впервые встретились с представителем братской коммунистической партии, лично знавшим Ленина. Правда, рассказывал Запотоцкий очень скупно, он сказал, что никакие слова не могут передать неповторимого обаяния ленинской улыбки, блеска его глаз, глубокой доброжелательности, с какой он встречал друзей. Подлинность обстановки кремлевского кабинета помогла чехословацкому президенту вернуться к далекому прошлому.

Антонин Запотоцкий хорошо помнил рабочий кабинет Ленина, но он никогда не был в его квартире. С волнением и интересом осматривал он маленькие комнаты, где на всем лежит печать великой скромности не только самого Владимира Ильича, но и Надежды Константиновны и младшей

сестры Ленина — Марии Ильиничны Ульяновой.

Президент Коммунистической партии Англии Уильям Галлахер был в 1920 году у Ленина в гостях в крохотной столовой. Владимир Ильич приглашал к себе домой иностранные делегации, если хотел побеседовать с товарищами в непринужденной, неофициальной обстановке, без стенографисток и секретарей. С большим юмором рассказывал Уильям Галлахер, посетивший музей в 1960 году, ровно через сорок лет после своей беседы с Лениным, о том, как в этой крохотной столовой ленинской квартиры завершилось лечение детской болезни «левизны», которой он, Галлахер, тогда страдал.

В один из июльских дней 1959 года нас предупредили, что музей посетит один старый американский журналист. Имя не было названо. Каковы же были наши радость и изумление, когда мы, встретив совершенно седого, но довольно бодрого человека преклонного возраста, услышали сказанное с заметным акцентом по-русски: «Будем знакомы — Альберт Рис Вильямс».

Это был тот самый Вильямс, который, находясь в России в бурные революционные годы, слал к себе на родину правдивые информации, вместе с Джоном Ридом помогая простым американцам узнать правду о том, что происходит в России. В первые минуты радостного возбуждения мы говорим все вместе, очень быстро и поэтому с трудом понимаем друг друга. Кто-то из нас ведет Вильямса и его жену в кабинет Владимира Ильича, кто-то несет из библиотеки книгу Вильямса «Советы», изданную в Нью-Йорке в 1937 году и присланную Надежде Константиновне Крупской с надписью:

«Н. К. Крупской. Сердечные поздравления

и самые лучшие пожелания от автора, который прошел через великие дни революции с Владимиром Ильичем двадцать лет тому назад.

Альберт Рис Вильямс. 15 июня 1937 г.
Нью-Йорк».

Разговор идет то на русском, то на английском языке, Вильямса интересно слушать, он много помнит. Он видел и слышал Ленина много раз, но особенно запомнились ему встречи в Кремле. Здесь, вспоминая Вильямс, он осязаемо почувствовал живую связь Ленина с широчайшими народными массами, понял, что в ней, в этой связи, Владимир Ильич черпает силы и на ней зиждется безграничное доверие рабочих и крестьян к Владимиру Ильичу.

В ноябре 1965 года в музей пришла большая группа венгерских коммунистов. Сотрудница музея начала было рассказ, но переводчик прервал ее и представил ей одного из присутствовавших — товарища Лайоша Немета, который был у Владимира Ильича Ленина в 1921 году. Товарищ Немет рассказал, как глубоко интересовался всем Владимир Ильич — вплоть до того, как устроились товарищи в Москве с жильем, с питанием. Теперь, спустя сорок четыре года, говорил он, когда мне снова посчастливилось побывать в рабочем кабинете Владимира Ильича, в котором с величайшей тщательностью сохранено все, как было при жизни, я взволнован с не меньшей силой.

В кремлевском кабинете Владимира Ильича хранится журнал «Коммунистический интернационал» № 1, датированный 1 мая 1919 года. В нем напечатан Манифест Коминтерна, подписанный В. Лениным, Фрицем Платтенем, Анри Гильбо, Отто Гримлундом. «Из этих товарищей я, кажется, один остался в живых», — заметил с грустью Отто Гримлунд, недавно побывавший в музее. Старый боец компартии Швеции, лично знавший Ленина, вместе с ним создававший III Интернационал, с волнением и гордостью рассказывал о своих встречах с Владимиром Ильичем в Стокгольме и в 1920—1923 годах в Москве, о совместной борьбе и работе.

В 1922 году Владимиру Ильичу был представлен молодой коммунист Уругвая — Франциско Р. Пиитос. В 1960 году он снова приехал в нашу страну. Глубоко потрясенный всем увиденным, он возвращается не

только мысленно назад, ко времени своей встречи с Лениным. Он приходит туда, где виделся с ним, — в кремлевский кабинет. Глубоко взволнованный обстановкой, он говорит: «Тридцать восемь лет я не был в Советском Союзе, и вот я снова здесь. В 1922 году я познакомился с Лениным. Его уже давно нет в живых, но дело, начатое им, живет и побеждает, поэтому Ленин жив. Советский Союз построил социализм... Завтра это станет реальностью во всем мире и в моей стране, в Уругвае».

Внимание товарищей из Болгарии неизменно привлекает маленький болгаро-французский словарь, лежащий на этажерке в ленинском кабинете, — он был подарен Владимиру Ильичу Георгием Димитровым во время встречи в Кремле 5 марта 1921 года.

В книге посетителей музея люди, встречавшиеся с Лениным, оставляют бесценные для нас записи, прибавляя какие-то новые, живые черточки к образу Ленина. В августе 1958 года в музее побывала группа болгарских трудящихся, среди которых был Георги Михайлов Добрев, встречавшийся с Владимиром Ильичем. Он говорил нам, а потом записал в книге: «С большим волнением был сегодня с товарищами в кабинете Вл. Ил. Ленина и в квартире семьи Ульяновых. В кабинете этом же 14 марта 1918 года Ленин принял нас — иностранных социалистов-интернационалистов из бывших военнопленных. На всю жизнь в моей памяти осталась эта встреча и беседа Владимира Ильича Ленина с нами. Велась протокольная запись. Записаны были наши краткие доклады и ответы на дополнительные вопросы Ильича. Записано было напутственное слово Ильича перед нами. Перед Ильичем был составленный им во время собеседования конспект его слова перед нами». Г. М. Добрев — член БКП с 1918 года, бывший первый секретарь ЦИК интернациональной организации иностранных рабочих и крестьян в РСФСР (март—июнь 1918 года).

Весной 1966 года в музей пришел один из членов ЦК Коммунистической партии Индии. В маленькой столовой научный сотрудник рассказал гостю эпизод, известный по устным воспоминаниям друга Ленина Глеба Максимилиановича Кржижановского.

«Однажды он пришел к Ленину в гости, и тот захотел угостить его чаем. Сам со-

брал на стол, усадил гостя, но когда открыл сахарницу, там оказался только один кусок сахара. Смущенный Владимир Ильич расколот сахар очень мелко и весь положил в стакан Кржижановскому, себе же оставил маленький осколочек. На вопрос, зачем он это сделал, Владимир Ильич рассмеялся: «Вы, батенька, гость, а я хозяин, и потом я привык пить чай вприкуску».

Выслушав этот рассказ, гость из Индии вдруг заговорил быстро и взволнованно, переводчик не успевал переводить его речь. Оказалось, что в маленькой деревушке, затерянной в глухих индийских джунглях, он слышал легенду, удивительно перекликающуюся с этим рассказом. Вот как примерно звучала она. «В голодные, тяжелые для России годы пришли к Ленину рабочие и крестьяне и попросили у него сахара для своих детей. «Я не могу сейчас ничего обещать вам,— ответил Ленин,— надо посоветоваться с другими членами правительства». Через несколько дней они снова пришли к Ленину, и он очень смущенно сказал: «Сахара пока в стране нет, и я пока ничего не могу для вас сделать. Но чтобы вам не казалось это обидным, я не буду есть сахара до тех пор, пока он не будет у всех». И Ленин отказывал себе вместе со всем народом, пока не обеспечил всех трудящихся».

Таким справедливым, заботливым и чутким представляют себе Ленина неграмотные крестьяне Индии. Удивительно, как простые люди мира понимали и понимают ленинский характер.

Встречи с Лениным оставляли неизгладимый след в жизни не только единомышленников Владимира Ильича, но и в жизни людей, не разделявших его политических воззрений.

Второго сентября 1964 года кабинет и квартиру Ленина посетила иранская делегация, в составе которой был господин Саях. В 1920 году он, будучи членом первой иранской миссии, встречался здесь с Владимиром Ильичем. Господин Саях осматривал знакомую обстановку ленинского кабинета, и на глазах у него то и дело навертывались слезы. «Я не стыжусь своего волнения,— сказал он, обращаясь к своим коллегам,— ведь те несколько минут, которые я провел здесь в 1920 году, я считаю самыми значительными, самыми счастливыми в своей жизни». Очень живо господин Саях расска-

зал, как все тогда происходило: они прошли через зал заседаний и на пороге своего кабинета их встретил Ленин. Он сразу заметил, что делегатов четверо, а кресел в комнате только два. Владимир Ильич сам принес из зала два недостающих стула и усадил гостей. Для ведения переговоров он предложил послу на выбор четыре языка: русский, немецкий, французский и английский. Посол выбрал французский. Господин Саях утверждал, что Ленин говорил по-французски блестяще — легко и красиво. Владимир Ильич объяснил гостям, что готовится к VIII Всероссийскому съезду Советов, который будет утверждать план электрификации России, и что приезд иранской миссии — хороший подарок этому съезду. Когда через несколько дней открылся VIII съезд Советов, иранцы были его гостями. В своем докладе Ленин отметил тогда, что в ближайшее время будет заключен договор между Ираном и Советской Россией. «Когда умер Ленин, это было горе и для Ирана, он был нашим другом», — с чувством сказал иранский гость.

Осматривая прекрасную библиотеку Владимира Ильича, он говорил: «После смерти Ленина мне приходилось беседовать со многими иностранцами. Директор Национальной библиотеки в Париже сказал мне, что «с того времени, как у нас работал господин Ульянов, мы не видели человека, который читал бы столь много».

Приезжая к нам сразу после революции, люди, чуждые всякой революционной идее, не понимали и не принимали того, что совершалось в нашей стране. Они видели только крушение старого мира и не умели заметить того нового, что через несколько десятилетий вывело Россию в число передовых стран мира.

Господин Лефевр — владелец крупнейшей голландской фирмы по разведению тюльпанов — приехал в Петроград в грозном 1917 году и был свидетелем встречи Ленина на Финляндском вокзале. Его испугала революция, он считал, что она уничтожит все культурные ценности. Он говорил об этом со многими людьми, высказывал свои взгляды прямо и откровенно. И вот тогда один из рядовых членов большевистской партии пригласил господина Лефевра посетить нашу страну лет через тридцать. «Нам понадобится тогда много цветов», — сказал он. Примерно через столько лет голландец снова приехал в Россию, в Москву. И он

не уставал восхищаться увиденным. Он привез в Москву свои тюльпаны и гордился тем, что они будут украшать Кремль. Посетив кабинет и квартиру Ленина, он записал в книге посетителя: «Мне и моему сыну Карлу была оказана большая честь — быть приглашенными в это историческое место. Мы желаем всему русскому народу, среди которого у нас есть очень хорошие друзья, большого будущего. Леффер и сын. Голландия. Лиссе».

В июле 1957 года в музее побывала правительственная делегация Афганистана. Нам очень хотелось услышать хоть несколько слов от человека, который уже не один раз посещал нашу страну и встречался с великим Лениным, — Мухаммед-хана Яфтали. Он был первым послом Афганистана в Советской России — первом государстве, признавшем независимость Афганистана.

Господин Яфтали сказал, что он особенно остро ощущает те огромные перемены, которые произошли в нашей стране. Ведь он хорошо помнит, как добиралась афганская миссия от Ташкента до Москвы, — на это потребовалось две недели! — как в пути разбирали заборы и старые дома на топливо для паровоза. «Я хорошо помню, — говорил Яфтали, — как Ленин попросил меня заверить правительство Афганистана, что Советская Россия горячо поддерживает народ Востока, борющийся за независимость».

В кремлевской квартире В. И. Ленина и Н. К. Крупской сохраняются интереснейшие документы, свидетельствующие об отношении к Владимиру Ильичу зарубежных общественных и политических деятелей и писателей.

В личной библиотеке Ленина есть книга американского писателя Самуила Орница. В ней недавно было обнаружено письмо Л. Мартенса¹, через которого автор послал свою книгу Надежде Константиновне. В сопроводительном письме Мартенс писал:

¹ Людвиг Карлович Мартенс (1875—1948) — революционер, ученый-изобретатель. Во время Октябрьской революции находился в Соединенных Штатах Америки. По заданию Ленина он возглавил советское представительство в Америке и отдавал все силы налаживанию торговых и экономических связей между странами. В 1921 году Мартенс вернулся на родину, был в тот же день принят Лениным и в дальнейшем выполнял множество поручений Владимира Ильича. Мартенса хорошо знали в Америке все дружелюбно настроенные к Советскому Союзу круги.

«Дорогой товарищ Надежда Константиновна! Я получил из Америки книгу американского писателя Самуила Орница, которую последний просит передать Вам. Он хотел бы издать эту книгу на русском языке и посвящает русское издание Владимиру Ильичу. Перевод этого посвящения я прилагаю при сем.

Написанная чрезвычайно талантливо, эта книга является потрясающим обвинительным актом [против] американского капитализма. В американском издании Орниц скрыл свое авторство и выпустил книгу как автобиографию судьи, являющегося героем романа. Непереводимая на русский язык кличка этого героя «Haunch, paunch and Lowl», означающая нечто вроде «толстозадый, толстомордый и толстопузый», взята для характеристики американского капитализма. Книга, безусловно, достойна быть изданной на русском языке. Желательно небольшое предисловие к ней.

С коммунист. приветом Л. Мартенс».

Письмо-посвящение самого Самуила Орница, перевод которого прислал Надежде Константиновне Мартенс, проникнуто чувством глубокого преклонения перед деятельностью Ленина. «Позволю себе предложить, — пишет Самуил Орниц, — русское издание моего труда и посвятить его памяти Ленина, возлюбленного товарища и учителя, давшего человечеству любовь и надежду, которые не являются простыми, лишь на один момент убаюкивающими фразами. Любовь Ленина так же реальна, как руки, соединенные вместе над плугом, серпом и молотом в братской нужде и в радости совместного труда по сеянию, жатве и строительству.

Ленин развеял ядовитый туман фальшивых небес и оставил нам в наследство действительный мир и его истинные плоды.

В «Haunch, paunch and Lowl» я попытаюсь дать картину того, как прекрасный облик и дух человека подавляются и гибнут или отравляются и обезображиваются тупостью американского капитализма. Самуил Орниц 18 октября 1924 года».

Книжка Орница по сей день хранится в библиотеке Н. К. Крупской, хотя в русском переводе она издана не была.

В книге отзывов посетителей музея есть запись, сделанная переводчиком произведений В. И. Ленина на японский язык К. Хираки: «Мне довелось дважды посетить

кабинет и квартиру В. И. Ленина — в мае прошлого года и в декабре нынешнего. Поскольку все здесь сохранилось так, как при жизни В. И. Ленина, то кажется, что он и сейчас отдыхает вместе с семьей в Горках, и если немного подождать, то знакомая фигура В. И. Ленина вновь появится здесь. Нам кажется, что мы должны следовать путем Ленина, учиться и бороться, как он. 6.XII-64 года».

В наше время произведения Ленина переведены на языки народов всего мира и расходятся миллионными тиражами. Их хорошо знают и постоянно изучают коммунисты Японии, а в архиве Н. К. Крупской мы обнаружили ценнейший документ — письмо создателя Коммунистической партии Японии, виднейшего деятеля международного рабочего и коммунистического движения Сен Катаямы. Он прислал Надежде Константиновне сделанный им перевод книги Ленина «Государство и революция» на японский язык. «Товарищ Крупская! — писал Сен Катаяма. — Посылаю Вам переведенную мною с английского на японский язык книгу Владимира Ильича, которая была первой из прочитанных мной его произведений. Она настолько меня заинтересовала и обогатила мои познания, что я решил ее перевести.

Перевод был сделан в 1920 году, в Америке, когда мне пришлось скрываться от американских властей. Книга была собственноручно набрана и напечатана товарищем, молодым японским коммунистом, который находится сейчас в Японии и является одним из лучших работников партии. Издать ее удалось лишь в мае этого года во Владивостоке.

С коммунистическим приветом.

29 мая 1924 г. Сен Катаяма».

Тесные узы связывали Владимира Ильича и Надежду Константиновну с польским революционным движением. Крупская жила в Польше не только вместе с Владимиром Ильичем в 1912—1914 годах, но и в раннем детстве. С малых лет она знала польский язык и позднее свободно писала и читала на этом языке. Владимир Ильич изучил польский язык в эмиграции. Известный польский революционер Юзеф Красный написал книгу о Ленине и прислал ее Н. К. Крупской в 1924 году вместе со своим письмом.

«Уважаемый товарищ, Надежда Константиновна! — писал Ю. Красный. — Приложенная брошюра о тов. Ленине есть первая ленинская весточка на польском языке. Ввиду того, что я думаю продолжать работу в этом направлении, для меня будет важно и интересно узнать В[аше] мнение о вышедшей брошюрке. Прошу черкнуть два-три слова.

Юз. Красный».

Есть в библиотеке Надежды Константиновны книга соратника Ленина Юлиана Мархлевского «Аграрный вопрос и социалистическая революция», изданная на польском языке в 1926 году. Ее прислала жена его с дарственной надписью: «Нами всеми любимой Надежде Константиновне от Брониславы Мархлевской».

Часто посещают музей представители новой Германии. Жизнь Ленина и его деятельность по руководству мировым коммунистическим движением была тесно связана с развитием рабочего движения в Германии. Он много раз бывал в Германии, работал в Берлинской городской библиотеке, жил в Мюнхене. В Лейпциге был напечатан первый номер ленинской «Искры». Ленин хорошо знал виднейших немецких коммунистов: Карла Либкнехта, Розу Люксембург, Клару Цеткин, Вильгельма Пика, Эрнста Тельмана и Фрица Геккерта.

Документы и книги, хранящиеся в кремлевской квартире Ленина и Крупской, дополняют многими характерными деталями наше знание их жизни и деятельности. Еще в 1929 году берлинское издательство выпустило в свет «Воспоминания о В. И. Ленине» Н. К. Крупской. В нашем музее сохранился редкий документ — корректура этого издания на немецком языке, присланная на просмотр Надежде Константиновне (как и Ленин, она прекрасно владела немецким языком). Сохранилась, кроме того, часть переписки Крупской с переводчицей «Воспоминаний». Надежда Константиновна внимательно следит за политической точностью перевода. Она пишет: «Мои поправки трех родов: 1) касающиеся тех мест, где неправилен смысл, неправильно толкование; 2) где придается, благодаря переводу, неправильный оттенок тексту; 3) где неточно передается тот или иной термин».

Весной 1966 года у нас побывала дочь Вильгельма Пика, она долгие годы жила в

нашей стране, хорошо знает старейших деятелей нашей партии, которые рассказывали ей о Владимире Ильиче. Сейчас Э. Пик — директор музея Вильгельма Пика в Берлине, поэтому разговор шел не только о жизни семьи Ленина, но и о том, как сохраняются мемориальные вещи. «Теперь я имею полное основание,— сказала товарищ Пик,— отказаться от стеклянных колпаков, прикрывающих вещи, которые мне предлагают наши сотрудники. Я буду ссылаться на опыт вашего музея. Ведь именно отсутствие здесь всего специфически музейного и создает неповторимое ощущение атмосферы тех лет».

Австралийский писатель Джон Мэнифолд, посетивший музей в ноябре 1963 года, выразил, видимо, мысли и чувства, общие для всех, побывавших здесь: «Здесь, как и в Смольном, для меня было большой честью увидеть подлинные предметы, которых касался рукой величайший человек нашей эры. Теперь я чувствую, что стану перечитывать некоторые труды Ленина с большим пониманием, после того как я познакомился с обстановкой и атмосферой, в которой он их создавал».

Незадолго перед смертью посетил наш музей известный английский писатель Ричард Олдингтон. Очень сосредоточенный, углубленный, он медленно проходил по скромным комнатам. В кабинете Ленина его внимание привлекла книга Герберта Уэллса

«Россия во мгле» с пометками Владимира Ильича. Олдингтон долго рассматривал библиотеку Ленина и Крупской. Когда научный сотрудник сказала ему, что в семейной библиотеке Ульяновых есть и его роман «Дочь полковника», глаза писателя засияли. «Мой бог,— воскликнул он,— я и не мог предположить, что члены этой замечательной семьи интересовались моими произведениями!»

Иногда мы не можем называть имена тех, кто посетил наш музей. Они приезжают в Советский Союз, вырвавшись из застенков Франко и Салазара, из тюрем Эквадора и Венесуэлы.

Однажды к нам пришел португальский коммунист, он двадцать один год провел в тюрьме. Это был человек неколебимой воли и мужества, гордо устоявший перед страшными пытками. Он вышел взволнованный, со слезами на глазах и тихо сказал: «Сегодня я счастлив как никогда, сегодня я нахожусь там, где жил великий Ленин, за идеи которого я боролся и буду бороться до последнего дыхания, несмотря ни на что...»

Когда в Советский Союз приехал борец за свободу героического народа Алжира писатель коммунист Анри Аллег и его спросили, что он хочет увидеть в Москве, он сказал: «Кремль, квартиру Владимира Ильича...»

Л. КУНЕЦКАЯ.

У ИСТОКОВ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ДИСКУССИИ

Вся жизнь академика Н. И. Вавилова была посвящена одной, главной задаче: он стремился изучить, обновить и улучшить основные растения, выращиваемые людьми для своего пропитания на возделанных полях всей страны и в конечном итоге — всего земного шара. И эту грандиозную задачу он решал с огромной энергией, с большим талантом и с реальными успехами — последовательно и систематически, по многим направлениям.

Но когда цель казалась уже достигнутой, когда результаты усилий Н. И. Вавилова и его научных соратников стали приносить обильные плоды, когда они получили мировое признание, возникла неожиданная необходимость защищать их от противодействующих сил, которые притом декларировали, что добиваются подъема сельского хозяйства и развития науки. Со стороны Н. И. Вавилова и его соратников потребовались не только научная логика, полемический талант и убежденность, не только научные доказательства и практические достижения, но и гражданское мужество, идейность, преданность высоким идеалам научной истины, готовность пожертвовать жизнью.

Этому драматическому периоду жизни Н. И. Вавилова и посвящена документальная повесть М. Поповского¹. Автор собрал и обработал десятки воспоминаний, изучил печатные и архивные материалы и приводит многочисленные ссылки на документы и опубликованные работы. Однако роль Н. И. Вавилова в возникновении и развитии генетической дискуссии показана в ряде случаев неправильно.

Хотя документальные очерки М. Поповского посвящены, судя по заглавию, последним годам жизни Н. И. Вавилова, в основе сюжета лежат вопросы о причинах генетической дискуссии, об ее истоках, об истории неоправданного выдвижения Т. Д. Лысенко и его сторонников на командные посты в биологической науке. И, к сожалению, эти вопросы освещены в повести неверно, в результате чего реальная, исторически важная проблема решается автором субъективно и тенденциозно. Совершенно неожиданно основную роль в преждевременном и неоправданном выдвижении Т. Д. Лысенко автор приписывает Н. И. Вавилу. Это выдвижение Н. И. Вавиловым молодого Т. Д. Лысенко на общесоюзную арену М. Поповский и считает основной роковой ошибкой Н. И. Вавилова, ошибкой, погубившей в конечном итоге и его самого. Эта версия, обстоятельно изложенная М. Поповским в главе «Ошибка академика Вавилова», и является по существу главной завязкой повести, главным противоречием ее сюжета.

Остановимся прежде всего на описанной М. Поповским истории о том, как Н. И. Вавилов первым выдвинул никому не известного, скромного агронома. В документальной повести мы читаем:

«Первые свои эксперименты с горохом, который он сеял в разные сроки, наблюдая, как растение реагирует на различное количество холодных дней, двадцатисемилетний Лысенко поставил в Гандже. По чистой случайности исследования эти производились на той самой станции Азербайджанского института хлопка, где работали и вирозцы. Профессор Вавилов имел обыкновение не реже двух раз в год навещать опытные делянки своих сотрудников, поэтому нет ничего удивительного, что именно он оказался первым видным биологом, который заинтересовался оригинальными опытами ганджинского агронома. И не просто заинтересовался. Когда, покинув горох, молодой агроном обратился к опытам с пшеницей, было дано распоряжение, чтобы впредь этот сотрудник «чужого» научного учреждения для своих экспериментов мог использовать все разнообразие собранных в ВИРе пшениц.

По настоянию Николая Ивановича в 1929 году молодой агроном получил приглашение выступить с докладом на Всесоюзном съезде по генетике и селекции в Ленинграде. Для провинциала, не имеющего ни одной напечатанной работы, то была немалая честь. Хотя съезд именовался Всесоюзным, присутствие многочисленных гостей из-за рубежа... превратило его по существу в международный форум генетиков... И вот в блестящем сообществе советских и зарубежных ученых прозвучало сообщение Лысенко...»

Далее М. Поповский пишет, что физиологи растений сразу выступили против Т. Д. Лысенко, доказывая отсутствие новизны в его работе и особенно сомневаясь в предложенном им методе «яровизации» и его праве на оригинальность при выводах о световой стадии.

«На защиту молодого агронома,— пишет Поповский,— встал Вавилов. Он заявил, что у Лысенко — оригинальный ум и к многим выводам он пришел независимо от своих научных предшественников».

Это описание содержит некоторые искажения действительности, принципиально меняющие фактическую сторону событий. Т. Д. Лысенко, как известно, начал свои опыты на Азербайджанской центральной сельскохозяйственной опытно-селекционной станции в Гандже осенью 1925 года с горохом, викай, бобами и другими культурами. Постановку опытов с пшеницей он начал в 1926 году. Основная серия этих опытов была закончена летом 1927 года.

¹ М. Поповский. 1000 дней академика Вавилова. Документальная повесть. Алма-Ата. «Простор», № № 7, 8, 1966.

Н. И. Вавилов провел лето и осень 1925 года в длительной экспедиции в Средней Азии. Ранней весной 1926 года он уехал за границу и вернулся в Ленинград только в августе 1927 года. Через несколько дней после возвращения он снова уехал за границу. В сентябре 1927 года участвовал в работе Международного генетического конгресса в Германии, а в октябре — в конференции экспертов по сельскому хозяйству в Риме. Таким образом, приехать в Ганджу, познакомиться там с поставленными в это время первыми опытами Лысенко и дать распоряжение о предоставлении для его опытов разнообразия пшениц, собранных в Институте растениеводства, Н. И. Вавилов не мог ни в 1926-м, ни в 1927 году. Поэтому естественно, что, когда Т. Д. Лысенко перешел к опытам на злаках, он вел работу со стандартами и местными сортами (см. «Труды Азербайджанской центральной опытно-селекционной станции», вып. 3, 1928). Несколько новых видов пшениц Т. Д. Лысенко высеял в марте 1928 года, и для этого не требовалось вмешательства Н. И. Вавилова.

Однако очевидно, что Н. И. Вавилов еще до всесоюзного генетического съезда знал о работах Т. Д. Лысенко в Гандже, так как очень обстоятельная монография Лысенко с изложением результатов его исследований была опубликована отдельной книгой весной 1928 года и, естественно, должна была попасть в руки Н. И. Вавилова. Т. Д. Лысенко не был к началу съезда провинциалом, не имеющим ни одной печатной работы. К середине 1928 года он имел три печатные работы, и одна из них — монография «Влияние термического фактора на продолжительность фаз развития растений», объемом в 186 страниц, опубликованная в Баку как отдельный выпуск «Трудов Азербайджанской центральной опытно-селекционной станции», — во всяком случае должна была поступить в библиотеку Всесоюзного института растениеводства. В конце лета 1928 года Н. И. Вавилов совершил объезд станций своего института на Кавказе и Украине и теоретически мог бы во время этой поездки побывать и в Гандже (Киров-абад). Однако подобная встреча Вавилова с Лысенко в Гандже — всего лишь предположение М. Поповского, и предположение, ничем до сих пор не подтверждавшееся. М. Поповский излагает его как факт, как событие, повлиявшее на судьбу Т. Д. Лысенко, однако для такого рода выводов нет никаких оснований. Никаких документов о личном знакомстве Т. Д. Лысенко и Н. И. Вавилова до генетического съезда не существует.

Совершенно неправильна версия М. Поповского о том, что Т. Д. Лысенко был до 1929 года никому не известным, скромным агрономом, случайно замеченным Н. И. Вавиловым. Т. Д. Лысенко приобрел довольно широкую известность в агрономических кругах еще в 1926—1927 годах, как раз в тот период, когда Н. И. Вавилов был за границей. В августе 1927 года в газете «Правда» (7 августа 1927 года, № 178) был опубликован большой очерк о работах Т. Д. Лысенко в Гандже «Поля зимой», написанный известным тогда литератором В. Федоровичем. Т. Д. Лысенко в тот период по поручению директора станции решал вопрос о зимних пастбищах и занимался осенними посевами гороха, не погибавшими благодаря мягкой зиме. Уже этой первой своей работе он постарался придать сенсационный характер, и, как видно по очерку в «Правде», ему это удалось. Достаточно привести два небольших отрывка из очерка Федоровича, чтобы убедиться в этом.

«Моя встреча с Лысенко, — пишет Федорович, — случилась в Закавказье... на великодушных полях Ганджинской селекционной станции. Лысенко решает (и решил) задачу удобрения земли без удобрений и минеральных туков, обеззеленения пустующих полей Закавказья зимой, чтобы не погибал скот от скудной пищи, а крестьянин-тюрк жил зиму без дрожи за завтрашний день».

«...У босоногого профессора Лысенко теперь есть последователи, есть ученики, опытное поле, приезжают светила агрономии зимой, стоят перед зелеными полями станции, признательно жмут ему руки...»

Известность Т. Д. Лысенко в тот период, конечно, нельзя сравнить с приобретенной им в последующем беспрецедентной славой, однако она была значительна. Об этом можно судить хотя бы по тому факту, что в 1927 году приехал в Ганджу для знакомства с его работами известный профессор Н. М. Тулайков — в то время директор

Института зернового хозяйства Юго-Востока СССР (Н. М. Тулайков описывает эту встречу в своей статье в «Сельскохозяйственной газете» от 13 ноября 1929 года).

Никакого особого приглашения, да еще по настоянию Н. И. Вавилова, для выступления на съезде генетиков Т. Д. Лысенко не получал. Н. И. Вавилов возглавлял оргбюро съезда, и естественно, что все приглашения на съезд направлялись от его имени. По воспоминаниям Ю. Долгушина, Т. Д. Лысенко сам активно стремился к участию в работе съезда (см. очерк Ю. Долгушина в книге «Герои социалистических полей», Сельхозгиз, 1957).

Оргбюро съезда старалось обеспечить присутствие на съезде представителей от всех учреждений и всех научных работников. На съезд приехали тысяча пятьсот специалистов, и Т. Д. Лысенко, к этому времени уже старший специалист, был далеко не самым «провинциальным» и малозвестным его участником.

Доклад Т. Д. Лысенко (вернее, Д. А. Долгушина и Т. Д. Лысенко), состоявшийся 15 января, в последний день работы секционных заседаний, был заслушан на секции культурных растений. Доклад не был сенсацией съезда; более того: в описаниях истории яровизации, как ранних, так и поздних, отмечается, что доклад прошел незамеченным, что к нему отнеслись в прениях весьма критически. Н. И. Вавилов в прениях по докладу не выступал, тем более с той поддержкой и защитой, о которой пишет Поповский, и в заключительном докладе об итогах работы съезда по секциям не обмолвился ни единым словом о работе Долгушина и Лысенко. Таким образом, генетический съезд в январе 1929 года отнюдь не стал для Т. Д. Лысенко трамплином к славе. Напротив — и он сам, и его сотрудники и биографы говорили с резким неудовлетворением о той реакции, какую вызвал на съезде, в среде «авторитетов» доклад Лысенко.

На генетическом съезде подверглась критике по существу не сама работа Т. Д. Лысенко, а лишь его чрезмерные претензии, причем наиболее серьезно это было сделано ближайшим сотрудником Н. И. Вавилова профессором Н. А. Максимовым, заведующим физиологической лабораторией его института (см. «Труды по прикладной ботанике, гечетике и селекции», т. XX, стр. 169—212, 1929, и т. XXIII, вып. 2, стр. 465—470, 1930. Это издание выходило под редакцией Н. И. Вавилова). Важно отметить, что Н. А. Максимов в этих статьях подчеркивал, что выступает от имени института. Это было связано с тем, что в лаборатории Всесоюзного института прикладной ботаники еще в 1923—1925 годах работы, с физиологической точки зрения подобные опытам Т. Д. Лысенко, уже были проведены с теми же результатами.

Следует напомнить, что Н. А. Максимов и Т. Д. Лысенко сообщили о результатах своих работ на генетическом съезде в один и тот же день, 15 января 1929 года. На-завтра газета «Ленинградская правда» вышла с большой статьей под заголовком «Можно превратить озимый злак в яровой»; однако в этой статье излагались только работы Н. А. Максимова.

Но в том же 1929 году Т. Д. Лысенко, в известной степени благодаря своему отцу, становится в центре агрономической сенсации — яровизации озимых. Его отец, высеяв весной пролежавшие под снегом семена озимой пшеницы «украинка», получил от них высокий урожай — 24 центнера с гектара (в первой статье об этом опыте урожай был «увеличен» до цифры «свыше 30 ц-га»). Узнав об этом опыте отца, Т. Д. Лысенко позаботился о его широком освещении в печати. Наркомат земледелия Украины создал специальную комиссию для изучения и оценки урожая, в хозяйство Д. Лысенко организовывались экскурсии и т. д. К организации сенсации и дискуссии вокруг этого опыта Н. И. Вавилов никакого отношения не имел. Более того: когда центральная «Сельскохозяйственная газета» осенью 1929 года открыла дискуссию под заголовком «Яровизация озими — новое завоевание в борьбе за урожай» и на страницах газеты авторитетные ученые (профессора П. Лисицын, М. Прик, А. А. Сапегин и другие) выступили, хотя и с рядом оговорок, в поддержку Т. Д. Лысенко (см. «Сельскохозяйственную газету» от 13 и 19 ноября 1929 года), вавиловский институт был представлен в этой дискуссии резко критической статьей Н. А. Максимова.

В этом же 1929 году Т. Д. Лысенко начинает работу в Одесском селекционном

институте, где по решению НКЗ Украины и НКЗ СССР создается специальный отдел яровизации. Сенсации вокруг этого приема в первую очередь способствовало то обстоятельство, что в 1927—1928 годах на Украине наблюдалась массовая гибель озимых от вымерзания, и поэтому яровизация озимых была воспринята как возможное спасение от этой беды. Основную роль в создании отдела яровизации и в поддержке сенсации вокруг этого приема сыграл тогдашний нарком земледелия (и постоянный противник Н. И. Вавилова) Я. А. Яковлев, которого в своей речи на Втором всесоюзном съезде колхозников-ударников в феврале 1935 года назвал Т. Д. Лысенко одним из создателей яровизации. Уместно здесь процитировать это выступление Т. Д. Лысенко:

«...В самом деле, кто разработал научные основы яровизации? Я в этом деле участвовал и знаю, кто еще в нем принимал участие. Может быть, их разработал Яков Аркадьевич Яковлев? Потому что, если бы он в 1930 г. не подхватил этого вопроса в зародыше, не было бы в таком виде и в такой форме яровизации, как мы ее имеем» («Правда» от 15 февраля 1935 года). И в этой же речи Т. Д. Лысенко резко обрушился на ученых — противников яровизации.

Положение Н. И. Вавилова как директора ВИРа и как президента ВАСХНИЛ было в это время весьма нелегким, и не только в связи с «социальным происхождением», о котором ему все время напоминали, но и в связи с его отрицательным отношением к известному постановлению по вопросам селекции. Это постановление, опубликованное 3 августа 1931 года, ставило перед ВАСХНИЛ и ВИРОм совершенно нереальные задачи. Помимо того, что оно требовало сокращения сроков выведения новых стандартных сортов зерновых с десяти—двенадцати лет до четырех, оно выдвигало задачу за три-четыре года обновить сортовой состав по всем культурам на всей территории страны и добиться при этом всех необходимых этим сортам свойств. Постановление было результатом проверки работы ВАСХНИЛ и ВИРа и выражало официальное недовольство этими результатами. Н. И. Вавилов относился к столь сжатым срокам обновления сортового фонда страны весьма скептически; напротив, Т. Д. Лысенко быстро одобрил их и опубликовал обещание вывести сорт пшеницы с запланированными свойствами в два с половиной года. Это обязательство Т. Д. Лысенко и постулированный им метод ранней выбраковки при скрещиваниях и определили на ряд последующих лет главную линию споров между Т. Д. Лысенко и Н. И. Вавиловым. Селекционные рекомендации Т. Д. Лысенко, выдвинутые им как основа для реализации указанного постановления, противоречили научной селекции и генетическим законам расщепления гибридов. На критике этих положений и сосредоточил свое внимание Н. И. Вавилов. Как руководитель ВАСХНИЛ, в состав которой сначала косвенно, а затем (после 1935 года) и непосредственно входил Одесский селекционно-генетический институт, Вавилов всячески старался ограничить работу отдела яровизации именно рамками проблемы яровизации, и притом в строгом научном плане, а не в плане тотального внедрения этого агроприема в только что созданные колхозы. Отсюда и те позитивные высказывания Вавилова на совещаниях о работах Лысенко в области теории стадийного развития наряду с самыми резкими протестами против других его теоретических и практических малопроберенных нововведений (внутрисортовое скрещивание, сверхскоростная селекция и т. д.).

М. Поповский в последующих разделах своей повести излагает историю отношений между Н. И. Вавиловым и Т. Д. Лысенко весьма односторонне, главным образом касаясь теории стадийного развития. Тем самым он создает иллюзию чуть ли не дружбы, возникшей между ними. Ничего не рассказав об опыте Т. Д. Лысенко по практической яровизации и о создании в Одессе отдела яровизации и попытках массового внедрения ее начиная с 1929 года, М. Поповский сразу переносит нас на заседание президиума ВАСХНИЛ в 1931 году, которое под председательством Н. И. Вавилова одобрило планы по научному изучению яровизации, составленные в Одесском селекционно-генетическом институте. Следует указать, что именно перед заседанием президиума ВАСХНИЛ Вавилов был впервые подвергнут резкой критике (статья «Прикладная ботаника или ленинское обновление земли?» в «Экономической жизни» от 29 января 1931 года). Ответ Вавилова был опубликован позже в этом же издании (13 марта 1931 года).

но с неодобрительными замечаниями редакции. Н. И. Вавилов очень настойчиво пытался направить Т. Д. Лысенко именно по пути изучения стадийности в плане мировой коллекции — и это была вполне разумная позиция, это было в интересах науки и ВИРа, поэтому ВИР активно снабжал отдел яровизации семенным материалом и помогал в осуществлении опытов. Однако Т. Д. Лысенко вскоре забросил начатые работы в этом направлении и сосредоточил активность на продвижении своих селекционно-генетических идей на летних посадках картофеля.

Одностороннее рассмотрение отношения Н. И. Вавилова к работам Т. Д. Лысенко приводит М. Поповского к следующему выводу: «А пока на полянках выяснялась истинная ценность лысенковских идей, сам Лысенко быстро восходил в научный зенит. В этом ему помогали симпатии и поддержка первого агронома, селекционера и генетика страны академика Вавилова».

Совершенно тенденциозно излагает Поповский найденные им в архивах документы о выдвижении Т. Д. Лысенко в АН УССР, на премию и выдержки из записной книжки Вавилова. Инициатива во всех такого рода выдвижениях принадлежала Одесскому институту, и если сопоставить документы, исходившие от ВИРа, с неумеренными восхвалениями Т. Д. Лысенко на Украине в этот же период, то нельзя не заметить сравнительной скромности оценок Вавилова и того, что они ограничены лишь вопросом о стадийности развития растений, и только научными, а не практическими аспектами этой проблемы. И когда Поповский пишет, «...что далеко не все биологи, подобно Вавилону, восторжались в те годы лысенковским гением...», и приводит, противопоставляя Вавилону, критику Лысенко рядом ученых на выездной сессии ВАСХНИЛ в Одессе в 1935 году, то он также в угоду своей концепции меняет реальную картину. На сессии ВАСХНИЛ в 1935 году Н. И. Вавилов, как известно, весьма критически оценил селекционно-генетические аспекты работ Лысенко. Именно на этой сессии произошел открытый спор между Лысенко и Вавиловым по ряду принципиальных вопросов и здесь зародились истоки реальной оппозиции Т. Д. Лысенко, оппозиции, которую возглавил Вавилов.

Для Лысенко не было секретом, что его главный противник — это Н. И. Вавилов, и, когда в январе 1936 года состоялось совещание передовиков сельского хозяйства с руководителями партии и правительства, на котором присутствовал И. В. Сталин, он заявил об этом в своем выступлении. Н. И. Вавилов, выступая на этом совещании, отметил заслуги Лысенко, но только в чисто научных аспектах стадийности растений, обойдя молчанием яровизацию как агроприем, летние посадки картофеля, скоростную селекцию, внутрисортное скрещивание, которые тогда были в центре внимания. Между тем Лысенко в своем выступлении говорил главным образом об этих работах, и когда он сказал, что именно по этим его работам «многие представители науки с нами больше всего спорят», из президиума раздался голос Я. А. Яковлева: «А кто именно, почему без фамилий?» Лысенко назвал имена главных противников, в том числе и имя Николая Ивановича Вавилова.

В 1936 году началась острая дискуссия в сельскохозяйственной печати, и все это завершилось, как известно, специальной дискуссионной сессией ВАСХНИЛ в декабре 1936 года с основными, противостоящими друг другу докладами Т. Д. Лысенко и Н. И. Вавилова. Поэтому, когда Поповский, говоря о периоде 1935—1936 годов, старается представить дело так, что против Лысенко выступали другие ученые, а Вавилов «...продолжал оберегать своего протеже от ударов критики», то он очень серьезно искажает реальные события дискуссии в угоду своей схеме.

Сессия ВАСХНИЛ, длившаяся с 19 по 27 декабря 1936 года, посвященная спорным вопросам генетики и селекции, была очень важным, ключевым событием первого этапа генетической и агрономической дискуссии. В прениях по четырем основным докладам (Н. И. Вавилова, Т. Д. Лысенко, А. С. Серебровского и Г. Меллера) выступило около пятидесяти ученых. М. Поповский начинает свой рассказ о сессии, излагая выступления П. Н. Константинова, П. И. Лисицына, А. П. Шехурдина, затем приводит речь Г. Меллера и только после этого говорит о докладе Вавилова — для того,

чтобы подчеркнуть его слабость, оборонительный характер, сказать, будто этот доклад «не удовлетворил ни друзей, ни врагов» и будто бы в своем докладе Вавилов «не мог отделаться от недавних симпатий к Лысенко». Такая оценка позиции Вавилова на сессии не объективна.

Главная задача Н. И. Вавилова как первого докладчика заключалась в демонстрации успехов руководимого им направления селекции и растениеводства, его широты, его перспективности, его значения для сельского хозяйства. Доклад был прекрасным началом дискуссии. Н. И. Вавилов отнюдь не был в смятении и не сборонялся. Он активно критиковал работы Т. Д. Лысенко, лысенковские рекомендации по семеноводству. Совершенно определенным было и заключительное слово Н. И. Вавилова. Академик ВАСХНИЛ А. С. Серебровский, как профессиональный генетик, вместе с Г. Меллером, близким другом Н. И. Вавилова, очень остро и аргументированно полемизировали с Т. Д. Лысенко по проблемам генетики. Анализ материалов сессии ясно показывает, что лысенковцы потерпели на этой сессии явное поражение. Они остались в меньшинстве. Но они не признали своих недостатков, и именно после сессии ВАСХНИЛ 1936 года дискуссия приняла широкий и острый характер. Особенно активное наступление началось в 1937 году, и направлено оно было именно на Н. И. Вавилова и его коллектив.

Между тем М. Поповский описывает период, наступивший после сессии, в совершенно ином свете.

«Через полгода после декабрьской сессии ВАСХНИЛ,— читаем мы в повести,— на Втором съезде колхозников-ударников во время его (Т. Д. Лысенко.— Ж. М.) речи Сталин воскликнул: «Браво, товарищ Лысенко, браво!» Восклицание не имело отношения к научным заслугам докладчика, тем не менее у большинства критически настроенных селекционеров и биологов этот эпизод начисто отбил охоту к дальнейшим публичным оценкам творчества академика Лысенко. Скоростижно скончался непрерывно подвергаемый травле академик Н. К. Кольцов. Выехал из СССР Меллер... Селекционер Шехурдин летом 1937 года покинул Сараговскую опытную станцию и скрылся почти на два года в избушке лесника на Северном Урале. Один за другим были арестованы и расстреляны генетики Левит и Агол. Академики Лисицын и Константинов хотя и остались на свободе, но, как и Серебровский, от публичных выступлений отказались. Этот шквал, разметавший за короткое время лучшие научные силы ВИРа, совсем не коснулся лысенковцев. Сильная рука оберегала кадры новоявленного научного диктатора. Пожалуй, только теперь Николай Вавилов представил всю глубину своей ошибки. Он обманулся не только как человек, но, что было для него важнее, как ученый».

В этом перечислении событий М. Поповский опять «подправляет» реальную историческую действительность в угоду своей схеме. Поповский не может не знать, что Второй съезд колхозников-ударников состоялся не «через полгода после декабрьской сессии ВАСХНИЛ», а почти за два года до этой сессии. Восклицание И. В. Сталина не закрыло генетическую дискуссию, а по существу стимулировало ее. Правильнее было бы сказать, что это восклицание предопределило исход дискуссии, но отнюдь не отбило у значительной части ученых «охоту к дальнейшим публичным оценкам творчества академика Лысенко». М. Поповский допускает в этом описании и другие перемещения событий и неточности. Известно, что П. И. Лисицын и П. Н. Константинов никогда от публичных выступлений не воздерживались и активно участвовали в многочисленных диспутах в 1937—1939 годах. Более того: П. Н. Константинов в 1939 году обратился к наркому земледелия СССР с очень смелой докладной запиской по поводу произвола Т. Д. Лысенко на посту президента ВАСХНИЛ и в защиту Вавилова и работ ВИРа. Никакой «шквал» не разметал после декабрьской сессии кадры ВИРа. Основной состав ВИРа почти не менялся до ареста Вавилова в 1940 году, и никакого раскаяния в своих ошибках Вавилов в этот период не испытывал. И тем более Вавилов не прекратил борьбы с произволом и антинаучными положениями Лысенко и его единомышленников, как это утверждает М. Поповский.

Ссылаясь на утверждение профессора Е. Н. Синской (по ее рукописным воспоминаниям) о том, что если поступки какого-либо человека возмущали Вавилова, то такой человек переставал для него существовать и Вавилов «умолкал о нем навсегда»,

М. Поповский обращает это утверждение и на столь большую проблему, как споры Вавилова с Лысенко.

«Я убедился,— пишет М. Поповский,— в точности этой характеристики, просмотрев сотни писем Вавилова, десятки стенограмм его публичных выступлений между 1937 и 1940 годами. В них нет ни слова осуждения по адресу Лысенко».

Это утверждение далеко не соответствует истине. Для того, чтобы обнаружить активную критику Вавиловым Лысенко, не обязательно даже просматривать архивы — для этого достаточно примеров в печатных материалах того времени, хотя публиковать подобного рода критику было уже далеко не просто. В журнале «Яровизация» (№ 1, 1939) опубликована очень серьезная статья Н. И. Вавилова с критикой Т. Д. Лысенко и планируемой лысенковцами переработки учебных программ по генетике и селекции. Ответ Вавилову написал сам Лысенко. Известна открытая дискуссия в 1939 году при редакции «Под знаменем марксизма» и смелое полемическое выступление на ней Вавилова. В центре этой последней предвоенной открытой дискуссии были опять доклады Вавилова и Лысенко.

Немало ярких документов с прямой критикой Лысенко — в научном плане и как руководителя ВАСХНИЛ — хранит и рукописный фонд Вавилова. Можно указать на его докладную записку в ЦК ВКП(б) и Наркомат земледелия о неправильном отношении Лысенко к инцухт-гибридам кукурузы (1939), его докладную записку в высшие инстанции о ненормальном положении в руководстве ВАСХНИЛ (1940). Приведем хотя бы отрывок из последней докладной, хранящейся в личном архиве Н. И. Вавилова:

«...Высокое административное положение Т. Д. Лысенко, его нетерпимость, малая культурность приводят к своеобразному внедрению его... сомнительных идей, близких к уже изжитым наукой (ламаркизм). Пользуясь своим положением, т. Лысенко фактически начал расправу со своими идейными противниками».

И далее Вавилов перечисляет факты научного и административного произвола Лысенко.

В 1938 году Н. И. Вавилов начал подготовку книги «Этюды по истории генетики», сохранившейся в рукописи. Главы этой книги содержат научную критику воззрений Т. Д. Лысенко.

Мы видим, таким образом, что глава «Ошибка академика Вавилова» написана автором далеко не объективно. М. Поповский создал гипотезу, условный сюжет, своего рода литературный штамп, и уже к нему подгонял факты, отбирая тщательно лишь то, что соответствовало его гипотезе. При этом М. Поповский рассматривает Вавилова изолированно от его положения. Н. И. Вавилов не был, как известно, рядовым бойцом научного фронта. Он был командующим большой армии ученых, в его руках была «громада науки», судьба советской селекции и растениеводства. В этих условиях Вавилов не мог идти на неоправданный риск. В его положении нужна была не только смелость — нужна была тактика, нужна была стратегия, нужна была дипломатия в условиях высочайшей поддержки, открыто и недвусмысленно получаемой его научными противниками, в условиях той травли, которая была начата и постоянно велась против Вавилова рядом журналов и газет.

Теперь мы можем лишь удивляться тому, сколь долго сумел Н. И. Вавилов в чрезвычайных условиях продержаться у руководства ВИРОм и на посту вице-президента ВАСХНИЛ.

Время работало на него, ибо очень многие из так называемых достижений его противников начали, как и следовало ожидать, изживать себя уже в конце тридцатых годов. Прежде всего это относилось к так называемой яровизации зерновых.

В непонимании этой стратегии борьбы — серьезная ошибка повести М. Поповского.

Мы разобрали здесь только одну главу повести. Разобрать с такой же тщательностью материал других глав — задача слишком обширная, но в них тоже встречаются элементы субъективизма и тенденциозности, поверхностного подхода к фактам. Некоторые сцены, например сцена доклада Вавилова перед Лысенко в 1939 году об участии

ВИРа в сельскохозяйственной выставке, внушают сомнение. Того, что мы знаем о Вавилоне, достаточно, чтобы понять, что унижительного хамства, которое Вавилов в этой сцене спокойно переваривает, он в действительности никогда бы не потерпел.

В ряде мест М. Поповский сдвинул полный разгром классической генетики и селекции в Академии наук СССР, университетах и сельскохозяйственных вузах и институтах на 1937—1938 годы, хотя в действительности этот разгром произошел только в 1948 году.

В некоторых случаях М. Поповский допускает неточности в оценке научных идей. Говоря о вавилонской теории центров происхождения растений, он, например, пишет:

«Селекционерам теория эта открывает, как подбирать родительские пары для скрещивания: зная, откуда взято растение-родитель, можно заранее подсказать, передаст ли оно свои признаки потомству или нет».

В такой совершенно неверной трактовке теория центров происхождения противоречит классической генетике и полностью укладывается в лысенковское представление о наследственности.

Этим письмом о повести Поповского мы не стремимся дать разбор ее со всех точек зрения, включая литературную. Само собой понятно, что всякий исторический обзор должен содержать только строго проверенные факты, должен содержать только истину, даже если он принадлежит перу профессионального литератора, а не ученого.

Ж. МЕДВЕДЕВ,
кандидат биологических наук.

г. Обнинск.



ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

« В ВОДОВОРОТЕ НОВОЙ РОССИИ »

*Письма А. М. Коллонтай В. И. Ленину и Н. К. Крупской
в Швейцарию*

I

[Христиания. (4) 17 марта 1917 г.]

17-го. Дорогие друзья, так ли Вы осведомлены о том, что творится? Впрочем, телеграммы-то, верно, всюду те же самые. Каждый час приносит новое и новое. Сейчас тревожнее и мрачнее, чем было утром: на горизонте возможность диктатуры Николая Николаевича. Но во всяком случае — шаг громадный! И в эти часы особенно необходимы были бы Ваши ценные указания и политического, и чисто практического свойства.

Спешу кратко сказать: 1) что мы здесь делаем сейчас, 2) как понимаем положение и задачи ближ[айшие] рабочих.

На завтра ожидаем приезд Г[анецкого] и Людмилы [Сталь]; с ними обсудим вопрос: кому из нас немедленно (дня через три, четыре) двигаться в Россию. Кому пока оставаться здесь, чтобы служить связью.

Хотим прежде всего устроить живую цепь — Россия — Финляндия — Стокгольм или Христиания — Швейцария, — пока Вы там.

Послезавтра утром (сегодня уже получил паспорт) едет в Ф[инляндию] наш друг — норвежец¹, чтобы зондировать почву, и, если все, как думаем, даст телеграмму, и тогда двигается первое лицо. К тому дню, надеемся, будем иметь Ваши директивы. Без директив Ваших — настою, чтобы никто не ехал. Момент слишком ответственный, чтобы действовать вразброд. В этом отношении я человек осторожный и осмотрительный и на меня можете в этом смысле полагаться. В такие именно моменты нужна «дисциплина», требую ее и от других.

Дальше: надеемся, что Вы пришлете обращение, или воззвание, или вообще документ, который частью можно отпечатать здесь, а одновременно отправить туда и текст. Шлите материалы такого свойства не на меня лично, а на «S. D.» (Folkch)².

3) Необходима теперь литература в Россию. Шлю Вам на просмотр набросок популярно-агитационной брошюрки-воззвания: «Нужен ли нам царь?» Или «Кому нужен царь?». Если одобрите — телеграфируйте, тогда отправим для напечатания.

4) Обратились к Вам за «полномочиями» временными ввиду того, что такого рода дела будут встречаться теперь на каждом шагу, а когда установим «живую цепь», и еще чаще. Лично я, повторяю, именно в такие моменты ни одного ответственного шага без Вашего совета не сделаю, но бывает много даже чисто техни-

¹ Речь идет о поездке в Россию норвежского социал-демократа А. Г. Хансена. С 1917 года он работал секретарем социалистического союза молодежи Норвегии (левые циммервальдийцы), позднее — член ЦК и член Политбюро компартии Норвегии, кандидат в члены Президиума ИККИ.

² «Socialdemokrat» — центральный орган норвежской социал-демократии, издавался в Христиании (ныне — Осло).

ческого свойства дел, когда лицу, совершенно не уполномоченному, действовать и трудно и не выгодно для дела.

Например, информация местной партии и настаивание на помещении н а ш е й информации, переговоры и т. д. То же будет встречаться и в России. А между тем ведь должны же мы сейчас сделать все от нас зависящее, чтобы правильный курс был взят!

Перехожу к вопросу о том, как я понимаю положение и в каком духе работаю в смысле информации здесь в газетах и партии.

Переворот, революция в России (пока еще «буржуазная») стала возможна потому, что с самого начала войны партия, официальная партия, следовала Штутгартской резолюции. Ее лозунгом была «гражданская война»; она не отступала перед пугалом — поражением! Только благодаря ее крепкой, ясной, отчетливой позиции и работе в соответствующем духе нарастало, разрасталось движение, порожденное голодом, но принявшее политический характер, вдвинутое партией в политическое русло.

Революцию совершил рабочий класс, только натиск громадной силы заставил кадетов и прочих выразителей импер[иализма] решиться на активные шаги. Но новое, Временное правительство сейчас не есть еще «народное» правительство — это представители как раз таких элементов общества, которые заинтересованы в империалистической политике и «в войне до конца», до Константинополя и т. д.

Чхейдзе не должен был войти во Временное правительство империалистов.

Задача социалистов остается прежняя — завоевание рабочим классом политической власти (диктатура), конфискация земель, 8-часовой рабочий день (сомневаемся только насчет Учредительного собрания? Ведь они, подлецы, с военным диктатором Николаем Николаевичем фальсифицируют выборы!). Интересы Временного правительства и рабочего класса резко расходятся: конституционная монархия — республика, война до конца — немедленное прекращение, как условие дальнейшей борьбы, как способ пресечь продовольственный кризис (конфискации частных складов и т. д. недостаточно). (Желательны здесь более конкретные требования-мероприятия. Укажите!)

Это не конец, а только н а ч а л о революции. Теперь-то и начнется борьба рабочего класса с империалистическим правительством, «правительством обороны» — во имя завоевания конституции!

Веду и инф[ормацию] относительно изменнической политики социал-патриотов + гвоздевцев и т. д.

Вот в общих чертах отношение к моменту. Укажите, если что по-Вашему не верно. Верю Вашей «дальнозоркости».

А все-таки, дорогие друзья, большой момент!.. Мы все здесь «ошалели», не спим, не сидим — носимся и норвежцев бунтуем. Трудно не уехать в Россию немедленно!

Ваш лозунг «гражданская война» вполне себя оправдал! Это я всю ду о т м е ч а ю. Хочется крепко, крепко пожать Вашу руку. Все-таки сейчас у Вас должно быть подъемно на душе, ликующе! Всего хорошего Вам обоим!

Дорогая Надежда Константиновна — теплый Вам привет! — Неужели, неужели наши друзья («враги») — теперь у себя не используют урока?

Ваша А. К.

II

[Петроград. 26 марта (8 апреля) 1917 г.]

26 марта 1917 г.

Дорогой Владимир Ильич и дорогая Надежда Константиновна!

Вот уже неделя, что нахожусь в водовороте «новой России», яркость и сила впечатлений такова, что передать ее даже не пытаюсь, поэтому пока ограничусь краткими, конспективными мазками.

Народ переживает опьянение совершенным великим актом. Говорю народ, потому что на первом плане сейчас не рабочий класс, а расплывчатая, разнокалиберная масса, одетая в солдатские шинели. Сейчас настроение диктует солдат, солдат создает и своеобразную атмосферу, где перемешивается величие ярко выраженных демократических свобод, пробуждение сознания гражданских равных прав и полное непонимание той сложности момента, какой переживаем. Среди лихорадочной сутолоки, среди стремления создать, построить что-то новое, отличное от прежнего, слишком громко звучит нота уже достигнутого торжества, будто дело сделано, закончено. Не только недооценивается притаившийся, но, конечно, далеко не добытый «внутренний враг», но, несомненно, не хватает у наших, и особенно у Совета Рабочих и Солдатских Депутатов (Исполнительный Комитет), решимости и политического чутья продолжать начатое, закрепляя власть за демократией. «Мы — уже у власти» — таково самодовольно-ошибочное настроение у большинства в Совете. И этим опьянением достигнутыми успехами, конечно, пользуется гучковское правительство, склоняясь лицемерно перед волей и решением Совета в частности, но, разумеется, в основном, и, главное, в вопросе о войне, удерживая в руках своих «бразды» [правления].

Тако опьянение достигнутым — естественно. Внешне жизнь резко, неизвестно изменилась. Это сплошной праздник демократии, неумолкающий гимн свободе. Шествия, манифестации не прекращаются. В Совете (помещение Государственной Думы) целый день идут митинги, преимущественно для солдат, но приходят и гимназисты, и прачки, и дворники, и извозчики. Ораторы все уже охрипли, а новая и новая волна народу, делегаций в сотни человек вливается и выливается из дворца.

Совет Рабочих и Солдатских Депутатов — это сердце движения. Его слово — веское, к нему прислушиваются. Правительство (повторяю, в определенных пределах и границах) с ним считается. Но, боюсь, что С. Р. и С. Д. — это франкфуртский парламент. В нем все время проглядывает какая-то осторожность, нерешительность, нет ясной, отчетливой политической линии, нет размаха государственного строительства на новых началах.

Объясняется это прежде всего совершенно невозможным составом Исполнительного Комитета. Публика не то что разношерстная, хуже — туда набрались какие-то неизвестные личности, которых мы, старые партийные работники, совершенно не знаем. Воспользовавшись отсутствием наших людей в момент революционного пожара, туда засела безмандатная публика вроде Стеклова¹, Суханова, Богданова — меньшевики — и величин неизмеримо более мелких. Членов Исполнительного Комитета С. Р. и С. Д. около 40, из них не более 15 рабочих. Наша группа (делегаты от Бюро ЦК и Петербургского Комитета), а также несколько выборных от самого Совета (повторяю, большинство членов Испол. Комитета не избраны Советом, а захватным порядком заседают в Комитете) ведет отчетливую линию, но наши не только слабы численно, к сожалению, это все молодая, рабочая публика, не обладающая ни широкими политическими горизонтами, ни запасом сведений, ни умением стройно изложить свою мысль. Присутствуя на Исполнительном Комитете, даже после того, что «настроичишь» наших заранее, часто остро страдаешь, чувствуя, что с нами не считаются. И это в такой момент, когда именно наши должны бы и могли вырвать Исполнительный Комитет из того болота нерешительности, в котором Исполнительный Комитет все более и более завязает.

Наши требуют проверки мандатов и переизбрания членов И. К., но большинство резко этому противится. Еще бы, тогда Стеклов и К^о останутся за бортом!

У меньшевиков дело было не многим лучше. Но с тех пор как приехал Церетелли, они получили неожиданно-радостное подкрепление. Церетелли пользуется

¹ Ю. М. Стеклов после февральской революции стоял на позициях «революционного оборончества». Позднее перешел к большевикам.

сейчас большим влиянием — ведь он же яркий представитель «революционного оборончества». У меньшевиков в Исполнительном Комитете руководителями являются: Ларин, Богданов, Церетелли, Чхеидзе. Ларин расходится с Богдановым, Церетелли и Чхеидзе по вопросу революционного оборончества, поддерживая линию Циммервальдского центра против оборонцев.

У нас постоянно присутствуют в Исполнительном Комитете рабочие «правдисты» (Сталин, Федоров, Александр), но, повторяю, тона они не дают. Входят еще в Исполнительный Комитет Бонч-Бруевич, Козловский и Н. Д. Соколов. Но Бонч-Бруевич и Соколов бывают далеко не всегда, и у Соколова есть все же некоторые колебания: главное, никто из них как-то не ухватывает основной задачи — закрепление власти за С. Р. и С. Д. непрерывным натиском на Временное правительство и отчетливой самостоятельной позицией по основным вопросам. Бонч-Бруевич очень ценен и с ним у нас расхождений нет, но он поглощен другими делами, да и вообще здесь в ИК нужен политик.

Приезд депутатов, конечно, даст нам подкрепление. Но тут еще один вопрос: у нас, внутри партии, еще много хаоса. Мы еще совершенно не освоились с новизной свободы и возможностью поставить партию на широкую ногу, завладеть массами, стянуть их под наше знамя. Тут, как всегда, натыкаешься на...

Меня вчера прервали, а сейчас еду в Гельсингфорс на митинг, устраиваемый финской партией в театре, — первый большой митинг, где выступают в Финляндии русские соц[иал-демократы] открыто.

С финнами отношения тесные, мы им изложили Вашу точку зрения, и думаю, что они ее примут к сведению.

Сейчас важно строить, строить и строить партию, но строить именно на тех новых основах, которые Вы указываете. Это далеко не все схватывают. Начало Ваших писем печаталось¹. К Вашему голосу прислушиваются не только наши, но и противники. Сегодня у нас собрание у Бонча по поводу ближайшей конференции (28-го) и ряда практических задач. Сейчас самое большое осложнение: рабочие (главным образом неорганизованная публика) не становятся на работу. Это не забастовка, а хаос. Чувствуется скрытое влияние притаившихся черносотенцев, ведущих линию дезорганизации сил. С этим придется серьезно бороться. Сегодня съезд страховиков. Во вторник местная конференция (большевиков). Подготовка съезда.

Пока массы за нами. Но время такое, что надо не только организовывать, но и браться за чисто практические задачи, чтобы удержать влияние на массы. Один из основных вопросов — продовольствие. Считаю, что лозунгом может быть: конфискация булочных, сосредоточение в руках городского рабочего комитета транспортного дела и т. д.

Сейчас самый актуальный вопрос: борьба между С. Р. и С. Д. и Временным правительством по вопросу о войне. Принята была в среду Исполнительным Комитетом резолюция, требующая отказа Временного правительства от аннексий и немедленного перехода к мирным переговорам. Вчера не официальны ответ Временного правительства — все, за исключением Милюкова, склоняются к отказу от аннексий, за себя, не за «союзников». На немедленное предложение о мире не согласны — грозят отставкой. Сегодня будет официальный ответ.

Здесь Брантинг. Проповедует нам «осторожность», не разрывать и не раскалывать силы!..

Многое хотелось бы еще сказать, но надо прервать — пора ехать на наше собрание, — оттуда в Гельсингфорс. Тепло, сердечно жму руки всем друзьям-товарищам. Тесно, сплоченно и без трений работаем в «Правде»². Каменев здесь. Мечтаем о том, что скоро Вас увидим.

Ваша А. Коллонтай.

¹ Первое ленинское «Письмо из далека» было опубликовано в двух номерах «Правды» — №№ 14 и 15 от 21 и 22 марта (3—4 апреля) 1917 года с существенными сокращениями.

² Имеются в виду первые недели работы в редакции «Правды».

Р. С.

Меня встречают «в штыки» — за участие в «Правде» — со стороны меньшевиков и вообще нерабочей публики. Горький основывает свою газету¹. Звали туда в заведующие отделом, даже «соблазняют» деньгами. Разумеется, отказалась — газета революционного оборончества. Участвуют Базаров, Никитин, Стеклов, Суханов и др. Базаров к нам не хочет идти.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Листок за листком просматриваем пожелтевшие от времени дела Центрального партийного архива Института марксизма-ленинизма, относящиеся к кануну революционного семнадцатого года. Перед нами письма Ленину его соратников по борьбе. Инесса Арманд, Павел Берзин, Вячеслав Карпинский, Александра Коллонтай, Максим Литвинов, Михаил Покровский, Мария Ульянова, Миха Цхакая, Степан Шаумян, Григорий Шкловский и другие. Тут письма и деятелей международного социалистического движения: Д. Благоева, Д. Вайнкопа, Я. Ганецкого, Р. Гримма, Ф. Платтена... Их переписка с Владимиром Ильичем — это обсуждение задач русского и международного рабочего движения, это взволнованный разговор о судьбах революции, о насущных задачах партии, это споры, поиски и разногласия, цель которых одна — выработка общей линии борьбы.

Чудесное свойство у этих писем — они переносят нас в ту динамическую предреволюционную пору, когда в воздухе пахло грозой, когда все явственней вырисовывались контуры грядущей революции. И эта печать времени — на каждой строке переписки, которую вели большевики-ленинцы. Александра Михайловна была из той категории революционных борцов, которые умели работать самозабвенно, окрыленно. И это целил в ней Ленин.

Дружеская регулярная переписка с Владимиром Ильичем установилась у Коллонтай вскоре после начала первой мировой империалистической войны. Не прекращалась она до возвращения Ленина в Россию в апреле 1917 года.

В годы войны А. М. Коллонтай, вступив в ряды большевистской партии, с головой окунулась в борьбу, которую вел Ленин за сплочение левых сил в международном рабочем движении, за победу подлинно марксистской стратегии и тактики по вопросам войны, мира и революции. По поручению В. И. Ленина А. М. Коллонтай развернула активную деятельность среди левых в социал-демократических партиях скандинавских стран и добилась присоединения их делегаций на Циммервальдской конференции к группе Ленина — к левым циммервальдийцам.

Из всей обширной переписки А. М. Коллонтай с В. И. Лениным за 1914—1917 годы мы выбрали для публикации только два письма, относящиеся к февральской буржуазно-демократической революции. По времени их отделяет друг от друга двадцать дней. Но отражают они по существу две жизненные эпохи автора: раздумья в эмиграции о судьбах революции, о помощи российским товарищам и непосредственное участие в революционной борьбе в Петрограде.

Первый документ написан Александрой Михайловной в Норвегии, где она поселилась как политическая эмигрантка в начале 1915 года, после интернирования в Германии, бегства из Дании и высылки за революционную деятельность из Швеции. Российские события застали А. М. Коллонтай в тот момент, когда она дописывала свою новую работу «Кому нужен царь?» для серии агитационных брошюр Центрального Комитета партии (в 1916 году увидела свет подобная ее работа «Кому нужна война?», отредактированная В. И. Лениным).

Новую брошюру А. М. Коллонтай дописывает уже в дни получения первых известий о революционных событиях в Питере. Позднее в своих воспоминаниях «Как мы узнали о февральской революции» она напишет: «В четверг (то есть 15 (2) марта.— И. Д.) осталась на Холоменколлене², дописываю агитационную брошюру «Кому нужен царь?»... Пишется необычно легко, образно. Только к позднему вечеру нападает уста-

¹ Речь идет о газете «Новая жизнь».

² Местечко под Христианней.

лость, исчезает выпуклость речи, пропадает гворчество, появляется надуманность. Не дописываю последнюю главу с тем, чтобы с утра со свежей головой сесть за работу».

Но наутро Александре Михайловне было уже не до брошюры: страна встревожена новыми известиями — об отречении царя и о победе российской революции. 16 (3) марта она записывает в своем дневнике: «Царь пал! Этим возгласом разбудила меня сегодня мисс Дундас. У меня так дрожали руки, что не могла отомкнуть дверь... Еще не ухватываю всей грандиозности и важности совершившегося. Но «внутри» все дрожит».

Волнующие события полностью поглотили Александру Михайловну. Она дает интервью в центральный орган норвежской социал-демократии «Socialdemokrat», принимает предложение на статью для газеты левых циммервальдийцев — Союза социалистической молодежи — «Klassenkampen», встречается с представителями отдельных групп социалистов, выступает главным оратором на митинге, посвященном событиям в России.

Вспоминая о митинге солидарности норвежских рабочих и о своем выступлении, Александра Михайловна пишет: «Я говорю не о завоеваниях революции, а о том, что революция (не буржуазная, а наша, социалистическая) вся впереди. Что власть еще в руках буржуазии; что за власть русским рабочим и солдатам предстоит еще жарко бороться, но орган новой власти рабочих создан — это Советы рабочих и солдат. Мы на верном пути к диктатуре пролетариата. Не парламент, а именно орган трудящегося класса — Советы, взяв и укрепив свою власть, покончат с войной и заключат наконец мир между народами. Но для этого нужна поддержка рабочих всех стран. Русские рабочие, покончив с войной, возьмутся за проведение социализма в России, землю крестьянам, национализация фабрик, долой капитализм. Мы свергнем власть капитала, рабочие, трудящиеся станут хозяевами на своей земле. Но это потребует жестокой и напряженной борьбы. Революция в России — это только первый шаг. Но час борьбы пролетариата настал. Публика захвачена. Сдержанная, дисциплинированная норвежская рабочая аудитория охвачена энтузиазмом и сочувствием к тому, что делается в России... «Ура в честь Ленина!» — предлагает председатель. И митинг кончается дружным пением Интернационала. Меня окружают, жмут руки, передают привет русским рабочим».

Но основное для А. М. Коллонтай в эти дни — вырваться из эмиграции в бурлящую революционными событиями Россию. 26 (13) марта в дневнике появляется запись: «Вчера совещались, как быть? Кому ехать в Россию, кому остаться пока для связи? Ганецкий будет в Стокгольме и останется «связью» с нашими в Швейцарии. Теперь важнее быть там. Надо дать направление политике партии в нашем духе, надо сразу же отмежеваться от Временного правительства с оборонцами. Это ясно. Наша работа впереди... Жду директив от Владимира Ильича, тогда и я двинусь... Живу в каком-то хмеле радости, волнения. Все еще не верится... Скорее бы ответ от Ленина».

Первое из двух публикуемых писем написано 17 марта 1917 года. По старому стилю это 4 марта, то есть пятый день после свержения царизма и второй день, как стало об этом известно за границей. За этот короткий срок Коллонтай шлет телеграмму и четыре письма вождю партии. Каждый из документов полон тревоги за судьбы движения и забот о немедленной помощи российским товарищам по партии. «Сейчас мы все захвачены событиями в России, — пишет она 14 (1) марта. — Здешние буржуазные газеты очень серьезно относятся к совершающемуся в России. Считают возможным — «переворот»¹. Вслед за письмом летит телеграмма к Ленину с просьбой директивных распоряжений в связи с революцией в России². Еще через день в письме Центральному Комитету от 16 (3)-го она выдвигает практические шаги организационного порядка: «Дорогие товарищи, экстренные события требуют экстренных мер. Географические условия ставят в такое положение, что будет требоваться немедленное и быстрое решение; списываться по всем поводам — невозможно. Предлагаем немедлен-

¹ ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 5, ед. хр. 729.

² Текст телеграммы обнаружить не удалось. Упоминание о ней имеется в письме Ленина к Коллонтай (см. В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 49, стр. 401).

но организовать временное бюро содействия ЦК, с правом в экстренных случаях выступать от имени ЦК. Разумеется, будем списываться обо всем»¹.

Письмо А. М. Коллонтай от 17 (4) марта — наглядное свидетельство единства взглядов автора и адресата. Коллонтай подчеркивает дальновидность политики партии в отношении основных лозунгов — «гражданской войны» и «поражения»: именно эта ясная, отчетливая линия способствовала развитию революционного движения в России. Так же как и Ленин, Коллонтай считает события в России не концом, а началом революции.

Ленин незамедлительно отвечал на письма Коллонтай и, как всегда, вносил ясность, четкость в понимание насущных задач революционной борьбы, указывал главные ее направления. Вождь партии делился с Александрой Михайловной соображениями о событиях в России, давал советы относительно тактики большевиков на первом этапе революции².

Ленин очень горячо реагировал на просьбу Александры Михайловны о директивных указаниях. Он считал, что отрыв от событий и архискудность известий не дают ему права своим мнением подменять директивы руководящего центра, тем более что в самом Питере имеются руководящие товарищи и уполномоченные ЦК³. Но Заграничная часть ЦК на второй день после получения известия о победе российской революции разрабатывает свой взгляд на вещи. Этот ленинский документ о тактике партии, вошедший в историю как «Набросок тезисов 4 (17) марта 1917 года», был направлен на имя А. М. Коллонтай для отъезжающих в Россию большевиков. Он раскрывает основные задачи момента и направление тактики большевистской партии. Кратко эти задачи сформулированы в ленинской телеграмме, также направленной в Христианию через Стокгольм: «Наша тактика: полное недоверие, никакой поддержки новому правительству; Керенского особенно подозреваем; вооружение пролетариата — единственная гарантия... Никакого сближения с другими партиями. Телеграфируйте это в Петроград»⁴.

Быстро был решен также вопрос о просьбе Александры Михайловны относительно «полномочий». 22 (9) марта Ленин посылает в Стокгольм специальную телеграмму, где от имени Центрального Комитета РСДРП рекомендует иностранным товарищам: «...тов. А. Коллонтай, информации которой заслуживают полного доверия»⁵.

Александра Михайловна выехала в Россию через две недели после получения сообщений о революции. Она была в числе первых политических эмигрантов, возвращавшихся в новую, революционную Россию. Именно А. М. Коллонтай выпала большая часть и ответственность провезти через границу и вручить членам Русского бюро ЦК два первых ленинских «Письма из далека». В день получения писем, 28 (15) марта, она послала восторженную телеграмму В. И. Ленину: «Две статьи и письмо получила, восхищена Вашими идеями. Коллонтай»⁶.

С 31 (18) марта начинается новый период в деятельности А. М. Коллонтай. Она стремительно включается в круговорот российских революционных событий. Ее избирают в исполнительный комитет Петроградского Совета от большевистской военной организации и в Бюро большевистской фракции Совета, она начинает пропагандистскую работу в «Правде», ежедневно выступает перед многочисленными аудиториями рабочих и солдат.

Второе публикуемое письмо А. М. Коллонтай к Ленину — от 26 марта (8 апреля) 1917 года — очень яркий документ, отражающий обстановку в Питере спустя почти месяц после свержения царизма.

¹ ЦПА ИМЛ. ф. 17. оп. 1, ед. хр. 1933. Письмо написано А. М. Коллонтай, под ним поставили подписи также Е. В. Бош и Г. Л. Пятаков.

² См. В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 49, стр. 399—403 (письма от 16 (3) и 17 (4) марта 1917 года).

³ Там же, стр. 401.

⁴ Там же, т. 31, стр. 7.

⁵ Там же, т. 49, стр. 408.

⁶ ЦПА ИМЛ. ф. 2. оп. 5, ед. хр. 735.

Коллонтай понимает, что Ленину нужна точная информация о развертывании революции, о руководстве движением большевистской партией. Поэтому большая часть письма посвящена характеристике соотношения сил в Совете рабочих и солдатских депутатов и его исполнительном комитете. Александру Михайловну волнует самоуспокоенность, опьянение достигнутыми успехами, которое чувствуется у руководителей этого органа рабочей власти. Она серьезно обеспокоена засильем в нем представителей соглашательских партий, пробравшихся туда без мандатов в момент революции. А. М. Коллонтай остро страдает, чувствуя слабость представителей большевистской партии в исполкоме Совета.

Из письма видно, что в своих политических оценках А. М. Коллонтай стояла на ленинских позициях и в отношении Временного правительства, и в области партийного строительства.

Публикуемые письма А. М. Коллонтай к В. И. Ленину и Н. К. Крупской, а также цитируемый дневник хранятся в Центральном партийном архиве Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Письмо от 26 марта выявлено совместно со старшим научным сотрудником ЦПА ИМЛ Р. Я. Цивлиной. Воспоминания А. М. Коллонтай «Как мы узнали о февральской революции» полностью будут опубликованы в журнале «Советские архивы».

И. ДАЖИНА.



НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ О В. А. СТАРОСЕЛЬСКОМ

Публикация «Товарищ губернатор», помещенная во второй книжке «Нового мира» за прошлый год, привлекла внимание читателей и вызвала немало откликов.

«Я была очень довольна, прочитав статью «Товарищ губернатор», тем, что наконец вспомнили о большом человеке В. А. Старосельском», — писала из Краснодара Н. А. Цапкова, лично знавшая семью бывшего кутаисского губернатора.

В пространном письме из Свердловска Борис Евгеньевич Шалаев отмечает: «Опубликование документов по истории революционного движения на Кавказе исключительно своевременно для ознакомления теперешнего поколения с действительными событиями нашего славного революционного прошлого».

Некоторые читатели интересуются подробностями жизни В. А. Старосельского, спрашивают, не удалось ли добыть какие-нибудь новые сведения об этом замечательном человеке.

Отвечая на эти вопросы и пожелания, хотелось бы прежде всего сообщить, что живы две дочери Владимира Александровича Старосельского — Ада и Тамара, те самые, о которых в сноске к одному документу (см. «Новый мир», № 2, 1966, стр. 234) было сказано, что о них «никаких данных найти не удалось». Сейчас с помощью Н. А. Цапковой это удалось сделать. Выяснилось, что младшая дочь В. А. Старосельского — А. В. Баклицкая — живет в Ташкенте, а старшая — Т. В. Усатова — в Новокузнецке. Обе они летом прошлого года побывали в Москве, поделились своими воспоминаниями. При этом А. В. Баклицкая познакомила нас с довольно обширным архивом отца, который после смерти В. А. Старосельского почти сорок лет находился во Франции, а затем был перевезен Адой Владимировной в Советский Союз и бережно сохраняется ею. В этом архиве оказалось много документов, относящихся к событиям 1905 года в Кутаисской губернии, «Исторический очерк Грузии» (научный труд размером около тридцати печатных листов), написанный В. А. Старосельским в Париже, письма, полученные им от И. Ф. Дубровинского, В. А. Карпинского, В. К. Таратуты, М. Н. Покровского и других деятелей партии, более двухсот писем от родных и близких... Многое также дала поездка в Грузию и в Краснодар — в места, где В. А. Старосельский жил и работал до отъезда во Францию.

Все это дополнило публикацию «Товарищ губернатор» новыми материалами и документами. Приведу здесь некоторые из них, чтобы дать читателям более полное представление о личности В. А. Старосельского.

Первого сентября 1888 года губернский секретарь Владимир Старосельский был назначен младшим агрономом «в состав чинов министерства государственных имуществ на Кавказе». Здесь и развернулась его плодотворная агрономическая деятельность, ставшая вскоре известной далеко за пределами края.

Значительно расширяются наши представления об опытном питомнике американских виноградных лоз, который был создан Старосельским в местечке Сакаро, неподалеку от Кутаиси. Он сыграл исключительно важную роль в спасении виноградников Западной Грузии от опустошавшей их болезни — филлоксеры. Относящиеся к этому периоду многочисленные документы, собранные С. В. Маглакелидзе и любезно предоставленные редакции «Нового мира», свидетельствуют о громадных усилиях, которые пришлось приложить Старосельскому, чтобы достигнуть успеха в

этом деле. Молодой агроном не побоялся пойти против мнения признанных авторитетов того времени; кропотливыми научными исследованиями и смелыми экспериментами он доказывал свою правоту.

В каждом отчете, в каждой докладной агронома Старосельского видна его большая забота о кавказском крестьянине, виноградарство для которого — важнейший источник благосостояния.

Богатый материал о деятельности Сакарского питомника виноградных лоз содержится в отчете Кавказского филлоксерного комитета за 1899 год. Как и в прежние годы, говорится в отчете, все усилия питомника были направлены на возможно широкое распространение американских лоз и ознакомление с приемами культуры их местного населения. С этой целью были созданы специальные курсы. Служащие питомника выезжали в деревни и там, на месте, обучали крестьян правилам прививки новой лозы. Чтобы не теоретически, а на деле показать крестьянам преимущества нового способа возделывания винограда, работники питомника заложили опытные участки во многих селениях и в школах Кутаисской губернии.

В. А. Старосельский стал едва ли не самой популярной личностью в губернии. Крестьяне относились к нему с величайшим уважением, называли Владимира Александровича «своим спасителем».

Но не только научно-исследовательская работа велась в Сакарском питомнике... Случайно ли он оказался средоточием лиц, состоявших под надзором полиции? Вот что говорил по этому поводу в своем выступлении в Государственной думе 4 февраля 1909 года Н. Н. Ладомирский:

«Старосельский стоял во главе Сакарского питомника американских лоз; вверенное ему казенное учреждение он превратил в очаг революционной пропаганды; революционная деятельность личного состава питомника задолго еще до освободительного движения была настолько сильна и опасна, что при проезде в конце 90-х годов государыни императрицы Марии Федоровны через Кутаисскую губернию представитель министерства земледелия Медведев предупреждал кавказскую администрацию о необходимости иметь неусыпное наблюдение как за самим Старосельским, так и за личным составом питомника, так как он поручиться ни за что не может. Во время революционного движения личный состав питомника принял деятельное в нем участие; там даже изготовлялись бомбы...»

Документы, выявленные в архивах Грузии, а также те, что сохранила А. В. Баблицкая, проливают яркий свет на обстоятельства, при которых В. А. Старосельский был назначен на важный административный пост, более четко вырисовывается картина его губернаторства.

Весной 1905 года, когда между наместником Кавказа графом Воронцовым-Дашковым и агрономом, коллежским советником Старосельским начались переговоры, обстановка в Кутаисской губернии была крайне накаленной. Возмущенные произволом властей, рабочие и крестьяне отказывались подчиняться местной администрации, разоружали жандармов, захватывали казначейства. В Тифлисе лихорадочно искали человека, который бы своим авторитетом мог повлиять на «бунтовщиков» и навести порядок в губернии. Выбор пал на Старосельского, и он был вызван в Тифлис.

Предложение занять пост губернатора было для В. А. Старосельского неожиданным и отнюдь не прельстило его. Он отказывался. Граф уговаривал, просил подумать...

Вот что рассказала об этом жена В. А. Старосельского — Надежда Константиновна (свои подробные воспоминания, занявшие две тетради, она продиктовала дочери Аде в 1945 году, за несколько дней до своей смерти):

«По возвращении, посоветовавшись и обсудив более детально предложение, Владимир Александрович решил все же категорически отказаться от него. С таким ответом и поехал он в Тифлис. Основанием отказа он выставил положение, что предлагаемый ему пост лишает его возможности продолжить агрономическую деятельность и не соответствует его отношению к тем мероприятиям, которые входили бы в его обязанность как администратора.

Воронцов-Дашков заявил: «Как лицо, пользующееся доверием населения, вы не имеете нравственного права в настоящее время отказываться помочь нам. Подайте мне докладную записку с изложением мероприятий, необходимых, с вашей точки зрения, на пользу населения».

Владимир Александрович вернулся домой, удрученный настойчивостью наместника...»

В статье «Крестьянское движение в Кутаисской губернии», отрывок из которой был приведен в публикации «Товарищ губернатор», В. А. Старосельский упоминает о своей докладной записке наместнику от 27 мая 1905 года. В «Новом мире» была приведена та часть записки, где перечислены условия, без принятия которых он отказывался занять губернаторский пост (см. «Новый мир», № 2, 1966, стр. 219). Однако полного текста записки у нас тогда не было. Подлинник докладной не обнаружен. Но в Центральном государственном историческом архиве Грузинской ССР имеется копия (на двадцати четырех машинописных страницах). Об этом примечательном документе стоит рассказать подробнее.

«Революционное движение, проявившееся в последние годы в Гурии,— говорится в записке,— овладело в настоящее время всем населением Кутаисской губернии, за исключением небольшой части крупных собственников. Как размеры, так и интенсивность его указывают, что в основе народного недовольства лежат коренные условия общегосударственного и местного неустройства».

«Народная масса назлектризована до предела,— говорится далее в докладной,— и нельзя долго сдерживать ее страхом. В революционные периоды, как показала история, он быстро переходит в озлобление, и каждый неосторожный шаг, каждая крутая мера могут вызвать вооруженное восстание, оружие для которого уже припасено».

Так агроном Старосельский напрямик высказал наместнику Кавказа то, о чем тот, может быть, и знал, а возможно, только догадывался. Видимо, кое-что (в частности, о припасенном оружии) Старосельский знал лучше, чем Воронцов-Дашков.

Представление агронома Старосельского на губернаторский пост состоялось. На «всеподданнейшем докладе» гофмейстера Булыгина о том, что наместник испрашивает всемилостивейшее соизволение его императорского величества назначить Старосельского кутаисским губернатором, царь начертал букву «С», что означало: «Согласен».

И началась сложная и трудная работа.

Новые документы не оставляют сомнения в отношении главной цели, которой решил добиваться губернатор Старосельский: обеспечить населению элементарные демократические свободы, восстановить в губернии порядок и при этом всеми средствами избежать кровопролития. Когда на одном из совещаний уездный исправник Озургетского уезда высказался за сохранение военного положения, губернатор бросил ему фразу: «Так вы хотите управлять штыками?»

Тайный советник Мицкевич, возглавлявший следствие по делу Старосельского, писал 2 мая 1906 года: «К числу особенностей системы управления коллежского советника Старосельского следует отнести сношения его с главарями разных организаций. По словам чиновников, служащих в разных губернских и уездных учреждениях, приемная и. д. губернатора Старосельского была наполнена представителями разных организаций. Коллежский советник Старосельский так много посвящал им времени, что отказывал в приеме личных докладов чиновникам и поручал находившемуся всегда при нем вице-губернатору Кипшидзе принимать их и разрешать представляемые доклады».

В публикации «Нового мира» упоминалось о том, как в центре Кутаиси были арестованы четыре революционера, распространявшие социал-демократические листовки. Когда Старосельскому сообщили об этом, он прибыл в полицейский участок, выяснил, в чем дело, и приказал задержанных освободить, а стражников арестовать. Это распоряжение губернатора, естественно, вызвало гнев заведующего полицией на Кавказе генерала Ширинкина. Но вот как спокойно Старосельский объяснил ему свои действия:

«...Арестованные — местные жители, имеют в городе постоянную оседлость и занимают общественное положение. При таких условиях уклоняться от следствия и суда никто из них не стал бы даже в случае более серьезных улик... Стражники Васильевы были отправлены мною под арест за грубую, крайне неприличную площадную ругань, с которой они обращались к арестованным, засвидетельствованную очевидцами инцидента».

К слову сказать, одним из четырех освобожденных губернатором из-под ареста революционеров был Шалва Зурабович Элиава — будущий председатель Совнаркома Грузии.

Любопытные сведения содержатся в показаниях лиц, привлеченных к следствию по делу Старосельского.

«В ноябре губернатор приказал выдать 9 винтовок вновь зачисленным в Озургетский уезд стражникам...— рассказывал урядник полицейской стражи Григорий Кольяда.— Когда пришли эти новые стражники получать винтовки, то бывшие в губернском резерве стражники узнали в них тех лиц, которые в Озургетском уезде обезоруживали стражников, и стали говорить, что губернатор раздает оружие красносотенцам. На другой день губернатор приказал выдать 16 ружей, за которыми опять пришли известные стражникам красносотенцы».

Так Старосельский использовал возможность вполне легально вооружать революционеров.

Когда стало ясно, что поражение восстания неминуемо, В. А. Старосельский был озабочен тем, чтобы спасти руководителей. В одном из архивных дел обращают на себя внимание копии телеграмм, отправленных Воронцовым-Дашковым своим подчиненным в Батуми, Сухуми и Поти. В этих телеграммах сообщается, что «главари гурийского революционного движения запаслись заграничными паспортами», и приказывается «прекратить выпуск за границу туземцев». Из другого документа видно, что заграничные паспорта выдал революционерам губернатор Старосельский.

Пятого или шестого января 1906 года Владимир Александрович приехал в Квирилы, пригласил к себе руководителей военно-революционного штаба и информировал их о движении войск карателя Алиханова. Силы были неравными, и Старосельский советовал не проливать напрасно кровь, а сохранить силы для будущих сражений. Повстанцы вовремя отошли, и многие из них избежали ареста. Сам же губернатор вернулся в Кутаиси и стал ждать своей участи.

Через несколько дней он снова прибыл на станцию Квирилы, но на этот раз уже под конвоем.

В. А. Старосельский был доставлен в Тифлис, но имел еще полную возможность скрыться от преследований. Однако, как видно из интервью, которое Старосельский дал корреспонденту газеты «Возрождение» в феврале 1906 года, он добровольно приехал в Петербург, чтобы потребовать гласного суда.

Публикация «Товарищ губернатор» не давала ответа на вопросы: когда же Старосельский вступил в социал-демократическую партию и что предшествовало задержанию его на нелегальном собрании в Екатеринодаре 7 февраля 1908 года? Сейчас некоторые важные обстоятельства прояснились. В партархиве Краснодарского крайкома КПСС обнаружены воспоминания одного из руководителей подпольной большевистской организации на Кубани, И. В. Резникова, относящиеся к 1907 году и написанные 22 июля 1924 года. Вот что в них, в частности, говорится:

«В самом Екатеринодаре дело обстояло так. Как-то раз случайно встретил бывшего кутаисского губернатора Старосельского.. Мы были вместе арестованы (в январе 1906 года.— *И. Б.*), и в то время, как его увозили под конвоем в Тифлис, меня карательный отряд казаков чуть было не расстрелял на ст. Рион... Оказалось, что Старосельский переселился из Анапы в Екатеринодар.. Встретились мы и на почве общих воспоминаний о Кутаисе сошлись довольно близко. Он изъявил согласие вступить в организацию, был кооптирован в комитет... Старосельский открыто выступал на собраниях по выборам (шла подготовка к выборам в третью Государственную думу.— *И. Б.*) и чрезвычайно резко для того времени и обстановки высказывался на выборные темы...

Помню, что т. Старосельского удалось послать на конференцию, кажется в Гельсингфорс, где он установил связь с большевистским центром».

Речь идет о четвертой («третьей общероссийской») конференции РСДРП, которая состоялась 5—12 (18—25) ноября 1907 года в Гельсингфорсе. О том, что Старосельский был избран единственным делегатом на эту конференцию от Северо-Кавказской организации, пишет в своих воспоминаниях и другой старый большевик — Д. В. Полуян.

Упомянув о четвертой конференции РСДРП, большевистская газета «Пролетарий» писала, что Северный Кавказ послал на нее большевика. Газета, естественно, не могла назвать его фамилию. Но сейчас, когда сведения департамента полиции, о которых говорилось в публикации «Товарищ губернатор», подтверждены руководителями социал-демократической организации Северного Кавказа, не остается сомнений в том, что этим делегатом-большевиком был Владимир Александрович Старосельский.

Оставался неясным и такой вопрос: когда и каким путем В. А. Старосельский эмигрировал за границу? Известно, что в ночь на 8 февраля 1908 года в квартире Старосельского был произведен обыск, во время которого в закрытом ящике письменного стола жандармы обнаружили письмо «товарища Бориса». Это письмо свидетельствовало о принадлежности Старосельского к партийной организации и было основанием для ареста его. Но когда жандармский офицер увидел письма, присланные В. А. Старосельскому заместителем Кавказа графом Воронцовым-Дашковым, он опешил, оставил их нетронутыми и сказал жене Старосельского, что ее супруг, задержанный в полицейском участке, будет немедленно отпущен. Через час Владимир Александрович был дома. О дальнейшем Надежда Константиновна рассказала в своих воспоминаниях:

«До конца февраля все шло благополучно. 28 февраля в отсутствие Владимира Александровича пришел один из его доброжелателей и конфиденциально сообщил мне, что ему случайно удалось узнать, что в эту ночь Владимир Александрович должен быть арестован,— ему необходимо спешно скрыться.

Как только Владимир Александрович вернулся домой, тотчас, не раздеваясь, он уехал к нашим друзьям Бибилашвили, где должен был меня ожидать.

Не тратя времени, я уложила в чемодан все необходимое и с большими предосторожностями отвезла на место пребывания Владимира Александровича. Когда извозчик поворачивал за угол, я различила силуэты двух полицейских, по-видимому, следивших за проходившими.

Решено было, что первым же поездом Владимир Александрович выедет из Екатеринодара. Простившись с ним, я немедленно вернулась домой. Перед уходом просила Бибилашвили и Тимонина, товарищей его по работе, проследить на вокзале за его отъездом. Утром они дали мне знать, что все обошлось благополучно и Владимир Александрович уехал.

Утром же подъехал к калитке фаэтон с полицейскими и двумя вооруженными солдатами. Было ясно, что они приехали арестовать Владимира Александровича. Начался допрос: где он, когда и куда уехал и т. д. Пришлось отвечать, что выехал уже два дня назад, куда — не знаю. Обещал прислать адрес, который я им доставлю, как получу...

Некоторое время Владимир Александрович скрывался у друзей и родственников в Москве. Наконец он решил выехать за границу. Приехав в Петербург, где на высших курсах училась наша старшая дочь Елена, и пробыв там с ней несколько дней, он сумел устроиться инкогнито, загримированным, но с ведома капитана, на одном из пароходов, шедших в Гельсингфорс. Там он уже был недосыгаем и свободно прибыл в Марсель, а затем — в Париж».

Из нашей публикации уже известно, что сразу же по приезде в Париж В. А. Старосельский вошел в контакт с социал-демократами — эмигрантами, принимал активное участие в пропагандистской группе рабочего клуба, в различных организациях эмигрантов и в третейских судах. Среди документов, которые найдены в квартире Старосельского после его смерти и сохранены А. В. Баклицкой, представляет большой

интерес переписка в связи с работой В. А. Старосельского над «Историческим очерком Грузии», а также письмо, присланное ему одним из крупнейших организаторов большевистской партии, ближайшим соратником В. И. Ленина — И. Ф. Дубровинским. Это письмо написано 8 июля 1908 года. Дубровинский жил тогда в Женеве и работал в редакции «Пролетария».

«Дорогой товарищ! — писал он Старосельскому. — Редакция очень просит Вас планы относительно статей организационн... (слово не дописано. — И. Б.) о фр[анцузском] раб[очем] движ[ении] и очерков грузинского восстания обязательно осуществить. За своевр[еменную] уплату гонорара по состоянию денежных дел поручиться можем. Сейчас посылаем 100 фр[анков] через Лядова, как и это письмо.

Пришлите Ваш адрес для денег и писем (улицу и дом знаем, фамилию — нет).

Заметка о митинге пойдет в сокращенном виде — Рубан[овича] слишком рекламировать не [с] руки, урежем его разглагольствования. Французы пушай разговоривают полностью.

Искренн[ий] тов[арищеский] привет!

И. Доров».

Далее следует приписка, адресованная дочери В. А. Старосельского Елене (И. Доров — партийная кличка И. Ф. Дубровинского).

Из донесения заведующего заграничной агентурой департамента полиции Гартинга известно, что В. А. Старосельский жил в Париже под фамилией Старова. «Товарищу М. Старову» — так было адресовано приведенное выше письмо И. Ф. Дубровинского. Но нельзя было почтой посылать на эту фамилию письма, а тем более переводы: некому будет вручать их. Поэтому Дубровинский и просит сообщить адрес, по которому бы можно было посылать деньги и письма.

Однако нас интересует сейчас упоминаемая в письме заметка о митинге. Листаем «Пролетарий». Вот эта заметка в номере от 15 июля 1908 года — «Митинг протеста». Под ней нет подписи (как и под большинством статей в «Пролетарии»), но поскольку она как раз о митинге и в ней действительно упоминается Рубанович (один из лидеров партии эсеров), можно с уверенностью предполагать, что это как раз та самая корреспонденция, о которой пишет в своем письме И. Ф. Дубровинский. В ней рассказывается о митинге протеста против поездки французского президента в Россию и ответного визита русского царя.

Письма, полученные В. А. Старосельским от М. Н. Покровского и В. А. Карпинского в 1909 году, а также черновики писем Владимира Александровича к издателю, относящиеся к 1909—1911 годам, касаются работы Старосельского над историей Грузии и дают представление о масштабах этой работы.

В публикации «Товарищ губернатор» лишь вскользь была упомянута жена Владимира Александровича — Надежда Константиновна Старосельская. Сейчас, когда дочери Владимира Александровича разрешили нам ознакомиться с письмами Надежды Константиновны мужу, видно, какой благородной, стойкой и умной была эта женщина.

Вот строки из ее писем: «...Ведь мы знали, куда идем и что нам дороже. Будем крепиться, пусть тебя бодрит то, что все наше благополучие погибло за святое дело. Если отдаться чувству, то пропадешь, останешься за бортом. Надо стоять за себя и против всех невзгод, выпавших на нашу долю...», «...Я хочу верить в то, что правда будет за нами. Тяжко, страшно тяжело, но зато светло и чисто».

Надежда Константиновна с достоинством несла свою тяжелую долю. Она не согнулась даже тогда, когда семью постигло страшное горе: не в силах смириться с подлостью царских властей, преследовавших его отца, покончил самоубийством пятнадцатилетний сын Старосельских Борис. Это случилось в мае 1909 года. Вскоре Надежда Константиновна выехала на месяц в Париж, чтобы утешить, насколько это было возможно, Владимира Александровича.

Н. А. Цапкова, первой откликнувшаяся на публикацию «Товарищ губернатор», прислала в редакцию копию письма А. В. Луначарского в Центральную комиссию по назначению персональных пенсий и пособий, когда решался вопрос о пенсии Н. К. Старосельской и ее дочери Аде. Вскоре было найдено это пенсионное дело и в нем — подлин-

ник письма Луначарского. Там оказался и другой любопытный документ — справка экспертной комиссии, в которой сообщается, что на Всероссийской сельскохозяйственной выставке 1923 года в Москве в павильоне Грузии были выставлены экспонаты основанного В. А. Старосельским питомника и над ними был помещен большой портрет Старосельского.

Особый же интерес представляет, конечно, письмо А. В. Луначарского, в котором дается исчерпывающая характеристика В. А. Старосельского. Оно написано в конце июня или в начале июля 1924 года. Привожу это письмо полностью.

«В добавление к настоящему прошению и записке (имеется в виду ходатайство о назначении пенсии семье Старосельского и записка о его научной и общественной деятельности.— *И. Б.*) сообщаю, что я встречал В. А. Старосельского за границей в то время, когда после разгрома революции 1905 года он был эмигрантом. Я могу констатировать, что В. А. Старосельский был окружен чрезвычайным уважением всех политических организаций в Париже, в особенности, конечно, социал-демократов большевиков, к организации которых он принадлежал. Во всех случаях, когда требовался особый моральный авторитет, в разных судах чести и третейских судах большею частью арбитром выбирали В. А. Старосельского, зная его ум, беспристрастность и высокое благородство. Равным образом и всякие политические вопросы или вопросы быта русской революционной колонии разрешались всегда при его участии и часто под его председательством. Я могу с полной уверенностью констатировать, что Владимир Ильич Ленин также относился к Владимиру Александровичу с большим уважением и очень ценил его.

Смерть постигла его в Париже и была большим горем для всей революционной колонии в Париже. О его прошлой деятельности мне, как и всем, было известно, что, попавши благодаря своим научным и агрикультурным заслугам губернатором в Кутаисскую губернию, В. А. Старосельский не перестал быть революционером, а наоборот, под влиянием накалившейся в 1905 году атмосферы окончательно примкнул к с.-д. партии и оказал рабочему движению на Кавказе неизмеримые услуги, чем навлек на себя бешеную ненависть всей реакции. Губернатор-революционер — это было очень ново и грозно.

Многие, не знавшие Старосельского близко, предполагали, что это какой-то курьез, что Старосельский нечто вроде попутчика, а когда подходили к нему и убеждались, что это образованный марксист и выдержанный революционер, выражали радостное изумление.

Я думаю, что память этого человека должна быть почтена предоставлением пенсии его близким, попавшим в крайнюю бедность.

Нарком по просвещению

А. Луначарский».

В Грузии чтут память Владимира Александровича Старосельского, высоко ценят его заслуги перед народом. Постановлением Совета Министров Грузинской ССР от 1 декабря 1966 года Сакарской опытной станции Научно-исследовательского института садоводства, виноградарства и виноделия Грузинской ССР присвоено имя В. А. Старосельского. Намечен также ряд других мер по увековечению памяти этого замечательного человека. Готовится монография о его научной и общественной деятельности. Грузинская студия научно-популярных и документальных фильмов выпускает посвященный В. А. Старосельскому фильм «Товарищ губернатор».

И. БРАЙНИН.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

М. Рубинчин. Мгновения и время.— **Е. Краснощекова.** В процессе роста.—
Б. Рифтин. За тридцать земель от Боккаччо.— **Р. Орлова.** Страна Грина.

ПОЛИТИКА И НАУКА

А. Вебер. Уроки истории.— **К. Тарновский.** Бонапартизм, дума, революция.— **С. Владимиров.** Науковедение.— **Мих. Цунц.** Покорители Енисея.—
Г. Ханин. Новое во внешней торговле.

Литература и искусство

МГНОВЕНИЯ И ВРЕМЯ

В. Лихоносов. Что-то будет. Рассказы. Западно-Сибирское книжное издательство. Новосибирск. 1966. 160 стр.

Виктор Лихоносов. Вечера. Рассказы. «Советская Россия». М. 1966. 94 стр.

Если нуждается в подтверждении та про-
стая истина, что следить за непримет-
ным течением обыденной жизни, воссоз-
данным пером одаренного художника,
всегда по-новому интересно, то рассказы
Виктора Лихоносова являются таким под-
тверждением. Молодой писатель ведет по-
вествование в традиционной спокойной ма-
нере, не упускающей полутонов, оттенков,
точных подробностей.

Обыденная жизнь выступает у Лихоно-
сова в разном своем качестве. Когда всля-
котный весенний день на окраине сибир-
ского города собираются старинные под-
ружки в доме у одной из них, то мы слы-
шим сначала обычные бабьи пересуды:
уличные новости, незлые сплетни, советы
по хозяйству... (рассказ «Домохозяйки»).
Каждую из пожилых женщин можно
узнать по «голосу», по характеру разгово-
ра: добросердечную хозяйку дома Варю,
«развеселую» Мотьку Толстую, любопыт-
ную Устенку, быструю Мотьку Чернень-
кую. Они и просто судачат, и вспоминают
прошлое. Оказывается, день, в который
женщины собрались, не просто весенний
день, а девятое мая.

Здесь ведется горький счет своим поте-
рям и лишениям войны, хотя слова о по-
гибших вызваны не специальным ритуалом
поминовения, а вырвались как бы случай-
но и бессознательно в самой что ни на есть
житейской обстановке, в бытовой беседе.
Если говорят о бывшем как о нынешнем—
значит, память, затрагивающая кровное,
близкое, живет, она еще ранит. Недаром
Устенка удивляется: «Смотри-ка, как
зрел прошло.. а кажется, недавно война
была».

Верно, есть в жизни такие зарубки, что
не стираются под волоком годов, а, наобо-
рот, проступают все явственнее сквозь
толщу времени.

В рассказах Лихоносова звучит людское
многоголосье, он умеет передать живые
интонации героев, чисто индивидуальные,
не заглушенные единым тоном «народного
говора». Может быть, потому это ему удает-
ся, что, как признается сам рассказчик,
крепко памяты ему разные люди, те, кого
он встречал в пути, «кто нерастанно жил
со мной все эти годы». Внутренний мир
человека, его душевное состояние, скрытые
побуждения старается постигнуть автор,

описывая те или иные жизненные ситуации.

Прежде чем на хуторе (рассказ «Женские слезы») был устроен громкий безобразный скандал, мы многое узнали о виновнице его — Дуне. Узнали, как шла на ночь глядя эта женщина от станицы до хутора, где работает муж Семен, двенадцать километров, держа в руках палку, «чтобы легче и небоязней идти». А позади остался тяжелый заботами день, дети в доме без присмотра. Точат сердце Дуни слухи об измене мужа, в ней закипает злоба, обида, возмущение. Но, шумно изливая свое горе и гнев, женщина все-таки не отрезает пути к примирению с мужем. Если он одумается, она знает, что простит его ради сохранения семьи, — «не она первая» такая.

«Разлучница» Стеша с самого начала смирилась с тем, что у Семена две семьи, и чем отчаяннее была ненормальность этого положения, тем больше старалась она воспринимать его как обиходное, заурядное, привычное. И облегченно радовалась своему спокойствию, тому, что «ни о чем не думается», не хотела загадывать на будущее. «Пусть уж как есть».

Однако упования Стеша на то, что жить можно и так, разлетаются вдребезги, как стекла в ее доме под ударами палки Дуни, шумевшей под окнами соперницы. Так уж выходит, что желание безвольно раствориться в слитном потоке дней не служит надежной опорой.

Вызывая в читателе искреннее сочувствие к нелегкой судьбе обеих женщин, автор показывает в то же время, что в кризисные, решающие минуты их жизни дурную роль сыграл заразительный стереотип поведения, бытовая норма, с помощью которой решаются такого рода конфликты и у многих других людей. Формула быта претендует на значение формулы бытия: «живи моментом», поскольку этот момент и есть единственная, сегодняшняя, твердая реальность. Такое мироощущение опасно, и его легко используют люди пустые, эгоистические, такие, как, например, один из героев рассказа «Что-то будет».

На проселочной дороге случайно встретились два парня — Николай и Василий. Николай просит прикурить, и вспыхнувший на мгновение огонек освещает его «сытое лицо и хмельные навывкате глаза». Моментально, резко прояснены и жизненные пра-

вила Николая в его похвальбе и разоблачающих «мужских» откровениях: «Я в армии с одной гулял, так я такую политику повел: она никак не поймет — люблю я ее или нет. Э, в том-то все и дело!.. А я теперь могу водку пить, баб водить — все простит. Понял?» Николай уже сообразил, что легче держать в повиновении близкого человека, если истинное отношение к нему прячется в тумане и он вынужден теряться в догадках, чувствуя себя при этом униженным, подавленным, неуверенным.

Выслушавая наглые разглагольствования встреченного на дороге парня, Василий едва сдерживается, чтобы не ударить его. Но странное дело: дурная расчетливость деревенского «прожигателя жизни» заразительна и временами отзывается в отношениях двух хороших людей — порвавшей с Николаем его невесты Зины и Василия. В исчезающей и вновь появляющейся между юношей и девушкой отчужденности сквозит недоверие друг к другу. В рассказе нет определенного «счастливого конца», однако автор своим утверждающим «что-то будет» подсказывает читателю: все это было не зря.

Произошло некоторое изменение понятий о нравственных нормах. В глазах Зины уже не имеет никакой цены предложение Николая продлить отношения с ним и даже их «узаконить», поскольку он вообще нестоящий человек. Зато становится яснее, что едва-едва пробившийся на свет, неокрепший росток настоящего чувства надо беречь.

Виктор Лихоносов затрагивает проблемы не пустые. Но вот когда он старается придать им более общий, философический характер, ему еще не удается это сделать убедительно. Пока речь идет о положительных моральных принципах или потребительском, спекулятивном отношении к людям и жизни, тогда и простое контрастное сопоставление говорит само за себя. А если вопрос взят совсем в иной плоскости? Если предстоит сделать выбор, что ценнее в человеческом существовании — сладость редких насыщенных «счастливых мгновений» или верность, нравственная основательность?

Виктора Лихоносова тревожит эта тема. «Счастливые мгновения» — так назван рассказ, сюжет которого довольно банален. В нем описывается увлечение популярного московского киноартиста Олега молодень-

кой колхозницей Липой. Судьба свела их случайно, на натуральных съемках кинофильма в Липиной деревне. Девушка старается думать только о своем женихе Лешке и пытается, но не может избежать мыслей о располагающем к себе молодом артисте и тянется к нему, «простому, славному». Хмель увлечения дурманит голову и Олегу, но не слишком. «И эта простая девчонка, и я вдруг с ней, и нет ее уже, а я стою, как мальчик, посреди дороги. Мокну... К парню своему побежала. И я не догону. Благословляю даже... Дождь, ночь, редко так бывает...» — так он чувствует себя после свидания, упиваясь своей загородной позой.

Старания автора создать особый поэтический ритм фраз пропадают даром: режут глаз шаблонные литературные приемы, повторение союза «и» («и я вдруг с ней, и нет ее... И я не догону»), которое должно выразить лирическую настроенность героя, коробит своей искусственностью. Коробит искусственностью и само «благословение» Олега. Мимолетным и необязательным было увлечение, никак не потрясающим человека до основания «солнечным ударом». Оттого и главная мысль рассказа — «верная жизнь» выше счастливых мгновений — не выглядит значительной и выстраданной. Амплитуда душевных движений героев в одну и в другую сторону невелика.

Быть может, не стоило подробно останавливаться на отдельной авторской неудаче. Ведь «Вечера» и «Что-то будет» — первые книжки Лихоносова. Мы читаем их с интересом. Несомненно обширен, разнообразен круг наблюдений автора. В его поле зрения оказались Сибирь и юг, село

и город, молодые интеллигенты и деревенские бабы. И в лучших вещах он достигает достоверности и полнокровия в нарицательной им картине жизни, тонкости психологического рисунка, пластики изображения.

Все же, если говорить о направлении писательских поисков, хотелось бы, чтобы они шли с равной основательностью и вширь и вглубь. Не может не вызвать уважения стремление писателя не «отрываться» от земли, не сбрасывать со счета существующие в действительности отношения людей между собой. Разумеется, откуда извне, помимо сферы нужд и забот повседневного человеческого бытия, страданий, споров и размышлений людей, не явится озаряющая жизнь высшим духовным светом мысль и страсть, не снизойдет главная идея, цементирующая разнородность и пестроту мелочей жизни.

Кто не мечтает о том, чтобы каждое мгновение и все время его жизни было прекрасным, одухотворенным, полным? Ведь еще слишком часто заботы и цели мимолетные, ничтожные, злые засоряют душу и ум, а истинные, непреходящие ценности жизни проскальзывают сквозь пальцы. Большое искусство — уметь ощутить мир и человеческую индивидуальность во всей их прелести и неповторимости. Еще большее искусство — уметь постигнуть связь явлений в повседневном течении жизни, распознать, что именно не дает человеческой индивидуальности раскрыться по-настоящему, так, чтобы моменты личной судьбы достойно вошли во время общего человеческого бытия.

М. РУБИНЧИК.

★

В ПРОЦЕССЕ РОСТА

Л. М. Ф а р б е р. Советская литература первых лет революции (1917—1920 гг.). «Высшая школа». М. 1966. 256 стр.

Советская литература 20-х годов (Материалы межвузовской научной конференции). Южно-Уральское книжное издательство. 1966. 386 стр.

Проблемы развития советской литературы 20-х годов. Сборник статей. Издательство Саратовского университета. 1963. 160 стр.

Из истории советской литературы 20-х годов (Материалы межвузовской научной конференции). Иваново. 1963. 264 стр.

В литературной науке наших дней приобретают все больший вес работы преподавателей многочисленных вузов страны. Пренебрежительный оттенок, который раньше вкладывался в понятие «периферийная

наука», ныне и в этой области окончательно изжил себя. Доказательство тому — всесторонняя разработка периферийными авторами сложных проблем советской литературы двадцатых годов. Только за последние

годы издано три сборника статей, посвященных двадцатым годам: саратовский, ивановский, челябинский. Они включают работы литературоведов Одессы и Горького, Челябинска и Кустаная, Кемерово, Уфы, Стерлитамака, Бирска, Свердловска, Семипалатинска и других городов. Советской литературе первых лет революции (1917—1920) посвящена книга горьковчанина Л. Фарбера.

Если сопоставить сборники, вышедшие в 1963 году (ивановский, саратовский), с изданными в 1966 году книгой Л. Фарбера и челябинским сборником, то становятся очевидными некоторые новые тенденции, характерные именно для работ середины шестидесятых годов.

Лет десять назад исследователи вновь обратились к изучению литературы первого послеоктябрьского десятилетия во всей ее полноте, сложности, противоречиях. Понятно, что первым стремлением было расширить круг изучаемых фактов, накопить новые сведения, ввести в оборот свежий материал. Сборники саратовский, ивановский (последний в особенности) отразили этот момент исследовательской работы. Именно «новой информацией» интересны прежде всего статьи П. Куприяновского о повести Д. Фурманова «В восемнадцатом году», Л. Берловской о творчестве А. Неверова, А. Жуйковой о фельетонах М. Кольцова и другие.

Можно ли утверждать, что ныне изучение литературы двадцатых годов в этом плане вполне завершено? Конечно, нет. Поиски несправедливо забытого, малоизученного продолжают идти. Тем не менее в наши дни вырисовывается иная ведущая тенденция: рассмотреть каждое явление прежде всего как этап литературного процесса, как часть целого.

Единство замысла — преимущество челябинского сборника перед ивановским и саратовским. Даже в названиях статей (Е. Барковская, «Пути становления социального реализма в русской советской лирике начала 20-х годов»; А. Микешин, «Из истории споров о романтизме в советской литературе и критике 20-х годов»; Э. Шик, «Роман В. Зазубрина «Два мира» и отражение гражданской войны в советской литературе 20-х годов») обнаруживается направленность книги: попытаться прежде всего уяснить ведущие закономерности развития литературы тех лет. Однако

ограничение материала привычным узким кругом имен (эта болезнь прошлых лет) здесь, к сожалению, еще напоминает о себе.

Книга Л. Фарбера «Советская литература первых лет революции (1917—1920 гг.)» рекомендована в качестве вузовского пособия. Отсюда в ней больший, чем в монографиях, процент «информационного материала», намеренное расчленение литературного потока на «узловые звенья», большая четкость изложения. При этом книга несет в себе признаки подлинно научного издания, цельного, добротного. Сближает книгу Фарбера с челябинским изданием проблемность анализа. «Узловые звенья» книги (творчество пролетарских поэтов, Блок — автор «Двенадцати» и «Скифов», Есенин в его отношениях с Клюевым и имажинистами, проза первых лет революции, Маяковский и футуристы, Горький в очень сложные для него годы) рассматриваются в свете новаторства и традиций в ранней советской литературе.

Не удовлетворяясь чисто «эмпирическим» подходом, Л. Фарбер, как и авторы челябинского сборника, исходит из стремления по-новому взглянуть на литературу изучаемой эпохи.

Интересно посмотреть, насколько успешно реализуется это намерение, каковы удачи авторов на этом пути и в чем еще напоминает о себе инерция мышления, сформировавшегося в трудные для литературной науки годы.

Соседство таких двух глав книги Л. Фарбера, как «Двенадцать» Александра Блока» и «Пролетарская поэзия», наглядно демонстрирует ее неровность. Глава о Блоке — лучшая в книге, «свой взгляд» на «Двенадцать» подтвержден тонким анализом художественной структуры поэмы. В главе же о пролетарской поэзии все сводится к наблюдениям, лежащим на поверхности: «Новаторство — это прежде всего умение увидеть черты нового человека», «новаторством был сам призыв к защите родины», «мы видим новаторство пролетарских поэтов и в начале разработки ими темы труда» и т. д. Правда, автор замечает, что новой тематикой проблема не исчерпывается: «Надо это увиденное новое превратить в художественное видение». Тем не менее в книге все художественное своеобразие пролетарской поэзии сведено к одному признаку — «лозунговости», о котором говорится на пяти страницах.

Работа Л. Фарбера в этой своей части возвращает читателя к середине пятидесятих годов, когда достижением могло считаться разрушение дурных «легенд» вокруг имен пролетарских поэтов, и этим был хоть отчасти оправдан узкотематический анализ их творчества.

Отступлением от передовых рубежей науки выглядит и глава, посвященная поэзии Д. Бедного и В. Маяковского. Особенно уязвима расплывчатая, неоправданно расширительная трактовка самого понятия новаторства этих поэтов. «Д. Бедный и В. Маяковский не «изображали», не «изучали», не «слушали», не «рисовали» революцию,— пишет Л. Фарбер.— Они делали революцию, воевали за нее своим искусством, ниспровергая врагов и славя друзей. Это и было новаторством». Как видно, автор не разграничивает новаторскую позицию художника, новаторское содержание самой эпохи и поэтическое новаторство как таковое. А ведь речь идет о стержневой проблеме книги, и тут четкость необходима.

Опасность упрощения подстерегает автора книги и тогда, когда он, вероятно в целях учебно-дидактических, прибегает к ярким сопоставлениям и противопоставлениям, требующим от ученого особой точности и тщательности.

В разделе «Два принципа художественного изображения революции» Л. Фарбер пишет о прозаиках первых послереволюционных лет П. Бессалько и Б. Пильняке. Для Фарбера творчество этих писателей наиболее полно воплощает противоположные идейно-художественные направления в прозе того времени. Бессалько — певец нового, Пильняк — умирающего, уходящего, обреченного на гибель. «Так, например, главное произведение Бориса Пильняка тех лет называется «Смерти», центральное произведение Павла Бессалько — «К жизни». Пильняк — эпигон критического реализма, Бессалько — один из пионеров советской прозы, стоящей у начала социалистического реализма». Налицо четкость и категоричность противопоставления. Но насколько оно справедливо? Не идет ли в данном случае категоричность в ущерб истине?

Действительно, Б. Пильняк в 1914—1917 годы эксплуатировал без меры (что вообще свойственно его индивидуальности) бунинско-шмелевские мотивы умирания дворянских усадеб. Они же звучат и во многих его рассказах пореволюционной поры. Но ведь

в эту пору рождается и новый Пильняк, автор «Голого года» (1921) — романа о революции. В 1919 году Пильняк создает известный рассказ «При дверях». Автор книги цитирует комментарий писателя к новелле: «Этот рассказ — звено из цепи рассказов о Прекрасном Лице Революции. И этот рассказ — о прошлогоднем снеге, истаявшем под забором». «Здесь весь Пильняк,— пишет Фарбер,— революция и... прошлогодний снег». Да, у Пильняка эти два мотива — ведущие, но исследователь, увлекшись прямолинейным противопоставлением, игнорировал первый из них — мотив революции.

Почти все авторы челябинского сборника избрали такие темы статей, которые в самом своем существовании проблемны, требуют самостоятельных широких выводов. Да и в решении конкретных тем (к примеру, статья Э. Дергачевой «Повесть Л. Н. Сейфуллиной «Перегонной») современные требования литературной науки тоже заявляют о себе: отдельное произведение широко соотносится со всем процессом развития искусства того времени. К сожалению, однако, не во всех статьях сборника заявка реализуется с полной убедительностью. И одна из причин этого — малое внимание к вопросам стиля, художественного многообразия поэзии и прозы двадцатых годов.

Статья И. Монаковой называется «Логика развития действия в прозе 20-х годов как элемент метода». Автор противопоставляет произведениям двадцатых годов, сюжет которых направляется логикой классовый борьбы («Неделя», «Железный поток», «Падение Даира», «Мятеж» и другие), произведения, где сюжет формируют личные столкновения героев («Барсуки», «Города и годы», «Ветер»). Предпочтение отдается, понятно, произведениям первой группы: логика развития действия, избранная Л. Леоновым, автором «Барсуков», по словам И. Монаковой, сильно «ограничила большого художника в глубине и объективности изображения жизни, лишила его возможности раскрыть психологию революционного, передового крестьянства».

Но ведь, создавая свой первый роман «Барсуки», Л. Леонов и не стремился «раскрыть психологию революционного, передового крестьянства». Он хотел проследить те запутанные тропы, которые привели отсталую мужицкую массу в революцию, и сюжет, изобилующий неожиданными пово-

ротами, «боковыми ветвями», как раз отвечал этой задаче.

В. Охитин, автор статьи «Пути развития русского советского рассказа 20-х годов», разрабатывает тему почти неисследованную. Двадцатые годы — период расцвета новеллистического дарования А. Толстого и К. Федина, Вс. Иванова и И. Бабеля, И. Катаева и А. Платонова. В статье использован большой забытый материал. Автор имел право ограничиться этим начальным освоением темы, но он стремится к большому: совершает «вылазки», подчас, правда, तोпропливые, в область идейных, стилевых разграничений, широких обобщений. Но его выводы порой вызывают несогласие...

Вот, к примеру, автор обращается к проблеме героя в рассказах двадцатых годов: «Серафимович, Либединский, Аросев, Ляшко, а за ними Замоиский, Дорогойченко, позднее Шолохов, Иван Катаев выдвинули образ коммуниста на первый план. По иному пути пошли Бабель, Сейфуллина и Неверов. Они как бы уравнили коммуниста-руководителя с рядовыми бойцами революции, причем Бабель снизил коммуниста до рядового бойца (начдивы принципиально ничем не отличаются от конармейцев), а Неверов и Сейфуллина показали, как рядовой крестьянин тянется к коммунистам и становится вровень с ними». Не говоря уже о том, насколько надуман сам принцип этого разграничения, поражает «винегрет» из имен писателей, чрезвычайно различных.

Еще недавно в рецензиях на работы о двадцатых годах привычными были упреки в недостаточной «включенности» произведения в общий литературный процесс. Ныне, если судить по некоторым статьям сборника, наметилась противоположная тенденция: во что бы то ни стало найти максимум связей произведения, героя с современными ему произведениями, героями; сопоставления нагнетаются без меры, без достаточной мотивированности.

В статье В. Баранова «Аэлиты» А. Н. Толстого и советская литература 20-х годов» роман А. Толстого оказывается связанным (по «линии» «космос — техника — любовь») с чрезвычайно разными явлениями литературы первой половины двадцатых годов и в первую очередь с поэзией Пролеткульта (кстати, характеризуемой очень приблизительно). Автора статьи не беспокоит, что космические мотивы у Толстого и пролетарских поэтов имеют разное напол-

нение. В. Кириллов, М. Герасимов, А. Дорогойченко и другие обращались к космическим образам прежде всего в поисках поэтического выражения небывалой масштабности революционных событий, не укладывающихся в «земные измерения». Надо ли говорить, что космос в фантастическом романе А. Толстого имеет иное значение. Еще более «притянутыми» выглядят сравнения «Аэлиты» с пролетарской поэзией «по теме любви» (выражение автора). Ведь любому читателю бросится здесь в глаза несходство, а различия. Еще менее убедительны сопоставления «по теме любви» «Аэлиты» с произведениями Горького и Маяковского той поры.

Не удивительно, что при таком подходе все индивидуальное, собственно «толстовское» в «Аэлите» исчезает из статьи.

В каждой из четырех книг, рассматриваемых нами, специальные разделы посвящены политике партии в области художественной литературы, литературным группировкам двадцатых годов. Нередко своими конкретными выводами, логикой доказательств эти разделы спорят друг с другом. Но тем более примечательно единство общих посылок всех авторов. Не соглашаясь с В. Ивановым, который в книге «Формирование идейного единства советской литературы» (М. 1960) разницу между группировками «усматривает преимущественно в их социальном положении: одни из них пролетарские, другие — буржуазные», А. Киреева (автор статьи «Литературные группировки 20-х годов и Пролеткульт») в ивановском сборнике пишет:

«Ведь кроме классовой борьбы действовали и факторы другого порядка, вытекающие из специфики литературы как искусства. К их числу нельзя не отнести сложный и противоречивый процесс теоретического осмысления проблемы художественного метода советской литературы, который не мог не порождать взаимной борьбы разных точек зрения на него». Такова же исходная позиция и других исследователей, пишущих о РАППе, ЛЕФе, Пролеткульте и т. д.

Центр полемики перенесен в область оценки состоятельности, перспективности той или иной эстетической платформы, ее сложных связей со временем. П. Бугаенко в статье «А. В. Луначарский и Пролеткульт» и Л. Фарбер в своей книге стремятся каждый по-своему объяснить, почему изменилось — на первый взгляд неожиданно

резко — отношение партии к Пролеткульту: в 1918 году Ленин приветствовал I конференцию Пролеткульта, а письмо «О Пролеткультах» (1920) осуждало многое в теоретических построениях и практике этой организации. П. Бугаенко считает, что причину надо искать в эволюции самой организации от первого этапа (1917—1919) ко второму (1920), на который в основном и распространяется партийная критика. Л. Фарбер же, обращая серьезное внимание на проникновение богдановщины в Пролеткульт, рассматривает в эволюции, в движении и саму политику партии. «Нельзя считать, что у партии в годы гражданской войны были сложившиеся, отстоявшиеся принципы руководства литературой, искусством. Дело это абсолютно новое в мировой практике, и партия искала формы руководства литературой». Положение Фарбера не претендует на роль исчерпывающего аргумента, но ко многим факторам добавляет еще один, и довольно существенный. В этом преимущество его позиции.

Интересны статьи Л. Кишинской (челябинский сборник) и А. Артюхина (саратовский сборник), посвященные развернувшейся в 1923—1924 годах полемике редактора «Красной нови» А. Воронского с критиками журнала «На посту».

Эстетические платформы группировок двадцатых годов долгое время рассматривались изолированно друг от друга. Между тем поучительно, к примеру, проследить, как эстетические положения перевальцев, чья программа оформлялась в резкой полемике с левовцами, превращались в суждения крайне спорные именно в силу полемиического отталкивания от лозунгов противника (как ответ на левовский тезис «художник прежде всего производственник» родился перевальский лозунг «моцартианства»; на левовский «социальный заказ» перевальцы ответили требованием «искренности в литературе» и т. д.). Статья Л. Кишинской «В спорах о новом искусстве» тем и ценна, что в ней рассматриваются не позиции РАППа и Воронского сами по себе, а процесс рождения каждой из платформ во взаимной острой полемике. Автор статьи устанавливает слабые и сильные стороны оппонентов. Однако заключительные выводы несколько разочаровывают своей бесстрастностью: «...Нельзя зачеркивать то положительное, что было у Воронского и критиков из «На посту». В первой половине

20-х годов развернутая ими дискуссия привлекла внимание к важнейшим вопросам современного литературного развития». А вот какое объяснение получают заблуждения спорящих: «Групповые пристрастия, идеологические и вульгаризаторские ошибки оказались тем препятствием, которого не смогли преодолеть ни Воронский, ни руководители «На посту».

Не восторжествовала ли здесь та холодноватая «объективность», которая тоже не на пользу литературной науке? Или дает себя знать исследовательская робость? Нам кажется, причина в последнем. Проще всего отвесить равную меру «грехов» Воронскому и его противникам, но это ли путь к выяснению истины? Куда полезнее поискать источник заблуждений Воронского, — ведь речь идет о наиболее плодотворном периоде его работы (1921—1924).

Л. Кишинская упрекает Воронского в том, что он, занятый поисками аргументов, подтверждающих его теории, «направляет свое внимание главным образом на тех писателей, в творчестве которых он находит обнажение... простого, нутряного, примитивного» — то есть на Л. Сейфуллину, Вс. Иванова, И. Бабеля, Л. Леонова. Здесь все поставлено с ног на голову. Не для подтверждения своих теорий Воронский обращается к «тем писателям» — сами эти теории рождаются в процессе анализа их творчества. Подлиннее же и серьезные ошибки допустил критик, когда концепцию, рожденную из опыта ранней советской прозы, попытался превратить в ключ к литературе более позднего времени, иной по существу.

Сознательно или случайно Л. Кишинская уходит и от другого объяснения крайностей многих суждений Воронского. Напостовцы в 1923 году объявили войну редактору «Красной нови» и его литературной политике. Под лозунгом «на войне, как на войне» они обрушились на «попутчиков», печатавшихся в журнале «Красная новь», каскад политических обвинений. Защищаясь, Воронский подчас утрировал свои принципы. Именно на это обстоятельство обратил внимание А. Луначарский в «Тезисах о политике РКП в области литературы», написанных в период подготовки исторической партийной резолюции 1925 года (опубликованы в 74-м томе «Литературного наследства». М. 1965). Мотив борьбы за гегемонию в литературе, за право представлять

партию в критике, привнесенный в дискуссию напостовцами, безусловно влиял на полемику по эстетическим вопросам, сильно осложняя, искажая принципы критики Воронского.

Работа А. Артюхина «Из истории борьбы за партийное руководство в литературе» интересна прежде всего использованными в ней малоизвестными материалами: доклады А. Воронского и напостовцев на Литературном совещании при Агитпропе ЦК РКП(б) 9 мая 1924 года, явившемся важным этапом подготовки резолюции 1925 года, выступления на этом совещании видных работников партии. Но статья А. Артюхина огнюдь не только «информационна». Автор пытается объективно, всесторонне обсудить аргументы спорящих. В оценке их позиций он опирается прежде всего на дальнейший опыт советской литературы. «Сейчас, спустя почти сорок лет, перечитывая полемику А. Воронского с журналом «На посту», мы, — пишет Артюхин, — ясно видим, что со многими положениями статей критика необходимо со-

гласиться, учитывая позиции напостовцев. Как человеку, весьма тонко разбирающемуся в литературе и искусстве, А. Воронскому претил вульгаризаторский и упрощенческий подход журнала «На посту» к вопросам литературы. Совершенно справедливо брал он под защиту писателей беспартийных, одновременно глубоко анализируя и подвергая критике их творческую продукцию. Среди этих писателей были в то время Вс. Иванов, Н. Тихонов, С. Есенин, К. Федин, Л. Леонов, впоследствии советские писатели с мировой известностью».

Новые книги о двадцатых годах — доказательство интенсивного движения советского литературоведения в последнее десятилетие. Поэтому естественны «болезни роста», с такой определенностью обнажившиеся в разбираемых работах, и при всем этом в них заметны нетерпение поиска, плодотворное стремление идти навстречу новому, глубже освещать историю советской литературы.

Е. КРАСНОЩЕКОВА.



ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ ОТ БОККАЧЧО

Прodelки Праздного Дракона. Шестнадцать повестей из сборников XVII века. Перевод с китайского Д. Воскресенского. «Художественная литература». М. 1966. 490 стр.

Ровно в два часа дня в дощатом домике, что на Небесном мосту в Пекине, из-за высокой конторки встает средних лет человек и, резко ударив деревянным черным брусочком по столу, говорит примерно так: «Суббота — сегодня, и вы размышляете, куда бы пойти. В театр? Так билеты трудно достать. В кино? Темно в зале, того и гляди, глаза заболят. Не лучше ли на Небесный мост сходить? Здесь сказ под барабан можно бы послушать, да шумно очень, в ушах звенеть будет. Лучше, конечно, пойти на пиншу — рассказы в прозе. Да и я рассказываю-то как? Если бы плохо, так ведь вы бы и не пришли». За этим вступлением, которое, в общем-то, не обязательно, но кое-что в известном смысле было ритуалом, следовало основное повествование о героях давнего и недавнего прошлого, о партизанах, разведчиках, подпольщиках.

Так живет, а точнее жило еще год тому назад, традиционное искусство китайских народных сказителей, насчитывающее не

менее тысячи лет. Это искусство подарило своей литературе немало шедевров, и народную повесть, и историческую эпопею, роман приключений и любовный роман, которые начиная с XVII—XVIII веков становятся популярны и в других странах Востока и Запада.

Повести, собранные в книге «Прodelки Праздного Дракона», изданы были в Китае в XVII веке. Выросшие из городской культуры, они сродни многим новеллам «Декамерона». Перед нами городская повесть, порой нарочито прямолинейная, а порой многоплановая, чем-то по типу и по фабуле сходная то с итальянской новеллой, то с арабскими народными повестями, известными читателю по сборнику «Плутовка из Багдада». Только в китайской повести гораздо большее значение имеет намек, пример, аналогия. По принципу аналогии — близкой или далекой — рассказы соединяются в одну небольшую повесть. Аналогия требует от читателя знания легенд

или случаев из многовековой китайской истории. (Здесь ему помогают комментари Д. Воскресенского.) И, прорвавшись сквозь эту преграду, читатель попадает в мир, где действуют законы мира реального, потому что китайские сказители умели показать даже чудесное и легендарное с такой силой действительности, что в это хочется поверить. Где еще вы прочтете о лисах, которые, усевшись под деревом, заняты чтением какой-то, видимо веселой, книги, или о женщинах-оборотнях, которые помогают герою деньгами и советом в торговле?

Герои повести — ученые, торговцы, монахи, чиновники, певички, то есть сословный мир средневекового города, в котором деньги приобретают все большую власть. Городская повесть обычно сосредоточивает свое внимание на изображении плутовства и мошенничества. Таковы новеллы «Проделки Праздного Дракона» и «Злоключения хвастуна». Здесь вор еще не превратился в героя вполне отрицательного, обычно он смел и ловок.

Лин Мэн-чу, один из наиболее известных прозаиков XVII века, писал: «Люди удивляются духам и чертам в образе буйволов и удавов... Но люди не ведают, что в обычной жизни, которая лежит в пределах их глаз и ушей, гораздо более странного и загадочного, не поддающегося объяснению». Стремление объяснить необычное через обычное было новым для китайской литературы. Человек из города утверждал себя, свое право на талант и профессиональное умение (пусть даже в таком сомнительном деле, как воровство, или хотя бы в игре в шашки). Это очевидно уже в первом рассказе «Игрок в облавные шашки», где сталкиваются разные мнения односельчан: одни утверждают, что герой перенял свое недоступное для других искусство игры от небожителей, другие говорят, что «просто-напросто у Го-нэна особый талант, и к тому же он бесперывно, без усталости упражняется в своем искусстве. А рассказы про даосов и духов, которых он якобы видел, годны только на то, чтобы дурачить глупцов».

Конечно, не все повести так реальны. Во многих еще силен буддийский мотив наказания за прежние грехи, и трагический исход венчает повествование. Пестрота сборника отражает и разное происхождение повестей. Некоторые из сюжетов родились еще в XII—XIII веках и пришли в литературу из устной народной стихии сказа. Другие, яв-

димо, писались литераторами уже в подражание народному повествованию.

Сборник повестей, подготовленный Д. Воскресенским, заметно отличается от ранее вышедших в русском переводе «Удивительных историй нашего времени и древности». Казалось бы, и то и другое — повести одного времени и стиля. Однако, как правильно замечает Д. Воскресенский (в интересном послесловии, почему-то помещенном среди комментариев), «Удивительные истории...» отобраны были в свое время в Китае с оглядкой на принципы конфуцианской морали. «Проделки Праздного Дракона» неожиданно приоткрывают перед нами иную стихию, более живую, более народную, немного даже балаганную, с хитрыми проделками мошенников и блудодеев, оборотней и лис. Именно в этом открытии неизвестной ранее нашему читателю струи народной литературы — основной смысл этой забавной и увлекательной книги, вышедшей с интересным предисловием В. Шкловского.

В рецензиях на переводы с языков западных обычно не часто говорится о качестве переводов. Как правило, они сделаны хорошо. В переводах же с восточных языков, где еще нет большой традиции и культуры перевода, вопрос этот обойти нельзя. В целом проза в переводе Д. Воскресенского и стихи, очень разные в оригинале, в переводе Л. Черкасского читаются легко, хорошо передают китайский текст. Но есть отдельные случаи, о которых хочется поговорить.

Старинная китайская литература выработала свои способы выражения мысли, не всегда легко переводимые. И дело переводчика — передать эту национальную специфику. Странно, например, читать в переводе с китайского про красавицу, тело которой «казалось упругим, словно свежесбитое масло» (стр. 187). Известно, китайцы не пьют молока и не сбивают масла. Так же неудачно сравнение колотящегося сердца с грохотом пустых ведер. Ассоциации уводят современного русского читателя к нынешним цинковым ведрам, которые действительно грохочут. В подлиннике, конечно, иное сравнение. Иногда китайский образ просто пропадает в переводе. Так, на странице 435 говорится о том, что на языке звахи и «Ши Чун станет беднее последнего нищего, а Фань Дань богаче любого богача». В оригинале куда образнее: «У Ши Чуна будет так мало земля, что некуда и шил»

вогнуть, а у Фань Даня земли окажется десять тысяч цинов». Попадаются у переводчика и некоторые неточности, ставшие уже традиционными, вроде перевода циня (цитры) как лютни или «туфли из конопли» вместо «туфли из пеньки» (стр. 92). Но такие погрешности в книге все-таки исключение.

А вот оформление книги (художник Ю. Красный) вызывает удивление. Оно сделано без уважения к читателю: неспециалист-де все равно не поймет. Вероятно, поэтому на переплете мы видим всадника в корейской шляпе, лис на странице 329 несет европейскую книгу, герсы пьют из европей-

ских рюмок, сидят за корейским столом у корейского окна, пируют с красавицами а ля эпоха Тан (только тогда были идеалом такие круглолицые женщины). Трудно предположить, чтобы у нас могла выйти книга, где рассказ о Пушкине был бы сопровожден портретом Ломоносова. А вот к повести «Три промаха поэта» вместо классика XI века Су Ши изображен первый поэт Китая Цюй Юань (IV век до н. э.). Можно возразить, что художник имеет право на собственное понимание и трактовку. Бесспорно, но только тогда, когда за этим стоит настоящее знание материала.

Б. РИФТИН.

★

СТРАНА ГРИНА

Грэхем Грин. Комедианты. Роман. Перевод с английского Н. Волжиной. «Иностранная литература», №№ 9, 10, 1966.

В Англии давно уже говорят о «Гринландии» — фантастической стране писателя Грэхема Грина. Однако действие четырех его последних романов происходит, казалось бы, в реальных обстоятельствах — во Вьетнаме («Тихий американец», 1955), на Кубе («Наш человек в Гаване», 1958), в Конго («Ценой потери», 1961) и вот теперь, в «Комедиантах», — на Гаити. Карта поездок писателя напоминает пособие к уроку современной политической географии. Сама действительность словно гонится за Грином, неожиданно дополняя его романы. Однажды журналист попросил Грина не ездить в одну из стран Юго-Восточной Азии, уверяя, что его приезды всегда предвещают колебания политической почвы. Однако дело, конечно, вовсе не в том, что Грин будто бы обладает даром политических предвидений. Войны во Вьетнаме, на Кубе, горе Гаити отзываются в сердце англичанина Грина, живущего в одной из самых благополучных стран на земле. Ведь трещина, расколовшая мир, и сегодня проходит сквозь сердце поэта.

...Пароход «Медее» подходит к берегам Гаити. Прощальный вечер самодетельности. И негр Фернандес почему-то плачет перед ничего не понимающей публикой.

Это увертюра — смысловая и музыкальная, введение в тот мир, где бредут люди, отгороженные взаимной почти непроницаемой отчужденностью, с трудом пони-

мающие, даже с трудом слушающие друг друга. Мир, где одно и то же слово, одно и то же понятие воспринимаются совершенно по-разному.

Грин часто сомневается: а существует ли вообще объективная истина? Можно ли с достаточной уверенностью определить, измерить степень чьей-то правоты или неправоты? А может, только и есть что неисчислимое множество замкнутых, несообщающихся миров, несопадающих, противоречащих друг другу взглядов? «И зачем только мы стараемся понять друг друга? Не лучше ли признаться, что это невозможно...» — размышляет герой романа «Тихий американец».

Грин — один из тех писателей, кто ни на миг не забывает об этой отчужденности, о том, как трудно людям понять друг друга. Трудно. Но все же возможно. Ведь если бы Грин и впрямь был убежден, что люди разделены такой непроходимой пропастью, какая возникла между негром Фернандесом и другими пассажирами на «Медее», он вряд ли бы мог написать хоть строчку. Нельзя писать без надежды на отзыв, без надежды на то, что есть язык понятий, чувств, доступных если не всем, то многим.

Три разных человека приезжают на Гаити: Джонс, Смит и Браун; по-английски это звучит все равно что Иванов, Петров, Сидоров.

Они приезжают в страну, где царит кровавая диктатура, неограниченная власть политической полиции — тонтон-макутов, режим, при котором отдельный человек — величина ничтожно малая. Страна разорена, страна залита кровью, слезами, горем.

Каждого из приезжих сразу же коснулось ледящее дыхание режима: Джонса засадили в тюрьму; Браун в первую же ночь находит в отеле, недавно доставшемся ему в наследство, труп бывшего министра, покончившего самоубийством на политической почве; Смит долго, дольше других, пытается закрывать глаза на реальность, но и ему в конце концов приходится понять, что происходит.

Джонс, явный авантюрист, хвостун и враль, сразу же возбуждает подозрения. За ним следуют телеграфные запросы из полиции разных стран. На Гаити, выпущенный вскоре из тюрьмы, он и сам сближается с тонтон-макутами. Его слова и поступки вызывают ощущение нечистоплотности. Джонсу кажется, что его плутовство и есть язык, понятный всем.

Читатель вот-вот убедится в том, что Джонс и сам из породы насильников и грабителей, и вставит персонаж в определенную рубрику. Но нет, персонажи Грина не поддаются легкой, удобной классификации. Проходит некоторое время, и этот самый Джонс добровольно идет к партизанам и гибнет. Идет не потому, что преобразился в идейного борца против деспотии. Есть у него потребность примерить и эту, героическую маску. А потом он сам уже полностью входит в новую, непривычную роль. Грин недаром и начинает роман воспоминанием о скромном камне — памятнике Джонсу.

Человек способен к самым непредвиденным поворотам, говорит своими книгами Г. Грин. Многие его лирические герои — полицейский Скоби («Суть дела»), журналист Фаулер («Тихий американец»), архитектор Куэрри («Ценой потери»), владелец отеля Браун («Комедианты») — полагают, что жизнь ужасна, не обольщаются, ни во что не верят. Но вдруг свершается нечто, заставляющее каждого из них расстаться с позицией, которая стала уже и удобной, и во всяком случае привычной для них.

Скоби убивает себя, чтобы рассечь неразрешимый узел личных противоречий. Фау-

лер вмешивается в политическую борьбу во Вьетнаме и способствует казни «тихого американца» Пайла, сеющего смерть. Куэрри бежит в Африку. Все они перестают приспособляться к обстоятельствам. И Браун, решивший было распротиться с беспокойным Гаити, возвращается на эту залитую кровью землю.

Браун — человек, лишенный корней, связей, лишенный почти всего того, что поддерживает человека в самые трудные минуты. Он не убежден даже в подлинности своего имени, не знал отца, рос без матери — она отдала сына в иезуитский колледж. Нет страны, которую он мог бы назвать своей родиной: родился в Монте-Карло, колесил по белу свету, на Гаити попал почти случайно. У него нет профессии, нет любимого дела, нет семьи.

На Гаити Браун возвращается по многим причинам и потому, что не сумел продать полученный в наследство отель, и потому, что соскучился по возлюбленной, и главным образом без причин, — а не все ли равно, куда ехать?

Браун глубже зашел в черную пустыню отчаяния, чем его предшественники в прежних книгах Грина. И это не возвышающее, гуманное отчаяние Скоби, нет, — это отчаяние себялюбивое, в сущности мелкое, и главным образом — усталое.

Что может его, Брауна, связать с другими людьми? Как найти с ними какой-то общий язык?

Как и другие герои Грина, Браун ищет выхода в любви. Но мир, от которого он бежит, настигает его и здесь: возлюбленная Брауна Марта оказывается дочерью немецкого военного преступника, которого повесили сразу же после войны, — истовая вера убежденного нациста обрекла в свое время на смерть миллионы людей, превратила целые страны в пепелища, в развалины.

Отсюда, казалось, прямой путь — так раньше и было во многих романах Грина — к разочарованию в вере, усилению скепсиса, даже цинизма. А в романе «Комедианты» вместе с углубляющимся отчаянием и, быть может, отчасти вследствие этого отчаяния — почти неожиданная для Грина страстная, ненстоящая жажда веры

Эти поиски веры звучат в романе по-разному. Среди мелодий есть и устало-опустошенная: любой суррогат веры лучше, чем

неверие. Комедизнство лучше. Вот записка Марселю, последнему любовнику матери, которую Браун находит уже после ее смерти: «Марсель, я знаю, что я старуха и, как ты говоришь, всегда немножко актерствую. Но прошу тебя, притворяйся. Притворяясь, мы бежим того, что есть на самом деле. Притворяйся, будто я люблю тебя, как любовница. Будто ты меня любишь, как любовник. Будто за тебя я готова умереть, а ты умрешь за меня...» Это было бы смешно,— но ведь читатель знакомится с этой запиской, когда он уже знает, что Марсель и впрямь не пережил своей возлюбленной и впрямь повесился. Маска приросла к лицу.

Грин не просто поставил слово «комедианты» в заголовок своего романа. На протяжении всей книги он настойчиво, даже — в известном противоречии со своей манерой — слишком настойчиво подчеркивает: мир — театр, люди — актеры, они надевают разные маски. А порою — притворяются комедиантами. И любая маска лучше, чем беззащитность открытого человеческого лица. У Брауна и маски нет. Потому-то его отчаяние так глубоко, потому он и менее человечен (Джонс хоть насмешить может, говорит Марта).

Третий герой романа — Смит — вегетарианец. Да полно, неужто в мире сверхскоростных самолетов, расовых войн,— неужто в этом мире остались еще вегетарианцы?

А Смит существует, проповедует вегетарианство, убежденный в том, что вершит спасительную миссию, что именно вегетарианство и есть всем понятный, всех объединяющий язык. Мир Смита неколебим, ясен, прост, он и сам поступает так, как советует другим. Его доктринерство, основанное на искренней вере, помогает ему жить, действовать, не отчаиваться в борьбе за справедливость.

При этом Смит часто попадает в ситуации фарсовые, он выглядит комично. Часто очень часто люди, пытающиеся вычерпать ложкой море бедствий, выглядят смешно. Когда госпожа Смит бьет зонтиком всесильных тонтон-макутов,— это смешно. Но не только смешно.

По психологическому складу Смит во многом сродни Пайлу, «тихому американцу». Он тоже предельно наивен (первое, что замечает Браун,— «наивные уши» Смита), ему тоже больно видеть, что действительность противостоит его представлениям, и он тоже больше верит заученным догмам,

чем тому, что сам видит и слышит. Но Пайл — в период нашего с ним знакомства — уже полностью «запрограммированный» человек. Именно потому-то он, добрый и простой малый, оказывается страшнее любого циника и негодяя. «Даже видя мертвеца, он не замечал его ран и бубнил. «Красная опасность» или «Воин демократии».

Пайл — человек, поглощенный и поработанный догмой. Именно пайлы всегда в первых рядах крестоносцев, иконоборцев, хунвэйбинов: если того требуют их догмы, их уставы, они жгут книги, убивают людей и сами умирают с иступленным восторгом...

Но различия между Смитом и Пайлом важнее, чем сходство¹

В мир Пайла живой человек всегда вносит путаницу, нарушающую строгий ранжир догмы. Он убежден, что американцы несут миру вообще, Вьетнаму в частности свободу и демократию. Он герметически огорожен от живой действительности и, сталкиваясь с жизнью, противоречащей его догматическим схемам, он уверенно решает: тем хуже для жизни.

Смит начинает на Гаити почти так же. Его статья для газеты штата Висконсин — образец полнейшего непонимания действительности, трагикомического противостояния фактам. Но горе, нищета, издевательства над людьми пробивают его панцирь. Он не может равнодушно пройти мимо вот этого калеки на улице Порт-о-Пренса, мимо незадачливого Джонса, заключенного в тюрьму, мимо чужого горя. Смит не повинуется программе, заложенной в него доктриной. Ему нестерпимо слушать ложь гаитянского министра, пытающегося нажиться на доверчивости наивного американца. Так и не усомнившись в своей доктрине, Смит в конце концов уступает фактам.

Смита от Пайла отличает и то, что он жалеет людей, которые едят мясо, но не призывает к крестовому походу во имя овощей. Он не станет с оружием в руках загонять других в вегетарианский рай. А это отличие необыкновенно важно.

¹ Т. Ланина, автор интересной статьи «Маска и лицо человеческое», сопровождающей новый гриновский роман («Иностранная литература», № 10. 1966), на мой взгляд, несправедлива к Сми-ту. Она мельком называет различия между Пайлом и Смитом, но доказывает только их сходство.

Смит уверен, что негры всегда лучше белых, он пришел к этому выводу не столько на основании наблюдений, сколько потому, что ему омерзительны американские расисты, утверждающие прямо противоположное. И он не одинок в этой уверенности, что нравственная правда всегда на стороне черных, а белые несут лишь ложь и насилие¹. Однако черный цвет кожи, конечно же, не залог зла, как утверждают белые расисты, но также и не залог добра, как представлялось наивному антирасисту Сми-ту. Перебрав Гаяну — государство черных и это государство кровавой диктатуры. Здесь и угнетатели — черные.

Снова Грин, рискуя проиграть в глазах многих читателей, утверждает: человек всегда шире любого ярлыка, любой навязанной ему или добровольно принятой им роли.

..Есть в «Комедиантах», кроме Джонса, Брауна и Смита, приехавших на Гаити с парохомом «Медя», еще один герой — гаитянин. Это врач негр, коммунист Мажио. Мы знакомимся с ним почти в начале романа (Браун посылает за Мажио, как только находит труп министра-самоубийцы), предсмертным письмом Мажио Брауну — своеобразным его завещанием — роман заканчивается.

Браун с завистью смотрит на доктора Мажио и несколько раз говорит, хотел бы я быть коммунистом...

В романе «Суть дела» Скоби заходит в церковь и с грустной завистью смотрит на молящихся: «...они все еще обитали в стране, которую он покинул. Вот что наделала любовь к людям — она отняла у него любовь к вечности...» У Мажио, в отличие от Скоби, любовь к людям и то, что Грин называет «любовью к вечности», в сущности, неразделимы.

Мажио не боится диктатора, хотя отлично знает, что ему, как и другим борцам

против режима, грозит смерть. И его действительно убивают.

«Большой черный» доктор Мажио невольно заставляет вспомнить о реальном человеке — Жаке Алексисе, гаитянском писателе, авторе известных у нас книг «Генерал Солнце» и «Деревья-музыканты».

Об этом думаешь не только, так сказать, по сходству «анкетных данных» — Алексис тоже был врачом, коммунистом и тоже погиб на Гаити, — но и по сходству человеческой личности.

Я видела однажды Жака Алексиса, когда он приезжал в Москву и был в редакции журнала «Иностранная литература». Было в нем нечто аристократическое — кажется, его предки и впрямь из королевского рода, но дело, конечно, не в этом. Он рассказывал тогда, как его работа врача-психиатра помогает ему писать романы. Этот человек, говоривший на изысканном французском языке, обитал на вершинах современной европейской образованности. Его легко было представить себе в Сорбонне, где он учился, или в парижском литературном кафе.

Но корни его уходили в самую глубину народной почвы, в мир легенд, в мир, где деревья и впрямь поют. Он легко вписывался и в какой-нибудь языческий водуистский обряд, и не посторонним зрителем, как Браун, нет, — он это впивал в себя, это тоже было его родиной, частью его жизни.

Может быть, мне так легко поверить в достоверность доктора Мажио именно потому, что я ясно вижу перед собой Жака Алексиса. И, как это ни странно для Грина, он глубоко симпатизирует этому некомедянту.

Как всегда после гриновского романа, думаешь о многом. Не только о фантастической Гринландии и не только о далеком реальном Гаити, но и о своей и общей нашей жизни, о том, что разделяет и что роднит нас с другими народами земли. И о тех людях, которые — пусть спотыкаясь, путаясь, ошибаясь — все же наперекор отчаянно ищут путей жизни, достойной человека.

Р. ОРЛОВА.

¹ Проблема черного расизма сравнительно нова. Именно в пятидесятые годы лозунг «Власть черным!» — стал кое-где превращаться из антиколониалистского в шовинистический.

Политика и наука

УРОКИ ИСТОРИИ

Р. Палм Датт. Интернационал. Очерк истории коммунистического движения. 1848—1963. Перевод с английского. «Прогресс». М. 1966. 415 стр.

Книга эта, принадлежащая перу видного деятеля международного коммунистического движения, одного из основателей компартии Великобритании, от начала до конца проникнута пафосом пролетарского интернационализма.

Интернационализм — наиболее завершенная форма традиционного стремления людей к человеческой солидарности и братству. Автор показывает глубокие корни этого стремления, которое проходит через всю историю, отражается в бесчисленных народных движениях прошлого, пока не получает наконец наиболее полного выражения и конкретной, реальной формы в современном рабочем и социалистическом движении, в идеях научного коммунизма и пролетарского интернационализма.

Условия для появления пролетарского интернационализма созданы капитализмом. Но капитализм, с одной стороны, подготавливает почву для развития солидарности и братства людей труда, а с другой — он вызывает или усиливает конкуренцию, отчуждение, национальную вражду. Дурман национализма, как оказалось, способен проникать и в коммунистическое движение, оживать при социалистическом строе, особенно там, где в период революции непролетарское население преобладало и процесс формирования нации оставался незавершенным.

Книга Палм Датта была опубликована в Англии в 1964 году, к столетию I Интернационала, когда в международном коммунистическом движении открыто обнаружился серьезнейший разногласия и возникла угроза раскола. «...Именно теперь, больше чем когда бы то ни было,— отмечал автор в предисловии к английскому изданию,— уместно вспомнить события и уроки минувшего столетия».

Автор предостерегает читателя против упрощенного подхода к историческому опыту коммунизма. История коммунистического движения — это история революций последнего столетия, а путь революций извилист и сложен. Один из наиболее часто выдвигаемых против марксизма доводов состоит в том, что, вопреки первоначальным прогно-

зам Маркса и Энгельса, социалистические революции начали побеждать не в тех странах, где антагонизм труда и капитала выступает в наиболее развитой форме, а, напротив, в экономически отсталых и даже очень отсталых странах. Книга дает ответ на этот довод, и этот ответ не только интересен по существу, но и позволяет лучше понять основные проблемы и трудности международного коммунизма, смысл напряженной, подчас драматической внутренней борьбы, которая прослеживается на протяжении всей его истории, начиная с «Союза коммунистов».

Действительно, когда вскоре после революции 1848 года в «Союзе коммунистов» возник раскол, он был вызван главным образом разногласиями в оценке перспектив революционного развития в Западной Европе. Маркс и Энгельс решительно разошлись с теми, кто со дня на день пророчил новый взрыв. По словам Палм Датта, уже в 1850 году Маркс «пришел к выводу, что с ростом капитализма во всем мире Западная Европа стала слишком ограниченной базой для мировой социалистической революции». Эта точка зрения встретила сопротивление со стороны более нетерпеливых членов «Союза» (группа Шаппера и Виллиха), что и привело к расколу.

Палм Датт выставляет интересный, хотя и спорное утверждение, что Маркс в конце шестидесятых годов пересмотрел свой взгляд на общие перспективы развития социалистической революции. Прежде чем остановиться на этом утверждении по существу, следует привести одно важное высказывание Маркса, относящееся к более раннему периоду. В 1858 году Маркс писал Энгельсу:

«Нельзя отрицать, что буржуазное общество вторично пережило свой шестнадцатый век... Трудный вопрос заключается для нас в следующем: на континенте революция близка и примет сразу же социалистический характер. Но не будет ли она неизбежно подавлена в этом маленьком уголке, поскольку на неизмеримо большем пространстве буржуазное общество проделывает еще восходящее движение?»

Шестнадцатый век и девятнадцатый... Разрыв в уровнях социального развития, измеряемый несколькими столетиями. Первое сомнение в реальности той чересчур прямолинейной перспективы, которая рисовалась вначале, при исследовании наиболее передового капитализма «в чистом виде». Ответ, считает Палм Датт, был найден Марксом в связи с изучением ирландского вопроса. Автор имеет в виду письмо, в котором Маркс признал ошибочным свое прежнее мнение, что ирландский режим может быть ниспровергнут подъемом английского рабочего класса. «Более глубокое изучение вопроса, — сообщал он Энгельсу в 1869 году, — убедило меня теперь в обратном».

Палм Датт говорит в связи с этим о «явном пересмотре» всей концепции революционного развития. Нам это представляется некоторым преувеличением. Ведь пока что пересмотр — в том смысле, что национальное освобождение, вместо того чтобы следовать за победой рабочего класса, должно предшествовать ему, — относился непосредственно к Ирландии и Англии. Правда, еще ранее, в начале пятидесятых годов, Маркс упоминал о будущих революциях в Китае, Индии, но речь шла именно о «втором цикле» буржуазных революций. «Трудный вопрос» тем самым еще не снимался...

Одной из самых ярких страниц в истории международного рабочего и коммунистического движения навсегда останутся деятельность I Интернационала и Парижская коммуна. Из высказываний Маркса, относящихся к этому периоду, следует, что радикальную социальную революцию, рабочую, он и после 1869 года считал возможной лишь там, где развито капиталистическое производство и имеется значительный промышленный пролетариат. В составленном им циркулярном письме Генерального совета, датированном январем 1870 года, говорилось: «Хотя революционная *инициатива* будет исходить, вероятно, от Франции, только Англия может послужить *рычагом* для серьезной *экономической* революции». Однако англичанам недостает «духа обобщения и революционной страсти»... Когда год спустя в Париже вспыхнуло восстание, Маркс, хотя он и предостерегал от преждевременного выступления, добился тем не менее открытой поддержки Интернационалом «штурмующих небо» коммунаров. Но он же решительно выступил в Интерна-

ционале против «дилетантских опытов» Бакунина — этого идеолога анархистского бунтарства.

Чем шире марксизм охватывал общую картину мира, которая представляла все более сложной и многогранной, тем меньше оставалось места для иллюзий, но зато тем дальше удавалось заглядывать в будущее. Маркс и Энгельс не были пророками и весьма резко отзывались о тех, кто пытался выступать в этой роли. Когда им приходилось отказываться от ошибочных прогнозов, от иллюзий, пересматривать некоторые выводы, они — в отличие от многих своих современников — не впадали в уныние, сохраняли присущее им чувство исторического оптимизма. Не потому ли многие их прогнозы оказались все же пророческими? Один из них — на него обращает внимание Палм Датт — мы хотели бы здесь напомнить. Говоря об «ужасной возможности» мировой войны, Энгельс следующим образом рисовал развитие событий в этом случае:

«...Это будет война с переменным успехом на французской границе, наступательная война со взятием польских крепостей на русской границе и революция в Петербурге, которая сразу заставит господ воюющих увидеть все в совершенно ином свете».

Примерно четверть века спустя предсказание Энгельса подтвердилось почти буквально... Но это была уже другая эпоха. Она действительно потребовала пересмотра ряда прежних представлений. Как ни поразительны оказались некоторые прогнозы основоположников марксизма, они не могли предсказать, что весь революционный процесс будет развиваться иначе, чем предполагалось сначала, и предвидеть своеобразие формы или порядка этого развития в тех или иных странах. Да это и не соответствовало вовсе марксистскому пониманию предвидения. Антонио Грамши, основатель итальянской компартии, подчеркивал: «...Абсурдно думать о чисто «объективном» предвидении. У того, кто выступает с предвидением, в действительности есть определенная «программа», победы которой он желает, и предвидение является именно элементом такой победы».

Другими словами, пути развития революции определяются всем ходом общественной борьбы, а не только экономическими и социальными факторами, на почве которых она возникает. Так как в борьбе сталива-

ются различные классы, партии, течения, группы, ее конечные результаты не могут быть предсказаны безусловно. Законы общественного развития проявляются иначе, чем законы естественных наук. Они реализуются через деятельность людей.

Сегодня, спустя полвека после победы Великой Октябрьской социалистической революции, нет необходимости доказывать значение исторической инициативы большевиков, повернувшей развитие нашей страны в направлении социализма и оказавшей тем самым глубочайшее влияние на весь ход мировой истории. Знание законов общественного развития в сочетании с волей и сознанием ответственности позволило Ленину, партии большевиков направить народную революцию в России по социалистическому руслу и, используя чрезвычайно редкое стечение обстоятельств («...счастливы́й момент», — говорил Ленин!), привести ее к победе.

Освободив Марксов «экономический детерминизм» от наслоившихся за десятилетия фаталистических толкований (одинаково удобных для оправдания и пассивности и авантюризма), Ленин создал теорию социалистической революции, отвечающую новым условиям. Вместе с тем перед ним возник все тот же «трудный вопрос»: удастся ли Советской России с ее мелким и мельчайшим крестьянским производством, с ее разоренностью продержаться до тех пор, пока западноевропейские страны завершат свое развитие к социализму? Можно ли спастись от грядущего столкновения с империалистическими государствами? Дадут ли внутренние противоречия империализма достаточную оттяжку, чтобы удержаться, и притом не на уровне «крестьянской ограниченности», а на уровне, «поднимающемся вперед и вперед к крупной машинной индустрии»? Решение, отвечал Ленин, зависит от слишком многих обстоятельств, и исход борьбы в общем и целом можно предвидеть лишь на том основании, что гигантское большинство населения Земли, в особенности Россия, Индия и Китай, уже окончательно втянулись в мировой революционный процесс.

С появлением Советской России пролетарский интернационализм получил более прочную основу и более широкую сферу действия. Новый Интернационал, созданный в 1919 году, стал коммунистическим.

Коммунистические партии возникли не только в странах с уже зрелым рабочим классом, но и там, где организованное рабочее движение лишь зарождалось, — в том числе в Китае, Индии, Индонезии, Японии.

В какой мере последующее развитие подтвердило предвидение Ленина? Наша страна стала индустриальной и социалистической, выстояла в схватке с фашизмом и разгромила его. После второй мировой войны Индия сбросила британское колониальное владычество, а в Китае победила народная революция. Социализм упрочил и расширил свои позиции. Но одновременно возникли и новые «трудные вопросы». Развал колониальной системы империализма не подорвал основ реформизма в странах-метрополиях. Освободившиеся народы Востока столкнулись с огромными экономическими и политическими трудностями. В Китае, где революция получила непосредственно социалистическую форму, оставаясь крестьянской и национальной по своему действительному содержанию, «правильное разрешение противоречий внутри народа» вылилось в разрушение и хаос, в крайний национализм и великодержавный шовинизм.

Историю делают люди. Решение исторических задач общественного прогресса зависит от человеческого сознания и человеческих усилий. Этот тезис — в противоположность попыткам фаталистического толкования марксизма — Палм Датт особенно подчеркивает.

Был ли, например, неизбежным фашизм, принесший столько бедствий многим народам? Палм Датт напоминает в книге об одном любопытном признании Отто Бауэра, сделанном после поражения антифашистского восстания в Вене в феврале 1934 года. Еще в марте 1933 года австрийские рабочие ждали сигнала к выступлению. «...В то время мы могли бы победить», — писал Бауэр, — но мы с ужасом уклонялись от битвы... Мы откладывали борьбу, надеясь уберечь страну от бедствий кровопролитной гражданской войны. Тем не менее через одиннадцать месяцев началась гражданская война, и началась при значительно менее благоприятных для нас условиях. Это было ошибкой, и самой роковой из всех, допущенных нами».

Уклонение от ответственности в решающий момент всегда чревато тяжелыми последствиями. Конечно, и революция может

сопровождаться непредвиденными последствиями. Вероятно, никто не понимал этого лучше, чем Ленин, беспокойство которого за судьбы социализма отразилось в его последних статьях, а также в известном «Письме к съезду».

Палм Датт не обошел и не мог обойти молчанием сложные и драматические стороны жизни советского общества в период строительства социализма. Отвечая антикоммунистам, он отвергает тезис о культуре личности как порождении самого общественного строя социализма и напоминает, как остро Ленин ставил вопрос об ответственности тех, от кого зависело будущее революции.

Ссылаясь на труды Ленина, Палм Датт напоминает о том, что если революция требует от своих руководителей особых человеческих, нравственных качеств, то социализм в свою очередь невозможен без преодоления невежества и бескультурья в массах, без изменения самих людей.

Вслед за Марксом Ленин предупреждал, что это будет длительный, сложный процесс, который займет целую историческую эпоху. Он указывал в особенности, что решение созидательных задач социализма требует медленной, постепенной, осторожной организаторской и культурной работы и прежде всего соответствующего развития производства, науки, просвещения. Нельзя не привести здесь следующие слова Ленина, которые Палм Датт предпосылает в качестве эпиграфа к главе о перспективах мирового социализма: «Настоящие революционеры погибнут (в смысле не внешнего поражения, а внутреннего провала их дела) лишь в том случае, — но погибнут наверняка в том случае, — если потеряют трезвость и вздумают, будто «великая, победоносная, мировая» революция обязательно все и всякие задачи при всяких обстоятельствах во

всех областях действия может и должна решать по-революционному».

Это было предупреждением всем любителям играть в «перманентные революции». Его глубокий смысл мы все лучше понимаем сегодня.

Революционные процессы в современном мире приобретают все более разнообразные формы и осложняются огромным разрывом в уровнях социально-экономического и культурного развития народов. Книга Палм Датта вышла до того, как две великие азиатские страны — Китай и Индонезию — потрясли события, хотя и разные по характеру, но одинаково трагические по значению. Они отразили огромные трудности, с которыми сталкивается социальная революция в Азии.

Коммунистическое движение оказалось перед новыми серьезными испытаниями, а марксистская мысль — перед новыми проблемами, требующими глубокого анализа. «Будущее международного коммунизма, — пишет Палм Датт, — зависит от тех, кто в данное время представляет международное коммунистическое движение, от того поколения, которое наследует дело предшествующих поколений, чтобы передать его последующим. Оно зависит от степени их сознательности, ответственности и ощущения необходимости в единстве».

Специалисты, вероятно, найдут в книге Палм Датта те или иные неточности, упущения и спорные моменты в оценке отдельных исторических событий. Сам автор оговаривает, что его краткий обзор истории коммунистического движения не претендует на оригинальное или глубокое историческое исследование, а его мнение — на какое-либо окончательное суждение по спорным вопросам. Но одно несомненно. Книга пробуждает желание глубже понять историю международного коммунизма.

А. ВЕБЕР.

★

БОНАПАРТИЗМ, ДУМА, РЕВОЛЮЦИЯ

А. Я. Аврех. Царизм и третьеиюньская система. «Наука». М. 1966. 181 стр.

Небольшая книжка А. Я. Авреха написана на тему, недостаточно изученную нашими исследователями, и предназначена не только для специалистов-историков. Работая над ней, автор имел в виду широкий

круг советской интеллигенции. По сути дела впервые в нашей историографии появляется исследование, специально посвященное вопросам внутренней политики царизма в период от начала реакции до мировой

войны 1914—1918 годов. По общепринятой периодизации эти семь-восемь лет включают две крупные и различные полосы исторического развития нашей страны, водораздел между которыми приходится на весну 1912 года. Первую из них называют столыпинской реакцией, вторую — новым революционным подъемом. Однако это не только разные, но и неразрывно связанные друг с другом периоды. Без понимания особенностей первого из них нельзя понять всего значения второго.

Годы столыпинской реакции были не просто трагическими. Они относятся, быть может, к одним из самых критических в истории дооктябрьской России. Именно тогда окончательно решался вопрос, за кем в конце концов останется победа — за революцией или контрреволюцией, ибо царизм, варварскими методами расправляясь с восставшим народом, твердо уяснил преподанный революцией урок: окончательное «успокоение» страны может быть обеспечено в результате если не устранения, то по крайней мере смягчения коренных социальных и политических противоречий российской действительности.

Крутой поворот в аграрной политике, имевший целью разрушить крестьянскую общину и создать слой крепкого, проникнутого идеей собственности крестьянства, с одной стороны, а с другой — создание III Думы, то есть политически оформленного союза помещиков и крупной буржуазии, — таковы два основных мероприятия в экономической и политической области, выдвинутых царизмом в качестве главных средств борьбы с революцией.

Решить объективные задачи революции сверху с тем, чтобы покончить с реальной угрозой ее нового и на этот раз (в этом царизм отдавал себе полный отчет) решающего натиска, — таковы смысл и цель экономических, социальных и политических мероприятий, выдвинутых царизмом.

Как известно, расчеты царизма потерпели крах. «Успокоения» не получилось. Новый революционный подъем был и главным показателем, и главной причиной провала «нового курса». Его крах был обусловлен также внутренним развитием созданной царизмом третьеиюньской системы, которая призвана была обеспечить «нормальное» осуществление намеченных реформ.

Союз царизма с организациями крепост-

ников-помещиков и крупной буржуазии, оформленный в виде третьеиюньской Думы, стал возможен потому, что правительство осознало необходимость буржуазных преобразований и решительно вступило на этот путь. Другая объективная основа этого союза заключалась в контрреволюционности царизма и буржуазии. И тем не менее составивший третьеиюньскую систему союз был союзом двух различных классов, интересы которых не только совпадали, но и расходились. Из известного положения Ленина о том, что буржуазия боится революции больше, чем реакции, следует, что буржуазия боялась не только революции. Она боялась и реакции. Боялась потому, что безраздельное политическое господство царизма являлось главным тормозом капиталистического развития страны и, следовательно, самой буржуазии. Боялась еще и потому, что нежелание царизма осуществить буржуазные преобразования в том объеме и с той быстротой, которые казались буржуазии минимально необходимыми для предотвращения революции, могло содействовать лишь росту этой революции. «Сначала успокоение, потом реформы» — такова генеральная установка правительства, провозглашенная устами «конституционного» премьера Столыпина. «Минимум реформ во имя успокоения» — наставала буржуазия в третьеиюньской Думе.

Вот почему состав III Думы характеризовался не просто огромным преобладанием представителей помещиков и буржуазии над представителями революционной демократии. Третьеиюньский избирательный закон был составлен таким образом, что создавал в Думе два большинства. Первое составлялось в результате блока октябристов с правыми партиями и группировками, второе — в результате блока тех же октябристов с кадетами. Анализ того, как и почему сложилось в Думе такое именно соотношение сил, анализ, основывающийся на выявлении состава и программ октябристской и кадетской партий, проведен А. Я. Аврехом весьма убедительно.

При общей контрреволюционности царизма и буржуазии между ними возникли конфликты и шла борьба за меру, форму и сроки проведения реформ. Взятые сами по себе, эти конфликты не имели, конечно, большого значения: «борьбу» с царизмом

российская буржуазия вела с контрреволюционных позиций. Однако, указывая Ленин, «если бы из этой контрреволюционности буржуазных либералов кто-нибудь сделал вывод, что их оппозиция и недовольство, их конфликты с черносотенными помещиками или вообще соревнование и борьба различных фракций буржуазии между собой не может иметь никакого значения в процессе нарастания нового подъема, то это было бы громадной ошибкой и настоящим меньшевизмом наизнанку. Опыт русской революции, как и опыт других стран, неопровержимо свидетельствует, что когда есть налицо объективные условия глубокого политического кризиса, то самые мелкие и наиболее, казалось бы, удаленные от настоящего очага революции конфликты могут иметь самое серьезное значение, как повод, как переполняющая чашу капля, как начало поворота в настроении и т. д.».

До недавнего времени нашу историческую литературу мало занимали конфликты между буржуазией и царизмом. Больше того, подчас отрицалось само наличие этих конфликтов, и русскую буржуазию объединяли вместе с царизмом в единый контрреволюционный лагерь, противостоящий лагерю революционной демократии. Иными словами, в плане методологическом ленинское учение о трех лагерях в буржуазно-демократической революции было подменено утверждением о наличии двух лагерей.

Свое исследование А. Я. Аврех провел, полностью осознав всю глубину и перспективность первой постановки вопроса, и именно в этом — «секрет» результативности предпринятых им усилий. Ибо признание реальности расхождений и конфликтов между царизмом и буржуазией открыло перед А. Я. Аврехом возможность для объективного анализа этих разногласий. Это же обстоятельство, с другой стороны, позволило автору совершенно иначе посмотреть на огромную массу материала, который отложился в результате деятельности Государственной думы третьего и четвертого созывов. Господствовавшая ранее методологическая посылка о едином контрреволюционном лагере, включавшем и царизм и буржуазию, обесценивала сохранившиеся источники.

Как известно, реальный результат законодательного творчества Государственной думы был до смешного мал. Отсюда делался вывод, что царизм и буржуазия не хоте-

ли реформ, что всевозможные законодательные предположения, попеременно проваливавшиеся то одним, то другим большинством Думы или застревавшие в «верхних этажах» третьеиюньской системы — в Государственном совете и у царя, — не имели реальной цены и выдвигались с единственной целью — обмана и надувательства народных масс. Учреждения, в которых разыгрывался грандиозный фарс с участием нескольких сот лиц, фарс, в котором роли участников были заранее распределены, — такими представлялись III и IV Государственные думы, если рассматривать их деятельность с точки зрения тезиса о наличии единого контрреволюционного лагеря, воплощенного в третьеиюньской системе.

Положение о трех лагерях в революции, о наличии реальных разногласий между буржуазией и царизмом, взятое как исходный момент исследования, выдвигало на первый план качественно иной вопрос: почему, несмотря на понимание необходимости реформ, заключившие друг с другом союз царизм и буржуазия не смогли их дать? Постановка такого вопроса вела за собою исследование механизма функционирования третьеиюньской системы, то есть изучения заложенных в ней реальных противоречий. И тогда отрицательный результат законодательных потуг третьеиюньского блока был уже доводом не против, а за разработку огромного, втуне лежавшего материала, а бессилие Думы выступало не как нежелание дать реформы, не как нечто субъективное, а как объективная невозможность для третьеиюньской системы «сработать» для собственного же спасения и укрепления.

Книгу А. Я. Авреха отличает конкретность исследования. И в этом, очевидно, причина ощущения веской доказательности, которое нарастает по мере изучения работы и кристаллизуется как итог, когда книга прочитана. С другой стороны, изложение предельно динамично, ибо главное в книге — анализ конфликтных ситуаций и реальных столкновений, закономерно возникающих и сменяющих друг друга.

Весь материал, приведенный в работе, убедительно свидетельствует, что третьеиюньская система стала фактором дальнейшего разложения царизма. Реформы могут содействовать борьбе с революцией. Если стремление масс к революционным выступлениям сломлено. Но они могут явиться

фактором ускорения революции, если революционное настроение сохранилось. В данном случае налицо было второе стечение обстоятельств. Царизм хотел дать реформы, но не мог дать их. Подобное состояние, когда, с одной стороны, нельзя дать реформы, а с другой — нельзя жить без Думы, созданной для их осуществления, не могло не привести к одному результату: к непрекращающемуся кризису «верхов», к разложению третьейунольской системы, падению престижа и авторитета власти.

Почти пятьдесят лет существует первое в мире пролетарское государство. И столько же лет длится полемика между советской и буржуазной историографией по вопросу об объективной оценке русского либерализма, вопросу, непосредственно связанному с большой проблемой закономерности Великой Октябрьской революции. Отрицая эту закономерность, объявляя победу про-

летариата и крестьянства нашей страны случайностью, «экстремизмом» Ленина и большевистской партии, западные историки «закономерными» наследниками царского режима выставляют русских либералов. Другими словами, русский либерализм представляется им той прогрессивной исторической силой, которая могла обеспечить развитие России по «европейскому» образцу, — единственно закономерному, с точки зрения буржуазных историков, публицистов и политиков, пути развития вообще. На иной точке зрения стоит, как известно, советская историография. Она считает, что русская буржуазия и русский либерализм оказались неспособными к сколько-нибудь самостоятельному позитивному творчеству. И это убедительно показано в исследовании А. Я. Авреха.

К. ТАРНОВСКИЙ,
кандидат исторических наук.

★

НАУКОВЕДЕНИЕ

Г. М. Добров. Наука о науке. Введение в общее науковедение. «Наукова думка». Киев. 1966. 271 стр.

Наука о науке (сборник статей). Перевод с английского. Общая редакция и послесловие профессора В. Н. Столетова. «Прогресс». М. 1966. 423 стр.

Обе эти книги написаны учеными для ученых, и тем не менее они оказались адресованными широкому кругу читателей-неспециалистов. Объясняется это, во-первых, тем, что наука стала в наши дни непосредственной производительной силой и появился всеобщий интерес не только к новейшим научным достижениям, но и ко всему, что связано, так сказать, с «внутренней жизнью» науки. Во-вторых, специализация достигла такой степени, что при обсуждении сопредельных проблем ученые вынуждены отказываться от привычного языка своей науки: иначе химик не будет понят историком, а биолог — математиком почти в такой же степени, как всех их не поймут люди, знакомые с предметом лишь по школьным учебникам и научно-популярным изданиям.

«Как это ни горько, — пишет американский историк науки Д. Прайс, — но следует все же признать, что за пределами собственной дисциплины ученый превращается в обыкновенного дилетанта».

С последним нельзя полностью согласиться. Дилетантизм крупных ученых — вещь совершенно особого рода уже по одному тому,

что за каждым из них стоит железная дисциплина мысли и способность к глубоким обобщениям. Такие обобщения и возникают в процессе дискуссии, которая становится все более оживленной и затрагивает вопросы, касающиеся всех наук, — дискуссии, в которую наряду с физиками, химиками и другими представителями точных наук оказываются вовлеченными и государственные деятели, и экономисты, и философы, и историки, и социологи.

В чем же, собственно, состоит предмет «науки о науке», или общего науковедения, вокруг которого возникает столько споров?

В книге Г. М. Доброва ответ сводится к тому, что предметом изучения «является научный процесс в целом и научная деятельность как профессионально самостоятельный род занятий».

Д. Прайс в статье «Наука о науке», включенной в рецензируемый сборник, формулирует ту же мысль детальнее: «Исследующие науку дисциплины возникали поодиночке, но показывают теперь много признаков намечающегося сближения в единое целое, которое будет чем-то большим, чем

простая сумма частей. Эту новую дисциплину можно было бы назвать «историей, философией, социологией, психологией, экономикой, политикой, методологией и т. п. науки, техники, медицины и т. д.». Мы предпочитаем называть ее «наука о науке»...

Откуда родилось стремление всех этих многочисленных дисциплин слиться в единое целое, которое будет чем-то большим, чем простая сумма частей? Почему стратегия большой науки нашего времени не может основываться на выводах частных дисциплин, имеющих вековые традиции, а требует обязательного создания неведомой «науки о науке»?

...Сложилось положение, пишет Г. М. Добров, при котором «в процессе развития истории научно-технического прогресса мы узнаем все больше о тайнах природы и неизвестных ранее возможностях науки и техники и в то же время знаем все меньшую долю того, что уже не является тайной, то есть открыто и изучено».

Более детальный анализ этой своеобразной и удивительной ситуации приводит автора книги к заключению, что исследователь обычно хорошо знает основополагающие работы и в некоторой степени то, что совершается в данное время. На глубине же десяти лет и больше наблюдается «информационный провал», а это неизбежно влечет за собой серьезные последствия.

В США и Англии подсчитано, например, что десять — двадцать процентов научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ можно было не производить, если бы информация об уже выполненных аналогичных работах была доступна исследователям.

В сборнике «Наука о науке» приведено много других данных, свидетельствующих о подчас катастрофическом положении с использованием даже совершенно открытой научно-технической информации. Оказывается, что из тридцати тысяч важнейших периодических изданий, публикующих во всем мире научно-технические статьи, половина читателей систематически знакомится только со ста семьдесятю наиболее популярными журналами. Еще в 1958 году Д. И. Уркварт установил, что из хранящихся в центральной научной библиотеке Лондона девяти с лишним тысяч журналов в течение года более половины ни разу не снималось с книжных полок.

Все это симптомы так называемого «ин-

формационного взрыва» — стремительного, лавинообразного нарастания количества научно-технической информации. Уже сейчас ежегодно печатается около шестисот тысяч новых статей, а один журнал приходится примерно на сто авторов. Если же положение не изменится, то сравнительно скоро один журнал будет приходиться, пожалуй, сначала на сто, а потом и на десять читателей!

Впервые на невозможность освоить все печатающиеся статьи обратил внимание Джон Бернал в книге «Социальная функция науки», вышедшей в свет в 1939 году. С выходом этой книги многие и связывают «рождение» новой науки — общего науковедения.

Рекомендация Д. Бернала, призванная ликвидировать образовавшийся разрыв между стремительно возрастающим объемом научных данных и реально используемыми учеными сведениями, не реализована до сих пор. Более того, эта рекомендация встретила и встречает решительные возражения со стороны крупнейших специалистов, хотя Бернал настаивает на своем совете и сейчас. Советует же Бернал ни больше ни меньше как полное прекращение выпуска научных журналов, так как основная «монета» научной информации — статья, — по его мнению, полностью обесценилась: произошла инфляция статей.

В специально написанной для сборника «Наука о науке» работе Джон Бернал формулирует свою мысль в лаконичной, почти парадоксальной форме: «Научный журнал практически убит темпом роста науки».

Г. Кобланз в статье «Проблема научной информации» указывает, что сомнение в возможности преодолеть последствия «информационного взрыва» при помощи электронно-вычислительных машин, высказанное Берналом еще в 1957 году, остается в силе и теперь. Бернал писал: «Функционируя в значительной степени в режиме отбора значимого материала и приспособлявая к этой задаче память, человеческий мозг способен ломать рамки выбора и приходить к желательному результату, если он вообще туда приходит, значительно быстрее, чем машина... Отвечать на вопросы, которых никто не задавал, — это то, чего не может машина, а человеческий мозг может».

Отвечать на вопросы, которых никто не ставил, ученому приходится очень часто во время работы над научными статьями — ра-

ди этого они в значительной степени и пишутся. Поскольку же статьи не читаются, Бернал предлагает заменить и, специально систематизированными сводками по отдельным вопросам. Подробные же доклады ученых о проделанных ими исследованиях следует высылать через информационные центры лишь тем их коллегам, которые подадут на них специальную заявку.

Сходные идеи развивает А. М. Вайнберг (его точка зрения тоже излагается в рецензируемом сборнике). Вайнбергу рисуются информационные центры, укомплектованные людьми, которых он именует новой кастой научных переводчиков. Эти люди должны быть «учеными и инженерами, которые сохраняют тесный контакт со специальной профессией и, зная состояние работ в своей области, способны синтезировать из информации новое, чего нельзя ожидать от тех, кто не знает всей подноготной дела».

Интересно, что известный английский астроном Ф. Хойл в своем научно-фантастическом романе «Черное облако» («Альманах научной фантастики», выпуск 4. «Знание». М. 1966) выдвигает примерно такую же идею: обилие научной информации привело к появлению особой прослойки ученых, которые сами не ведут исследований, но помогают теоретикам и экспериментаторам излагать результаты их работ в наиболее емкой, систематизированной и удобной для использования форме.

Как видим, проблема научной информации обсуждается всесторонне и порождает достаточно неожиданные и смелые идеи. Но «информационный взрыв» — это далеко не единственная и, может быть, даже не главная проблема общего науковедения.

Темп роста количества ученых в несколько раз превышает темпы прироста населения. Уже к концу нашего века может создаться положение, когда в высокоразвитых странах на каждого жителя... придется по два-три ученых. При всей абсурдности этот вывод кажется неоспоримым: об этом говорит статистика. Вот почему неизбежно возникает вопрос о поисках таких форм развития науки, когда бы ее дальнейший стремительный рост не сопровождался, как это происходит сейчас, опережающим ростом числа ученых.

Удорожание науки, необходимость создания установок типа ускорителей элементарных частиц или радиотелескопов, без которых немислимы дальнейшие успехи в раз-

витии фундаментальных исследований, создает еще одну очень сложную науковедческую проблему, которую нельзя решать в рамках отдельных научных дисциплин.

Очень интересные соображения по этому поводу содержатся в помещенных в сборнике большой статье академика П. Л. Капицы и работах А. Кинга и М. Корача.

Сборник «Наука о науке» был издан в Лондоне в октябре 1964 года в ознаменование двадцатипятилетия выпуска в свет книги Джона Бернала «Социальная функция науки». Почти все авторы сборника в той или иной степени отталкиваются от идей Бернала, развивают и дополняют их. В результате этого сборник приобрел известную цельность, несмотря на то, что каждая включенная в него статья выражает личное мнение ее автора и отражает собственные его интересы. Так, П. Л. Капица останавливается преимущественно на вопросе о природе «большой» науки и на ее будущем, Дж. Нидам сосредоточил внимание на особенностях развития науки на Западе и на Востоке, Дж. Холдейн посвятил свою статью сравнительно частной проблеме о возможности социальных приложений антропогенетики, М. Корач подробно прослеживает связи между современной наукой и промышленностью, и т. д.

Книга Г. М. Доброва, впитавшая в себя фактический материал рецензируемого сборника и ряда других литературных источников, наряду с данными собственных исследований автора построена по иному принципу. Это обстоятельство монографическое исследование, в котором излагаются основные проблемы науковедения, обсуждаются методы изучения этих проблем и намечаются пути практического использования результатов, полученных новой научной дисциплиной. «Предмет и метод наукознания», «Проблемы научной организации труда людей науки», «Планирование путей науки», «Научное прогнозирование» — вот названия некоторых разделов книги Г. М. Доброва.

Сам автор рассматривает книгу «Наука о науке» как попытку обобщить, по возможности с единых позиций, разрозненный опыт изучения проблем, связанных со становлением общего науковедения, что должно помочь их дальнейшей разработке и использованию на практике уже достигнутых результатов.

Вопрос о приложении выводов науковедения к планированию науки достаточно

сложен. В высокоразвитых капиталистических странах науковедение главным образом регистрирует происходящие явления, разделяя в этом отношении судьбу многих социологических дисциплин. Вложение средств в научно-исследовательские работы, проводимые в заводских лабораториях, остается там сферой частной инициативы, как и подготовка специалистов во многих частных и автономных университетах.

Принципиально по-иному обстоит дело у нас. При составлении планов подготовки специалистов, при определении оптимального соотношения между числом ученых и количеством обслуживающего их технического персонала или при выборе наиболее целесообразного профиля научно-исследовательских учреждений, как и в десятках других случаев, выводы, рекомендации общего науковедения могут и должны широко использоваться. К сожалению, практически эти вопросы все еще часто решаются по старинке, на основании прежнего опыта, быстро те-

ряющего свое значение в современной обстановке, и в зависимости от более или менее случайных факторов. В результате этого иногда возникают несоответствия между количеством подготовленных специалистов того или иного профиля и потребностью в них (в настоящее время, например, ощущается недостаток в химиках и биологах, несмотря на то, что перспективность этих отраслей науки выявилась уже давно), все еще низким остается качество многих программ обучения студентов, есть недостатки в координации научных исследований.

Решение всех этих проблем — задача чрезвычайно сложная. Известную роль здесь уже теперь могут сыграть выводы общего науковедения. Выход первых книг, посвященных науке о науке, несомненно привлечет внимание общественности и самих ученых к исследованию как социологических проблем науки, так и к изучению закономерностей ее логического развития.

С. ВЛАДИМИРОВ.

★

ПОКОРИТЕЛИ ЕНИСЕЯ

Исполин на Енисее. Сборник. Составители: О. Грек, Б. Костюковский, В. Полустарченко, З. Яхнин. «Советская Россия». М. 1966. 304 стр.

«Исполин на Енисее» — это Красноярская гидроэлектростанция, которая зажжет свои огни совсем скоро, в дни, когда Страна Советов будет праздновать полувековой юбилей. Название книги можно толковать и по-иному. Исполин на Енисее — это советский человек, вступивший в поединок с самой сильной и полноводной из всех ста восьми тысяч рек, нанесенных на карту Советского Союза.

«Сюда, в тайгу, съезжаются по-разному, — читаем мы в очерке «Адрес счастья». — Кто-то хотел костров над Енисеем, ярких звезд в сорокаградусном морозном небе, лязга и скрежета двадцатипятитонных самосвалов как самой чистой и возвышенной романтики. Кто-то убегал от обыденщины, от быта, может быть от самого себя. Кто-то, как выяснилось позже, кургузым своим умишком постиг, что холодная эта Сибирь может оказаться довольно тепленьким местечком».

В книге немало «лязга и скрежета» машин, но в центре ее — люди, строящие уникальную электростанцию, флагман миро-

вой гидроэнергетики. Инженеры, разнорабочие, крановщики, монтажники, бетонщики, врачи — сколько их населяет страницы книги! Но знакомство с ними не наскучивает. Нам интересно узнать мастера Сашку Кондратовича, «командующего механизацией» Николая Чинского, «богиню» взрывов Антонину Калинину, упорного и волевого Владимира Денисова, дуэт антиподов — угрюмого Егорова и мечтательного Фрейдмана, библиотекаршу Белку Снулину, ставшую бетонщицей, Володьку Ефремова по прозвищу «Злыдень», совершившего яркий подвиг, шофера Евгения Онегина, потерявшего в водовороте войны родителей и получившего в детстве «знатную фамилию»...

Шагнув из котлованов и общежитий на страницы книги, эти люди не претерпели той губительной метаморфозы, которая превращает живого человека в безликую тень. Одни из них выписаны подробно, другие скупой, но во всех случаях правдивой, без малейшего налета сусальности.

Вы знакомитесь с ними и чувствуете, что для них создание гидроузла на Енисее

не просто работа, а дело души, совести, что в огромном коллективе живет дух трудового братства. Люди захвачены единоборством с Енисеем независимо от специальности, служебного положения, возраста. По соседству с седовласым инженером Сергеем Леонидовичем Малиновским — бывшим балтийским матросом, а затем прорабом на легендарной волховской стройке — работает юноша, прибывший в Сибирь по комсомольской путевке. Тут воочию видишь нерасторжимость поколений, преемственность их дел и целей. Известный советский гидростроитель К. В. Севенард соорудил плотину на Волге, а его сын Юрий — инженер на енисейской стройке.

Мы наблюдаем героев книги не только на перемычке, в кессоне, в слесарке, но и после трудовой вахты. Они спешат на свидания, спорят, размышляют о своих успехах и разочарованиях, мечтают о будущем. И обо всем нам рассказывают просто, без выпяченных слов и восклицательных знаков.

Но, может быть, такой прямой, неприкрашенный рассказ о людях приземляет или обедняет их облик, приглушает романтические краски? Ничуть! Страницы книги дышат настоящей, а не ходульной романтикой, суровым мужеством первопроходцев, создающих Большую Сибирь.

— Мы ехали и пели...— вспоминает о рождении Дивногорска техник Владимир Румянцев.— Приехали охрипшие, выбросили из грузовика рюкзаки, глянули вокруг — и ахнули! Инженер, что с нами приехал, протянул вперед руку: здесь, говорит, будет город. И как раз на том месте, где сейчас «Спорттовары», изюбр показзлся... А первого медведя завалили во-он там, где лестница начинается. Ночью был дождь. Продукты нам потом на вертолете сбрасывали. А ушли валить для стройки лес, так вообще с воздуха отыскать не могли...

И дело не только в том, что вырос у Дивных гор современный город, что на улицах его высятся «пихты в пять этажей», а к асфальтированной площади примыкает «буреломная чащоба», и даже не в том, что есть в этом юном городе и квартал Мечты и переулок Романтиков, — главное, что трудовая романтика живет в сознании, движет действиями молодых покорителей Енисея.

И мы видим, как в горниле большой стройки закаляется сталь, как люди, прибывшие со всех концов страны, осваивают-

ся на берегах Енисея, как прикипают их сердца к сибирскому краю. Одна за другой перебираются в Дивногорск четыре сестры Цыганковы — дочери редактора районной газеты из Калининской области: Сибирь становится для них родным домом. Неутраченный Леша Медведь — он и землекоп, и крановщик, и слесарь — мечтает об институте, и вот наконец стройка направила его в Москву, в инженерно-строительный. Но, не дотянув до конца первого семестра, он понял, что «без Дивногорска ему не прожить». Перевелся на заочное отделение и вернулся на стройку «закончить спор с Енисеем».

Образы тружеников, возводящих на Енисее гидроузел-гигант, — удача авторов сборника.

Но запомнятся и шабашники, бегущие с сибирской стройки. В небольшой зарисовке с натуры — «Ягодка таежная» — есть глубокое, искреннее презрение к отталкиваемому цинизму («Тоже мне — Дивный город!») и душевной опустошенности.

И еще есть в книге, так сказать, особый герой — это сам Енисей. Дыхание его мы ощущаем чуть ли не на каждой странице. Он — потенциальный друг, будущая «добрая сила». Но пока это — противник, сильный и коварный, с ним ведется ожесточенный бой. Схватки с рекой временами обостряются до крайности. Вот люди добровольно выходят на лед в такую стужу, когда обычно работы не производится. «Все понимали: не успей мы возвести низовую и продольную перемычки до ледохода, погубит Енисей все наши сооружения».

Авторы не замалчивают и не преуменьшают трудностей, показывают, как нелегко вести отсыпку, класть бетон, взрывать неприступно-дикие скалы, перегораживать великую реку, которая обрушивается на сооружения то буйными паводками, то грозными ледоходами. И достоверный показ тяжелого и напряженного труда заставляет нас с еще большим уважением относиться к тем, кто соединил плотиной берега Енисея, создал Красноярское море, построил город Дивногорск.

Очерки о людях, составляющие основу сборника, перемежаются стихами, экономическими заметками, летописью стройки за десяток лет, небольшими зарисовками пол рубрикой «Глазами дивногорцев». Замысел ясен: глубже, красочнее, полнее показать об-

лик стройки, запечатлеть различные ее грани, ее пейзаж. В какой-то мере это достигается: интересно, например, прочесть и повеллу «Костер», и рассказ о том, как тысячи белок, почуяв вторжение человека в тайгу, всей «армадой» устремились вплавь по Енисею в поисках более спокойных мест. Но в общем «дополнительные» разделы книги вызывают некоторые упреки.

Чехов, восторгавшийся величавой природой Енисея, предсказывал, что она станет неисчерпаемым золотым прииском для поэтов. Пророчество сбывается: Енисей, его красота, его новая жизнь становятся источником поэтического вдохновения. Немалое стихотворений включено и в сборник. Но, к сожалению, на большинстве из них лежит печать риторики, холодного пафоса.

Значительно полнее могла бы быть летопись стройки. Более интересными и живыми хотелось бы видеть экономические заметки о значении Красноярской ГЭС, призванной стать «энергетическим мотором» богатейшего индустриального края. И вполне закономерно было бы выйти за рамки Сибири, показать, что в недалеком будущем энергия, рожденная покоренным Енисеем и другими сибирскими реками, хлынет на Урал, в европейскую часть страны. И тут же рассказать о сверхдальних и сверхмощных линиях электропередачи Сибирь — Урал. Уже идет подготовка к созданию уникальных электрических трасс, которые откроют новую страницу в мировой технике передачи электричества на дальние расстояния.

И еще одно существенное замечание. В послесловии составители и авторы сборника заявляют: «Когда мы создавали эту книгу, мы не думали о том, как будет выглядеть каждый автор в отдельности. Мы скорее думали, как будет выглядеть стройка ГЭС на Енисее». Что ж, стремление, пожа-

луй, благородное... Но каким способом это делается?

На первой странице сборника — длинный перечень имен создателей книги: учетников строительства, сибирских и московских писателей и журналистов, партийных работников. Затем читателю предлагаются десятки анонимных произведений — очерков, стихотворений, заметок. В очерке «Командующий механизацией» читаем: «Я (то есть автор очерка.— М. Ц.) тоже инженер и тоже эксплуатационник. Помню, окончивая академию, с тоской думала...» Кто же этот безвестный (или, точнее, безвестная) «я»? В очерке «О тех, кто шел впереди» безымянный автор вспоминает о фронтовых днях 1942 года на Керченском полуострове, о полученном им письме от «десятилетней сестренки из эвакуации», но читателю так и не дано узнать, кто же с ним ведет разговор. Кто автор «Радуги», «Адреса счастья», «Возвращения»? Кому принадлежат полтора десятка стихотворений, включенных в сборник, экономические заметки, дивногорские новеллы? Короче: «кто есть кто»?

«Мы стремились создать подлинно коллективную книгу», — пишут составители и авторы. Но коллективную — не значит обезличенную, анонимную. В послесловии к книге говорится, что она призвана рассказать «о буднях, героике, о счастье созидания, об огорчениях и потерях, без которых тоже не обходится ни одно живое дело...» Во многом это удалось. Книга знакомит читателей с нашими современниками, строящими чудо-плстину, с их жизнью и душевным миром, показывает, говоря словами М. Горького, часть того «великого труда рабочих масс», который служит «основным наполнением истории».

Мих. ЦУНЦ.



НОВОЕ ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ

Промышленность, внешняя торговля, планирование. Актуальные проблемы промышленности и внешней торговли. «Международные отношения». М. 1956. 236 стр.

Читатель совершит ошибку, если решит, что рассматриваемые в этой книге проблемы носят узко специальный характер. Здесь содержатся материалы научной конференции, проведенной в декабре 1965 года Институтом международных отноше-

ний и Всесоюзной Академией внешней торговли. На ней обсуждался широкий круг вопросов, связанных с осуществлением хозяйственных реформ в социалистических странах, рассматривались теории международных экономических отношений, опыт

передовых капиталистических стран в организации производства и управления предприятиями и объединениями.

В материалах конференции содержатся принципиально новые идеи и предложения, и это делает книгу событием в экономической литературе. Речь идет об актуальных проблемах социалистической внешней торговли.

Развитие внешней торговли социалистических стран шло весьма своеобразно. Экономическую политику социалистических государств долгое время определяло стремление производить максимальное количество товаров внутри страны, не считаясь с издержками.

Перелистайте учебники по экономике внешней торговли, вышедшие в социалистических странах лет десять—пятнадцать назад,— и вы не найдете в них даже упоминания о том, что при решении вопроса, производить ли продукцию внутри страны или ввозить из-за границы, следует рассчитать экономическую эффективность импорта (или экспорта, если речь идет о целесообразности вывоза).

Теперь этот период кажется уже достаточно отдаленным в глубь истории. Роль международного разделения труда в повышении эффективности национальной экономики социалистических стран никем не оспаривается. Но разработка экономических проблем внешней торговли социалистических стран находится в начальной стадии. Внешняя торговля в сознании большинства наших хозяйственников все еще остается «экзотической» областью экономики. Такое представление объясняется не только прошлой автаркической политикой или ее остатками, но и самой организацией внешней торговли. Если необходимость международного разделения труда и вред автаркии признается теперь всеми, то необходимость изменения организации внешней торговли еще не обсуждалась в нашей экономической литературе.

Главная заслуга авторов статей о социалистической внешней торговле, включенных в эту книгу, именно в том и состоит, что они начали обсуждение этой проблемы. При этом они твердо стоят на той точке зрения, что внешняя торговля, будучи частью планового хозяйства, должна планироваться и регулироваться государством в тесной связи с планированием всех остальных областей экономики. И они вы-

двигают соответствующие предложения. Так, Б. Мирошниченко обращает внимание на необходимость систематического изучения конъюнктуры мирового рынка для ведения торговли на выгодных условиях, обеспечение экспорта таких товаров, которые дают максимальный экономический эффект. Важные вопросы повышения экономической заинтересованности социалистических стран в расширении взаимной внешней торговли ставятся в статьях О. Богомолова и К. Попова.

Международному социалистическому разделению труда препятствует в значительной степени недостаточная экономическая заинтересованность отдельных социалистических стран в расширении внешней торговли. Так, снижение на внешнеторговом рынке этих стран цен на сырье и сельхозпродукцию при стабильности или даже повышении цен на продукцию обрабатывающей промышленности уменьшило экономическую заинтересованность в развитии экспорта сырья и сельскохозяйственной продукции. В самой обрабатывающей промышленности выгоду от международного разделения труда получают в первую очередь страны-производители, которые имеют возможность организовать серийное производство продукции и на этой основе снизить издержки производства, повысить качество и технический уровень изделий. В то же время страны-потребители уплачивают за эту продукцию прежнюю цену и поэтому экономически мало выигрывают. В ряде статей ставится вопрос о необходимости перехода от бесплатной передачи технической документации социалистическими странами друг другу — к продаже этой документации в соответствии с практикой мировой торговли. О. Богомолов справедливо отмечает, что «труд, воплощенный в духовных ценностях — в научных открытиях и изобретениях, в новой технике и технологии,— мало отличается в принципе от труда, материализованного в той или иной продукции», и поэтому бесплатная передача дорогостоящей технической документации не оправдана.

Как понимать планирование внешней торговли и какие организационные формы ведения внешней торговли лучше всего способствуют увеличению ее объема и эффективности? Этот вопрос занимает многих авторов книги. Существующая организация внешней торговли в нашей стране основывается на исключительном праве Мини-

стерства внешней торговли и его органов на ведение внешней торговли. Министерство внешней торговли в сотрудничестве с другими центральными хозяйственными органами выявляет потребности народного хозяйства в импорте и возможности их удовлетворения, а также возможность и целесообразность экспорта продукции — и заключает внешнеторговые сделки.

Перед Министерством внешней торговли стоят сложнейшие задачи. Оно должно в совершенстве знать положение на мировом рынке, его потребности в отдельных видах продукции и возможности приобретения продукции, движение цен, зарубежные производственные и торговые фирмы и т. д. И здесь оно находится в своей стихии. Но ведь оно также должно хорошо знать состояние производительных сил внутри страны: всю производимую продукцию, ее себестоимость не только в среднем, но и на отдельных предприятиях, ее качество, цены и их соотношения друг с другом и с себестоимостью, фондоемкость продукции, соотношения спроса и предложения по отдельным ее видам. Чтобы понять, какая это гигантская задача, надо иметь в виду, что в нашей стране производится более ста тысяч наименований только промышленной продукции более чем на пятидесяти тысячах промышленных предприятий. Нетрудно предположить, что в этих условиях многие выгодные возможности экспорта и импорта продукции уносятся, и наоборот, во внешнеторговые планы по экспорту и импорту включается иногда такая продукция, которую не следовало бы ввозить или вывозить. Хорошо, скажет иной читатель, но неужели производственные, торговые и прочие предприятия не могут помочь Министерству внешней торговли принять правильные решения? В том-то и дело, что при существующей организации внешней торговли это сделать нелегко.

В настоящее время производственные предприятия обычно экономически не заинтересованы в повышении объема и эффективности внешней торговли. Нередко они даже противятся организации производства продукции для экспорта, ибо это связано с большими издержками, повышенными требованиями к качеству продукции, ответственностью, а надбавка в цене за экспортную продукцию не компенсирует дополнительных затрат. Какова бы ни была на мировом рынке цена того или иного изделия, отечественное предприятие получает его от

внешнеторгового объединения по цене, отличающейся от мировой и приравненной к какому-то образом к цене аналогичного отечественного изделия. Сам выбор предприятия, которому выделяется импортная продукция, не связан с качеством его работы или участием в экспорте продукции.

В статьях о внешней торговле рассматриваются возможности преодоления той пропасти, которая существует сейчас между производством и внешней торговлей. В них положительно оцениваются различные мероприятия, проводимые с этой целью в ряде европейских социалистических стран: создание при внешнеторговых организациях советов директоров промышленных предприятий соответствующего профиля, общих органов промышленных и внешнеторговых организаций, распределение премии за повышение эффективности экспорта между внешнеторговой организацией, промышленным предприятием и кооперирующимися с ними заводами, разрешение самостоятельного выхода на внешний рынок отдельным предприятиям и объединениям, которые могут использовать часть валютной выручки для приобретения необходимого оборудования, материалов, патентов, зарубежных командировок.

Большинство предложений авторов связано со стимулированием экспорта продукции. К сожалению, значительно меньше внимания они уделяют расширению прав производственных и торговых предприятий по импорту продукции. Между тем это очень важный вопрос.

Промышленность высокоразвитых социалистических стран добилась больших успехов в увеличении объема, снижении затрат, улучшении качества продукции. Многие виды продукции, производимые в социалистических странах, соответствуют мировым научно-техническим стандартам. Но далеко не всегда. Следует стремиться к дальнейшему повышению надежности и долговечности производимой продукции. Ведь в идеале мы должны прийти к тому, чтобы дать потребителю возможность выбора. Следовательно, предприятия должны будут соревноваться по всем показателям, в том числе и по тем, которые определяет промышленная эстетика. Соревнуясь с зарубежными фирмами, отечественные предприятия, чтобы не «прогореть», вынуждены будут спешно улучшать качество продукции, ее внешний вид, снижать издержки,

внедрять с этой целью новейшую технику и технологию. Ускорение технического прогресса и повышение эффективности производства, достигаемые с большим трудом при помощи административных методов, значительно быстрее будут решаться экономическими средствами. Таким образом, внешняя торговля станет могучим орудием косвенного воздействия на повышение эффективности общественного производства.

Правомерен вопрос, не будет ли широкая самостоятельность производственных и торговых предприятий в области внешней торговли противоречить плановому развитию социалистического народного хозяйства? Ответ на этот вопрос зависит от понимания сущности планового хозяйства — означает ли оно установление всех пропорций развития народного хозяйства в плане «вплоть до гвоздя» либо — установление в плане только важнейших пропорций развития народного хозяйства при оставлении за рынком возможности установления частных микропропорций. Пониманию механизма рационального развития социалистической экономики как сочетания плана и рынка (именно такое понимание лежит в основе хозяйственных реформ, проводимых в социалистических странах) вполне соответствует предоставление широких прав предприятиям и объединениям по выходу на внешний рынок. Роль плана в развитии внешней торговли

должна заключаться прежде всего в установлении оптимальной перспективной структуры народного хозяйства с учетом международного разделения труда. Текущее же регулирование внешней торговли может осуществляться путем улучшения системы таможенных тарифов, валютного регулирования, лицензий и контингентов на экспорт и импорт продукции, наконец исключительного права Министерства внешней торговли на внешнеторговые операции там, где это обусловлено неизбежным принципом монополии внешней торговли.

Проблемы внешней торговли очень сложны. Они тесно связаны не только с экономикой страны, но и с ее внешней политикой. При их решении требуется особая осмотрительность и постепенность. Авторы статей о социалистической внешней торговле в сборнике «Промышленность, внешняя торговля, планирование» не претендовали на их полное решение. Они только начали необходимое (хотя, может быть, несколько запоздалое) обсуждение важнейших вопросов организации внешней торговли. Остается надеяться, что этот почин будет подхвачен и обсуждение поднятых в книге вопросов станет одной из важнейших тем будущих экономических дискуссий.

Г. ХАНИН,

преподаватель Новосибирского государственного университета.



КОРОТКО О КНИГАХ

★

Н. Г. ЗОРИНА, А. А. САВЕНКОВ.
В. И. Ленин — историк печати. Издательство Ленинградского университета. Л. 1966. 219 стр.

Книга Н. Г. Зориной и А. А. Савенкова — первая серьезная попытка рассказать о такой стороне деятельности вождя революции, которая до сих пор, к сожалению, еще слабо освещена в научной литературе. Ленинские статьи, его переписка, различные партийные документы, мемуары и свидетельства современников дали авторам книги обширный материал для характеристики В. И. Ленина как историка печати. Без исследования этой области его работы невозможна подлинно научная история освободительного движения русского рабочего класса, и в частности история рабочей, пролетарской печати в России.

Освещение прошлого не было, как справедливо отмечается в книге, самоцелью для В. И. Ленина. Обращаясь к истории, анализируя в своих исследованиях редакционно-издательскую деятельность организаций партии, он прежде всего исходил из насущных интересов текущей революционной борьбы рабочего класса. Изучение опыта прошлого он подчинял прежде всего практическим задачам воспитания партийных журналистов, задачам сплочения революционных сил пролетариата.

Авторы приложили немало усилий, чтобы установить основные источники, использованные В. И. Лениным в работах, касающихся истории рабочей печати. В своих историко-исследовательских работах В. И. Ленин опирался на протоколы, решения, резолюции партийных съездов, конференций, совещаний и на воспоминания их участников, на многочисленные статистические данные; он обращался к массовым политическим изданиям — листовкам, прокламациям, воззваниям, прочитывал многие комплекты газет и журналов, в том числе буржуазных и мелкобуржуазных партий — меньшевиков, эсеров, кадетов... Вот почему его исследования по истории печати всегда обстоятельно аргументированы и документально точны.

В. И. Ленин не ограничивал свои исторические работы узкими тематическими рамками. В его трудах, освещающих историю печати, органически соединены проблемы политические, философские, историко-литературные.

Одна из глав книги посвящена публицистам ленинской школы — историкам большевистской печати. Однако, как нам кажется, она меньше всего удалась и воспринимается только как предварительная заявка, подлежащая дальнейшей разработке.

Недостает книге и настоящего публицистического накала. Ленинские характеристики враждебных пролетариату органов прессы и деятелей буржуазной журналистики, полемика с ними, критические замечания и реплики в их адрес — броские, выразительные, быющие прямо в цель, — словом, все, что составляет, так сказать, неповторимый аромат эпохи, без чего трудно представить живую историю дооктябрьской периодики, созреванию нового явления в духовной жизни народа, каким стали большевистские газеты и журналы, — все это оглашлось за рамками книги Н. Г. Зориной и А. А. Савенкова. А жаль!

Заглавие исследования обязывало авторов к большему. Хочется думать, что эта нужная работа будет продолжена.

Н. Антоков.

★

Э. БАСКАКОВ. Биографии гербов, флагов, гимнов зарубежных стран. Политиздат. М. 1967. 159 стр.

Из коротких очерков, которые составили эту книжку, можно узнать много интересных подробностей о возникновении государственных символов ряда стран.

Порох черен,
Кровь красна,
Золотом плещет пламя.
Это старое немецкое знамя.
Под которым мы боремся...—

писал в сороковых годах прошлого века друг Карла Маркса поэт Фердинанд Фрейлиграт.

Сейчас в центре черно-красно-золотого флага ГДР появился герб — молот и циркуль в обрамлении венка из колосьев. Этим подчеркнут принципиально новый характер государства, основанного на союзе рабочего класса, крестьянства и трудовой интеллигенции.

...Австралия еще была британским доминионом, когда получила в 1905 году из Лондона созданный там для нее государственный герб. Изображение герба говорит об экзотике далекого континента: кенгуру

и ему в обрамлении цветущих ветвей эвкалипта поддерживают щит с гербами шести штатов Австралии.

Читатель узнает о трагической судьбе, постигшей национальный гимн Австрии, написанный в XVIII веке на музыку Иосифа Гайдна. После первой мировой войны мелодия гимна была украдена для создания реваншистского немецкого гимна. И кровавый нацистский «новый порядок» калечил Европу под звуки старого австрийского гимна. В 1947 году в Австрии создан новый гимн, для которого была принята мелодия Вольфганга Моцарта.

Читатель познакомится с гербами, флагами и гимнами молодых развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки. Они напоминают о трудной борьбе народов этих стран за достижение независимости.

В наши дни, когда ширится международное сотрудничество, когда все больше флагов прибывает «в гости к нам», усиливается интерес к государственным символам зарубежных стран. В какой-то мере этот интерес удовлетворит небольшая, но емкая книжка Э. Баскакова.

Н. Петрова.

★

Л. А. ПИНЕГИНА, С. А. ФЕДЮКИН. Джекказган — город меди. Исторический очерк. «Наука» Казахской ССР. Алма-Ата. 1966. 183 стр.

Рассказывая о том, как в пустынной казахской степи возник крупный промышленный центр — столица медной индустрии Джекказган, Л. Пинегина и С. Федюкин попутно напоминают нам, какие расчеты строили когда-то колонизаторы, надеясь нажиться на эксплуатации здешних природных богатств.

Как только стало известно, что в Казахстане обнаружены богатые месторождения цветных металлов, туда устремился иностранный капитал. Условия для колонизаторской деятельности оказались исключительно благоприятными. За мизерные суммы капиталисты скупили ценнейшие месторождения. Им грезились неимоверные барыши...

Авторы рисуют картину тяжелой жизни рабочих — казахов и киргизов — на далекой окраине, оторванной от революционных центров страны. Но и здесь нашлись люди, открывшие глаза эксплуатиремым. В 1913 году в Атбасарский уезд попал в ссылку человек, прошедший суровую школу революционной борьбы. Участник боев 1905 года на Пресне И. В. Деев. В тех местах очутились и ссыльные из Петрограда. Они и создали группу рабочих, сочувствующих большевикам. На «караване» (перекидной дороге) начались забастовки, возникли вооруженные столкновения. Стаечное движение перенеслось с национально-освободительным.

Октябрьская революция вернула народу его богатства. Развитию медной промышленности Казахстана в советское время по-

священа вторая — большая часть книги. В этом районе образовался единый промышленный комплекс, в который вошли Джекказган, Караганда, Балхаш.

Авторы рассказали историю одного из многих городов, совсем недавно появившихся на карте нашей страны. К сожалению, книга эта написана языком отчета, или — что, впрочем, то же самое — языком скучной диссертации. Насколько нам известно, издательство «Наука» Казахской ССР предприняло издание серии таких книг. И следовало бы подумать о том, чтобы сделать их более доходчивыми и интересными.

П. Ильин.

★

А. РУБИНОВ. Отцы города. «Московский рабочий». М. 1966. 112 стр.

Автор делает любопытное сопоставление: хозяйничанье «отцов города» в Московской городской думе до революции и управление неизбежно возросшим хозяйством столицы, осуществляемое ныне Моссоветом. Тема интереснейшая, дающая повод для серьезных раздумий.

А. Рубинов воссоздает некоторые черты дореволюционной Москвы. «Чужая, совсем чужая Москва! И все-таки родная», — пишет он. Ведь и тогда были Кремль и Красная площадь. И Большой театр был, и Третьяковская галерея. И старые, ставшие историческими, улицы — Арбат, Петровка, Пресня... Но как разительно отличается прежний город от нынешнего.

Автор приводит характерные факты. Вот один из них. Почти пятнадцать лет городская дума обсуждала «шпанный вопрос». В стенографическом отчете он формулировался мудро: «Доклад городской управы и комиссии по составлению проектов обязательного для местных жителей постановления об устранинии неудобств, приносящих от употребления при езде по городу экипажей с резиновыми шинами». В докладе рассматривается «важнейший вопрос» о «дозволении ездить экипажам на резиновых шинах после дождя и поливки только шагом». А потом разгорелись страстные дебаты. Трудно поверить что все это много лет серьезно обсуждалось людьми, которым было доверено сложное городское хозяйство. После этого не вызывает удивления то, что, например, строительство метрополитена городская дума считала химерическим.

Тяжелое наследство досталось Моссовету в семнадцатом году. Автор рассказывает, какие огромные усилия потребовались для подъема городского хозяйства. И в том, что столица нашего государства становится все краше и богаче, великая заслуга подлинных «отцов города», депутатов Моссовета. Читатель найдет в книге наглядные, живые примеры их многогранной деятельности.

Однако далеко не все страницы книги равноценны, многие из них написаны схе-

матично, перегружены малозначащей и случайной информацией. Поэтому задачу, поставленную автором книги, нельзя считать решенной полностью.

А. Таланов.

★

С. А. ТОКАРЕВ. История русской этнографии (Дооктябрьский период). «Наука». М. 1966. 456 стр.

Наука о народах — этнография — прошла в нашей стране долгий путь. Элементарные знания о жизни и происхождении соседних племен переросли в этнографическую науку, которая изучает все живущие на земле народы, занимается многими общими проблемами их развития. В настоящее время завершается первое капитальное исследование, посвященное всему населению нашей планеты, — многотомное издание «Народы мира».

Но дорога русских этнографов, в особенности в дореволюционное время, отнюдь не была ровной и гладкой. Прогрессивная мысль ученых нередко должна была брать приступом или обходить препятствия, поставленные реакцией. Впоследствии роль некоторых ученых и целых научных направлений иногда оценивалась предвзято, что было не только несправедливо, но и вредно для дальнейшего развития советской исторической науки. Тем важнее теперь объективная оценка трудов наших предшественников.

Эта огромная работа проделана профессором С. А. Токаревым, написавшим капитальный труд — «История русской этнографии». Эрудиция и широта взглядов автора этой книги позволили ему успешно справиться с большой задачей: осветить этнографические представления русских в эпоху средневековья, рассказать о первых русских «землепроходцах», о деятельности ученых обществ и этнографов-одиночек в XVIII и XIX веках, о наших музеях и журналах. И было очень трудно вместить все это в одну книгу (вспомним, что семьдесят пять лет назад А. Н. Пылину потребовалось для той же темы четырехтомное исследование). С. А. Токареву приходится подчас быть настолько лаконичным, что имена исследователей и названия их работ следуют почти непосредственно друг за другом. Но основные труды охарактеризованы полно и ярко.

Подлинное украшение книги — портреты прогрессивных ученых-этнографов. Внимание читателя привлекает не только известный теперь всему миру образ Миклухо-Маклая. Он познакомится и с архимандритом Иакинфом (Бичуриним), который ради изучения китайцев совсем забросил дела вверенной ему русской духовной миссии в Пекине, за что по возвращении в Россию был лишен сана и сослан в отдаленный монастырь. Прочтет он и о Михаиле Ивановиче Венюкове — военном, уже в крупных чинах, который держался независимых и прогрессивных взглядов и не остановился

перед тем, чтобы в знак протеста против реакционного режима выйти в отставку и даже смело объяснить ее мотивы самому царю. Венюков продолжал свои исследования за собственный счет и умер в бедности.

История русской этнографии знает немало таких рыцарей науки, стремившихся не только изучать народы, но и служить им по мере сил, бороться за их интересы, — рыцарей, приносивших в жертву народу все свои знания, средства, силы, а иногда и жизнь.

С. А. Токарев вводит читателя в широкий круг источников этнографических сведений, содержащихся в произведениях, казалось бы, далеких от этого предмета. Тут и древние летописи, и переписные книги, и «хождения» (описания путешествий), и художественная литература различных периодов и направлений, и даже произведения художников.

Можно спорить с автором об отборе источников, о характеристике отдельных исследователей. Но большая ценность этого первого за истекшие три четверти века обобщающего труда по истории науки о народах несомненна.

М. Р.

★

А. А. ФОРМОЗОВ. Памятники первобытного искусства на территории СССР. «Наука». М. 1966. 127 стр.

Первобытное искусство — почти единственный источник, из которого мы черпаем знания о мышлении, художественном творчестве и духовной жизни древних племен, не имевших письменности. Оно с полным основанием входит в сокровищницу мировой культуры, и вместе с тем в нем зафиксировано первое пробуждение человеческого творчества.

Вполне понятно внимание ко всем свидетельствам этого пробуждения со стороны исследователей истории искусства и мышления. Да и для понимания художественного творчества современного человечества, его связи с общественной жизнью и материальной культурой необходимо знать, как исторически сложились и развивались эти взаимоотношения.

К сожалению, широкому кругу читателей еще недостаточно известны ни сами произведения первобытного искусства, ни круг проблем, возникающих при их изучении.

Работа А. А. Формозова до некоторой степени восполняет этот пробел. Она выгодно отличается от ряда компилятивных работ по первобытному искусству, которые по сути дела лишь пересказывают давно известные факты и повторяют традиционное их истолкование. А. А. Формозов предлагает читателю оригинальное историческое исследование, построенное на обширном археологическом материале, обнаруженном на территории Советского Союза.

Книга охватывает памятники искусства примерно от XXX до II тысячелетия до нашей эры. Автор разбивает их по этапам развития производительных сил — искусство охотников (палеолит, мезолит), искусство земледельцев, скотоводов и их северных соседей (неолит, энеолит, бронзовый век) — и анализирует некоторые виды художественных памятников (наскальные изображения дольмены, курганы и каменные бабы). Каждый раздел свидетельствует об оригинальной трактовке изученного автором материала.

В развитии первобытного искусства на территории СССР А. А. Формозов прослеживает и общие стадийные явления, и местные особенности у различных этнических и территориальных образований древних племен, и проникновение влияний цивилизаций классического Востока.

Рассматривая исследуемые памятники на широком историческом фоне, автор пытается постичь их тайный смысл — расшифровать, какими явлениями духовной жизни и особенностями мышления они были порождены.

Надо ли говорить, сколь сложна эта задача? Ведь речь идет о таких отдаленных от нас эпохах. «Может быть, не все пути окажутся верными, — замечает автор, — но лучше идти вперед, чем из осторожности стоять на месте».

Думаю, что если кто и не согласится с отдельными положениями книги, то все же будет благодарен автору за то, что он пре небрег осторожностью и написал эту работу, может быть в чем-то и спорную, но заставляющую заново задуматься над давно привычными положениями.

М. Гвоздовер.

★

Я. М. СВЕТ. История открытия и исследования Австралии и Океании. «Мысль». М. 1966. 400 стр.

В числе выпускаемых главной редакцией географической литературы издательства «Мысль» книг, посвященных выдающимся открытиям и исследованиям нашей планеты, хочется особо отметить серию «Открытие Земли». Уже вышли монографии, посвященные истории исследований Северной Америки, Антарктиды, Центральной и Южной Америки. И вот новый труд — история открытия и исследования Австралии и Океании.

С освоением Австралии и Океании связано множество интересных проблем. Задолго до европейцев Австралия уже была заселена, а большие и малые острова Океании были открыты отважными океанскими мореходами. На своих лодочках — каноях — эти бесстрашные люди проложили пути через многие районы Великого океана, и именно им по праву принадлежит честь многих выдающихся открытий.

Автор обстоятельно рассказывает о малоизвестном периоде открытия многих архипелагов и островов Океании, о плаваниях

древних океанцев. Он показывает, что эти отважные мореходы которых буржуазные исследователи называют «дикими», обладали очень своеобразной и довольно высокой культурой. Я. М. Свет приводит многочисленные доказательства высокого навигационного искусства полинезийцев и микронезийцев, которые задолго до европейцев совершали тысячесильные походы по необозримым просторам Тихого океана.

С особой теплотой рассказывается в книге о замечательных делах наших соотечественников в этом районе планеты. Только за первые три десятилетия прошлого века русские мореплаватели открыли в Океании свыше пятидесяти островов. Еще большее значение имела титаническая работа, которую осуществили наши мореходы, уточняя положение уже известных географических объектов.

«Открытиям после открытий» посвящена последняя глава книги. В ней рассказывается об изучении глубин океана и строения его дна. В этих исследованиях активное участие принимают советские океанологи.

С. Осокин,
действительный член Географического общества СССР.

★

ФИЗИКИ ШУТЯТ. Сборник переводов. «Мир». М. 1966. 167 стр.

Сборник «Физики шутят» составили профессиональные исследователи, работающие в академических лабораториях. Предисловие написал их старший коллега, известный физик-теоретик профессор Я. Смородинский. Следуя принятому в науке этикету, составители снабдили каждый отобранный в книгу текст точной ссылкой на первоисточник и, как водится в специальных докладах и статьях, поблагодарили всех, кто советом или делом помог разыскать лучшие образцы «юмора физиков» и тем способствовал появлению сборника на свет (среди перечисленных имен немало известных далеко за пределами чисто научных кругов).

Эта книга — зеркало, отражающее одну из сторон внутреннего мира современных исследователей в неожиданном ракурсе. Она без назойливых почтений рисует очень важную, может быть, самую важную сторону современного естественнонаучного мышления — умение истинных исследователей иронически критически смотреть и на себя, и на своих коллег. На повседневный свой рабочий быт. На «вечные» истины и «непререкаемые» авторитеты.

Эта книга — об умении естествоиспытателей испровергать все наносное, отжившее, каким бы ценным оно ни казалось прежде. Ведь когда абсолютизируется, как говорил Ленин, ограниченный отрезок кривой познания и на пути движения мысли ставится слагбаум или алтарь, пред которым положено лишь, преклонив колени, хором декламировать цитаты или псалмы, — наука

умирает. Вопреки давней привычке, слова «наука» и «храм» несовместимы, потому что несовместимы познание реального мира и слепая вера во что бы то ни было, несовместимы движение и догма. Естественно, что в науке оказывается благопристойным и необходимым то, что греховно в церкви.

Книжка «юмора ученых» по-своему помогает ощутить, почему оказался расщепленным атом, неделимый уже по одному своему названию, и почему дерзость свершений современных физиков превзошла ожидания «научных» фантастов.

Сборник составлен из материалов, разысканных в зарубежных изданиях. Хотелось бы пожелать, чтобы какое-либо наше издательство, выпускающее научно-популярную или даже строго научную литературу, подарило читателям такую же книгу о юморе советских ученых — тех, что заставили атом служить миру, первыми вышли на просторы Вселенной и обнаружили, что у генов есть центры. Правдо, у них не меньше оснований шутить, чем у их зарубежных коллег.

Б. Володин.

★

МИЕРВАЛДИС БИРЗЕ. Песочные часы. Повесть. Перевод с латышского Ю. Каппе. «Художественная литература». М. 1966. 206 стр.

С героем этой книги, врачом туберкулезного санатория Эгле, читатель встречается в тот день, когда Эгле узнает о неизлечимости своего недуга; расстается читатель с ним на Аргольском кладбище.

Литература не однажды обращалась к теме смерти; человек предстал как бы освещенный трепетным пламенем угасающей жизни, и в этих отсветах, на фоне сгущающегося мрака виделось его прошлое, виделось, каким он был прежде, и каким стал, и как он встречает самое тяжелое в человеческой жизни испытание — испытание смертью.

Книга латышского писателя Миервалдиса Бирзе о том и не о том. Рассказывающая о смерти, она обращена к жизни.

Эгле — врач, а как известно, «болезнь врача всегда тяжелее болезни его пациентов». Но описание грех последних его месяцев не превращается в описание страданий тяжело больного человека. Нет в повести и калейдоскопического чередования вызванных памятью картин прошлого. Эгле весь в настоящем и весь на виду. О его прошлом читатель узнает немного: двадцать пять лет он боролся за жизнь людей, был «одним из тысяч». За долгие часы, проведенные у рентгеновского аппарата, его организм постепенно и незаметно поражался радиацией. Эгле понимает, что надежды на спасение почти нет. «Надо спешить, надо спешить!» — бьется и торопит настойчивая мысль. И последние дни Эгле

отданы тому же делу, которому он отдал всю жизнь.

Такова в общих чертах сюжетная канва повести. Рассказ о трех месяцах врача Эгле ведется сдержанно, без ложной патетики и выпренности, без умильного любования его мужеством. Да, Эгле страдает, он ощущает трагическую неотвратимость близящегося конца. Но поведению его чужды и ипохондрия, и бравада отчаяния.

В чем же источник той духовной прочности, которая помогает человеку выстоять до конца перед лицом смерти?

Герой повести Миервалдиса Бирзе много размышляет об извечном вопросе о смысле жизни. И однозначен ответ, к которому он приходит: смысл жизни в том, что жизнь никогда не прекращается, что «и по тебе опять же останутся человеки — твой сын, твой народ, которому ты своим трудом врача помогал жить и расти, спасая всего лишь несколько из множества жизней. Значит, ты и сам после мига расставания, именуемого смертью, не перестаешь быть». Мысль Эгле снова и снова возвращаются к этому. «По сути дела, человек бессмертен... Он — часть великой Жизни».

И, вторя этому главному мотиву, звучит другой, вытекающий из него: дни человека ограничены, и нужно жить так, чтоб ни один день не пропал даром. «Что стоишь, время уходит!» — эта надпись на старинных песочных часах взята эпитафией к повести.

Повесть Миервалдиса Бирзе можно назвать повестью-размышлением. В ней можно отметить некоторую сухость психологического рисунка, схематичность отдельных образов. Можно указать на отдельные языковые погрешности, отчасти присущие самой повести и отчасти привнесенные переводом: «пошла по променаду», «новейшее средство на данном этапе развития медицины» и т. п.

Но недостатки эти не могут заслонить главного достоинства повести — ее серьезности, искренности и взволнованности.

В. Калашник.

Кременчуг.

★

МИХ. КУЛЬЧИЦКИЙ. Самое такое. Стихи. Издательство «Прапор». Харьков. 1966. 79 стр.

Суперобложка этой книги навеяна, вероятно, одним из кадров фильма «Обыкновенный фашизм»: глаза крупным планом, остальное — за кадром. «Зрачки зажавшие. Так медведи в берлогу вжимаются до поры, чтобы затравленными напоследок пойти на рогашины и топоры». Это — стихи М. Кульчицкого, посвященные Хлебникову. Да и сам поэт всю жизнь (хоть и недолгую) сознательно готовил себя к бою с «косматым зверем» — фашизмом. Он спокойно и трезво, как опытный воин, взвешивал свои силы и силы врага. Он видел: «Здесь проползут стадами танки — по небо-

своду виден путь». За два года до начала войны он уже знал: «Наперевес с железом сизым и я на проволоку пойду». И уже тогда его интересовало: «Какие люди возметнутся из поражений и побед? Второй любовью Революции какой подымется поэты?» И в 1940 году, за два года до С. Гудзенко, но с не меньшей точностью, написал о войне:

Граната шала и пуля шальная.
И когда прижимаемся, «мимо» — моля,
Нас отталкивает, в огонь посылая,
Наша черная, как хлеб, земля.

Стихотворение так и называется — «О войне», хотя война еще не началась.

А впрочем.. Главнейший нерв и жизни и стихов Кульчицкого — вечный бой. Не только блоковский, но и конкретно-исторический, насковзь прошивший его биографию. Недаром ему сдается, что его певым вздохом был последний вздох погибающего Щорса. «Военный в пиджаке поэт» — таким он себя видел и, что важнее, таким был.

Конечно, он не сразу так четко определился. Была романтика мировой Революции. Был юношеский максимализм: «Как я б хотел, чтоб ничего не нужно, чтоб все богатство в сердце...» И были различные влияния: Маяковский, Хлебников, Багратицкий, Сельвинский («Тигр»), Пастернак («Ем бахладжаны...», «Дуэль»). Что ж, и это понятно: Кульчицкий был «от природы» поэт и ушел учиться, всерьез относясь к вопросам мастерства.

Девятнадцати лет он написал:

Я взял себе большое счастье —
Работать до дрожания рук.
Я к первой приступаю части —
И за последней я умру.

Не хочется гадать, что и сколько бы создал М. Кульчицкий, не погибни он так рано. Перед нами все (или почти все) написанное им: два с половиною десятка стихов и одна поэма. Не все из этого — на уровне лучших его произведений. Возможно, если бы сам Кульчицкий готовил эту книгу, он не поместил бы в нее такие стихотворения, как «Мой город» или «Красный стяг». Но составитель Н. Шатилов правильно поступил, не пожертвовав ни одним стихотворением: ведь лучшее, чем то, что есть, уже не будет написано.

Но все равно. Стихи поэтов
Нагим алмазом среди камней
Мерцают в штольне остром светом
От времени — еще сильнее.

М. Санин.

Ленинград.

★

ЛЕОНИД ГУРУНЦ. Карабах, край родной (Карабахские тетради). «Советский писатель». М. 1966. 308 стр.

Новая книга Леонида Гурунца вмещает в себя этюды, пейзажные зарисовки, были, очерки, лирические миниатюры и воспоми-

нания И все они про Нагорный Карабах, родину писателя.

Читая страницу за страницей, мы знакомимся с интересным краем, в котором много садов, но еще больше гор, да и весь Карабах «закинут высоко в поднебесье — больше, чем на тысячу метров над уровнем моря». Здесь что ни село, то свой климат, свой рельеф. Один район богат пшеницей, другой — виноградом, третий — тудой, четвертый — строительными материалами, пятый — лугами, ценными ископаемыми...

И конечно же, эта книга не путеводитель или справочник — достоверные сведения о Карабахе разбросаны по страницам как органическая часть повествования.

Гурунц знакомит нас с жителями гор — одни из них выписаны довольно подробно, другие лишь упоминаются в связи с каким-либо событием, но, как правило, все они предстают перед нами зримыми, живыми. Забавно рассказывается про пастуха Аванеса Оганесяна, который готовит самый вкусный в области овечий сыр. С симпатией нарисован и старый агроном Георгий Ильенко — «ершистый, настойчивый, всегда полный новых помыслов, планов, задумок, готовый сразиться за них, за их осуществление». Тепло, с юмором описан Багиш Джангиров, большой шутник, одинаково хорошо владеющий азербайджанским, русским, армянским языками.

Речь армянская, говорит писатель, часто перемежается с речью азербайджанской даже в одном селе. А если в соседних селах живут в одном армяне, в другом азербайджанцы, то они по отношению друг к другу являются кирвами. «Кирва, — говорится в главе «Песнь о дружбе», — это друг дома, который в счастье и в беде рядом. Кирва — это золотое слово, которым награждают друг друга кровные братья».

И какие бы истории — веселые, трагические, печальные, серьезные или лукавые — ни рассказывал Гурунц про своих земляков, он не скрывает, что любит их, гордится и даже хвастает ими перед всем миром.

В книге, которая писалась не сразу, есть и горькие страницы. С горечью автор рассказывает старую историю о том, как пять лет безуспешно бились мардакертцы над возделыванием «спущенной сверху» гваюлы — каучуконоса из Мексики. Кое-где в служебных кабинетах еще и теперь нет-нет да и повеет духом прошлого. Типична в этом отношении глава «Хлеб наш насущный», в которой Гурунц ополчается против равнодушия, бюрократизма, перестраховки, хитрости, тупости и других пороков, свойственных иным работникам.

Эту замечку хочется заключить обращением к читателям: прочтите книгу Л. Гурунца — и вас тоже взволнует красота и богатство горного края по имени Карабах.

М. Плескачевский.

Баку.

★

АДЕЛИНА АДАЛИС. До начала. Новые стихи. «Советский писатель». М. 1966. 80 стр.

Первая книга стихов А. Адалис «Власть» вышла в 1934 году в Москве. «До начала» — девятая книга поэтессы.

Большое значение для формирования поэзии А. Адалис имел ее друг и учитель Валерий Брюсов, который еще в 1909 году поднял в России вопрос о научной поэзии: «Поэзия должна быть, как и наука, проявлением мысли, только выраженной не в отвлеченной схеме, а в живом образе. Это не значит, конечно, что поэзия должна повторять и пересказывать те же истины, что уже найдены наукою...» «Дело в том, чтобы поэзия приложила свои силы к разработке, своим методом, тех же вопросов, которые волнуют лучшие умы человечества».

Последняя книга А. Адалис как бы продолжает эту традицию Брюсова. Поэтесса предлагает такой ключ к своей последней книге: «Ядро моего нового сборника... составляют две «умозрительные» поэмы, представляющие собой раздумья о глубинных законах связи современных наук с жизнью». Добавим к этому авторскому самоопределению, что и лирические стихи в книге говорят о том же, только интимнее и задушевнее.

А Адалис пытается поэтически осмыслить проблемы пространства и времени, космонавтики и электроники. Ей нужны и ветви пшеница, выведенная стариком агрономом, и процессы, происходящие в Галяктике, но все это не само по себе, а в восприятии людей, в творчестве народа, в раздумьях о жизни и смерти человечества. «Мимо смерть пронеслась!» — говорится в одном из стихотворений. Война была смертью, атомная война тем более была бы смертью, наука, не направленная на доброе служение, без социальных и моральных критериев, служит смерти.

Новая книга А. Адалис трудна для восприятия. Она требует от читателя и некоторой научной эрудированности, и привычки к усложненной литературной форме. Цепи поэтических ассоциаций обрываются, язык перегружен, хотя автор часто пользуется разговорной, даже чисто бытовой лексикой и интонацией («Как от вранья удержаться поэту? Люди! Я спрашиваю!..»).

Это книга поисков, здесь есть и победы и поражения. Ее можно или совсем не принять, или полюбить — за ум и поэтическую искренность, за своеобразие и темы, и поэтических приемов.

Надежда Павлович.

★

ЕВГЕНИЙ РАТНЕР. Степь широкая. Повесть о встречах и событиях на целине. «Советская Россия». М. 1966. 408 стр.

Прямо в степи приземляется самолет. Потому что «здешний аэродром — просто кусок целины». И кажется, что нас, как и автора, охватывает хмельной аромат

разнотравья, мы вбираем в себя «и эту ширь, и эту даль, и эту синь неба» и сразу входим в атмосферу повествования.

Все четыреста страниц книги — это знакомство с людьми живыми, невыдуманными, разных возрастов и профессий, национальностей и судеб. Что привело их на целину? Что заставляет оставаться здесь, пренебрегая трудностями, неустойчивостью быта? Стремясь ответить на этот вопрос, Евгений Ратнер с любознательностью журналиста торопится познакомиться, поговорить с каждым обитателем совхоза «Степь широкая»: его директором, агрономом, бригадиром, механизатором, дояркой, поварихой, машинисткой, водителем... Встречи, встречи. Их так много, что трудно даже назвать главных героев произведения. Встречи эти не мимолетны, не случайны. Автор дважды, с промежутком в два года, приезжает в совхоз, подолгу живет здесь, становится своим.

Обилие героев, вовлеченных в круг повествования, составляет основное своеобразие повести и определяет как ее достоинства, так и недостатки. К последним, думается, нужно отнести ту авторскую скороговорку, конспективную краткость, с которой рассказывается обязательная «доцелинная» предыстория почти каждого из героев, дается их характеристика. Правда, Е. Ратнеру удалось избежать того, чего заранее боишься в литературе такого рода, — перегрузки произведения описаниями производственных процессов, технологических подробностей. В центре его внимания — судьбы людей. Судьбы эти разные, непохожие, отнюдь не розовые, подчас трагические, но это — судьбы наших современников.

Заглянув почти в каждый дом целинника, автор с полным правом может сказать: «Здесь у всех одна общая забота. Даже домохозяйку, даже бабушку, которая только нянчит детишек, не меньше, кажется, чем механизатора, волнует, сколько за сегодня убрали».

Думается, наиболее колоритные образы произведения — директор совхоза Анна Петровна и ученый-энтузиаст Степан Демьянович Горяев; их незаурядные характеры раскрываются в действии во второй части книги, где события накаляются, становятся драматически напряженными. Автор выступает здесь не только как свидетель, но и как участник борьбы с людьми, пытающимися навязать целинникам непригодные для местных условий методы повышения плодородия. Под пером писателя оживают известные нам всем события недавнего прошлого.

Можно отметить в произведении некоторые длинноты, упрекнуть автора в недостатке художественной тонкости при описании личных переживаний героев. Но в целом книга выполняет свое назначение: дает возможность читателю познакомиться с той страницей истории нашей страны, которая называется освоением целины.

К. Бродер.

ЛЕОНИД ЛАВРОВ. Из трех книг. Стихи. «Советский писатель». М. 1966. 152 стр.

Имя Леонида Лаврова сейчас мало кому известно. Он прожил всего тридцать семь лет. При жизни поэта маленьким тиражом вышли две его книги, давно ставшие библиографической редкостью: «Уплотнение жизни» (1931) и «Золотое сечение» (1933). В начале 1941 года он подготовил свой третий сборник — «Лето», но началась война, книга так и не была издана, а в 1943 году Лавров умер. Среди других потерь военного времени смерть поэта, хотя и бесспорно талантливо, но в силу ряда причин не попавшего в орбиту внимания критиков, прошла незамеченной. И вот теперь, с новым выходом в свет сборника стихов Лаврова, мы открываем для себя по существу совершенно нового поэта.

Основной стержень поэтического мышления Лаврова — это желание познать «диалектику каждой вещи». Он сам дает нам в руки ключ к пониманию его поэзии:

Каждый клочок природы,
Осколок, обрывок мира —
Он для меня источник
Еще не разгаданных формул.

Многообразная, живая диалектика жизни во многих ее проявлениях — в конфликтах времени, в природе, в сложнейших, часто трудно уловимых и парадоксальных движениях человеческой души — вот мир, который поэт «вложил в строки».

Этот мир — реальный, осязаемый, зримый. Поэт может попробовать «тень на ощупь». Он видит, как «ветер с налета волну клевет», а «небо качает сияющий зонт». Но поэт старается выйти за пределы привычной повседневности, постичь неизвестность, заново увидеть и осознать сложные связи бытия:

Так пусть душа, отдавшись, обоймет
И бег времен, и всех житейских линий
Порой уж очень сложный переплет,
И снов полет стремительный и синий.

Поэт хотел бы до предела наполнить жизнь самыми разнообразными делами, мыслями, ощущениями. Герой его поэмы «Нобуж» мечтает о создании в будущем «науки об уплотнении жизни», которая даст человеку возможность максимально полно выразить себя. Исследуя сложную внутреннюю жизнь человека, Лавров ищет — может быть, не всегда удачно — гармонического единства «между мирами: тем, что внутри и вокруг». И если первая книга символично названа «Уплотнение жизни», то название второй — «Золотое сечение» — тоже определяет ее главную мысль, основное направление философских и эстетических поисков поэта.

В книге избранных стихов Лаврова (под первым стихотворением стоит дата — 1927 г., последнее по времени написания помечено годом смерти поэта) явственно ощутима его творческая эволюция, связанная с общей логикой развития советской

поэзии, с творческими судьбами других художников его поколения.

Стихи Лаврова интересны не только как вновь открываемая страница истории нашей литературы. Отделенные от сегодняшнего дня несколькими десятилетиями, каждое из которых равно эпохе, они созвучны ему своим пафосом — стремлением распутать «клубок мирозданья».

И. Гитович.

★

И. З. СУРИКОВ И ПОЭТЫ-СУРИКОВЦЫ. «Библиотека поэта» (Большая серия). «Советский писатель». М.—Л. 1966. 516 стр.

Иван Захарович Суриков прожил недолгую — всего тридцать девять лет — и горькую жизнь. С детства оторванный от деревни, он много и тяжело трудился в городе. «Вечером приходишь домой измученный, как собака, бегавшая весь день, ища какой-нибудь пищи, до письма ли тут?» И все-таки ему было до письма.

Суриков, человек из народа, не просто писал о народе или для народа — он был голосом тех, «кто не по собственной воле рдился на свет и не по собственной прихоти хочет есть» (Г. Успенский). Голос этот был чаще всего мрачен, всегда — задушевн, всегда исполнен любви к своим собратьям. Все творчество поэта, очень цельное по духу, можно было бы объединить заимствованным у древнерусского писателя названием — «Повесть о Горе-Злочастии». В самом деле, о чем писал Суриков? Вот ряд названий стихотворений: «Из бедной жизни», «Покойница», «Нужда», «Доля бедняка», «Вдова», «Мертвое дитя», «Несчастный», «Смерть», «Бедность», «Гере», «Умирающая швейка»... Красноречивый список!

Суриков, как мало кто другой, жалел убиаемых нуждой, обездоленных людей, мечтавший о светлом дне. В его стихах — бесконечная вереница людей, разнообразие судеб и всегда — страсть, вопль, грусть, мольба о помощи. Ни одной равнодушной строки. Стоит только вчитаться в Сурикова, отбросить тот снобизм (страшно несправедливый), который в наше время многим любителям поэзии — да и поэтам — мешает увидеть истинное лицо художника, и вас поразит то скорбная, трагическая сила:

Дождемся ль, доля, мы с тобой,
Что жизнь весельем озарится?
Иль светлой радости для нас
На белом свете не родится?

то яркость и зримость картин:

Занялася заря —
Скоро солнце взойдет.
Слышишь... чу... соловей
Щелкнул где-то, поет.

Стих Сурикова прост, лишен внешних украшений, но точен, емко, напевен, он хорош своей непосредственностью, естественностью, фольклорностью, далекой от литературной стилизации. Поэт разрабаты-

вал свой, особый жанр баллады (близкий к жанру русской народной баллады), рассказывающей о судьбе человека. У него много таких баллад, иные из них просто потрясают силой заключенного в них чувства.

Нужда и чахотка свели Сурикова в могилу. Этот скромный, по-деревенски «окающийся» человек, «поэт-самоучка» (как он себя называл) не только проявил себя как самобытный поэт, но и всколыхнул умы множества талантливых людей из народа, которые потянулись к знаниям, взяли за перо. Вот имена некоторых: А. Бакулин, С. Григорьев, С. Дерунов, Д. Жаров, М. Козырев, Е. Назаров, А. Разоренов, И. Родионов, И. Тарусин, а позднее — М. Леонов и С. Дрожжин. Все эти «поэты-самоучки», «суриковцы» представлены в книге лучшими своими стихами, среди которых есть, например, стихотворение А. Разоренова «Не брани меня, родная», ставшее народной песней.

Суриков принадлежит не только истории русской поэзии. Его страсть жива, его стихи, написанные почти буквально «кровью сердца», волнуют и сейчас.

Виктор Афанасьев.

★

ДЖОРДЖ МАЙКЛ. Семья Майклов в Африке. Перевод с английского. «Мысль». М. 1966. 197 стр.

С автором этой книги многие из читателей познакомились еще задолго до ее выхода — по фильму «Барабаны судьбы», который с успехом шел в Советском Союзе и других странах. Кроме этой ленты, Дж. Майкл снял несколько превосходных телевизионных фильмов об Африке, которые также были встречены с большим интересом. О том, как снимались эти фильмы, и написана настоящая книга.

«Интерес к диким животным, к лесам и чащам, где они обитают, сжигал все мои другие страсти, словно огонь при сильном ветре, пожирающий саванну... — пишет автор о своем детстве. — Я уже тогда смутно чувствовал, что моя жизнь как-то непостижимо

связана с клыками, зубами и когтями Черного континента. Много лет делая я эту мечту в тайниках своей души... и мечта сбылась в конце концов...» Майкл стал одним из самых знаменитых охотников Африки.

Правительство многих стран поручали ему отстреливать слонов и львов, губивших скот и посевы. Постоянными спутниками Майкла в его охотничьих экспедициях были кинокамера и фотоаппарат. Постепенно ружье отошло на второй план, и эти два инструмента стали единственными орудиями «охоты». Им мы и обязаны рождением фильма и интересной, богато иллюстрированной книги. «Нашей студией будут широкие просторы под открытым небом, — писал Майкл, — а нашими актерами — дикие звери, которые так же темпераментны и своенравны, как иные великие актеры нашего времени, только гораздо опаснее их. И к тому же мы не сможем устраивать репетиции или надеяться на повторную съемку».

Почти два года бродил автор вместе с маленькой съемочной группой по Африке, стараясь найти нужные кадры. В поисках их он нередко рисковал собственной жизнью и жизнью своих помощников.

Книга Майкла — приключенческая. Но эти приключения сошли не с кончика пера автора в тиши рабочего кабинета. Он сам пережил и перечувствовал все, что заснял на кинофотоленку и о чем пишет. Может быть, поэтому книга увлекает с первой же страницы и уже не отпускает до конца. Многих зрителей поразили в фильме прекрасно снятые кадры, показывающие борьбу между гепардом и львицей, а затем между тем же гепардом и орлом. В книге рассказано, как были сняты эти волнующие сцены, которые, по мнению специалистов, невозможно поймать еще раз.

Книга повествует не только о том, как снимались фильмы. В ней даны красочные зарисовки природы и жизни животных Африки, привлекающей художников и писателей, кинооператоров и туристов, честных людей и авантюристов, каждый из которых на свой лад рассказывает о «грехах и действительности» континента бурь. Майкл рассказал о нем честно и интересно.

В. Молчанов.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

М. Бессараб. Открытое сердце (очерки о хирургах). 160 стр. Цена 18 к.

Е. Бочнарева, С. Любимова. Светлый путь. Коммунистическая партия Советского Союза — борец за свободу, равноправие и счастье женщины. 239 стр. Цена 55 к.

С. Гершберг. Поиск продолжается (о движении за коммунистический труд). 112 стр. Цена 13 к.

С. Журахович. Кто твой друг. Очерки. Перевод с украинского. 175 стр. Цена 20 к.

Календарь атеиста 288 стр. Цена 1 р. 33 к.

В. Копылов. Которые тут временные? Сказы! 110 стр. Цена 15 к.

Н. Костин. Из новых воспоминаний о Ленине 80 стр. Цена 16 к.

З. Орджоникидзе. Путь большевика. Страницы из жизни Г. К. Орджоникидзе. 399 стр. Цена 91 к.

Т. Рябкина. Должность — от слова долг. 80 стр. Цена 9 к.

В. Степанов, А. Шишков. 50 героических лет 206 стр. Цена 22 к.

А. Яковлев. Цель жизни (Записки авиаконструктора). 343 стр. Цена 1 р. 40 к.

«МЫСЛЬ»

И. Бушмарин. Использование трудовых ресурсов в США. 289 стр. Цена 72 к.

Н. Ерофеев. Закат Британской империи. 279 стр. Цена 1 р. 3 к.

Д. Моусон. Родина снежных бурь. История Австралийской антарктической экспедиции 1911—1914 годов... 334 стр. Цена 1 р. 70 к.

На суше и на море. 720 стр. Цена 1 р. 96 к.

Новые явления в накоплении капитала в империалистических странах. 444 стр. Цена 1 р. 95 к.

Б. Парыгин. Общественное настроение. 327 стр. Цена 85 к.

М. Розенталь. Диалектика «Капитала» К. Маркса. 592 стр. Цена 1 р. 82 к.

Б. Тулепбаев. Осуществление ленинской аграрной политики партии в республиках Средней Азии 325 стр. Цена 1 р. 22 к.

Л. Фейербах. История философии. Собрание произведений. В 3-х томах. Перевод с немецкого Том I. 544 стр. Цена 1 р. 90 к.

Б. Шегрен. Острова среди ветров. Перевод со шведского. 288 стр. Цена 99 к.

М. Ярошевский. История психологии. 565 стр. Цена 1 р. 74 к.

«ЭКОНОМИКА»

А. Анчишкин, Ю. Яременко. Темпы и пропорции экономического развития. 208 стр. Цена 80 к.

Ф. Ауналу. Что такое управление (Записки директора предприятия). 192 стр. Цена 44 к.

И. Быков. Организация управления в США. 62 стр. Цена 10 к.

Вопросы экономики и организации промышленного производства. 223 стр. Цена 77 к.

А. Левин. Экономическое регулирование внутреннего рынка. 120 стр. Цена 39 к.

Козьяштенная реформа в действии. 159 стр. Цена 89 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

В. Андреев. Дикое поле. Роман. 391 стр. Цена 66 к.

Р. Грачев. Где твой дом. Рассказы. 124 стр. Цена 10 к.

Н. Давыдова. Вся жизнь плюс еще два часа. Роман 232 стр. Цена 35 к.

О. Дмитриев. Удар по кремню. Стихи. 119 стр. Цена 22 к.

А. Кожевников. Жили-были — плавали. Повести и рассказы. 372 стр. Цена 65 к.

А. Кузнецова. Свет-трава. Повесть. 286 стр. Цена 46 к.

С. Рустам. Вторая весна. Стихи. Перевод с азербайджанского. 103 стр. Цена 19 к.

Я. Сриган. Лунная ночь. Повести, рассказы. Перевод с белорусского. 342 стр. Цена 70 к.

М. Тимофеев. Ледоход. Стихи. Перевод с якутского. 118 стр. Цена 17 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

П. Галавач. Повести. Перевод с белорусского 376 стр. Цена 77 к.

С. Кирсанов. Искания. Стихотворения и поэмы. 1923—1965. 240 стр. Цена 75 к.

М. Львов. Живу в XX веке. Избранные стихотворения. 303 стр. Цена 46 к.

Рассказы и очерки о В. И. Ленине. 558 стр. Цена 1 р. 18 к.

А. Роа Бастос. Сын человеческий. Роман. Перевод с испанского. 328 стр. Цена 1 р. 1 к.

А. Федоров. Лермонтов и литература его времени. 364 стр. Цена 98 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Б. Бондаренко. Ищите солнце в глухую полночь. Повесть. 304 стр. Цена 41 к.

К. Ваншенкин. Избранная лирика. 32 стр. Цена 6 к.

Д. Данин. Резерфорд. 621 стр. («Жизнь замечательных людей»). Цена 1 р. 40 к.

С. Зарницкий, А. Сергеев. Чичерин. 256 стр. («Жизнь замечательных людей»). Цена 71 к.

Б. Куняев. 9-й горизонт. Стихи. 95 стр. Цена 13 к.

А. Перрюшо. Сезанн. Перевод с французского. 368 стр. («Жизнь замечательных людей»). Цена 1 р. 42 к.

Х. Хямяляйнен. Дезертир. Роман. Перевод с финского. 160 стр. Цена 29 к.

Б. Шаховский. Тому, кто влюблен. Стихи. 200 стр. Цена 23 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Ф. Вигдсрова. Дорога в жизнь — Это мой дом.— Черниговка. Повести. 735 стр. Цена 1 р. 43 к.

И. Кожедуб. Верность Отчизне. Рассказы летчика-истребителя. 422 стр. Цена 99 к.

С. Маршан, В. Лебедев. Детям. 219 стр. Цена 3 р. 10 к.

Л. Нейман. «Пятница». Историческая повесть (о И. А. Пятницком). 175 стр. Цена 36 к.

Э. Офин. Теплый ключ. Повесть и рассказы. 208 стр. Цена 42 к.

Е. Ржевская. От дома до фронта. Повесть. 111 стр. Цена 26 к.

О. Чайковская. Против неба — на земле (О памятниках древнерусской культуры). 167 стр. Цена 1 р. 12 к.

«НАУКА»

Н. Глебов. Литература урду. Краткий очерк. 232 стр. Цена 53 к.

В. Гусев. Эстетика фольклора. 319 стр. Цена 1 р. 34 к.

Данте и всемирная литература. 259 стр. Цена 1 р. 43 к.

История и археология юго-западных областей СССР начала нашей эры. 264 стр. Цена 1 р. 93 к.

Культура и быт народов зарубежной Европы. Этнографические исследования. Сборник статей. 256 стр. Цена 1 р. 20 к.

Литература и фольклор народов Востока. Сборник статей. 255 стр. Цена 95 к.

О. Моисеева. Советы крестьянских депутатов в 1917 году. 206 стр. Цена 82 к.

С. Мхитарян. Рабочий класс и национально-освободительное движение во Вьетнаме (1885—1930). 296 стр. Цена 1 р. 29 к.

Современные буржуазные концепции истории всемирной литературы. 175 стр. Цена 53 к.

Французский ежегодник. Статьи и материалы по истории Франции. 1965. 311 стр. Цена 1 р. 95 к.

П. Хромов. Экономическое развитие России. Очерки экономики России с древнейших времен до Великой Октябрьской революции. 535 стр. Цена 2 р. 31 к.

«ПРОГРЕСС»

А. Грамши. О литературе и искусстве. Перевод с итальянского. 264 стр. Цена 1 р.

А. Зегерс. Сила слабых. Девять рассказов. Перевод с немецкого. 190 стр. Цена 69 к.

К. Калчев. Двое в новом городе. Роман. Перевод с болгарского. 176 стр. Цена 48 к.

Г. Клаус. Кибернетика и общество. Перевод с немецкого. 432 стр. Цена 1 р. 64 к.

Под чужим небом. Рассказы зарубежных армянских писателей. Перевод с западно-армянского. 222 стр. Цена 78 к.

Д. Стрит. В поисках правды. Перевод с английского. 222 стр. Цена 65 к.

Х. А. де Сунсунеги. Мир следует своим путем. Роман. Перевод с испанского. 452 стр. Цена 1 р. 44 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

И. Баев. Я был семинаристом. 158 стр. Цена 21 к.

И. Крупник. На этой земле. Рассказы. 120 стр. Цена 21 к.

А. Розен. Времена и люди. Роман. 336 стр. Цена 72 к.

А. Топоров. Крестьяне о писателях. 448 стр. Цена 89 к.

Б. Филиппов. Актеры без грима Воспоминания. 288 стр. Цена 1 р. 19 к.

С. Фонская. Дом в Голлицине. Рассказы о писателях. 136 стр. Цена 17 к.

«ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Р. Александров, В. Чикул. Дело еще не закончено... Рассказы о людях советской юстиции. 88 стр. Цена 13 к.

Выявление причин преступления и принятие предупредительных мер по уголовному делу. 152 стр. Цена 61 к.

З. Заменгоф. Изменение и расторжение хозяйственных договоров. 144 стр. Цена 52 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Е. Василенко. Татьяна Ларина. Повести и рассказы. Перевод с белорусского. Минск, «Беларусь». 335 стр. Цена 68 к.

Г. Вилков. НОТ на предприятии. Ярославль, Верхне-Волжское книжное издательство. 206 стр. Цена 65 к.

Е. Владимиров. Поездки и встречи. В. И. Ленин в Сибири 1897—1900 гг. Новосибирск, Западно-Сибирское книжное издательство. 120 стр. Цена 22 к.

А. Джами. Саламан и Абсал. Поэма. Перевод с таджикского-фарси. Душанбе, «Ирфон». 121 стр. Цена 20 к.

Д. Кудис. Летчики. Повесть и рассказы. Горький, Волго-Вятское книжное издательство. 231 стр. Цена 55 к.

М. Ланербай. Тот, кто убил лань. Новеллы. Перевод с абхазского. Сухуми, «Алашара». 314 стр. Цена 50 к.

М. Минц. Лишний рот. История одного детства (Автобиографическая повесть). Куйбышев, Книжное издательство. 176 стр. Цена 22 к.

На наторжном острове. Дневники, письма и воспоминания политкаторжан «нового Шлиссельбурга» (1907—1917 гг.). Лениздат. 292 стр. Цена 66 к.

Л. Финк. Острее видеть добро и зло. Статьи о литературе и нравственности. Куйбышев, Книжное издательство. 203 стр. Цена 40 к.

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, И. И. Виноградов, Р. Г. Гамзатов, Е. Я. Дорош, А. И. Кондратович (зам. главного редактора), А. А. Кулешов, В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, И. А. Сац, К. А. Федин, М. Н. Хитров (ответственный секретарь)

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. К 9-81-77.
Почтовый адрес: Москва, К-6, пл. Пушкина, д. 5.

Сдано в набор 3/III 1967 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 28/IV 1967 г.
Формат бумаги 70×108^{1/16}. 9 бум. л. (24,66 усл. п. л.)
№ 02536 Зак. 839. Тираж 148 000.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп.

70636